433
Б 93

БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ

Педагогическое наследие

# В.Г.БЕЛИНСКИЙ
# А.И.ГЕРЦЕН
# Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
# Н.А.ДОБРОЛЮБОВ

БИБЛИОТЕКА УЧИТЕЛЯ

# В.Г.БЕЛИНСКИЙ
# А.И.ГЕРЦЕН
# Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
# Н.А.ДОБРОЛЮБОВ

## ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

МОСКВА
«ПЕДАГОГИКА»
1987

ББК 74.00
~~П 24~~

Составление, вступительные статьи и комментарии
доктора исторических наук, профессора А. Ф. СМИРНОВА

Рецензенты:
кандидат филологических наук В. Ф. КОЗЬМИН,
заслуженный учитель школы РСФСР Н. В. ЧИСТЯКОВА

**Педагогическое наследие**/ Белинский В. Г., Герцен
П24 А. И., Чернышевский Н. Г., Добролюбов Н. А.; Сост.
А. Ф. Смирнов.— М.: Педагогика, 1987.—400 с.—
(Б-ка учителя).
В пер. 1 р. 50 к.

В книге представлены произведения русских революционных демократов, посвященные вопросам обучения и воспитания. Для учителей представляют интерес статьи, в которых рассматриваются вопросы нравственного и семейного воспитания, подготовки детей к труду, а также важной роли учителя в воспитании и обучении.
Для учителя.

Б $\frac{4302000000-045}{005(01)-87}$ подписное ББК 74.00

© Издательство «Педагогика», 1987 г.

# ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Революционные демократы В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов вошли в историю русского освободительного движения, в русскую литературу не только как выдающиеся философы, писатели, критики, но и как виднейшие просветители, педагоги, способствующие прогрессивному развитию России.

Цель данного сборника заключается в том, чтобы познакомить учителя с произведениями революционных демократов, с их педагогическим наследием. Интерес для учителя представляют статьи В. Г. Белинского, посвященные вопросам содержания и методов обучения, методике преподавания отдельных предметов; философские сочинения Н. Г. Чернышевского, в которых он создал систему воспитания разносторонне подготовленного человека, гражданина, борца за дело народа; работы Н. А. Добролюбова, где он формулирует задачи воспитания людей идейных и принципиальных, способных на революционную борьбу. Учителю будет важно познакомиться и с педагогическими мыслями А. И. Герцена, которые актуально звучат и сегодня: о разумном сочетании естественных и гуманитарных дисциплин, о подготовке молодого поколения к полезной общественной деятельности, о формировании нового человека, борца, народного заступника.

В сборнике представлены не только статьи и рецензии революционных демократов на собственно педагогические темы, но и работы, в которых педагогические взгляды раскрываются в контексте с их мировоззренческим и философским развитием.

Произведения, включенные в том, охватывают несколько десятилетий от 30-х до 70-х гг. XIX в. 30—40-е гг., время николаевской реакции, характеризуются процессом становления демократической концепции воспитания, обучения и формирования нового человека, народного заступника. Черты такой личности современники и потомки видели в В. Г. Белинском и А. И. Герцене. В 60-е гг., в период революционной ситуации, вопрос стоял о незамедлительном воплощении в жизнь уже разработанных и обос-

нованных программ. Нужны были люди дела. Эти особенности времени нашли отражение в педагогических воззрениях Белинского, Герцена, с одной стороны, и Чернышевского, Добролюбова — с другой.

Революционные демократы подвергли всесторонней убедительной критике официальную педагогическую теорию и практику. Школьный устав 1828 г. был создан вскоре после подавления движения декабристов и отражал страх царских властей перед свободной мыслью, наукой, просвещением. В учебные планы гимназий, училищ, семинарий без всякой меры внедрялось зазубривание «мертвых» языков, риторика, богословие. Воспитание, по словам Белинского, сводилось к тому, чтобы убить в детях всякую жизнь и живость, сделать из них попугаев и кукол. А. И. Герцен возмущенно писал в «Колоколе»: «Одно из ужаснейших посягательств прошлого (николаевского.— А. С.) царствования состояло в его настойчивом стремлении сломить отроческую душу. Правительство подстерегало ребенка при первом шаге жизни и развращало кадета-дитя, гимназиста-отрока, студента-юношу. Беспощадно, систематически вытравляло оно в них человеческие зародыши... От молодежи оно требовало рабского духа, рабской дисциплины, рабского молчания».

Революционные демократы подчеркивали необходимость коренного преобразования устаревшей системы воспитания и образования в России. Они были уверены в том, что для этого нужно было изменить не только социально-экономические, политические системы и учреждения, но и просвещение России в целом. Воспитание, подчеркивал Белинский,— это вся жизнедеятельность нации, оно всюду и все: и жизнь, и смерть, и спасение, и гибель. Раскрывая свое понимание народного образования, революционные демократы во главу угла ставили формирование у молодого поколения научного мировоззрения «как науки о жизни, о бытии в обширном значении этого слова». Они выступали за гармоничное сочетание естественных и гуманитарных наук, истории и современности. Отмечая необходимость расширения изучения естественных наук для удовлетворения потребностей промышленности, революционные демократы одновременно указывали, что их изучение имеет помимо прикладного и общеобразовательное, воспитательное значение. Они рассматривали в единстве теорию и практику воспитания, соотношение естественных и гуманитарных наук.

Уделяя много внимания вопросам общего образования, революционные демократы были убеждены, что оно должно помочь

человеку осмыслить значение историко-культурных ценностей, созданных народом. Они требовали, чтобы просвещение, воспитание народа не отрывалось от национальной, родной почвы. По их мнению, это неизбежно накладывает свою печать на личность и деятельность человека, помогает определиться ему в жизни и выбрать направление для применения своих сил. В общем образовании революционные демократы находили богатые возможности для нравственного развития и совершенствования личности. Неразрывно с проблемой народности они связывали патриотическое воспитание молодого поколения, которое рассматривалось ими в тесной связи с правильно поставленным изучением в школе родного языка, отечественной истории и словесности. По их мнению, основой воспитания гражданской нравственности должен стать жизненный пример великих русских преобразователей, ученых, поэтов — Ломоносова, Петра Великого, Пушкина. Актуально звучат требования революционных демократов к общеобразовательной школе, которая должна разбудить в человеке любознательность, развернуть и укрепить силы его ума настолько, чтобы он и в зрелые годы продолжал работать над совершенствованием своего образования. Они неустанно обращались к своим читателям с призывом приобретать знания, воспитывать в себе привычку к труду и уважение к силе человеческого разума.

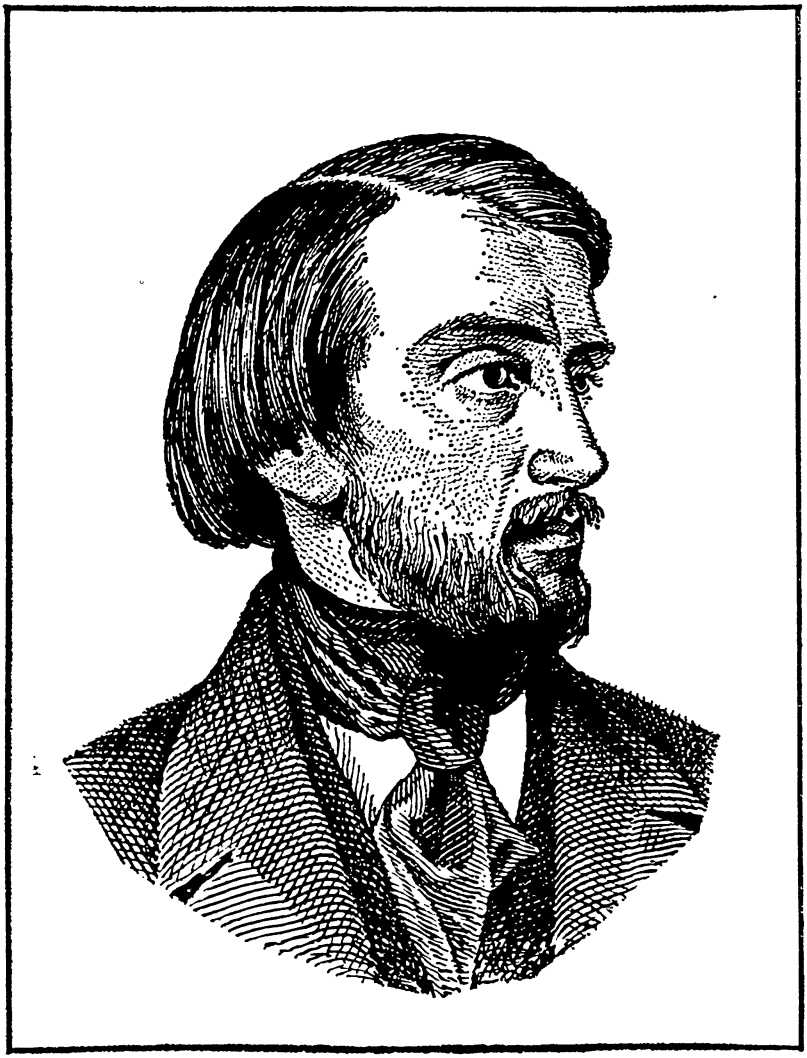
Революционные демократы не были профессиональными педагогами, воспитателями, однако в их литературном наследии большое место занимают работы, в которых рассматриваются проблемы воспитания и обучения, содержания и методов гимназического образования, а также некоторые вопросы общественного и семейного воспитания. Это объясняется в значительной степени тем, что революционные демократы в социально-политической борьбе считали своим долгом последовательно выступать с требованиями развития народного просвещения, стремились развивать политическое сознание трудящихся масс через пропаганду естественных и гуманитарных знаний. Их педагогические выступления были устремлены к будущему, в основе этих выступлений лежал близкий к социалистическому идеал воспитания.

Революционные демократы оказали громадное влияние на развитие отечественной педагогики. Конечно, их статьи не изменяли официальных школьных программ, но изменяли самих педагогов, и не без их влияния формировались воспитатели, вносившие в преподавание прогрессивные идеи того времени. Революционные демократы сделали и нечто другое, не менее важное. Их могучая

проповедь, а они умели и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров, содействовала росту оппозиционных антидинастических настроений в русском обществе. Причем активную роль в этом процессе играли студенты, гимназисты, их профессора и педагоги. Очень хорошо об этом сказал А. И. Герцен: «Оппозиция принимала всевозможные формы и говорила на всевозможных языках. Раздавленная в газете, она возрождалась на университетской кафедре, преследуемая в поэме, она умела проникнуть в дортуары всевозможных институтов, в залы военных упражнений в кадетских корпусах и в залы богословских диспутов в семинариях... студент, знавший на память Рылеева и Полежаева, ехавший на вакации в помещичий дом, лекарь, отправляющийся на службу в далекий край, семинарист, приезжающий на вакационное время в родное село, учитель, читавший словесность кадетам,— все они продолжали проповедовать идею независимости и ненависти к произволу».

Революционные демократы В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов внесли ценный вклад в педагогическую науку. В их наследии большое место занимают проблемы обучения и воспитания, которые и сегодня являются актуальными. Значительный интерес вызывают их размышления о важности самообразования и самовоспитания, о развитии мыслительных способностей детей в процессе обучения, вопросы семейного воспитания, а также мысли о выборе профессии молодыми людьми.

# В.Г.БЕЛИНСКИЙ



# В. Г. БЕЛИНСКИЙ
# (1811—1848)

*Основоположник революционно-демократической педагогики России Виссарион Григорьевич Белинский родился 30 мая (11 июня) 1811 г. в г. Свеаборге — крепости на Финском заливе, в семье флотского врача.*

*Его отец, Григорий Никанорович, происходивший из семьи бедного священника, был человеком передовых убеждений. Он окончил Медико-хирургическую академию. В характеристике, выданной ему начальством Балтийского военно-морского флота, было записано, что он имеет «хорошие способности ума», владеет латинским и немецким языками и «науки по своей должности знает».*

*В работах советских исследователей о детских и юношеских годах В. Г. Белинского отмечается, что под влиянием личных наблюдений и рассказов отца начали складываться антикрепостнические настроения молодого Белинского. В доме отца выписывались журналы, имелась библиотека, подраставшие дети приобщались к книге. В семье Белинских регулярно устраивались литературно-музыкальные вечера с чтением произведений русских писателей, исполнением народных песен.*

*В уездном Чембарском училище (осенью 1816 г. семья Белинских переехала в Чембар, ныне — г. Белинский) юный Белинский выделялся среди сверстников своей начитанностью и жаждой знаний. Окончив училище в 1825 г., он поступает в Пензенскую гимназию. К этому времени относятся и первые педагогические опыты Белинского. Обучаясь в старших классах гимназии, он по поручению педагогов преподавал некоторое время русский язык и словесность в младших классах. По окончании гимназии Белинский в 1829 г. поступил в Московский университет, где он возглавил оппозицию передового студенчества деспотическому николаевскому режиму. Руководимый им кружок «Литературное общество 11-го нумера» стал выразителем недовольства студенческой молодежи не только университетскими порядками, но и всем строем русской жизни.*

*В кружке в ходе обсуждения литературных произведений и политических новостей, страстных споров об истине и человеческом достоинстве формировались убеждения демократической молодежи университета. На заседаниях кружка была прочитана драма В. Г. Белинского «Дмитрий Калинин», в которой были высказаны с огромной силой антикрепостнические настроения молодого Бе-*

*линского. Это не прошло для него бесследно. Администрация, воспользовавшись пропуском занятий по болезни и несдачей в срок экзаменов, исключила Белинского из университета в 1832 г. с формулировкой: «по слабости здоровья» и «ограниченности способностей». Некоторое время он жил, давая частные уроки.*

*В 1834 г. профессор Московского университета Н. И. Надеждин, издатель передового тогда журнала «Телескоп», приглашает В. Г. Белинского работать в свой журнал. Но в 1836 г. «Телескоп» был закрыт, и журналистская деятельность В. Г. Белинского прерывается. В это время молодой педагог-новатор создает курс новой русской грамматики. Однако отпечатать учебник за казенный счет ему не удается. Он издает его на свои скудные средства. Официальная печать умолчала о выходе нового руководства. Тяжело пережив неудачу, в 1837 г. Белинский приступает к созданию руководства по изучению отечественной словесности; однако эта работа не была осуществлена. Позже научная мысль признала, что руководство содержит ценные научные и методические идеи.*

*В 1838 г. В. Г. Белинский становится учителем русского языка и словесности в Межевом институте, стремясь, по его собственному признанию, проникнуть в сущность процесса воспитания. Молодой педагог тогда еще верил, что «справедливое общество» может быть создано при помощи просвещения и воспитания. Он много размышляет о социальной значимости труда воспитателей, но не получает поддержки со стороны властей. Попечитель института, присутствовавший на экзамене в классе В. Г. Белинского, благосклонно отметивший хорошие знания его учеников, все же предложил ему больше обращать внимание на выработку у будущих чиновников межевого ведомства умений хорошо составлять деловые бумаги и канцелярские донесения. Вскоре В. Г. Белинский покинул Межевой институт.*

*Так обрывается педагогическая деятельность В. Г. Белинского в учебных заведениях, но некоторое время он продолжал ею заниматься в качестве домашнего учителя.*

*После ухода из Межевого института В. Г. Белинский всецело сосредоточил свои силы в области литературного творчества, но сохранил глубокий интерес к вопросам воспитания и народного образования.*

*В первой крупной своей статье «Литературные мечтания» (1834) начинающий критик уделил немало внимания и проблемам народного просвещения, подчеркнул, что в стране, где царит едва ли не поголовная неграмотность крестьян, не может успешно развиваться литература, нет условий для социального прогресса. Он гневно обрушился на апологетов крепостничества, которые уверяли, что русский народ якобы против просвещения и что просвещение ему не нужно и даже вредно. «Надобно,— пишет Белинский,— чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, взращенное на родной почве». Тогда может появиться настоящая, а не подражательная литература.*

*В. Г. Белинский был убежденным и непримиримым противником исторически сложившегося в России сословного воспитания, которое лежало в основе организации как официального, так и домашнего обучения. Он резко критикует «первоначальное воспитание» детей, сложившееся в разных сословиях. Конечно, в России имеется и подлинное, настоящее воспитание, указывал он, «...вы его можете увидеть даже во всех сословиях общества от самого высшего до самого низшего, но как редкость, как исключение». Отрицая принципы сословного неравенства в образовании и воспитании, Белинский отстаивал необходимость всестороннего, гармоничного развития молодежи. В основу его педагогики был положен принцип гуманизма. Белинский утверждал, что главная цель всякого человека, вне зависимости от социального происхождения, профессии и рода занятий, «на всякой ступени в лестнице общественной иерархии — быть человеком». В. Г. Белинский требовал заменить сословное воспитание, способствующее распаду общества на отдельные враждующие группы, общечеловеческим, равным для всех. С этих же позиций демократа, гуманиста Белинский выступал против вульгарно-материалистических представлений о том, что ребенок «tabula rasa» («чистая доска»), на которой воспитатели могут писать все, что им заблагорассудится. «Нет, не белая доска душа младенца, а дерево в зерне, человек в возможности». Воспитатели должны поступать, как садовники, которые ухаживают не только за растением, но и за почвой, на которой оно растет. Воспитание, по словам Белинского,— великое дело, им решается участь человека. Этим определяется и роль педагога: «Велик и священен сан воспитателя, он мудрый наставник, деятельность педагога — гражданская деятельность». В развитии ребенка есть свои закономерности, с которыми нельзя не считаться. И поэтому воспитательные средства надо сообразовывать с периодами развития ребенка, избегать неразумных требований и палочной дисциплины. По глубокому убеждению Белинского, главной целью и вместе с тем главным средством воспитания является человечность, любовь к человеку, преумножение добра. Формулируя этот свой основополагающий принцип, он пишет: «Под человечностью мы разумеем живое соединение в одном лице тех общих элементов духа, которые равно необходимы для всякого человека, какой бы он ни был нации, какого бы он ни был звания, состояния, в каком бы возрасте жизни и при каких бы обстоятельствах ни находился,— тех общих элементов, которые должны составлять его внутреннюю жизнь, его драгоценнейшее сокровище и без которых он не человек». Здесь изложен один из основных принципов педагогической концепции просветителей, сыгравшей столь видную роль в борьбе с официальной рутиной, школьной муштрой, зубрежкой и зуботычинами. Педагогические статьи В. Г. Белинского пронизаны верой в человека, его силы, способности, интеллект и направлены на мобилизацию его внутренних сил, на постоянное самоусовершенствование, самовоспитание личности. Но всегда ли, при всех обстоятельствах, говоря словами самого Белин-*

*ского, личность имеет возможность для всестороннего саморазвития? Согласно концепции просветителей, не только общество должно заботиться о равном для всех воспитании, но и каждый человек должен постоянно заниматься самоусовершенствованием. В такой трактовке воспитание рассматривается как могучий рычаг переустройства общества на разумных и справедливых началах. Оно и является таковым при определенных условиях. Но абсолютизировать роль просвещения нельзя. Оно само по себе не в силах преодолеть социальную несправедливость, неравенство, гнет. Историческая ограниченность социологической концепции просветителей, на которой стоял одно время Белинский, заключалась не в призывах к самоусовершенствованию, которым действительно следует заниматься всем и каждому, а в иллюзорной вере в то, что осуществление общечеловеческого воспитания возможно при любых общественных отношениях *.*

*Но из этого следует, что после упразднения антигуманных условий общественного бытия значение самовоспитания личности неизмеримо возрастает. Педагогическое наследие демократов-просветителей и ныне помогает нам разрешать проблемы воспитания социально активной, всесторонне развитой личности. Главным в воспитании, по мысли В. Г. Белинского, является выработка в человеке стойких убеждений и воли для борьбы с социальной несправедливостью, с отжившими порядками. Отсюда внимание к вопросу о роли общественной деятельности, труда в процессе воспитания. Основным путем воспитания человека, убеждал Белинский, является общественная деятельность, борьба за народное благо и уж никак не беспомощное копание в собственных переживаниях. Индивидуальная внутренняя борьба с самим собой, отмечал Белинский, вне общественной деятельности, вне полезного труда не может обеспечить нравственное совершенствование человека. Последнее возможно только в социально справедливом обществе. У В. Г. Белинского, в анализе проблем воспитания, упор делается не на воспитании отдельных личностей, а на отыскании путей коренного изменения «проклятой российской действительности». Революционный демократизм наполнил педагогическую концепцию просветителей новым содержанием, превратил ее в орудие борьбы за благо народное, за новый, социально справедливый общественный строй.*

*Истинное просвещение, широкая образованность человека, народа в целом несовместимы с деспотизмом, социальной несправедливостью. «Знанием побеждается всякий страх»,— писал Белинский. Он видел спасение России в развитии «цивилизации, просвещения, гуманности» (см. «Письмо к Гоголю»). Белинского с полным правом называют основоположником революционно-демократической концепции воспитания, ибо он первым подверг всесторонней критике официальную дворянско-феодальную систему просве-*

* См.: *Шабаева М. Ф.* Педагогические идеи В. Г. Белинского: Вводная статья к избранным педагогическим сочинениям. М., 1982. С. 10.

*щения, заложил основы новой, демократической системы воспитания, всестороннего умственного, нравственного, эстетического развития молодого поколения, включенную им в программу коренного обновления страны.*

*Белинский выдвинул ряд общеметодологических принципов воспитания, подчеркнул значение теоретического обоснования тех или иных педагогических концепций. Строгая последовательность, логичность изложения учебного материала с учетом возрастных особенностей воспитываемых была им положена в основу системы обучения: «Всему должно быть свое время, и строгий порядок должен быть душою всего».*

*Образование, неоднократно подчеркивал Белинский, должно быть всесторонним, комплексным, органически сочетать естественные и гуманитарные науки, классику и современность. Без гуманитарных наук, по мнению Белинского, «и само естествоведение будет только мертвым сбором фактов, а не живым знанием... надо в процессе образования как бы провести детей по всем трем царствам природы, пройтись с ними по всему земному шару, с его многолюдным населением, с его пустынями, океанами, континентами, показать детям в картинах жизнь человеческих племен и обществ с их нравами и обычаями, понятиями и верованиями. Знания и навыки, полученные в ходе первоначального обучения еще в детские и отроческие годы, так важны для человека, что во многом решают участь всей его жизни».*

*Важное место в педагогической концепции В. Г. Белинского занимает проблема народности, соотношения национального и общечеловеческого (интернационального) в воспитании, да и не только в нем, во всей жизнедеятельности человека, народа. В России 30-40-х гг. эти вопросы стояли особо остро, но это такие проблемы, которые не теряют своей значимости в любое время для любого народа. Всегда важно знать истоки, прошлое своего народа, уяснить себе его место и роль в семье европейских наций. Мысли, высказанные по этим вопросам В. Г. Белинским, не утратили своей значимости и в наши дни. Он неоднократно отмечал, что любовь к родине должна быть действенной, основываться на твердых, самостоятельно выработанных, выстраданных убеждениях, базироваться как на понимании общих законов общественного развития, уверенности в поступательности и необратимости социального прогресса, так и на глубоких, прочных знаниях всех стихий жизни родного народа, горячей, подлинно сыновней к нему любви, готовности, как он писал, положить душу свою за отечество. «Народность,— говорит он,— обыкновенно выпускается у нас из плана воспитания. Часто дети знают о древнегреческих авторах, об исторических деятелях европейской истории, но не знают о сокровищах своей народной поэзии, русской литературы, Петре I». Обращаясь к воспитателям и писателям, В. Г. Белинский призывает их давать в своих произведениях «как можно больше общечеловеческого, мирового, но стараться знакомиться с этим через родные и национальные явления». Резко осуждал Белинский*

*тех своих соотечественников, которые не умеют «написать русской строки без орфографических ошибок», но чванятся своими космополитическими стремлениями. В. Г. Белинскому принадлежат вещие слова, гласящие, что настоящий человек не может быть равнодушным к судьбе своей родины, ибо, «кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству». Нельзя любить человечество, оставаясь равнодушным к судьбе отечества, как невозможно бороться за счастье всех людей, не участвуя в борьбе за улучшение жизни своих соотечественников.*

*С этих позиций В. Г. Белинский решительно возражал против чрезмерного увлечения произведениями иностранных авторов. Сентиментально-романтическая литература западных народов, отмечал он, создает у детей приукрашенное представление о жизни. Рекомендуя детям чтение В. Скотта, Ф. Купера, В. Гете и В. Шекспира, он одновременно настаивал на изучении прежде всего лучших русских писателей. Очень высоко он ценил Пушкина, Лермонтова, Гоголя, отметил талант молодого Достоевского.*

*Известно особое отношение В. Г. Белинского к литературе (изящной словесности), интересами которой он жил, направлял ее развитие своими статьями, рецензиями, обзорами. Воспитанию он придавал исключительно важное значение и немало сделал, чтобы разъяснить роль воспитания, его действенность. Важнейшим, благороднейшим источником просвещения русского общества он считал отечественную литературу. «В наше время литература, искусство,— писал Белинский,— больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов» (X, 306). В литературе, «в ней одной вся наша умственная жизнь и вся поэзия нашей жизни» (IX, 430).*

*В педагогической концепции Белинского воспитательная роль литературы, искусства, науки неразрывно связывалась с идеей народности, которую он понимал как отражение в творчестве мастеров культуры интересов и надежд народа, национального характера, обычаев, истории, мировоззрения нации, прежде всего трудящихся масс. Жизнь всякого народа, писал он, проявляется в своих, ей одной свойственных формах, следовательно, если изображение жизни верно, то оно народно, и воспитание можно назвать народным, если оно связано с жизнью, повседневной деятельностью народа. Весь процесс воспитания, по Белинскому, должен быть направлен на выработку у молодого поколения гражданской позиции, активного, действенного патриотизма. С особой силой эту мысль он подчеркивает в своем понимании свободы личности, творчества, современности. По его словам, служить обществу, шагать в ногу со временем не означает подражание моде в костюмах и прическах. Общество — это нравы, отношения, образ мыслей и способ действования. Только служение народу делает личность свободной в ее жизнедеятельности («в образе своего действования»), а для этого, пишет он, нужно быть гражданином, сыном своего общества, своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями. Каково общество, таково и*

*воспитание, ибо природа создает человека, но развивает и образует его общество. Царская администрация стремилась превратить просвещение, образование в средство увековечивания неравенства, сделать его источником получения особых прав высшими общественными слоями. «У нас учатся не для знания, а для аттестатов, открывающих путь к разным преимуществам»,— с горечью заключал Белинский (II, 447). Вера великого мыслителя в свой народ, в его грядущее наиболее полно выразилась в письме к Гоголю, которое так высоко ценил В. И. Ленин. Он писал: «Его знаменитое письмо к Гоголю, подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 94).*

*Творческое наследие В. Г. Белинского дорого нам и сегодня. Пламенно любя свой народ, веря в его великое будущее, Белинский призывал воспитывать у соотечественников безграничную любовь к родной стране, отвращение ко всем формам социальной несправедливости, угнетения человека человеком. Он первый взглянул на систему воспитания глазами демократа, патриота, революционера, осмыслил задачи педагогической теории и практики воспитания с точки зрения борьбы за лучший общественно-политический строй. Все свои силы, весь незаурядный ум свой он отдал борьбе за скорейшее осуществление этих идеалов.*

# МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ

## Сочинение Ксенофонта Полевого. Москва. В типографии Августа Семена. 1836. Две части: I — 337; II — 342.

...Между Ломоносовым и Петром большое сходство: тот и другой положили начало великому делу, которое потом пошло другим путем, другим образом, но которое не пошло бы без них. Дать ход идее, пробудить жизнь в автомате — великое дело, на которое мало здравого смысла, мало ума, мало таланта, на которое нужен гений, а гений есть олицетворение, проявление идеи целого человечества, целого народа в лице одного человека. Гений не есть, как сказал Бюффон [1], терпение в высочайшей степени, потому что терпение есть добродетель посредственности, бездарности; но он есть сильная воля, которая все побеждает, все преодолевает, которая не может погнуться, не может отступить, хотя и может переломиться, пасть, но в таком случае она уже не переживает себя. Да — сила воли есть один из главнейших признаков гения, есть его мерка.

И как изумительно, как чудесно проявилась эта дивная сила в Ломоносове! Чтобы понять это вполне, надо забыть наше время, наши отношения, надо перенестись мыслию в ту эпоху жизни России, когда грамотных людей можно было перечесть по пальцам, когда учение было чем-то тождественным с колдовством, когда книга была редкостию и неоцененным сокровищем. И в это-то время на берегу Ледовитого океана, на рубеже природы, в царстве смерти, родился у рыбака сын, который с чего-то забрал себе в голову, что ему надо, непременно надо учиться, что без учения жизнь не в жизнь. Ему этого никто не толковал, как толкуют это нынче, его даже били за охоту к ученью, как нынче бьют за отвращение к науке. Чуден был этот мальчик, не походил он на добрых людей, и добрые люди, глядя на него, пожимали плечами. Все, и старше его, и моложе, и ровесники, все смотрели на вещи глазами «здравого смысла» и, по привычке видеть их каждый день, не видели в них ничего необыкновенного: солнце им казалось большим фонарем, светившим им полгода, а чудное сияние в полугодовую ночь — отблеском большого зажженного костра дров; необозримое море они почитали за большой рыбный садок; словом, этим благоразумным людям все казалось обыкновенным, кроме денег и хлеба. Но мальчик смотрел на все это другими глазами: в полугодовой ночи он видел что-то чудное, скрывавшее в себе таинственный смысл; океан манил его в свою неисходную даль, как бы обещая ему объяснить все непонятное, все, что сооб-

щало его душе странные порывы, волновало его грудь неизъяснимою и сладкою тоскою, возбуждало в его уме вопросы за вопросами... Да, мальчик был любимое дитя природы, родной сын между миллионами пасынков, а между любимым сыном и любящею матерью всегда существует симпатическое чувство, которым они молча понимают друг друга... Но мальчику мало было *понимать чувством,* он хотел понять разумом; ему мало было любоваться на прекрасную природу, он хотел заставить ее говорить с собою, открыть себе ее заветные тайны, словом, ему хотелось чего-то такого, чего он не умел назвать и чего боялся... И вот он, покорный внутреннему голосу, оставляет любимого отца и ненавистную мачеху, бежит в Москву... Зачем? — *учиться!* Странный мальчик! Чего он надеялся, чего добивался! Тогда еще не давали за знание чинов, тогда наука еще не была дойною коровою, и не золото, не почести, а бедность, горесть и унижение сулили они безумному... Говорят, что есть свои наслаждения в науке, потому только, что она наука, свое блаженство в истине, потому только, что она истина; говорят, что внешняя жизнь не удовлетворяет даже тех людей, которые исключительно для нее созданы, потому что среди избытка земных благ эти люди желают еще бо́льших, которых земля уже не в состоянии им дать, и что будто бы эта ненасытимость есть доказательство невозможности удовлетворения себя одним земным; говорят, что, напротив, внутренняя жизнь вполне удовлетворяет человека, внимательного к ее таинственному зову, что духовная пища насыщает, не обременяя, услаждает, не производя отвращения; говорят еще, что будто бы есть свое счастие в несчастии, свое блаженство в страдании, свое сладострастие в лишениях и жертвах для истинного, благого и прекрасного... Да — это говорят и пишут, но только ныне, и говорят это не одни мудрые ве́ка, но и люди обыкновенные, говорят не как истины вероятные, но как аксиомы непреложные; но тогда, но в то время в самой Европе эти истины постигались только избранными, только *солью земли,* и постигались темным чувством, а не сознательным разумением; в России же никто и не подозревал их, никто и не догадывался о них. Кто ж сказал о них нашему бедному, необразованному юноше, нашему холмогорскому мужику, человеку *низкого* происхождения? — Никто, кроме этого внутреннего голоса, который слышится душе избранной, никто, кроме этой глубокой веры, которая двигает горы с места на место!.. Кто дал ему средство идти с таким упорством к своей цели? — Никто, кроме этой могучей воли, которая есть орудие гения!.. Иди же в свой путь, стремись на свое великое дело, юный гений! Борись с людьми, страдай от них для их же счастия, жми руку богачу, склоняй чело пред вельможею, но не для них и не для себя, а *ради приращения науки в любезном отечестве* и не забывай, что это не *долг,* а *жертва* с твоей стороны, что ты не должен ради суеты земной или раболепного удивления к блестящей ничтожности, к позлащенным кумирам унижать пред сынами земли, любимцами слепого счастия, своего достоинства, своего великого сана, своего высокого

рода, ты, избранник божий, гражданин неба, вельможа вселенной!..

И Ломоносов не изменил своему назначению: вся жизнь его была прекрасным подвигом, беспрерывною борьбою, беспрерывною победою. Голова ходит кругом от мысли, что́ было сделано в России до Ломоносова и что́ он должен был сделать и что́ сделал. Петр Великий, прежде нежели завел в России первую типографию, должен был сам нарисовать формы новых букв, прежде нежели увидел первый печатный лист, должен был своими державными руками править корректуру; прежде нежели увидел обученное войско, должен был собою показать идеал солдата, идеал повиновения; прежде нежели увидел успех военных укреплений и флота, должен был сам быть и кузнецом, и плотником, и слесарем, и столяром, словом, всем. Так и Ломоносов: он все должен был сам сделать, всему положить начало; строя дом, должен был делать и подмостки, обжигать кирпичи и растворять известь. До него существовала только русская азбука, но не было русского языка, и только после него стал возможен в России раздел ученых и литературных трудов. И вот он пишет грамматику, которая уже не годится для нашего времени, но лучше которой еще не являлось у нас *; дает законы языку и утверждает их образцами. Какой же можно требовать художественности от его стихотворений и его похвальных слов, когда они написаны были не столько по призыву вдохновения, не столько из бессознательной потребности творить, сколько по призыву нужды, сколько по сознательному желанию дать образцы литературы и проверить на практике теорию языка и стихосложения. И как он успел в последнем! Введенное им стихосложение осталось навсегда в русском стихотворстве, и стихи его по гармонии, гладкости, правильности языка гораздо выше его прозы, в которой он старался подделаться под склад и конструкцию латинской прозы. Мы даже думаем, что Ломоносов был человек с решительным талантом к поэзии: кроме ярких, хотя и немногих, проблесков истинной поэзии, в его одах есть строфы, как будто написанные десять лет назад тому. Конечно, в наше время звучный и гладкий стих уже не есть несомненный признак таланта, но тогда, во времена Кантемиров, Тредияковских, Сумароковых, тогда одно внешнее достоинство ломоносовских стихов могло ручаться за неподдельное внутреннее достоинство. В самом деле, когда у нас стали даже и бездарные люди писать гладкими и звучными стихами? После Пушкина — и я заключаю из этого, что даже внешняя сторона искусства доступна только одному таланту и уже не прежде, как после его подвига, она делается достоянием рутинеров. Риторика Ло-

* Я сказал страшное слово: за него досталось уже и автору «Михаила Васильевича Ломоносова»: один *грамматический* журналист [2] очень рассердился на его прекрасное произведение, вероятно, за мысль, что у нас еще и теперь нет грамматики, которая была бы лучше Ломоносовой. В самом деле: Ломоносов и *грамматический* журналист — соперники, а похвалить одного соперника значит обидеть другого: как же быть так неосторожным!..

моносова тоже была великою заслугою для своего времени; если она теперь забыта, то не потому, чтобы мы имели риторики выше ее по достоинству, а потому, что теперь риторика в том значении, какое дают ей как науке, научающей красно писать, сделалась исключительным достоянием педантов, глупцов и считается за такую же науку, как алхимия и астрология. Ломоносов был не только поэтом, оратором и литератором, но и великим ученым. Обширная область естествознания сильно манила его пытливый ум, и не вотще, по прекрасному выражению г. Полевого [3], «в виде Ломоносова, Россия стучалась в двери Вольфа [4], с жаждою науки и знания...» [5] Он всем занимался с жаром, любовию и успехом. И сколько трудов должен был во всем преодолеть! Он пристрастился, например, к мозаике, и что ж? принужден был сам отливать разноцветные стекла! Кроме того, сам делал, как позволяли ему средства, физические инструменты. Тогда не то, что ныне, тогда Академия наук была беднее всякой нынешней гимназии. Да об Академии тогда и не очень заботились, она была, как и самое просвещение, род какого-то парада для торжественных дней — форма, вывезенная из Европы без идеи. План основания Академии принадлежит Петру Великому, и, если бы провидение допустило его осуществить этот план, тогда Академия видела бы заботы и попечения о себе и, по крайней мере, не нуждалась бы в пособиях; но после Петра, до Екатерины II, смотрели на Академию как на место, в котором говорятся торжественные речи в торжественные дни, не больше. Даже просвещенное покровительство благородного Шувалова [6] немного давало Ломоносову средств к возвышению этого единственного ученого общества в России. Шувалов также не всегда мог защищать Ломоносова от подлецов-рутинеров, Тредияковских и проч. Академическая канцелярия была сильнее целой Академии, подьячие были сильнее академиков...

Не прекрасна ли такая жизнь? Не интересен ли такой человек? Или, лучше сказать, не должны ли такие люди составлять предмет живейшего любопытства, глубокого благоговения для всех народов вообще и для своего в особенности? Не есть ли Ломоносов одна из самых ярких народных слав? Ученый, поэт и литератор, не по случаю, а по призванию, он преодолел тысячи препятствий и во всю жизнь остался человеком, ученым-тружеником, а не сделался, когда улыбнулось ему мирское счастие, вельможею, знатным барином... Как резка разница между гением и простым дарованием! Карамзин был с большим дарованием, много сделал для русской литературы, но как Ломоносов-то был выше его! Один, без средств, без способов находит все сам, борется на каждом шагу; другой, воспитанник Новикова [7], подготовленный к немецкому образованию, сбивается с своего пути и, знакомый с немецкою и английскою литературами, увлекается пустым блеском «светской» французской литературы, «светской» французской учености и остается ей верен при общем перевороте ученых и литературных идей, при решительном отступничестве Франции самой

от себя и решительном перевесе германской мыслительности. Потом один, с пустыми вспоможениями, с малым достатком, проводит всю жизнь в укромной тиши кабинета и выходит из него только к Шувалову, и то в надежде «какого-нибудь обрадования по своим справедливым для пользы отечества прошениям», трудится над полем глухим, заросшим, к которому от века не прикасалась нога человеческая, и творит из ничего; другой, со всеми средствами, принимается за поле еще не обработанное, не засеянное, но уже подвергшееся хотя первоначальной разработке, продолжает свое прекрасное дело с успехом, который замечают, ободряют, и он, взысканный признательностию и милостями, оканчивает свое дело уже как бы ex-officio [8], делается светским человеком, вельможею...

Доселе у нас не было биографии Ломоносова, все известия о его жизни являлись в разбросанных отрывках, там и сям. Г-н К. Полевой решился пополнить этот важный недостаток в нашей литературе и выполнил свое намерение с блестящим успехом. Его книга не роман и не биография в точном смысле этого слова. Настоящей биографии Ломоносова не может и быть, потому что этот необыкновенный человек не оставил по себе никаких записок, современники его тоже не позаботились об этом. Да и как требовать от них этого: они смотрели на Ломоносова не как на гениального человека, а как на беспокойную и опасную для общественного благосостояния голову; посредственность ничем так жестоко не оскорбляется, как истинным превосходством, и во всякого рода превосходстве видит буйство и зажигательство... Итак, может быть только хронологический перечень сочинений Ломоносова, с обозначением событий его жизни, но полная картина жизни гениального человека исчезла навсегда. Чтобы представить ее, нужно дополнить, расцветить воображением известные факты, оттушевать фантазиею сухой очерк. Так и сделал г. Полевой. Он не позволил себе ни одного вымышленного факта; у него есть вымысел, но он состоит в расцветлении живыми подробностями какого-нибудь известного факта.

...Мы уже сказали, что это и не роман и не биография в точном смысле этих слов; но это дело и ума и фантазии, это поэтическая биография, принадлежащая и к науке и к искусству,— род совершенно новый, оригинальный.

Да — мы чистосердечно и добросовестно можем сказать, что книга г. Ксенофонта Полевого есть приятное явление в нашей литературе, прекрасный подарок публике. Мы особенно рекомендуем ее молодому поколению, из среды которого готовятся будущие деятели на ниве человеческой мысли: оно найдет для себя высокие уроки в этой книге, оно увидит в жизни Ломоносова свой долг и свое назначение, оно узнает из нее, что только в честной и бескорыстной деятельности заключается условие человеческого достоинства, что только в силе воли заключается условие наших успехов на избранном поприще. Не всякому природа дает гений, не всякому назначено быть Ломоносовым, но и без гения у человека

может быть стремление к благу и добрая, если не сильная воля, а с стремлением к благу и доброю волею всякий может выполнить свое назначение на поприще деятельности, отмежеванном природою и указанном сознанием своей способности! Зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное зрелище: оно возвышает душу, мирит с жизнью, возбуждает деятельность!..

# О ДЕТСКИХ КНИГАХ

## Подарок на новый год. Две сказки Гофмана для больших и маленьких детей. С.-Петербург. 1840. Детские сказки дедушки Иринея. Две части. С.-Петербург. 1840 *. О воспитании детей вообще.— Как должны писаться детские книги...— О двух детских сказках Гофмана.— О «Детских сказках дедушки Иринея» [1]

Самые, по-видимому, простые и обыкновенные предметы часто бывают в своей сущности самыми важными и великими. Все говорят, например, о важном влиянии воспитания на судьбу человека, на его отношения к государству, к семейству, к ближним и к самому себе; но многие ли понимают то, что говорят? Слово еще не есть дело; всякая истина, как бы ни была она несомненна, но если не осуществляется в делах и поступках произносящих ее — она есть только слово, пустой звук,— та же ложь. Посмотрите внимательнее на отношения родителей к детям, детей к родителям, словом, посмотрите внимательнее на воспитание — и у вас сердце обольется кровью. Ребенок ест что ни попало и сколько хочет: что нужды! — говорят нежные родители: ведь он еще дитя! Ребенок мучит собаку или колотит дворового мальчишку: что нужды! — восклицают заботливые родители,— ведь он еще дитя! Дети ссорятся, кричат между собою, и если их крик, брань и слезы не мешают папеньке и маменьке соснуть после обеда или поговорить с гостями,— что нужды, ведь они дети, пусть себе ссорятся и кричат; вырастут велики, не будут ссориться и кричать! Перебранившись, а иногда и передравшись друг с другом, дети прибегают к отцу и матери с жалобою друг на друга — и! помилуйте! Стоит ли разбирать детские ссоры! Если вы строги, дайте всем по щелчку

* Чтобы не показалось для многих странным, что вместе с известною публике книгою мы разбираем книгу, которая еще не вышла в свет, спешим предуведомить наших читателей, что в двух частях «Детских сказок дедушки Иринея», которые уже приготовлены к печати и скоро будут изданы, нет ни одной, которая бы не была уже напечатана: почему при разборе их мы и указываем, где каждая была помещена [2].

или пересеките всех розгами, *чтоб никому не было завидно;* если вы добры к детям или воспитываете их *на благородную ногу,* дайте им игрушек или сластей, да, перецеловав их, вышлите от себя, чтобы они опять пошли браниться и драться. Ребенок не учится, не хочет и слышать, чтоб взять в руки книгу: что за нужда, ведь он еще дитя — подрастет, будет поумнее, так станет и учиться! Ребенок хватается за всякую книгу, какая ему ни попадется, хотя бы то была анатомия с картинками или Аретин с гравюрами: что за нужда — ведь он еще дитя! Благо, что охота к книгам есть — пусть лучше навыкает читать, чем резвиться! Учитель говорит отцу, что грамматика, которую он купил для сына, не годится, что она или уж устарела, или бестолкова, бессмысленна, что ее не понимает сам автор, не знающий ни духа, ни характера языка: это еще что за новости! — восклицает опытный и благоразумный родитель: ведь он дитя — для него всякая книга годится, а за эту я заплатил деньгами, стало быть, хороша!.. А между тем заговорите с «дражайшими родителями» о детях и воспитании, сколько общих фраз, сколько ходячих истин наговорят или *нарезонерствуют* они вам! «Ах, дети! да! как тяжко иметь детей! сколько забот! надо вырастить да и воспитать! Мы ничего не щадим для воспитания своих детей! Из последних сил бьемся! Я отдал своих в училище, покупаю книги — тьма расходов! А мы для своих приискали *мадам* (или мамзель — провинциальные названия *гувернанты!),* чтоб они и по-французски знали и на фортепьянах играли!» В добрый час, дражайшие родители!..

Но это еще только одна сторона воспитания или того, что так ложно называют воспитанием. Это еще только воспитание, как обыкновенно говорится, на волю божию, а в самом-то деле на волю случая — воспитание природное, воспитание не в переносном, а в этимологическом значении этого слова, т. е. *воскормливание,* воспитание простонародное, мещанское. Есть еще воспитание попечительное, деликатное, строгое, благородное. В нем на все обращено внимание, ни одна сторона не забыта. При этом воспитании дитя ест и вовремя и в меру, перед обедом непременно ходит гулять с гувернером и гувернанткой, умеренно резвится, занимается гимнастическими упражнениями на красивых вешалках, столбах, перекладинах, по часам учится, в определенную пору встает и ложится. Физическое воспитание в гармонии с нравственным: развитию здоровья и крепости тела соответствует развитие умственных способностей и приобретение познаний. А форма — о, это самое изящество! При опрятности царствует простота и неизысканность, соединенные с благородством, достоинством, хорошим вкусом и хорошим тоном. И это отражается во всем: и в одежде, и в манерах. Одно то чего стоит, что дитя умеет уже скрывать свои чувства, не хвататься жадно за то, чего жадно желает, не обнаруживать удивления и радости к тому, что возбуждает в нем удивление и радость, словом — приличию и тону жертвовать всеми своими чувствами, даже самыми святыми, самыми человеческими!.. Короче: даже китайские мандарины, эти высокие

идеалы и образцы природы, искаженной и умершей от искусственности, даже китайские мандарины ничто пред этими милыми, благовоспитанными детьми... И если жизнь человеческая есть театральная сцена или салон и если *казаться* есть цель человеческой жизни, то в этом образе воспитания мы нашли норму воспитания. В самом деле, что может быть прекраснее и очаровательнее, например, светской девушки? — Она скорее согласится тысячу раз умереть, нежели один раз в жизни в глазах света показаться смешною, т. е. прийти в восторг от создания искусства, от созерцания явлений природы или от рассказа о высоком подвиге и всего, от чего плачут и чем восхищаются люди дурного тона. Она столько же развязна и свободна, сколько и грациозна; ничему не удивляясь, она ничего не испугается и ни от чего не придет в смущение. В ней всегда такое спокойствие, такая ровнота духа, все так соразмерно и прилично... А сколько в ней талантов, которых она не выставляет на вид, как какая-нибудь провинциалка, но за которые она часто слышит себе «charmant!» [3]. Ко всему этому какая у ней чистая душа, какое нравственное сердце: она уже невеста — а кроме Бульи и Беркена еще ничего не читала, и произнесите при ней имя Шекспира, она с милою наивностью спросит вас: «Mais qu'est ce que c'est?» [4]— а когда вы начнете говорить о Шекспире, она с такой милою рассеянностью, с таким достоинством и так неожиданно для вас повернет разговор на погоду или на последний бал. Виктора Гюго и Поль де Кока она будет читать уже после замужества, а пока довольно с нее Бульи и Беркена. Оно и хорошо: Шиллер, Гете, Байрон, Гофман, Шекспир, Вальтер Скотт, Пушкин опасны для юного девственного сердца: чего доброго, они взволнуют его какими-то странными желаниями, неясными мечтаниями, произведут в девушке экстаз, экзальтацию, дадуют ей какую-то внутреннюю поэтическую жизнь,— и вот — долго ли до греха! — девушка встречает на земле какую-то родную душу, без копейки за душою —

И жизнь могучая дает
И пышный цвет, и сладкий плод,—

как сказал Пушкин...[5]

Мечтать и любить — предаться человеческой страсти — да что же скажет свет?.. Нет, не такова благовоспитанная девушка высшего тона: она может выдвинуться из толпы, но красотою, если бог наградил ею, нарядом, если ее *papa* богаче других, но не душою, не сердцем и не другими мещанскими странностями. Она выйдет замуж; даже если и другие не похлопочут об этом, сама все устроит, но это замужество будет блестящее, способное возбуждать зависть, а не толки. Вот что делает истинное воспитание из девушек! А юноши? — О, об них я боюсь и говорить: все они — и умные и глупые, и ученые и невежды — все они с таким философским равнодушием смотрят на жизнь, в которой для них нет ничего ни таинственного, ни удивительного, ни непостижного; все они с такою «львиною» наглостию наводят на вас свой лорнет...

прекрасные молодые люди!.. А как свободно, с какою небрежностью говорят они по-французски — словно на родном языке, и как мило не умеют сказать двух русских фраз, написать русской строки без орфографических ошибок — педантизма в них нет ни тени!..

Мы представили две крайности одной и той же стороны; но есть еще середина, которая, как все почти середины, часто бывает хуже крайностей. Мы говорим о воспитании того класса общества, которое на низшие смотрит с благородным презрением и чувством собственного достоинства, а на высшие с благоговением. Оно изо всех сил хлопочет быть их верною копиею; но, на зло себе, остается каким-то средним пропорциональным членом, с собственною характеристикою, которая состоит в отсутствии всякого характера, всякой оригинальности и которую всего вернее можно выразить *мещанством во дворянстве*. Непринужденность и милая наглость переходят у него в жеманство и кривлянье. Хороший тон — в обезьянничество. Смешно и жалко смотреть,

Как негодяй официант
Ломает барина в передней! [6]

Но это в сторону: дело в том, что в этом кругу общества воспитание состоит в том, чтобы убить в детях всякую жизнь и живость, сделать из них попугаев и милых кукол, о которых бы все говорили: ах, как хорошо они воспитываются!..

Воспитание! Оно везде, куда ни посмотрите, и его нет нигде, куда ни посмотрите *. Конечно, вы его можете увидеть даже во всех слоях общества, от самого высшего до самого низшего, но как редкость, как исключение из общего правила. Отчего же это? Да от того, что на свете бездна родителей, множество papas et mamans, но мало отцов и матерей. «Вот прекрасно! — восклицаете вы.— Какая же разница между родителями и отцом и матерью?» — Как какая? Взгляните летом на мух: какая бездна родителей, но где же отцы и матери? Грибоедов давно уже сказал:

Чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало! [7]

Право рождения — священное право на священное имя отца и матери,— против этого никто и не спорит; но не этим еще все оканчивается: тут человек еще не выше животного; есть высшее право — родительской любви. «Да какой же отец или какая мать не любит своих детей?» — говорите вы. Так, но позвольте вас спросить, что вы называете любовью? Как вы понимаете любовь? — Ведь и овца любит своего ягненка: она кормит его своим молоком и облизывает языком; но как скоро он меняет ее молоко на злак полей — их родственные отношения оканчиваются. Ведь и г-жа Простакова любила своего Митрофанушку: она нещадно била по щекам старую Еремеевну и за то, что дитя много кушало,

* Здесь разумеется только воспитание частное или домашнее.

и за то, что дитя мало кушало; она любила его так, что, если бы он вздумал ее бить по щекам, она стала бы горько плакать, что милое, ненаглядное детище больно обколотит об нее свои ручонки. Итак, разве чувство овцы, которая кормит своим молоком ягненка, чувство г-жи Простаковой, которая, бывши и овцою и коровою, готова еще сделаться и лошадкой, чтобы возить в колясочке свое двадцатилетнее дитя,— разве все это не любовь? — Да, любовь, но какая? Любовь чувственная, животная, которая в овце, как в животном, отличающемся и животною фигурою, имеет свою истинную, разумную, прекрасную и восхищающую сторону, но которая в г-же Простаковой, как в животном, отличающемся человеческою фигурою вместо овечьей, бессмысленна, безобразна и отвратительна. Далее: ведь и Павел Афанасьевич Фамусов любил свою дочь, Софью Павловну: посмотрите, как он хлопочет, чтобы повыгоднее сбыть ее с рук, подороже продать... Продать? — какое ужасное слово!.. Отец продает свою дочь, торгует ею, конечно, не по мелочи, но один раз навсегда, и не больше, как для одного человека, который будет называться ее мужем!.. Но ведь это он делает не для себя, а для ее же счастия! — скажут многие. Прекрасно! Но после этого и разбойник, который для приданого дочери зарежет перед ее свадьбою нескольких человек, будет прав, потому что сделает это из любви к дочери? После этого и иная матушка, которая, не желая видеть в нищете свою нежно любимую дочь, научит или принудит ее сделать выгодный промысел из своей красоты, тоже будет права, потому что поступит так из любви к дочери?.. И разве этого не бывает в самом деле? Разве старый подьячий, закореневший в лихоимстве и казнокрадстве, не поставлял первым и священным долгом своего родительского звания передать свое подлое ремесло нежно любимому сынку? — Мы опять соглашаемся, что источник всего этого любовь, но *какая* — вот вопрос! Откуда она проистекает, куда она стремится, к кому обращается? Зачем зверь рвет и губит подобных себе, а в голоде пожирает собственных детей? — Затем, что он любит себя, а любовь к себе есть условие всякой индивидуальности, которая, в свою очередь, есть условие всякого бытия, основа и закон жизни. Зачем собака грызется с другою из-за брошенной кости? — Опять затем, что любит себя. И нас не оскорбляет это в животных; по крайней мере, мы не виним их за это и не считаем злодеями и преступниками, потому что они живут и действуют под невольным, рабским влиянием животного инстинкта и, кроме сохранения и возрождения своей индивидуальности, не имеют никаких обязанностей. И человек, подобно животному, замкнут в своей индивидуальности и бессознательно следует данному ему природою инстинкту самосохранения и стремлению к улучшению своего положения; но неужели этим все и должно в нем оканчиваться? — Нет, разница человека с животными именно в том и состоит, что он только начинается там, где животные уже оканчиваются. Кроме обязанностей к себе он имеет еще обязанности к ближним; кроме инстинкта, который есть у животных, он имеет

еще чувство, рассудок, разум, которых нет у животных; будучи существом и растительным и животным, будучи плотским организмом, он есть еще и дух — искра и облик духа божия. Следовательно, и его любовь должна быть высшею ступенью той любви, которую мы видим во всей природе — от сродства стихий, от их безмолвного организирования в минерал, заключенный в недрах земли, от прозябания дольней лозы, возникающей из зерна, до животного, которое добровольно лишается жизни, с яростью защищая своих детей. Человек есть мир в малом виде: в его организме все стихии природы, первосущные ее силы, вся минеральная природа — металлы и земли; в жизни его организма все процессы природы — и минеральное сращение извне, и прозябаемая растительность, и животное развитие изнутри. Он является на свет животным, которое кричит, спит, ест и инстинктивно хватается за грудь и инстинктивно сердится, когда его от нее отнимают. Но уже с того мгновения, как язык его от безразличных междометий начинает постепенно переходить к членораздельным звукам и лепетать первые слова, в нем уже оканчивается животное и начинается человек, вся жизнь которого, до поры полного мужества, есть не что иное, как беспрерывное формирование, делание, становление (das Werden) полным человеком для полного наслаждения и обладания силами своего духа как средствами к разумному счастью. Еще младенец, припав к источнику любви — к груди своей матери, он останавливает на ней не бессмысленный взгляд молодого животного, но горящий светом разума, хотя и бессознательного; он улыбается своей матери — и в его улыбке светится луч божественной мысли. Во всех проявлениях его любви просвечивает не простое, инстинктивное, но уже не чуждое смысла и разумности чувство: еще ноги его слабы, он не может сделать ими шага для вступления в жизнь, но уже любовь его выше любви животной. Так неужели после этого любовь родителей, существ вполне развившихся, должна оставаться при своей естественности и животности, не способных отделиться от самих себя и перейти за околдованную черту замкнутой в себе индивидуальности? Нет, всякая человеческая любовь должна быть чувством, просветленным разумною мыслью, чувством одухотворенным. Но что же такое любовь? — Это жизнь, это дух, свет луча: без нее все — смерть, при самой жизни, все — материя, при самом органическом развитии, все — мрак, при самом зрении. Любовь есть высшая и единая действительность, вне которой все — призраки, обманывающие зрение, формы без содержания, пустота в кажущихся границах. Как огонь есть вместе и свет и теплота, так и любовь есть осуществившийся, явленный разум, осуществившаяся, явленная истина. Ею все держится, и весь мир — ее явление. В природе она разлита, как электричество: в духе является разумною мыслью, в самой себе носящею силу своего проявления в благом действии. И потому человек, полный ею, сильнее Самсона: с мучениками первых времен христианской церкви бестрепетно шел к диким зверям и, объятый пожирающим

пламенем, пел гимны богу живому и бессмертному, он из рыбаря становился ловцом человеков. Любовь столь сильна, что творит непостижимое, торжествует над вечно неизменными условиями пространства и времени, над бессилием плоти, младенцу дает львиную силу...

Истина выше человека как личности; чтоб быть достойным имени человека, он должен сделаться сосудом истины. Но истина не дается человеку вдруг, как его законное обладание: он должен достигать ее трудом, борьбою, лишениями и страданием, и вся жизнь его должна быть стремлением к истине. Личность человеческая есть частность и ограниченность: только истина может сделать ее общим и бесконечным. Поэтому первое и основное условие достижения истины есть для человека отлучение от самого себя в пользу истины. Отсюда происходят добровольные лишения, борьба с желаниями и страстями, неумолимая строгость к своему самолюбию, готовность к самообвинению пред истиною, самоотвержение и самопожертвование: кто не знал и не испытал в своей жизни ничего этого, тот не жил в истине, не жил в любви.

Теперь взглянем с этой точки на любовь родительскую.

Отец и мать любят свое дитя, потому что оно их рождение. Родство крови есть первая и в то же время священная основа любви, ее исходный пункт, от которого движется ее развитие. Восставать против этого могут только или отвлеченные умы, рассудочные люди, не способные проникнуть ни в какую живую, явленную истину, или сердца холодные, сухие, мертвые, если не порочные и не развратные. Но, повторяем, естественная любовь, основывающаяся на одном родстве крови, еще далеко не составляет того, чем должна быть человеческая любовь. Из родства крови и плоти должно развиться родство духа, которое одно прочно, крепко, одно истинно и действительно, одно достойно высокой и благородной человеческой природы. Посмотрите: сколько на свете дурных детей, которые теряют к родителям всякую любовь, но оказывают к ним только внешнее, формальное уважение, как скоро избавляются, летами и обеспечением своего состояния, от их власти и влияния, и к тому же не ждут себе никакого наследства после их смерти. Сколько бывает в свете ужасных примеров детей, не оказывающих родителям даже и внешнего уважения, требуемого общественными приличиями, даже детей, оскорбляющих своих родителей, если те не решаются прибегнуть к гражданскому закону... Страшное, возмущающее душу зрелище! Бедные родители, несчастные дети! Да, *несчастные,* и, жалея о первых, не спешите проклинать последних, но подумайте о том, природа ли создает извергов или воспитание и жизнь делает их такими? Мы не отвергаем, чтобы природа не производила людей, наклонных к пороку, но мы вместе с тем крепко убеждены, что такие явления возможны как исключения из общего правила и что нет столь дурного человека, которого бы хорошее воспитание не сделало лучшим. Горе дурным детям! Почему бы они ни сде-

лались такими — от дурного ли воспитания, по вине родителей или от случайных обстоятельств,— но они несчастны, потому что не знают счастья сыновней любви и не могут иметь надежду вкусить счастие любви родительской. Но тем не менее должно вникать в причины их нравственного искажения, если не для оправдания их, то для оправдания истины, которая выше всего, даже родителей, и для поучительного примера, в предотвращение таких возмущающих душу явлений... Вся жизнь отца и матери, всякий поступок их должен быть примером для детей, и основою взаимных отношений родителей к детям должна быть любовь к истине, но не к себе. Есть отцы, которые любят детей для самих себя,— и в этой любви есть своя истинная и разумная сторона; есть отцы, которые любят своих детей для них самих,— и эта любовь выше, истиннее, разумнее; но при этих двух родах любви есть еще высшая, истиннейшая и разумнейшая любовь к детям — любовь в истине... Любит ли отец своего сына, если заставляет его смотреть с уважением на свои дурные и безнравственные поступки как на благородные и разумные? Не все ли это равно, что требовать от дитяти, чтобы оно вопреки своему зрению белое называло черным, а черное белым? Тут нет любви, тут есть только самолюбие, которое свою личность ставит выше истины. А между тем у ребенка всегда будет столько смысла, чтобы, видя, как его маменька колотит по щекам девок или как его папенька напивается пьян и дерется с маменькою, понимать, что это дурно. Конечно, приучая к таким сценам с малолетства и толкуя, что это хорошо, можно наконец уверить ребенка, что в сем-то и состоит истинная жизнь; но это значит развратить, погубить его: где ж тут любовь? — Тут только самолюбие, которое в своих детях хочет видеть собственное безобразие, чтобы не иметь в них себе строгих, хотя и безмолвных, судей. Вопреки законам природы и духа, вопреки условиям развивающейся личности отец хочет, чтобы его дети смотрели и видели не своими, а его глазами; преследует и убивает в них всякую самостоятельность ума, всякую самостоятельность воли, как нарушение сыновнего уважения, как восстание против родительской власти,— и бедные дети не смеют при нем рта разинуть, в них убита энергия, воля, характер, жизнь, они делаются почтительными статуями, заражаются рабскими пороками — хитростию, лукавством, скрытностию, лгут, обманывают, вывертываются... Китайцы, поставляющие красоту женских ног в миниатюрности, зашивают у девочек ноги в сырую воловью шкуру и снимают ее, когда уже девочки становятся девушками: ножки в самом деле крошечные, только кривы, изогнуты, уродливы, и женщина может ходить только в комнате, и то опираясь о стены и на мебель. Таковы результаты остановленной в свободном развитии природы! Таковы же бывают и результаты остановленного в естественном и самобытном развитии духа! Но что сказать о тех родителях, которые имеют несчастное убеждение, что для пользы и счастия своих детей они обязаны управлять теми их склонностями, которые решают счастье или несчастье целой жизни человека?

И как часто случается, что прекрасная девушка, с глубокою душою, любящим сердцем, по какому-нибудь случаю получившая, на свою пагубу, хорошее воспитание, созданная украсить, озолотить, осчастливить жизнь избранного ею, который бы понял ее, выдается силою родительской власти за какое-нибудь грубое животное с человеческим обликом и гибнет безмолвною жертвою тайного, никем не понятого страдания!.. Бедная, ей даже не на кого жаловаться: ее погубили из любви же к ней, из искреннего желания ей добра и счастья... Горе человеку, когда его участь в руках злодеев, и такое же горе ему, когда его участь в руках добрых, но пошлых и глупых людей!.. Бедные женщины чаще всего испытывают на себе несомненность этой горькой истины... Молодой человек, принужденный избрать чуждую своему призванию дорогу жизни, рано или поздно, хоть с утратою сил души, хоть с обрезанными крыльями, но еще вылетает на желанную свободу, а женщины!.. Но что сказать о тех родителях, которые торгуют счастьем своих детей, спекулируют ими на богатство, на знатность, да еще действуют при этом во имя нравственности, любви и своих священных родительских обязанностей к детям?.. Но оставим этот ужасный предмет, от которого возмущается и содрогается человеческая природа, будто при виде удава или гремучей змеи...

Разумная любовь должна быть основою взаимных отношений между родителями и детьми. Любовь предполагает взаимную доверенность,— и отец должен быть столько же отцом, сколько и другом своего сына. Первое его попечение должно быть о том, чтобы сын не скрывал от него ни малейшего движения своей души, чтобы к нему первому шел он и с вестью о своей радости или горе, и с признанием в проступке, в дурной мысли, в нечистом желании, и с требованием совета, участия, сочувствия, утешения. Как грубо ошибаются многие, даже из лучших отцов, которые почитают необходимым разделять себя с детьми строгостью, суровостью, недоступною важностью! Они думают этим возбудить к себе в детях уважение и в самом деле возбуждают его, но уважение холодное, боязливое, трепетное и тем отвращают их от себя и невольно приучают к скрытности и лживости. Родители должны быть уважаемы детьми, но уважение детей должно проистекать из любви, быть ее результатом, как свободная дань их превосходству, без требования получаемая. Ничто так ужасно не действует на юную душу, как холодность и важность, с которыми принимается горячее излияние ее чувства, ничто не обливает ее таким умертвляющим холодом, как благоразумные советы и наставления там, где ожидает она сочувствия. Обманутая таким образом в своем стремлении раз и другой, она затворяется в самой себе, сознает свое одиночество, свою отдельность и особность от всего, что так любовно и родственно еще недавно окружало ее, и в ней развивается эгоизм, она приучается думать, что жизнь есть борьба эгоистических личностей, азартная игра, в которой торжествует хитрый и безжалостный и гибнет неловкий или совестливый. Открытая душа младенца или юноши — светлый ручей, отражаю-

щий в себе чистое и ясное небо; запертая в самой себе, она — мрачная бездна, в которой гнездятся нетопыри и жабы... Если же не это, может случиться другое, индивидуальность человеческая по своей природе не терпит отчуждения и одиночества, жаждет сочувствия и доверенности подобных себе,— и дети сдружаются между собою, составляют род общества, имеющего свои тайны, общими и соединенными силами скрываемые, что никогда до добра не доводит. Это бывает еще опаснее, когда друзья избираются между чужими, и тем более, когда избранный друг старше избравшего: он берет над ним верх, приобретает у него авторитет и передает ему все свои наклонности и привычки,— что же, если они дурны и порочны?.. Нет! первое условие разумной родительской любви — владеть полною доверенностью детей, и счастливы дети, когда для них открыта родительская грудь и объятия, которые всегда готовы принять их, и правых и виноватых, и в которые они всегда могут броситься без страха и сомнения!

Юная душа, не испытавшая еще отчуждения и сомнения, вся открыта наружу; она не умеет любить в меру, но предается предмету своей любви беззаветно и безусловно, видит в нем идеал всевозможного совершенства, высший образец для своих действий, верит ему со всем жаром фанатика. И что же, если такая любовь устремлена к родителям, соединяясь с естественною, кровною любовью к ним! О, для таких детей высочайшее счастие как можно чаще быть в присутствии родителей, иметь свидетелями своих игр и резвостей, обращаться к ним в недоразумениях, избирать их в посредники между собою в своих маленьких ссорах и неудовольствиях! Нужно ли доказывать, что при *таком* воспитании родители одною лаской могут делать из своих детей все, что им угодно; что им ничего не стоит приучить их с малолетства к выполнению долга — к постоянному, систематическому труду в определенные часы каждого дня (важная сторона в воспитании: от упущения ее много губится в человеке!)? Нужно ли говорить, что таким родителям очень возможно будет обратить труд в привычку, в наслаждение для своих детей, а свободное от труда время — в высшее счастие и блаженство? Еще менее нужно доказывать, что при таком воспитании совершенно бесполезны всякого рода унизительные для человеческого достоинства наказания, подавляющие в детях благородную свободу духа, уважение к самим себе и растлевающие их сердца подлыми чувствами унижения, страха, скрытности и лукавства. Суровый взгляд, холодновежливое обращение, косвенный упрек, деликатный намек, и уже много-много, если отказ в прогулке с собою, в участии слушать повесть или сказку, которую будет читать или рассказывать отец или мать, наконец, арест в комнате — вот наказания, которые, будучи употреблены соразмерно с виною, произведут и сознание, и раскаяние, и слезы, и исправление. Нежная душа доступна всякому впечатлению, даже самому легкому: у ней есть тонкий инстинкт, по которому она сама догадывается в неловкости своего положения, если подала к нему повод; душа грубая,

привыкшая к сильным наказаниям, ожесточается, черствеет, мозолится, делается бысстыдно бессовестною — и ей уж скоро нипочем всякое наказание. Нужно ли говорить, что *такое* воспитание легко и возможно, но требует всего человека, всего его внимания, всей его любви? Отцы, которых вся жизнь сосредоточена в детях, отдана им без раздела,— редкие явления, но для них-то и говорим мы, к ним и обращаем речь нашу,— и дай бог, чтобы она принята была ими с такой же любовию и искренностию, с какими мы обращаемся к ним!.. Все же не *такие* могут нам не верить и даже смеяться над нами, если им это заблагорассудится... В добрый час!..

Воспитание — великое дело: им решается участь человека. Молодые поколения суть гости настоящего времени и хозяева будущего, которое есть их настоящее, получаемое ими как наследство от старейших поколений. Как зародыш будущего, которое должно сделаться настоящим, каждое из них есть новая идея, готовая сменить старую идею... Но новое, чтоб быть действительным, должно исторически развиться из старого — и в этом законе заключается важность воспитания, и им же условливается важность тех людей, которые берут на себя священную обязанность быть воспитателями детей.

...Но общественное образование, преимущественно имеющее в виду развитие умственных способностей и обогащение их познаниями, совсем не то, что воспитание домашнее: то и другое равно необходимы, и ни одно другого заменить не может. Вот что говорит об этом великий германский мыслитель Гегель в своей торжественной речи на акте Нюрнбергской гимназии, обязанной его кратковременному управлению теперешним своим процветанием: «В связи с этим находится еще другой важный предмет, который ставит школу еще в бо́льшую необходимость опираться на домашние отношения учеников,— это *дисциплина*. Я здесь отличаю *воспитание* нравов от их *образования*. Целью учебного заведения может быть не воспитание, не дисциплина нравов в собственном смысле, а образование их и притом не со всеми средствами, к нему ведущими. Учебное заведение должно предполагать добрую нравственность в своих учениках. Мы должны требовать, чтобы ученики, вступающие к нам в школу, уже получили предварительное воспитание. По духу нравов нашего времени непосредственное воспитание не есть так, как у спартанцев, публичное, государственное дело; обязанность и забота воспитания лежит на родителях. Другое дело — сиротские дома или семинарии и вообще все заведения, которые обнимают целое существование юноши» [8].

Так! на родителях, на одних родителях лежит священнейшая обязанность сделать своих детей *человеками;* обязанность же учебных заведений — сделать их учебными, гражданами, членами государства на всех его ступенях. Но кто не сделается прежде всего *человеком,* тот плохой *гражданин*... Из этого видно, как важен, велик и священен сан воспитателя: в его руках участь целой жизни человека. Первые впечатления могущественно действуют

на юную душу: все дальнейшее ее развитие совершается под их непосредственным влиянием. Всякий человек, еще не родившись на свет, в самом себе носит уже возможность той формы, того определения, какое ему нужно. Эта возможность заключается в его организме, от которого зависит и его темперамент, и его характер, и его умственные средства, и его наклонность и способность к тому или другому роду деятельности, к той или другой роли в общественной драме,— словом, вся его индивидуальная личность. По своей природе, никто ни выше, ни ниже самого себя: Наполеоном или Шекспиром должно родиться, но нельзя сделаться; хороший офицер часто бывает плохим генералом, а хороший водевилист дурным трагиком. Это уже судьба, перед которою бессильна и человеческая воля и самые счастливые обстоятельства. Назначение человека — развить лежащее в его натуре зерно духовных средств, стать вровень с самим собою; но не в его воле и не в его силах приобрести трудом и усилием сверх данного ему природою, сделаться выше самого себя, равно как и быть не тем, чем ему назначено быть, как, например, художником, когда он родился быть мыслителем, и т. д. И вот здесь воспитание получает свое истинное и великое значение. Животное, родившись от льва и львицы, делается львом без всяких стараний и усилий со стоей стороны, без всякого влияния счастливого стечения обстоятельств; но человек, родившись не только львом или тигром, даже человеком в полном значении этого слова, может сделаться и волком, и ослом, и чем угодно. Часто, одаренный великими средствами на великое, он обнаруживает только дикую силу, которая служит ему не к чему иному, как к разрушению всего окружающего его и даже самого себя. И если бывают такие богатые и могучие натуры, которые собственною глубокостью и силою спасаются от погибели или искажения вследствие ложного, неестественного развития и дурного воспитания,— то все-таки нельзя же сомневаться в том, что те же самые натуры, но при нормальном развитии и разумном воспитании прямее дошли бы до своей цели, с силами свежими и не истощенными в тяжелой и бесплодной борьбе с случайными противоречиями. Разумное воспитание и злого по натуре делает или менее злым, или даже добрым, развивает до известной степени самые тупые способности и по возможности очеловечивает самую органическую и мелкую натуру: так дикое, лесное растение, когда его пересадят в сад и подвергнут уходу садовника, делается и пышнее цветом и вкуснее плодом. Не все родятся героями, художниками, учеными; гений есть явление вековое, редкое; сильные таланты тоже похожи на исключения из общего правила,— и в этом случае человечество есть армия, в которой может быть до миллиона рядовых солдат, но только один фельдмаршал, и в каждом полку только один полковник, и на сто рядовых один офицер. В такой же пропорции находится к большинству, или толпе, и число людей с глубокою и бесконечною натурою, которых назначение — не проявиться в каком-нибудь роде деятельности, составляющем

призвание гения и таланта, но все понимать, всему сочувствовать и все облагораживать и счастливить своим непосредственным влиянием. Природа не скупа, но экономна в своих дарах — и, как явление вечного разума, она строго соблюдает свой иерархический порядок, свою *табель о рангах*. Но всякое назначение природы имеет параллельное себе назначение в человечестве и в гражданском обществе,— потому всякий человек, с какими бы то ни было способностями, находит свое место в том и в другом. Не места людей, но люди унижают. Самое приличное место человеку то, к которому он призван, а свидетельство призвания — его способности, степень их, наклонность и стремление. Кто призван на великое в человечестве, совершай его: ему честь и слава, ему венец гения; кому же назначена тихая и неизвестная доля — умей найти в ней свое счастье, умей с пользою действовать и на малом поприще, умей быть достойным, почтенным и в скромной деятельности. Всякое желание невозможного — есть ложное желание; всякое стремление быть выше себя, выше своих средств, есть не благородный порыв сознающей себя силы, а претензия жалкой посредственности и бедного самолюбия украситься внешним блеском. Цель наших стремлений есть удовлетворение, и всякий удовлетворяется ни больше ни меньше, как тем, что ему нужно: а кто нашел свое удовлетворение на ограниченном поприще, тот счастливее того, кто, обладая большими духовными средствами, не может найти своего удовлетворения. Честный и по-своему умный сапожник, который в совершенстве обладает своим ремеслом и получает от него все, что нужно ему для жизни, выше плохого генерала, хотя бы он был сам Мелас[9], выше педанта-ученого, выше дурного стихотворца. Главная задача человека во всякой сфере деятельности, на всякой ступени в лестнице общественной иерархии — быть *человеком*. Но, умеренная на произведение великих явлений духовного мира, природа щедра до бесконечности на произведение людей и с душою, и с способностями, и дарованием, словом, со всем, что нужно человеку, чтоб быть достойным высокого звания человека. Люди бездарные, ни к чему не способные, тупоумные суть такое же исключение из общего правила, как уроды, и их так же мало, как и уродов. Множество же их происходит от двух причин, в которых природа нисколько не виновата: от дурного воспитания и вообще ложного развития, и еще от того, что редко случается видеть человека на своей дороге и на своем месте. Сознание своего назначения — трудное дело, и часто, если не натолкнут человека на чужую ему дорогу жизни, он сам пойдет по ней, руководимый или бессознательностью, или претензиями. Но если бы возможно было равное для всех нормальное воспитание, число обиженных природою так и ограничилось бы, что действительно обиженные ею прямо поступали бы в кунсткамеру в банки со спиртом. И потому воспитание по отношению к большинству приобретает еще бо́льшую важность: оно все — и жизнь и смерть, спасение и гибель.

Но воспитание, чтоб быть жизнью, а не смертью, спасением,

а не гибелью, должно отказаться от всяких претензий своевольной и искусственной самодеятельности. Оно должно быть помощником природе — не больше. Обыкновенно думают, что душа младенца есть белая доска, на которой можно писать что угодно, забывая, что каждый человек есть индивидуальная личность, которая может делаться и хуже и лучше — только по-своему, *индивидуально*. Воспитание может сделать человека только худшим, исказить его натуру; лучшим оно его не делает, а только помогает делаться. Если душа младенца и в самом деле есть белая доска, то качество и смысл букв, которые пишет на ней жизнь, зависят не только от пишущего и орудия писания, но и от качества самой этой доски. Человек ничего не может узнать, чего бы не было в нем, ибо вся деятельность, доступная его разумению, есть не что иное, как осуществившиеся законы его же собственного разума. И потому-то есть так называемые *врожденные идеи*[10], которые суть непосредственное созерцание истины, заключающееся в таинстве человеческого организма. Ребенка нельзя уверить, что $2 \times 2 = 5$, а не 4. А между тем есть истины и повыше этой, которых семя в душе человека, еще и не думавшего о них!..

Нет, не белая доска душа младенца, а дерево в зерне, человек в возможности! Как ни старо сравнение воспитателя с садовником, но оно глубоко верно, и мы не затрудняемся воспользоваться им. Да, младенец есть молодой, бледно-зеленый росток, едва выглянувший из своего зерна; а воспитатель есть садовник, который ходит за этим нежным, возникающим растением. Посредством прививки и дикую лесную яблоню можно заставить вместо кислых и маленьких яблок давать яблоки садовые, вкусные и большие; но тщетны были бы все усилия искусства заставить дуб приносить яблоки, а яблоню — желуди. А в этом-то именно и заключается по большей части ошибка воспитания: забывают о природе, дающей ребенку наклонности и способности и определяющей его значение в жизни, и думают, что было бы только дерево, а то можно заставить его приносить что угодно, хоть арбузы вместо орехов.

Для садовника есть правила, которыми он необходимо руководствуется при хождении за деревьями. Он соображается не только с индивидуальною природою каждого растения, но и со временами года, с погодою, с качеством почвы. Каждое растение имеет для него свои эпохи возрастания, сообразно с которыми он и располагает свои с ним действия: он не сделает прививки ни к стеблю, еще не сформировавшемуся в ствол, ни к старому дереву, уже готовому засохнуть. Человек имеет свои эпохи возрастания, не сообразуясь с которыми можно затушить в нем всякое развитие.

Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью — *человечность* (die Humanität). Мы разумеем здесь первоначальное воспитание, которое важнее всего. Всякое частное или исключительное направление, имеющее определенную цель в какой-нибудь стороне общественности, может иметь место толь-

ко в дальнейшем, окончательном воспитании. Первоначальное же воспитание должно видеть в дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но *человека,* который мог бы впоследствии быть тем или другим, не переставая быть *человеком.* Под *человечностью* мы разумеем живое соединение в одном лице тех общих элементов духа, которые равно необходимы для всякого человека, какой бы он ни был нации, какого бы он ни был звания, состояния, в каком бы возрасте жизни и при каких бы обстоятельствах ни находился,— тех общих элементов, которые должны составлять его внутреннюю жизнь, его драгоценнейшее сокровище и без которых он не человек. Под этими общими элементами духа мы разумеем доступность всякому человеческому чувству, всякой человеческой мысли, смотря по глубокости натуры и степени образования каждого. Человек есть разумно-сознательная сущность и орган всего сущего,— и отсюда получает свое глубокое и высокое назначение известное выражение «Homo sum, nihil mihi alienum humani puto», т. е. «Я человек — и ничего человеческого не считаю чуждым мне». Чем глубже натура и развитие человека, тем более он человек и тем доступнее ему все человеческое. Он поймет и радостный крик дитяти при виде пролетевшей птички, и бурное волнение страстей в вулканической груди юноши, и спокойное самообладание мужа, и созерцательное упоение старца, и жгучее отчаяние, и дикую радость, и безмолвное страдание, и затаенную грусть, и восторги счастливой любви, и тоску разлуки, и слезы отринутого чувства, и немую мольбу взоров, и высокость самоотвержения, и сладость молитвы, и все, что в жизни и в чем есть жизнь. Опыт и опытность не суть необходимое условие такой всеобъемлющей доступности, чтобы понять и младенца, и юношу, и мужа, и старца, и женщину, ему не нужно быть вместе с тем и другим, третьим; ему не нужно даже быть в том положении, которое интересует его в каждом из них; лишь бы представилось ему явление, а уж его чувство бессознательно откликнется на него и поймет его. На все будет у него и привет и ответ, и участие и утешение, чистая радость о счастии ближнего и сострадание в его горе, и улыбка на полный блаженства взор и слеза на горькие слезы! Ему понятна и возможность не только слабостей и заблуждений, но и самых пороков, самых преступлений: презирая слабости и заблуждения, он будет жалеть о слабых и заблуждающихся; проклиная пороки и преступления, он будет сострадать порочным и преступным. Его грудь равно открыта и для задушевной тайны друга, и для робкого признания юного, страждущего существа, и для души, томящейся обременительной полнотою блаженства, и для растерзанного страданием сердца, и для рыдающего раскаяния, и для самой ужасной повести страстей и заблуждений. Он уважит чувство и друга и недруга: для него святы горе и радость знакомого и незнакомого человека. С ним тепло и отрадно и своему и чужому; он во всех внушает такую доверчивость, такую откровенность. В его душе столько теплоты и *елейности,* в его словах такая кротость и задумчивость, в его манерах столько мяг-

кости и деликатности. Как отрадно бывает встретить в старике, который был лишен всякого образования, провел всю жизнь свою в практической деятельности, совершенно чуждой всего идеального, мечтательного и поэтического,— как отрадно встретить теплое чувство, не подавленное бременем годов и железными заботами жизни, любовь и снисхождение к юности, к ее ветреным забавам, ее шумной радости, ее мечтам, и грустным и светлым, и пламенным и гордым! Как отрадно увидеть на его устах кроткую улыбку удовольствия, чистую слезу умиления от песни, от стихотворения, от повести!.. О, станьте на колени перед таким стариком, почтите за честь и счастие его ласковый привет, его дружеское пожатие руки: в нем есть человечность! Он в миллион раз лучше этих сомневающихся и разочарованных юношей, которые увяли, не расцветши, этих почтенных лысин и седин, которые рутиною хотят заменить ум и дарования, холодным резонерством — теплое чувство, внешним и заимствованным блеском отличий — внутреннюю пустоту и ничтожность, а важными и строгими рассуждениями о нравственности — сухость и мертвенность своих деревянных сердец!..

Чтобы не повторять одного и того же, мы перейдем теперь к детским книгам — главному предмету нашей статьи и их характеристикою довершим нашу характеристику воспитания вообще.

На детские книги обыкновенно обращают еще менее внимания, чем на самое воспитание. Их просто презирают, и если покупают, то разве для картинок. Есть даже люди, которые почитают чтение для детей больше вредным, чем полезным. Это грубое заблуждение, варварский предрассудок. Книга есть жизнь нашего времени. В ней все нуждаются — и старые и молодые, и деловые и ничего не делающие; дети — также. Все дело в выборе книг для них, и мы первые согласны, что читать дурно выбранные книги для них и хуже и вреднее, чем ничего не читать: первое зло — положительное, второе — только отрицательное. Так, например, в детях с самых ранних лет должно развивать чувство изящного как один из первейших элементов человечности; но из этого отнюдь не следует, чтобы им можно было давать в руки романы, стихотворения и проч. Нет ничего столь вредного и опасного, как неестественное и несвоевременное развитие духа. Дитя должно быть дитятею, но не юношею, не взрослым человеком. Первые впечатления сильны,— и плодом неразборчивого чтения будет преждевременная мечтательность, пустая и ложная идеальность, отвращение от бодрой и здоровой деятельности, наклонность к таким чувствам и положениям жизни, которые не свойственны детскому возрасту. Юноши, переходящие в старость мимо возмужалости, отвратительны, как старички, которые хотят казаться юношами. Все хорошо и прекрасно в гармонии, в соответственности с самим собою. Всему своя чреда. Неестественно и преждевременно развившиеся дети — нравственные уроды. Всякая преждевременная зрелость похожа на растление в детстве. Искусство в той мере действительно для каждого, сколько каждый находит в нем

вали. Пусть ухо их приучается к гармонии русского слова, сердца преисполняются чувством изящного; пусть и поэзия действует на них, как и музыка, прямо через сердце, мимо головы, для которой еще настанет свое время, свой черед. Очень полезно, и даже необходимо, знакомить детей с русскими народными песнями, читать им, с немногими пропусками, стихотворные сказки Кирши Данилова [13]. Народность обыкновенно выпускается у нас из плана воспитания: часто не только юноши, но и дети знают наизусть отрывки из трагедий Корнеля и Расина и умеют пересказать десяток анекдотов о Генрихе IV, о Людовике XIV, а между тем не имеют и понятия о сокровищах своей народной поэзии, о русской литературе и разве от дядек и мамок узнают, что был на Руси великий царь — Петр I. Давайте детям больше и больше созерцания общего, человеческого, мирового; но преимущественно старайтесь знакомить их с этим чрез родные и национальные явления; пусть они сперва узнают не только о Петре Великом, но и о Иоанне III, чем о Генрихах, Карлах и Наполеонах. Общее является только в частном: кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству [14].

Книги, которые пишутся собственно для детей, должны входить в план воспитания как одна из важнейших его сторон. Наша литература особенно бедна книгами для воспитания в обширном значении этого слова, т. е. как *учебными*, так и *литературными* детскими книгами. Но эта бедность нашей литературы покуда еще не может быть для нее важным упреком. Посмотрите на богатые литературы французов, англичан и даже самих немцев: у всех у них детских книг много, но читать детям нечего или, по крайней мере, очень мало. У французов, например, писали для детей Беркен, Бульи, г-жа Жанлис и прочие, написали бездну, но дети от этого нисколько не богаче книгами для своего чтения. И это очень естественно: должно *родиться*, а не *сделаться* детским писателем. Это своего рода призвание. Тут требуется не только талант, но и своего рода гений... Да, много, много нужно условий для образования детского писателя: нужна душа благодатная, любящая, кроткая, спокойная, младенчески простодушная, ум возвышенный, образованный, взгляд на предметы просветленный, и не только живое воображение, но и живая, поэтическая фантазия, способная представить все в одушевленных, радужных образах. Разумеется, что любовь к детям, глубокое знание потребностей, особенностей и оттенков детского возраста есть одно из важнейших условий.

Целию детских книжек должно быть не столько занятие детей каким-нибудь делом, не столько предохранение их от дурных привычек и дурного направления, сколько развитие данных им от природы элементов человеческого духа — развитие чувства любви и чувства бесконечного. Прямое и непосредственное действие таких книжек должно быть обращено на чувство детей, а не на их рассудок. Чувство предшествует знанию; кто не почувствовал истины, тот и не понял и не узнал ее. В детском возрасте

чувство и рассудок в решительной противоположности, в решительной вражде, и одно убивает другое: преимущественное развитие чувства дает им полноту, гармонию и поэзию жизни; преимущественное развитие рассудка губит в их сердце пышный цвет чувства и выращивает в них пырей и белену резонерства. Детский ум, предаваясь отвлеченности, в живых явлениях природы и жизни видит одни мертвые формы, лишенные духа и сущности, и логические определения для него — скорлупа гнилого ореха, о которую только портятся зубы. Конечно, односторонность вредна и в воспитании, и детский рассудок требует развития, как и чувство; но развитие рассудка в детях предоставляется другой стороне воспитания — учению, школе [15]. Садясь за грамматику, ребенок уже вступает в мир отвлеченностей и логических построений и определений. Всему свое место, и ни одна сторона духа не должна мешать другой: пусть в классе развивается рассудок ребенка и приучается постепенно к строгости логической дисциплины; пусть ребенок рассуждает с учебником в руках, готовясь к классу; но лишь затворится за ним дверь класса, пусть он входит в поэтический мир действительных, образных явлений жизни, в «полное славы творенье»! Книга пусть будет у него книгою, а жизнь жизнию, и одно да не мешает другому! Увы, придет время — и скроется от него этот поэтический образ жизни, с розовыми ланитами, с сияющими от веселья взорами, с обольстительною улыбкою счастия на устах; подозрительный и недоверчивый рассудок разложит его на мускулы, кровь, нервы и кости и вместо прежнего пленительного образа покажет ему отвратительный скелет. В душе раздадутся тревожные вопросы — и как, и отчего, и почему, и зачем? Живые явления действительности превратятся в отвлеченные понятия... Поздравим его, если он с честию выдержит эту внутреннюю борьбу, если из порожденных разрывающею силою рассудка противоречий снова войдет в новое и выше прежнего, разумно-сознательное созерцание полноты жизни. Пожалеем о нем, если ему суждено будет навек остаться в односторонней ограниченности рассудочного созерцания жизни... Но пока он еще дитя, дадим ему вполне насладиться первобытным раем непосредственной полноты бытия, этою полною жизнию чистой младенческой радости, источник которой есть простодушное и целомудренное единство с природою и действительностию.

Итак, если вы хотите писать для детей, не забывайте, что они не могут *мыслить,* но могут только *рассуждать,* или, лучше сказать, *резонерствовать,* а это очень худо! Если несносен взрослый человек, который все великое в жизни меряет маленьким аршином своего рассудка и о религии, искусстве и знании рассуждает, как о посеве хлеба, паровых машинах или выгодной партии, то еще отвратительнее ребенок-резонер, который «рассуждает», потому что еще не может «мыслить». Резонерство иссушает в детях источники жизни, любви, благодати; оно делает их молоденькими старичками, становит на ходули. Детские книжки часто разви-

вают в них эту несчастную способность резонерства, вместо того чтобы противодействовать ее возникновению и развитию...

...Но резонерам крайне не нравятся подобные требования. В самом деле, кому приятно выслушивать свой смертный приговор, свое исключение из списка живущих? Вероятно, по этой же причине плохие стихотворцы терпеть не могут рассуждений о высших требованиях искусства: в них они видят свое уничтожение. Отнимите у резонера право пересыпать из пустого в порожнее моральными сентенциями — что же ему останется делать на белом свете? Ведь жизни, любви, одушевления, таланта не поднимешь с улицы, не купишь за деньги, если природа отказала в них. А резонерствовать так легко: стоит только запастись бумагою, пером и чернилами да присесть — а оно уж польется само! Какой поклонник Бахуса не в состоянии ораторствовать о пагубном влиянии крепких напитков на тело и душу и о пользе трезвости и воздержности? Какой развратник не наговорит короба три громких фраз о нравственности? Какой бездушный и холодный человек не в состоянии вкось и вкривь рассуждать о любви, благочестии, благотворительности, самопожертвовании и о прочих священных чувствах, которых у него нет в душе? Жизнь, теплота, увлекательность и поэзия суть свидетельства того, что человек говорит от души, от убеждения, любви и веры, и они-то электрически сообщаются другой душе. Мертвенность, холодность и скука показывают, что человек говорит о том, что у него в голове, а не в сердце, что не составляет лучшей части его жизни и чуждо его убеждению. Но, повторяем, для некоторых людей рассуждать легче, чем чувствовать, и пресная вода резонерства, которой у них вдоволь, для них лучше и вкуснее шипучего нектара поэзии, которого — бедняки! — они и не пробовали никогда. И вот один хочет уверить детей, что вставать рано очень полезно, ибо-де один мальчик, имевший привычку вставать с солнцем, нашел на поле кошелек с деньгами; а другой хочет уверить детей, что надо вставать поздно, ибо-де одна девочка, вставши рано, пошла гулять в сад, простудилась да и умерла. Один говорит детям — будьте поспешны, другой — не торопитесь, третий — будьте откровенны, ничего не скрывайте, четвертый — не все говорите, что знаете. Кому верить, кому следовать?.. Забавнее же всего, что все эти глубокие мысли подтверждаются случайными примерами, ровно ничего не доказывающими. Нет, моральные сентенции не только отвратительны и бесплодны сами по себе, но и портят даже прекрасные и полные жизни сочинения для детей, если вкрадываются в них! Вы рассказываете детям сказку или повесть; спрячьтесь за нее, чтоб вас было не видно, пусть все в ней говорит само за себя, непосредственным впечатлением. У вас есть нравственная мысль — прекрасно; не выговаривайте же ее детям, но дайте ее почувствовать, не делайте из нее вывода в конце вашего рассказа, но дайте им самим вывести: если рассказ им понравился или они читают его с жадностию и наслаждением — вы сделали свое дело. Здесь мы повторим мысль, уже высказанную в нашем журнале и

возбудившую негодование и ужас резонеров: «Не нужно никаких нагих мыслей, и, как язвы, берегитесь нравственных сентенций. Пусть основная мысль вашего рассказа деятельно движется, не давайте ей, для ней же самой, пробиваться наружу и выводить детскую душу из полноты жизни, из борьбы и столкновения частностей на отвлеченную высоту, где воздух редок и удушлив для слабой груди еще не созревшего человека; пусть мысль кроется во внутренней, недоступной лаборатории и там перерабатывает свое содержание в жизненные соки, которые неслышно и незаметно разольются по вашему рассказу»[16]. Не говорите детям о том, чего они еще не в состоянии понять своим умом; дайте им простое *катехизическое*[17] понятие о боге, по учению православной церкви, но не пускайтесь с ним в диалектические тонкости философских определений...

...Равным образом, не искажайте действительности ни клеветами на нее, ни украшениями от себя, но показывайте ее такою, какова она есть в самом деле, во всем ее очаровании и во всей ее неумолимой суровости, чтобы сердце детей, научаясь ее любить, привыкало бы в борьбе с ее случайностями находить опору в самом себе. В одной истине и жизнь, и благо: истина не требует помощи у лжи. И потому конец вашей повести может быть и несчастный, в котором добродетель страждет, а порок торжествует; но вы вполне достигните вашей нравственной цели, если юные сердца ваших маленьких читателей станут за страждущих и не позавидуют торжествующим, если на вопрос — на чьем бы хотели они быть месте? — они, не колеблясь, ответят, что на месте страждущих, но добрых. Не упускайте из виду ни одной стороны воспитания: говорите детям и об опрятности, о внешней чистоте, о благородстве и достоинстве манер и обращения с людьми; но выводите необходимость всего этого из общего и из высшего источника — не из условных требований общественного звания или сословия, но из высокости человеческого звания, не из условных понятий о приличии, но из вечных понятий о достоинстве человеческом. Внушайте им, что внешняя чистота и изящество должны быть выражением внутренней чистоты и красоты, что наше тело должно быть достойным сосудом духа божия... Уважение к имени человеческому, бесконечная любовь к человеку за то только, что он человек, без всяких отношений к своей личности и к его национальности, вере или званию, даже личному его достоинству или недостоинству, словом, бесконечная любовь и бесконечное уважение к человечеству даже в лице последнейшего из его членов (die Menschlichkeit) должны быть стихиею, воздухом, жизнью человека, а высокое выражение поэта —

При мысли великой, что *я человек,*
Всегда возвышаюсь душою[18]

девизом всей его жизни...

Но повести и рассказы не суть еще единственная и исключительная форма бесед с детьми. Вы можете еще и обогащать их

познаниями, расширять круг их созерцания действительности, знакомя их с бесконечным разнообразием явлений прекрасного божиего мира. Но и здесь одна цель — знакомство не с фактами, а с тем, так сказать, букетом жизни и духа, который скрывается в них и составляет их сущность и значение. Да, вам предстоит обширное и богатое поле: не говорю уже об источнике собственной вашей фантазии,— религия, история, география, естествознание — умейте только пожинать! Для детей предметы те же, что и для взрослых; только их должно излагать сообразно с детским понятием, а в этом-то и заключается одна из важнейших сторон этого дела! Какие богатые материалы представляет одна история! Показать душе юной, чистой и свежей примеры высоких действий представителей человечества, действительность добра и призрачность зла — не значит ли возвысить ее?.. надо одушевить для них весь мир и всю природу, заставить говорить языком любви и жизни и немой камень, и полевую былинку, и журчащий ручей, и тихо веющий ветер, и порхающую по цветам бабочку... Надо дать детям почувствовать, что все это бесконечное разнообразие имеет единую душу, живет одною жизнию и что жизнь природы является не только под тропиками, но и у полюсов, не только на земле, но и в недрах ее... Вот, например, это писано для взрослых, но мы уверены, что *музыка этого языка* будет доступна и для детей: «Там снежная, мертвая пустыня полюсов... Безотрадна там жизнь. Но эти пустыни имеют свои музыкальные вьюги, гуляющие с серебристою пылью по звонким, чистым, необозримым льдам. Там массивная лава металлов борется с могучим пламенем внутри земли... Она может пугать, но и самый испуг этот велик для души. Лава ревет, клокочет с шумом неподражаемой глубокой октавы и с изумительным грохотом и великолепием извергается из бездн своего тайного жилища. Вот глубь океана. Чувствуете ли, что океан можно олько любить? Что душе хотелось бы его измерить, постигнуть и заглянуть в пропасть морей? Душе весело, упоительно, что эта глубь воды не лежит в мертвой тишине, что в ней родина целой половины существ одушевленных, быстрых, могучих; им легок путь сквозь плотно слиянную массу волн; эти волны текут, то уходя на безвестное дно, то с плеском, слышимым нами, лобзая гранит берегов и снова уносясь в неизмеримый свой путь шумно и торжественно... Вот могущественный, вечно свободный ветер: наблюдайте этот ветер, возметающий прах земли! Он изумляет своими музыкальными вихрями, бурею и быстротою самую скорую мысль, волнует вершины лесов, поднимает горы средь океана, несет на своем хребте дикие облака, улетает из-под громов с воем и свистом и — исчезает» [19].

Самым лучшим писателем для детей, высшим идеалом писателя для них может быть только поэт. И таким явился один из величайших германских поэтов — Гофман в своих сказках: «Неизвестное дитя» и «Щелкун орехов и царек мышей», хотя и написанных не для детей собственно и годных для людей всех возрастов. Нисколько не удивительно, что странный, причудливый

и фантастический гений Гофмана ниспустился до сферы детской жизни: в нем самом так много детского, младенческого, простодушного, и никто не был столько, как он, способен говорить с детьми языком поэтическим и доступным для них! Сверх того, Гофман есть по-прежнему воспитатель людей, поэт юношества — почему же бы ему не быть и поэтом детства? Да, с тех пор как дети начинают переставать быть детьми и становятся юношами, Гофман должен быть их поэтом по преимуществу. Гофман — поэт фантастический, живописец невидимого внутреннего мира, ясновидящий таинственных сил природы и духа. Фантастическое есть предчувствие таинства жизни, противоположный полюс пошлой рассудочной ясности и определенности, которая в жизни видит математику, индюстриальность или сытый обед с трюфелями и шампанским. Фантастическое есть один из необходимейших элементов богатой натуры, для которой счастие только во внутренней жизни; следовательно, его развитие необходимо для юной души,— и вот почему называем мы Гофмана воспитателем юношества[20]. Но он вместе с тем бывает и губителем его, односторонне увлекая его в сферу призраков и мечтаний и отрывая от живой и полной действительности. Чтобы дать юной душе равновесие, Гофману не должно противопоставлять пошлую повседневность и его дюжинных представителей; но молодым людям должно читать все без исключения романы Вальтера Скотта и Купера, которые по светлому и верному взгляду на жизнь, по гениальной глубокости, а вместе с тем спокойствию и елейности духа заслуживают название представителей разумной действительности, поэтически воспроизведенной в великих художественных созданиях и непременно должны быть воспитателями юношества, хотя равно существуют и для возмужалости, и для старости.

Мы не будем говорить ничего о художественном достоинстве двух детских сказок Гофмана, ибо этот вопрос нисколько не относится к предмету нашей статьи; но взглянем на них только как на высокие образцы повестей для детского чтения.

Жил-был когда-то г. Тадеус Брокель, с женою и двумя детьми, в маленькой деревушке, доставшейся ему от отца. Повседневною одеждою он не отличался от своих крестьян (ровным счетом четыре души), но по праздникам надевал красивый зеленый кафтан и красный жилет, обложенный золотыми галунами, что, говорит Гофман, очень к нему шло. Домишко его крестьяне называли из вежливости за́мком. Но послушаем немного самого Гофмана, чтобы не опозорить его поэтического языка:

Всякий, конечно, знает, что за́мок есть большое здание, со многими окнами и дверьми, часто даже с башнями и блестящими флюгерами. Но ничего похожего не было видно на холме, где стояли березы. Там был один только низенький домик, со многими окошками, такими маленькими, что их нельзя было рассмотреть иначе, как подойдя близко к ним. Но если мы остановимся пред высокими воротами большого замка, то холодный ветер, вырывающийся оттуда, охватывает нас; мрачные взоры чудных фигур, при-

Какая чудесная, роскошная картина! Как все в ней просто, наивно и вместе бесконечно! Каждое слово так многозначительно, так полно жизни: из широких ворот большого за́мка так и веет на вас холодом и мраком, а маленький домик с его березами и виноградником так и манит вас к себе! Этот язык для детей еще доступнее, чем для взрослых; дайте им прочесть — и крики их радости покажут вам, что они поняли все, что нужно понять... ...Но вот наконец приехал и давно ожидаемый учитель, магистр Тинте, маленького роста, с четвероугольною головою, безобразным лицом, толстым брюхом на тоненьких пауковых ножках — воплощенный педантизм и резонерство. Встреча его с детьми, их к нему отвращение, его с ними обращение — все это у Гофмана живая, одушевленная картина, полная мысли. Вот они сели учиться,— и им все слышится голос неизвестного дитяти, которое зовет их в лес, а магистр бьет по столу и кричит: «Шт, шт, брр, брр...тише! что это такое?», а Феликс не выдержал и закричал: «Убирайтесь вы с вашими глупостями, г-н магистр; я хочу идти в лес. Ступайте с этим к моему двоюродному брату: он любит эти вещи!» Дети побежали, магистр за ними; но Султан, добрая собака, с первого раза получивший к педанту и резонеру неодолимое отвращение, схватил его за воротник. Педант поднял крик, но г. Брокель освободил его и упросил ходить с детьми в лес. Педанту лес не понравился, потому что в нем не было дорожек и птицы своим писком не давали ему слова порядочного сказать. «Ага, г. магистр,— сказал Феликс,— я вижу, ты ничего не понимаешь в их песне и не слышишь даже, как утренний ветер разговаривает с кустами, а старый ручей рассказывает прекрасные сказки!» Кристлиба заметила, что, верно, г. магистр не любит и цветов, и магистра от этих слов покоробило; он отвечал, что любит цветы только в горшках, в комнате... Пропускаем множество самых поэтических подробностей, дышащих глубокою мыслию целого рассказа, и скажем, что г. Брокель наконец решился его выгнать; но магистр обратился мухою и начал летать — насилу успели задеть его хлопушкою и прогнать. Дети повеселели, пошли в лес, но дитяти там не было. Поломанные ими куклы ожи-

слопенных к стене, как бы для охранения входа поражают нас; мы теряем охоту войти туда и предпочитаем воротиться. Совершенно противно тому чувствуешь при входе в маленький домик г-на Тадеуса Брокеля. Еще в роще стройные березы простирали свои зеленые ветви, как будто желая обнять вас, и приветствовали своим веселым шелестом; пред домом же вам казалось, что приятные голоса приглашали вас из светлых, как зеркало, окошек; а из тесной густой зелени винограда, который покрывал стены до самой крыши, слышно было: «Войди, войди, милый, усталый путешественник; все здесь хорошо и гостеприимно!» То же самое подтверждали своим веселым щебетанием ласточки, то влетая в свои гнезда, то вылетая из них; а старый и важный аист, смотря на вас с серьезным и умным видом с вершины трубы, кажется, говорил: «Давно живу я здесь летом, но лучшего места не находил нигде, и если бы я мог преодолеть врожденную страсть свою к путешествиям, и если бы зимою не было здесь так холодно, а дрова так дороги, то я не тронулся бы с этого места!» Так хорошо и так приятно было жилище г. Брокеля, хотя оно и не было за́мок.

вают, осыпают их упреками и грозят магистром. Следует чудесное описание бури, обморок детей, потом прекрасное вёдро. Отец сам пошел с ними в лес и рассказал им, что и он в детстве знал неизвестное дитя. Вскоре после того г. Брокель умер, дети остались сиротами, и в ту минуту, когда им было особенно тяжело и они горько плакали, им явилось неизвестное дитя и утешило их, и сказало им, что пока они будут его помнить, им нечего бояться злого духа Пепсера, мухи-магистра. Дружески принял их к себе родственник, и «все сделалось так, как предсказало им неизвестное дитя. Что бы Феликс и Кристлиба ни предпринимали, удавалось вполне; они и мать их сделались веселы и счастливы и долго в отрадных мечтах играли с неизвестным дитятею, которое показывало им чудеса своей родины».

Основная мысль этой чудесной, поэтической повести, этой светлой и роскошной фантазии есть та, что первый воспитатель детей — природа и ее благодатные впечатления. И первобытное человечество воспитывалось природою, и душе нашей так отрадно читать все предания о юном человечестве, ее так сладостно убаюкивают и священные сказания о пастушеской жизни патриархов, и колыбельная песня старца-Гомера о царях-пастырях и простодушных героях седой древности... Увы! заботы и суеты жизни, искусственная городская жизнь заслоняют от нас природу, и мы видим на небе фонари, а на земле полезные и вредные травы, прибыльные для торговли леса,— а многие ли из нас знают, что природа жива, что ветер разговаривает с кустами и старый ручей рассказывает прекрасные сказки?.. Неужели же и чистые младенческие души должны быть глухи к живому голосу прекрасной природы и не знать «неизвестного дитяти», которое есть их же собственный отклик на зов природы, светлая радость и чистое блаженство их собственных, младенческих сердец?..

Если в «Неизвестном дитяти» развита мысль о гармонии младенческой души с природою как об основе воспитания и условии будущего счастия детей, то «Щелкун орехов и царек мышей» есть апофеоз фантастического как необходимого элемента в духе человека и цель этой сказки — развитие в детях элемента фантастического. Когда мы приближаемся к общему, родовому началу жизни, разлитой в природе, нас объемлет какой-то приятный страх, мы чувствуем какое-то сладостное замирание сердца. Кто не испытывал этого при входе в большой темный лес или на берегу моря? Шум листьев и колебание волн говорят нам каким-то живым языком, которого значение мы уже забыли и тщетно стараемся вспомнить; лес и море кажутся нам живыми, индивидуальными существами. И вот откуда произошли у греков живые, поэтические олицетворения явлений природы, их дриады и наяды и их черновласый царь Посидаон с трезубцем в руке —

Сей, обымающий землю, земли колебатель могучий! [21]

Жизнь есть таинство, ибо причина ее явления в ней самой; переходы общей жизни в частные индивидуальные явления и

потом возвращение их в общую жизнь — тоже великое таинство, а впечатление всякого таинства — страх и ужас мистический. Вот почему мифы младенчествующих народов дышат такою фантастическою мрачностию и все отвлеченные понятия являются у них в странных образах. Искусство освобождает дух от рабского ужаса, просветляя его предметы светом мысли и эстетической жизни. Образованный человек не боится суеверных явлений кладбища, но это немое кладбище тем не менее веет на него таинственною жизнию, от которой сладостно волнуется его дух неопределенным чувством приятного страха. Бывает состояние души, когда и обыкновенные вещи оживотворяются и воскресают фантастическою жизнию: как будто выражаемые этими вещами понятия, отрешась от своей отвлеченности, принимают на себя живые образы, начинают мыслить и чувствовать. Дух наш во всем предчувствует жизнь и дает ей определенные индивидуальные образы. Так и в «Щелкуне орехов и царьке мышей» оживают куклы и ведут войну с мышами и сам Щелкун делается рыцарем Маши и носит ее цвет. Щелкун проводит ее в рукав шубы, и там открывается перед нею леденцовое поле с конфетными городами, которые населены конфетными людьми, и в этих городах гремит музыка, ликует радость, кипит жизнь. Мы не будем пересказывать содержания этого чудного создания чудного гения — оно непересказываемо, и нам пришлось бы переписать его все, от слова до слова, а подробный разбор сделал бы нашу статью вдвое больше. Скажем только, что художественная жизнь образов, очевидное присутствие мысли при совершенном отсутствии всяких символов, аллегорий и прямо высказанных мыслей или сентенций, богатство элементов — тут и сатира, и повесть, и драма, удивительная обрисовка характеров — противоречие поэзии с пошлою повседневностию, нераздельная слитность действительности с фантастическим вымыслом — все это представляет богатый и роскошный мир для детской фантазии. Заманчивость, увлекательность и очарование рассказа невыразимы. Благодарность переводчику, издавшему отдельно эти две превосходные сказки Гофмана — единственные во всемирной, человеческой литературе! Желаем, чтобы родители обратили на них все свое внимание и чтобы не было ни одного грамотного дитяти, который не мог бы их пересказать почти слово в слово!

В России писать для детей первый начал Карамзин, как и много прекрасного начал он писать первый. К «Московским ведомостям» прилагались листки его «Детского чтения» [22], в котором замечательна «Переписка отца с сыном о деревенской жизни» [23]. Много читателей впоследствии доставил Карамзин и себе и другим, подготовив этим «Детским чтением». После он издал «Детское утешение», которое и теперь еще не изгладилось у нас из памяти, хотя мы читали его в детском возрасте; а это большая похвала для детской книжки: память хранит в себе только то, что поразило душу сильным впечатлением.

Но в настоящее время русские дети имеют для себя в *дедуш-*

*ке Иринее* такого писателя, которому позавидовали бы дети всех наций. Узнав его, с ним не расстанутся и взрослые. Мы находим в нем один недостаток, и очень важный: старик или очень стар и уж не в состоянии держать перо в руке, или ленится на старости лет, оттого мало пишет. А какой чудесный старик! Какая юная благодатная душа у него! Какою теплотою и жизнию веет от его рассказов и какое необыкновенное искусство у него заманить воображение, раздражить любопытство, возбудить внимание иногда самым, по-видимому, простым рассказом! Советуем, любезные дети, получше познакомиться с дедушкою Иринеем. Не бойтесь его старости: он не принадлежит к тем брюзгливым старикам, которые своим ворчанием и наставлениями отнимают у вас каждую минуту веселости, отравляют всякую вашу радость. О нет! это самый милый старик, какого только вы можете представить себе: он так добр, так ласков, так любит детей; он не смутит вашего шумного веселья, не помешает вам играть, но с такою снисходительностию и любовию примет участие в вашей веселости, ваших играх, научит вас играть в новые, не известные вам и прекрасные игры. Если вы пойдете с ним гулять — вас ожидает величайшее удовольствие: вы можете бегать, прыгать, шуметь, а он между тем будет рассказывать вам, как называется каждая травка, каждая бабочка, как они рождаются, растут и, умирая, снова воскресают для новой жизни. Вы заслушаетесь его рассказов, вы сами не захотите шуметь и бегать, чтобы не проронить ни одного слова!

Лучшие пьесы[24] в «Детских сказках дедушки Иринея» — «Червяк» и «Городок в табакерке». В первой рассказывается история червяка, сделавшегося бабочкою,— самый интересный акт возрождения природы и насекомых. Мы не будем говорить о поэтической прелести этого рассказа, который нам невозможно было бы иначе передать, как переписав его вполне; но чтобы хоть намекнуть на важность его содержания и очаровательность изложения, выпишем несколько строк, которыми он оканчивается:

...Наконец скинул он (червячок) свою узорчатую шубку, примолвив: «Там в ней не будет пужды»,— и заснул сном покойным. Не стало червяка, лишь на листке качался его безжизненный гробок и свернутая в комок шубка.

Но недолго спал червячок! Вдруг, он чувствует, забилось в нем новое сердце, маленькие ножки пробились из-под брюшка и на спинке что-то зашевелилось; еще минута — и распалась его могилка, червячок смотрит: он не червяк, ему не надобно ползать по земле и цепляться за листки, развились у него большие радужные крылья, он жив, он свободен, он гордо поднимается в воздух.

Так бывает и не с одним червячком, любезные дети; нередко видите вы, что тот, с которым вы вместе резвились и играли на мягком лугу, завтра лежит бледный, бездыханный; над ним плачут родные, друзья,— и он не может и улыбнуться; его кладут в сырую могилку, и вашего друга как не бывало! Но не верьте! Ваш друг не умер; раскрывается его могила, и он невидимо для вас, в образе светлого ангела возлетает на небо.

Отец показал сыну табакерку, на которой был изображен городок с восходящим над ним солнцем. Табакерка была сверх

того с музыкою. Мише захотелось побывать в ней — и он вошел. Там увидел он целое царство говорящих мальчиков-колокольчиков, своды, галереи и прочее — словом, весь механизм маленького органа, выходил его всего, понял, как он устроен, и... проснулся. Жалеем, что заговорили об этой поэтической пьеске, которую можно понять только из нее самой, а не отзывом о ней. Она принадлежит к разряду фантастических повестей: через нее дети поймут жизнь машины как какого-то живого, индивидуального лица, и под нею не странно было бы увидеть имя самого Гофмана. За этими двумя пьесами должны следовать «Анекдоты о муравьях» — в высшей степени живая и интересная пьеска, способная развивать в детях любознательность, наблюдательность и любовь к природе. «Разбитый кувшин», ямайская сказка, обнаруживает в авторе глубокое знание детского характера; в ней развивается практическая истина о необходимости доброты, скромности и послушания, а между тем она — волшебная сказка, но в том и высокое ее достоинство: она действует на фантазию детей, а не на их рассудок, и потому практическая истина является в ней не моральною сентенциею, но живым чувством. К тому же роду должно отнести и «Царь-Девицу», трагедию для марионеток, в которой, в волшебной сказке, автор очень удачно намекнул детям на могущество человеческого разума, победившего через книгопечатание порох и паровые машины, законы мертвой, материальной действительности. Три драматические пьесы: «Маленький фарисей», «Переносчица, или Хитрость против хитрости» и «Воскресенье» — вводят детей в мир житейской действительности и практической мудрости жизни. Простота и естественность содержания спорят в них с заманчивостию интриги и увлекательностию драматического изложения; характеры очеркнуты в них живо, сентенций нет; действие говорит само за себя. Кроме интересного чтения эти комедийки — клад детям и для домашнего театра, этого прекрасного и полезного наслаждения. Другие пьесы: «Бедный Гнедко», «Индийская сказка о четырех глухих», «Столяр» и «Сирота» — также представляют детям приятное чтение. Но «Отрывки из журнала Маши» не так нравятся нам: эта пьеса слишком односторонняя, в ней слишком много *житейской,* рассудочной мудрости. Да и неестественно, чтобы маленькая девочка могла вести свой журнал, и еще такой умный и написанный таким прекрасным языком, каким у нас пишут не многие даже из знаменитых литераторов и опекунов русского языка. Героиня записок, Маша, мало возбуждает к себе участия: она слишком благоразумна, а это в детях большой недостаток, потому что в них величайшее достоинство — игра молодой жизни. Избыток практических заметок и нравственных уроков тоже не принадлежит к числу достоинств этой пьесы. Сам дедушка Ириней сказал: «Сказки пишутся не для того, чтобы учить детей, а только чтобы возбуждать их внимание и любопытство»; мы распространяем это правило на всякого рода сочинения для детей, а не на одни сказки. Впрочем, и в «Отрывках из журнала Маши» много прекрас-

ных частностей; только общее впечатление пьесы не совсем в ее пользу.

Поздравляем детей с прекрасным подарком, который предстоит им получить от своих родителей: «Детские сказки дедушки Иринея» скоро выйдут в свет все вполне. Много, много чистых радостей доставит им этот подарок; многими благодатными впечатлениями усладит он их юные души. Повторяем: такой подарок был бы редкостию во всякой литературе, а в нашей он просто драгоценен.

Любезный и почтенный дедушка! Из уважения к вашим летам не смеем думать, чтобы вы так мало писали по лености, но тем не менее не можем и не сердиться на вас. Прежде, нежели представите нам причины, оправдывающие вас, войдите и в наше положение и не сердитесь на нас: кому же и писать для детей, как не людям, которым бог дал все, что нужно для этого: и талант, и душу живую, и поэтическую фантазию, и знание дела? А дело это ничуть не ниже и не маловажнее тех, которыми бы угодно было вам оправдываться, каковы бы они ни были. Как хотите, а мы не дадим вам покоя, если вы не будете дарить ежегодно по такому подарку своим маленьким друзьям. Не то мы их поднимем на вас, и тогда посмотрим, как-то вы устоите... А пока обращаемся с искреннею просьбою ко всем вашим знакомым, которые пекутся о воспитании своих детей, чтобы они обязали вас подпискою — писать, писать и писать!

# БАСНИ ИВАНА КРЫЛОВА

В восьми книгах. Сороковая тысяча. С.-Петербург. В типографии А. А. Плюшара. 1840. В 8-ю д. л. 300 стр.

...Басня есть поэзия рассудка. Она не требует глубокого вдохновения, которое производится внезапным проникновением в таинство абсолютной мысли; она требует того одушевления, которое так свойственно людям с тихою и спокойною натурою, с беспечным и в то же время наблюдательным характером и которое бывает плодом природной веселости духа. Содержание басни составляет житейская, обиходная мудрость, уроки повседневной опытности в сфере семейного и общественного быта. Иногда басня прямо высказывает свою цель, но не холодным резонерством, не бездушными моральными сентенциями, а игривым оборотом, который обращается в пословицу, поговорку. Басня не есть аллегория и не должна быть ею, если она хорошая, поэтическая басня; но она должна быть маленькою повестью, драмою, с лицами и характерами, поэтически очеркнутыми. Самые олицетворения в

басне должны быть живыми, поэтическими образами. Так, у Крылова всякое животное имеет свой индивидуальный характер,— и проказница мартышка, участвует ли она в квартете, ворочает ли из трудолюбия чурбан или примеривает очки, чтобы уметь читать книги; и лисица у него везде хитрая, уклончивая, бессовестная и больше похожая на человека, чем на лисицу *с пушком на рыльце*[1]; и косолапый мишка везде — добродушно честный, неповоротливо сильный; лев — грозно могучий, величественно страшный. Столкновение этих существ у Крылова всегда образует маленькую драму, где каждое лицо существует само по себе и само для себя, а вместе образуют собою одно общее и целое. Это еще с большею характерностию, более типически и художественно совершается в тех баснях, где героями — толстый откупщик, который не знает, куда ему деваться от скуки с своими деньгами, и бедный, но довольный своею участью сапожник; повар-резонер; недоученный философ, оставшийся без огурцов от излишней учености; мужики-политики и пр.[2] Тут уже настоящая комедия! А между тем во всем явное преобладание рассудка и практического ума, которого поэзия в том и состоит, чтобы рассыпаться лучами остроумия, сверкать фейерверочным огнем шутки и насмешки. И, разумеется, во всем этом есть своя поэзия, как и во всяком непосредственном, образном передавании какой бы то ни было истины, хотя бы и практической. Самые поговорки и пословицы народные в этом смысле суть поэзия, или, лучше сказать, начало, первый исходный пункт поэзии; а басня в отношении к поговоркам и пословицам есть высший род, высшая поэзия, или поэзия народных поговорок и пословиц, дошедшая до крайнего своего развития, дальше которого она идти не может.

Во времена псевдоклассицизма басню почитали одним из важнейших родов поэзии и Лафонтена ставили ничуть не ниже Гомера. Из басен брали, в реториках и пиитиках, образцы низкого, среднего и высокого слога, брали, вероятно, потому, что тогда верили существованию низкого, среднего и высокого слога. Теперь другое время. Однако ж и теперь никто не сомневается, что басня есть поэтическое произведение, а баснописец — поэт, который местами даже может, так сказать, выходить из ограниченного характера басни и впадать в высшую поэзию, смотря по предметам своих изображений. Так, например, сколько идиллистической поэзии в этом описании песни соловья:

Защелкал, засвистал
На тысячу ладов, тянул, переливался,
То нежно он ослабевал,
И томной вдалеке свирелью отдавался,
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.
Внимало все тогда
Любимцу и певцу Авроры;
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался
И только иногда,
Внимая соловью, пастушке улыбался![3]

Или вот это описание бури, которым так поэтически замыкается басня «Дуб и Трость» и которое наши классики с такою гордостью выставляли в образец *высокого слога:*

Вдруг мчится с северных сторон,
И с градом, и с дождем, шумящий аквилон.
Дуб держится,— к земле тростиночка припала.
Бушует ветр, удвоил силы он,
Взревел,— и вырвал с корнем вон
Того, кто небесам главой своей касался
И в области теней пятою упирался.

В баснях Крылова можно найти еще и лучшие примеры поэтической силы и образности в выражениях.

Но басни Крылова кроме поэзии имеют еще другое достоинство, которое, вместе с первым, заставляет забыть, что они — басни, и делает его великим русским поэтом: мы говорим о народности его басен. Он вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа: в его баснях, как в чистом, полированном зеркале, отражается русский практический ум с его кажущеюся неповоротливостию, но и с острыми зубами, которые больно кусаются; с его сметливостию, остротою и добродушно саркастическою насмешливостию; с его природною верностию взгляда на предметы и способностию коротко, ясно и вместе кудряво выражаться. В них вся житейская мудрость, плод практической опытности, и своей собственной, и завещанной отцами из рода в род. И все это выражено в таких оригинально русских, не передаваемых ни на какой язык в мире образах и оборотах; все это представляет собою такое неисчерпаемое богатство идиомов, русизмов, составляющих народную физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное, самородное богатство, что сам Пушкин не полон без Крылова в этом отношении. О естественности, простоте и разговорной легкости его языка нечего и говорить. Язык басен Крылова есть прототип языка «Горя от ума» Грибоедова, и можно думать, что, если бы Крылов явился в наше время, он был бы творцом русской комедии и по количеству не меньше, а по качеству больше Скриба обогатил бы литературу превосходными произведениями в роде легкой комедии. Хотя он и брал содержание некоторых своих басен из Лафонтена, но переводчиком его назвать нельзя: его исключительно русская натура все перерабатывала в русские формы и все проводила через русский дух. Честь, слава и гордость нашей литературы, он имеет право сказать: «Я знаю Русь, и Русь меня знает» [4], хотя никогда не говорил и не говорит этого. В его духе выразилась сторона духа целого народа; в его жизни выразилась сторона жизни миллионов. И вот почему еще при жизни его выходит сороковая тысяча экземпляров его басен, и вот за что, со временем, каждое из многочисленных изданий его басен будет состоять из десятков тысяч экземпляров. Вот и причина, почему все другие баснописцы, в начале пользовавшиеся не меньшею известностию, теперь забыты, а некоторые даже пе-

режили свою славу. Слава же Крылова все будет расти и пышнее расцветать до тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый язык в устах великого и могучего народа русского. Нет нужды говорить о великой важности басен Крылова для воспитания детей: дети бессознательно и непосредственно напитываются из них русским духом, овладевают русским языком и обогащаются прекрасными впечатлениями почти единственно доступной для них поэзии. Но Крылов поэт не для одних детей: с книгою его басен невольно забудется и взрослый и снова перечтет уж читанное им тысячу раз.

# СТИХОТВОРЕНИЯ М. ЛЕРМОНТОВА

...Мы знаем процессы человеческого тела, знаем, что жизнь человека — в его организме, что она продолжается вместе с обращением крови в его жилах и прекращается вместе с прекращением кровообращения; но мы знаем также, что наш организм не машина, которая заводится или останавливается, подобно часам, чрез известное колесо или известный орган. И чем дальше углубимся мы в таинство организма, чем, по-видимому, ближе будем к тайне жизни, тем на самом деле будем дальше от нее, тем неуловимее будет она для нас. Но мертвые бывают и между живыми, так же как и живые между мертвыми, ибо что жизнь для животного, то смерть для человека; что жизнь для ирокеза, то смерть для европейца; что жизнь для раба житейских нужд и пользы, который ничего не видит дальше удовлетворения потребности голода и кармана или мелкого тщеславия, то смерть для человека мыслящего и чувствующего. И что существует в идее, то выражается в формах: посмотрите, какое животное лицо у этого человека, с сонными и мутными глазами, с апатическим выражением, толстого, одержимого одышкою, сейчас только плотно покушавшего,— посмотрите, каким огнем сверкают черные глаза этого худощавого, бледнолицего человека, какая подвижность в его физиономии, сколько страсти в его голосе! Не правда ли, первый — мертвец; другой — полон жизни? Но жизнь бесконечно разнообразна в своих проявлениях. Тигр полон жизни в сравнении с черепахою, но жизнь его все-таки чисто органическая, животная; ее источник — горячая кровь, обильные электричеством нервы. Так и в ином человеке много жизни, но эта жизнь не покоряет вас неотразимым обаянием, и вы готовы сказать ей:

В *ней* признака небес напрасно не ищи:
То кровь кипит, то сил избыток!
Скорее жизнь свою в заботах истощи,
Разлей отравленный напиток! [1]

Бесконечное расстояние разделяет человека страсти от человека чувства; но еще большее расстояние разделяет человека,

оставшегося при одном непосредственном чувстве, от человека, в котором рабский инстинкт, хотя бы даже и благородных наклонностей, перешел в свободное сознание, которого чувство просветлено мыслию. Нигде жизнь не является столько жизнию, как в сфере духовных интересов и разумного сознания, которые движут волею человека и поддерживают ее неистощимую деятельность: это самый пышный цвет жизни, ее высшее развитие, ее высшая ступень, это жизнь по превосходству; в сравнении с нею всякая другая, низшая степень жизни есть настоящая смерть.

...Каждый человек есть отдельный и особенный мир страстей, чувства, желаний, сознания: но эти страсти, это чувство, это желание, это сознание принадлежат не одному какому-нибудь человеку, но составляют достояние человеческой природы, общее всех людей. И потому в ком больше общего, тот больше и живет; в ком нет общего — тот живой мертвец. Чем же выражается причастность человека общему? — В доступности всему, что сродно человеческой натуре, что составляет ее сущность и характер; вправе сказать о себе: «Я человек — и ничто человеческое не чуждо мне». Кто причастен общему, для того личные выгоды и потребности житейские — интересы второстепенные, а природа и человечество — главнейшие интересы. Чья личность есть выражение общего, тот жаждет сочувствия ближних, трепетного упоения любви, кроткого счастия дружбы, жаждет волнений чувства, бурь и непогод жизни, борьбы с препятствиями; тот все понимает, на все откликается: и в раззолоченных палатах, среди богатства и роскоши, он слышит стоны нищеты и бедствия, и сердце его содрогается, но не отвращается от их пронзительных диссонансов; окруженный всем, что горячо любит он, что зовет родным и милым,— он откликается на вопль и слезы вечной разлуки и невозвратимой утраты и плачет о чужом горе, которого сам не испытал; пылкий юноша,— он умеряет резкость своих движений, смягчает силу своих порывов и благоговейно, стыдливо, девственно опускает пламенные взоры в присутствии старца, на лице которого сияет кроткий свет чувства, дрожащий голос которого льется светлою волною любви; согбенный летами старец, он с умилением смотрит на резвое дитя, которое по зеленому лугу гонится за пестрою бабочкою; он радуется его детской радости, принимает участие в его младенческой печали; он прощает заблуждение пламенной юности, снисходителен к кипению ее порывистых страстей, он понимает мгновенный пламень и внезапную бледность на ланитах молодой девушки, ее тоскующий взор и немую горесть, волнение ее молодой груди, и печаль без горя, и страх без беды, и радость без причины... С благословением на устах, с умилением во взоре смотрит он на пылкую юность, которая кружится вихрем жизни и, полная надежд и отваги, гордая сознанием своей силы, спешит без оглядки навстречу будущему, обольщаемая его заманчивою далью, не зная и не желая знать его предательских обманов,— и перед ним воскресает прошедшее его собственной жизни, восстают милые призраки и знакомые образы невозвра-

тимо протекших лет, и, вместо резонерских поучений и докучного ворчания, он повторяет про себя с грустно-радостной улыбкой:

...Так было прежде
Во время óно и со мной! [2]

Да, жить — не значит столько-то лет есть и пить, биться из чинов и денег, а в свободное время бить хлопушкою мух, зевать и играть в карты: такая жизнь хуже всякой смерти, и такой человек ниже всякого животного, ибо животное, повинуясь своему инстинкту, вполне пользуется всеми средствами, данными ему от природы для жизни, и неуклонно выполняет свое назначение. Жить — значит чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать; всякая другая жизнь — смерть. И чем больше содержания объемлет собою наше чувство и мысль, чем сильнее и глубже наша способность страдать и блаженствовать, тем больше мы живем: мгновение *такой* жизни существеннее ста лет, проведенных в апатической дремоте, в мелких действиях и ничтожных целях. Способность страдания условливает в нас способность блаженства, и не знающие страдания не знают и блаженства, не плакавшие не возрадуются.

...Но кроме природы и личного человека есть еще общество и человечество. Как бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человека, каким бы горячим ключом ни била она вовне и какими бы волнами ни лилась через край, она неполна, если не усвоит в свое содержание интересов внешнего ей мира, общества и человечества. В полной и здоровой натуре тяжело лежат на сердце судьбы родины; всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с отечеством. Общество, как всякая индивидуальность, есть нечто живое и органическое, которое имеет свои эпохи возрастания, свои эпохи здоровья и болезней, свои эпохи страдания и радости, свои роковые кризисы и переломы к выздоровлению и смерти. *Живой* человек носит в своем духе, в своем сердце, в своей крови жизнь общества: он болеет его недугами, мучится его страданиями, цветет его здоровьем, блаженствует его счастием вне своих собственных, своих личных обстоятельств. Разумеется, в этом случае общество только берет с него свою дань, отторгая его от него самого в известные моменты его жизни, но не покоряя его себе совершенно и исключительно. Гражданин не должен уничтожать человека, ни человек гражданина: в том и другом случае выходит крайность, а всякая крайность есть родная сестра ограниченности. Любовь к отечеству должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою родину — значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому. В противном случае патриотизм будет китаизмом [3], который любит свое только за то, что оно свое, и ненавидит все чужое за то только, что оно чужое, и не нарадуется собственным безобразием и уродством. Роман англичанина Морьера «Хаджи-Баба» [4] есть превосходная и верная картина

подобного *квасного* (по счастливому выражению князя Вяземского) патриотизма. Человеческой натуре сродно любить все близкое к ней, свое родное и кровное; но эта любовь есть и в животных, следовательно, любовь человека должна быть выше. Это превосходство любви человеческой перед животною состоит в разумности, которая телесное и чувственное просветляет духом, а этот дух есть общее. Пример Петра Великого, говорившего о родном сыне, что лучше чужой да хороший, чем свой да негодный, лучше всего поясняет и оправдывает нашу мысль. Конечно, из частного нельзя сделать правило для общего, но можно через сравнение объяснять частным общее. Можно не любить и родного брата, если он дурной человек, но нельзя не любить отечества, какое бы оно ни было: только надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования; словом, любовь к отечеству должна быть вместе с любовию к человечеству.

# СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

...Романтизм — принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзии: его источник в том, в чем источник и искусства и поэзии,— в жизни. Жизнь там, где человек, а где человек, там и романтизм. В теснейшем и существеннейшем своем значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца. В груди и сердце человека заключается таинственный источник романтизма; чувство, любовь есть проявление или действие романтизма, и потому почти всякий человек — романтик. Исключение остается только или за эгоистами, которые, кроме себя, никого любить не могут, или за людьми, в которых священное зерно симпатии и антипатии задавлено и заглушено или нравственною неразвитостью, или материальными нуждами бедной и грубой жизни. Вот самое первое, естественное понятие о романтизме.

Законы сердца, как и законы разума, всегда одни и те же, и потому человек по натуре своей всегда был, есть и будет один и тот же. Но как разум, так и сердце живет, а жить — значит развиваться, двигаться вперед: поэтому человек не может одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою; но его образ чувствования и мышления изменяется сообразно возрастам его жизни: юноша иначе принимает предметы и иначе чувствует, нежели отрок; возмужалый человек много разнится в этом отношении от юноши, старец — от мужа, хотя все они чувствуют одним и тем же сердцем, мыслят одним и тем же разумом. Это различие в характере чувства и мысли вытекает из природы человека и существует для каждого: оно связано с его неизбежным свойством расти, му-

жать и стариться физически. Но человек имеет не одно только значение существа индивидуального и личного. Кроме того, он еще член общества, гражданин своей земли, принадлежит к великому семейству человеческого рода. Поэтому он — сын времени и воспитанник истории: его образ чувствования и мышления видоизменяется сообразно с общественностью и национальностью, к которым он принадлежит, с историческим состоянием его отечества и всего человеческого рода. Итак, чтоб вернее определить значение романтизма, мы должны указать на его историческое развитие. Романтизм не принадлежит исключительно одной только сфере любви: любовь есть только одно из существенных проявлений романтизма. Сфера его, как мы сказали,— вся внутренняя, задушевная жизнь человека, та таинственная почва души и сердца, откуда подымаются все неопределенные стремления к лучшему и возвышенному, стараясь находить себе удовлетворение в идеалах, творимых фантазиею.

...Вследствие страшных потрясений и ударов, нанесенных романтизму XVIII веком, романтизм явился в наше время совершенно перерожденным и преображенным. Романтизм нашего времени есть сын романтизма средних веков, но он же очень сродни и романтизму греческому. Говоря точнее, наш романтизм есть органическая полнота и всецелость романтизма всех веков и всех фазисов развития человеческого рода: в нашем романтизме, как лучи солнца в фокусе зажигательного стекла, сосредоточились все моменты романтизма, развивавшегося в истории человечества, и образовали совершенно новое целое. Общество все еще держится принципами старого, средневековского романтизма, обратившегося уже в пустые формы за отсутствием умершего содержания; но люди, имеющие право называться *солью земли,* уже силятся осуществить идеал нового романтизма. Наше время есть эпоха гармонического уравновешения всех сторон человеческого духа. Стороны духа человеческого неисчислимы в их разнообразии; но главных сторон только две: сторона внутренняя, задушевная, сторона сердца, словом, *романтика,* и сторона сознающего себя разума, сторона *общего,* разумея под этим словом сочетание интересов, выходящих из сферы индивидуальности и личности. В гармонии, т. е. во взаимном сопроникновении одной другою этих двух сторон духа, заключается счастие современного человека. Романтизм есть вечная потребность духовной природы человека: ибо сердце составляет основу, коренную почву его существования, а без любви и ненависти, без симпатии и антипатии человек есть призрак. Любовь — поэзия и солнце жизни. Но горе тому, кто в наше время здание счастия своего вздумает построить на одной только любви и в жизни сердца вознадеется найти полное удовлетворение всем своим стремлениям! В наше время это значило бы отказаться от своего человеческого достоинства, из мужчины сделаться самцом! Мир действительный имеет равные, если еще не бóльшие, права на человека, и в этом мире человек является прежде всего сыном своей страны, гражданином своего

отечества, горячо принимающим к сердцу его интересы и ревностно поборающим, по мере сил своих, его преуспеянию на пути нравственного развития. Любовь к человечеству, понимаемому в его историческом значении, должна быть живоносною мыслию, которая просветляла бы собою любовь его к родине. Историческое созерцание должно лежать в основе этой любви и служить указателем для деятельности, осуществляющей эту любовь. Знание, искусство, гражданская деятельность — все это составляет для современного человека ту сторону жизни, которая должна быть только в живой органической связи с стороною романтики, или внутреннего задушевного мира человека, но не заменяться ею. Если человек захочет жить только сердцем, во имя одной любви, и в женщине найти цель и весь смысл жизни, он непременно дойдет до результата самого противоположного любви, т. е. до самого холодного эгоизма, который живет только для себя и все относит к себе. Если, напротив, человек, презрев жизнию сердца, захотел бы весь отдаться интересам общим, он или не избежал бы тайной тоски и чувства внутренней неполноты и пустоты, или если не почувствовал бы их, то внес бы в мир высокой деятельности сухое и холодное сердце, при котором не бывает у человека ни высоких помыслов, ни плодотворной деятельности. Итак, эгоизм и ограниченность, или неполнота — в обеих этих крайностях; очевидно, что только из гармонического их сопроникновения одной другою выходит возможность полного удовлетворения, а следственно, и возможность свойственного и присущного душе человека счастия, основанного не на песчаном берегу случайности, а на прочном фундаменте сознания. В этом отношении мы гораздо ближе к жизни древних, чем к жизни средних веков, и гораздо выше тех и других. Ибо в нашем идеале общество не угнетает человека на счет естественных стремлений его сердца, а сердце не отрывает его от живой общественной деятельности. Это не значит, чтоб общество позволяло теперь человеку, между прочим, и любиться, но это значит, что уже нет или, по крайней мере, более не должно быть борьбы между сердечными стремлениями и общественным устройством, примиренными разумно и свободно.

...Есть в человеке чувство бесконечного; оно составляет основу его духа, и стремление к нему есть пружина всякой духовной деятельности. Без стремления к бесконечному нет жизни, нет развития, нет прогресса. Сущность развития состоит в *стремлении* и *достижении*. Но когда человек чего-нибудь достигает, он не останавливается на этом, не удовлетворяется этим вполне; напротив, торжество достижения бывает в его душе непродолжительно и скоро побеждается новым стремлением. Отсюда чувство внутреннего недовольства, неудовлетворения ничем в жизни; отсюда тайная тоска. Можно сказать, что человек бывает счастливее, пока он борется с препятствиями к достижению, нежели когда он наслаждается победою борьбы, праздником достижения. Иначе и быть не может. Чем глубже натура человека, тем сильнее в нем стремление и тем менее способен он к удовлетворению.

И неестественным стремленьем
Весь мир в мою теснился грудь;
Картиной, звуком, выраженьем —
Во все я жизнь хотел вдохнуть.
И в нежном семени сокрытый,
Сколь пышным мне казался свет...
Но, ах, сколь мало в нем развито!
И малое — сколь бедный цвет! [1]

— говорит Шиллер. Таково свойство бесконечного: дух человека в состоянии охватить его только в моментальном, конечном его проявлении, в условиях временной последовательности; и потому, достигая *чего-нибудь,* он тотчас же видит, что не достигнул *всего.* Тогда он отрицает достигнутое им *нечто,* как не выражающее бесконечного, и думает достигнуть его в другом. В этом состоит сущность жизни как беспрерывного развития, беспрерывного движения вперед. И когда это *стремление* осуществляется в сфере практического мира, когда оно есть вечное *делание,* беспрерывное *творчество,* тогда стремление это есть действительная сила человека, тогда для него есть цель, и если достижение не удовлетворяет такого человека, тем не менее оно для него — прогресс, и новое стремление его выше предшествовавшего, новая цель выше достигнутой. Но есть натуры аскетические, чуждые исторического смысла действительности, чуждые практического мира деятельности, живущие в отвлеченной идее: такие натуры стремление к бесконечному принимают за одно с бесконечным и хотят во что бы то ни стало найти свое удовлетворение в одном стремлении. В этом есть своя сторона истины, и такие люди, конечно, несравненно выше людей самых практических и деятельных, не знакомых с стремлением, а удовлетворяющихся самыми простыми и положительными целями житейскими. Но тем не менее они — люди односторонние, ибо пружину действия принимают за само действие и за цель действия: это такая же ошибка, как если б кто, желая узнать, который час, вместо того, чтоб посмотреть на циферблат, открыл внутренность часов и начал смотреть на спиральную цепочку.

...Законно и праведно требование человека на личное счастие; разумно и естественно его стремление к личному счастию; но в одном ли сердце должен заключаться весь мир счастия? Вот вопрос, на который не дает нам решения поэзия Жуковского. Если б вся цель нашей жизни состояла только в нашем личном счастии, а наше личное счастие заключалось бы только в одной любви, тогда жизнь была бы действительно мрачною пустынею, заваленною гробами и разбитыми сердцами, была бы адом, перед страшною существенностью которого побледнели бы поэтические образы подземного ада, начертанные гением сурового Данте... Но — хвала вечному разуму, хвала попечительному промыслу! есть для человека и еще великий мир жизни кроме внутреннего мира сердца — мир исторического созерцания и общественной деятельности, тот великий мир, где мысль становится делом, а высокое чувствование — подвигом и где два противоположные берега жиз-

ни — *здесь* и *там* — сливаются в одно реальное небо исторического прогресса, исторического бессмертия... Это мир непрерывной работы, нескончаемого делания и становления, мир вечной борьбы будущего с прошедшим,— и над этим миром носится дух божий, оглашающий хаос и мрак своим творческим и мощным глаголом *«да будет!»* и вызывающий им светлое торжество настоящего — радостные дни нового тысячелетнего царства божия на земле... И благо тому, кто не праздным зрителем смотрел на этот океан шумно несущейся жизни, кто видел в нем не одни обломки кораблей, яростно вздымающиеся волны да мрачную, лишь молниями освещенную ночь, кто слышал в нем не одни вопли отчаяния и крики гибели, но кто не терял при этом из виду и путеводной звезды, указывающей на цель борьбы и стремления, кто не был глух к голосу свыше: «борись и погибай, если надо: блаженство впереди тебя, и если не ты — братья твои насладятся им и восхвалят вечного бога сил и правды!» Благо тому, кто, недовольствуясь настоящею действительностию, носил в душе своей идеал лучшего существования, жил и дышал одною мыслию — споспешествовать, по мере данных ему природою средств, осуществлению на земле идеала,— рано поутру выходил на общую работу и с мечом, и с словом, и с заступом, и с метлою, смотря по тому что было ему по силам, и кто являлся к своим братиям не на одни пиры веселия, но и на плач и сетования... Благо тому, кто, падая в борьбе за святое дело совершенствования, с упоением страстного блаженства погружался в успокоительное лоно силы, вызвавшей его на дело жизни, и восклицал в священном восторге: «Все тебе и для тебя, а моя высшая награда — да святится имя твое и да приидет царствие твое!..»

Обаятельна жизнь сердца; но без практической деятельности, источник которой заключался бы в пафосе к идее, самый богато наделенный дарами природы человек рискует скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустоте мечтательных ожиданий и действительного отвращения к чувству бытия. Романтизм без живой связи и живого отношения к другим сторонам жизни есть величайшая односторонность!

...Есть пора в жизни человека, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливым порыванием без цели; когда горячие желания с быстротою сменяют одно другое и сердце, *желая многого, не хочет ничего*; когда определенность убивает мечту, удовлетворение подсекает крылья желанию; когда человек любит весь мир, стремится ко всему и не в состоянии остановиться ни на чем; когда сердце человека порывисто бьется любовию к идеалу и гордым презрением к действительности и юная душа, расправляя мощные крылья, радостно взвивается к светлому небу, желая забыть о существовании земного праха. В эту пору жизни человека любовь робка и стыдлива, жаждет одного только сочувствия и удовлетворяется долгим взглядом, таинством присутствия милого существа и за тихое пожатие руки не пожелает полного обладания. Правда, в этой поре много односторонности, много ложного, боль-

ше фантазии, чем сердца, и за нею непременно должна следовать пора горького и тяжелого разочарования для того, чтобы человек пришел в состояние понять истину, как она есть, простую и прекрасную собственною красотою, а не радужным нарядом фантазии; чтоб он мог понять, что вечное и бесконечное является в преходящем и конечном, что идея в фактах, душа в теле... Но эта пора юношеского энтузиазма есть необходимый момент в нравственном развитии человека, и, кто не мечтал, не порывался в юности к неопределенному идеалу фантастического совершенства, истины, блага и красоты, тот никогда не будет в состоянии понимать поэзию — не одну только создаваемую поэтами поэзию, но и поэзию жизни; вечно будет он влачиться низкою душою по грязи грубых потребностей тела и сухого, холодного эгоизма. Пора безотчетного романтизма в духе средних веков есть необходимый момент не только в развитии человека, но и в развитии каждого народа и целого человечества. Средние века были этим великим моментом развития народов Западной Европы, а следовательно, и всего человечества; и этот момент всемирно-исторического развития выразился в искусстве средних веков.

...Душе Пушкина присущна была прежде всего та поэзия, которая не в книгах, а в природе, в жизни,— присущно художество, печать которого лежит на «полном творении славы». Разум — это дух жизни, душа ее; поэзия — это улыбка жизни, ее светлый взгляд, играющий всеми переливами быстро сменяющихся ощущений. Бывают женщины, одаренные от природы редкою красотою, но которых строго правильные черты лица поражают какою-то сухостью, а движения лишены грации: такие женщины могут быть по-своему ослепительно-блестящи и возбуждать удивление; но их появление не заставит ничье сердце забиться от неведомого волнения, их красота не родит любви, а красота, не сопутствуемая харитою любви, лишена жизни, лишена *поэзии*. Так точно и природа и жизнь возбуждали бы только холодное удивление, если б они не были насквозь проникнуты поэзиею; не любовью — небесным огнем жизни, а холодною сыростью могилы веяло бы от них. Пусть светила небесные образуют собою стройные миры: не тем только возвышают они душу созерцающего их человека, но поэзиею своего таинственного мерцания, но дивною красотою живой игры своих бледно-огнистых лучей: в их стройном ходе Пифагор видел не одну математику в факте, но и слышал гармонию миров... Если б солнце только грело и светило, оно было бы не более, как огромный фонарь, огромная печка; но оно проливает на землю яркий, весело дрожащий, радостно играющий луч — и земля встречает этот луч улыбкою, а в этой улыбке — невыразимое очарование, неуловимая поэзия... Природа полна не одних органических сил — она полна и *поэзии,* которая наиболее свидетельствует о ее *жизни*; в ее вечном движении, в колыхании ее лесов, в трепете серебристого листа, на котором любовно играет луч солнца, в ропоте ручья, в веянии ветра, волнующего золотистую жатву, разлит для человека таинственный блеск и

слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокие, как звуки Эоловой арфы, то веселые и радостные, как песнь взвивающегося под небеса жаворонка... Человек еще более исполнен поэзии. Отчего вам так хочется расцеловать этого ребенка, шумно играющего на лугу, отчего так пленяют вас и его блестящие чистою радостию глаза, его дышащая блаженством улыбка, живость и резвость его движений? Что общего между вами, измученным жизнью, опытом и житейскими заботами, вами, человеком, пожилым и мудрым, и между им — ничего не понимающим, почти бессознательным существом? Зачем же, торопливо бежа по важному делу, с озабоченным видом, вы вдруг остановились на лугу, забыв ваши важные дела, и с улыбкою умиления смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояснело, забота на миг слетела с него, и улыбка счастия на мгновение осветила ваше угрюмое лицо, как луч солнца, проникнувший сквозь щель в мрачное подземелье и трепетно заигравший на его сыром полу?.. Оттого, что вид этого дитяти пахнул на вас поэзиею жизни... Вот прекрасная, молодая женщина: в чертах лица ее вы не находите никакого определенного выражения — это не олицетворение чувства, души, доброты, любви, самоотвержения, возвышенности мыслей и стремлений, словом, ничто не говорит вам в этом лице ни о каком резво выпечатавшемся нравственном качестве: оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнию — и больше ничего; вы не влюблены в эту женщину и чужды желания быть любимым ею, вы спокойно любуетесь прелестью ее движений, грациею ее манер,— и в то же время в ее присутствии сердце ваше бьется как-то живее и кроткая гармония счастия мгновенно разливается в душе вашей... Отчего это, если не оттого, что красота сама по себе есть качество и заслуга, и притом еще великая? Прекрасна и любезна истина и добродетель, но и красота также прекрасна и любезна, и одно другого стóит, одно другого заменить не может, но то и другое в одинаковой степени составляет потребность нашего духа. Вот почему древние греки в своем поэтическом политеизме обожествили не только истину, знание, могущество, мудрость, доблесть, справедливость, целомудрие, но и красоту, сопровождаемую харитами[2] любви и желания...

...Обратимся к Алеко. Наконец доходит дело и до страстей, появление которых поэт так значительно, таким угрожающим образом предсказывал. Сердцем Алеко одолевает *ревность*... Эта страсть свойственна или людям по самой натуре эгоистическим, или людям не развитым нравственно. Считать ревность необходимою принадлежностью любви — непростительное заблуждение. Человек *нравственно* развитый любит спокойно, уверенно, потому что уважает предмет любви своей (любовь без уважения для него невозможна). Положим, что он замечает к себе охлаждение со стороны любимого предмета, какая бы ни была причина этого охлаждения из исчисленных поэтом:

Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,

Это охлаждение заставит его страдать, потому что любящее сердце не может не страдать при потере любимого сердца; но он не будет ревновать. Ревновать без достаточного основания есть болезнь людей ничтожных, которые не уважают ни самих себя, ни своих прав на привязанность любимого ими предмета; в ней выказывается мелкая тирания существа, стоящего на степени животного эгоизма. Такая ревность невозможна для человека *нравственно* развитого; но таким же точно образом невозможна для него и ревность на достаточном основании, ибо такая ревность непременно предполагает мучения подозрительности, оскорбления и жажды мщения. Подозрительность совершенно излишня для того, кто может спросить другого о предмете подозрения с таким же ясным взором, с каким и сам ответит на подобный вопрос. Если от него будут скрываться, то любовь его перейдет в презрение, которое если не избавит его от страдания, то даст этому страданию другой характер и сократит его продолжительность; если же ему скажут, что его более не любят, тогда муки подозрения тем менее могут иметь смысл. Чувство оскорбления для такого человека также невозможно, ибо он знает, что прихоть сердца, а не его недостатки причиною потери любимого сердца и что это сердце, перестав любить его, не только не перестало его уважать, но еще сострадает, как друг, его горю и винит себя, не будучи в сущности виновато. Что касается до жажды мщения, в этом случае она была бы понятна только как выражение самого животного, самого грубого и невежественного эгоизма, который невозможен для человека нравственно развитого. И за что тут мстить? За то, что любившее вас сердце уже не бьется любовию к вам! Но разве любовь зависит от воли человека и покоряется ей? И разве не случается, что сердце, охладевшее к вам, не терзается сознанием этого охлаждения, словно тяжкою виною, страшным преступлением? Но не помогут ему ни слезы, ни стоны, ни самообвинения, и тщетны будут все усилия его заставить себя любить вас по-прежнему... Так чего же вы хотите от любимого вами, но уже не любящего вас предмета, если сами сознаете, что его охлаждение к вам теперь так же произошло не от его воли, как не от нее произошла прежде его любовь к вам? Хотите ли, чтоб этот предмет, скрывая насильственно свое к вам охлаждение, обманывал вас, ради вашего счастия, притворною любовию? Но такое желание со стороны вашей могло бы выйти только из самого грубого, животного эгоизма: ибо если вы *человек* существо *нравственно развитое,* то вы должны думать и заботиться гораздо больше о счастии связанного с вами отношениями любви предмета, чем о своем собственном. И притом надо быть слишком пошлым человеком, чтоб допустить обмануть и успокоить себя принужденною любовию, и надо быть слишком подлым человеком, чтоб, понимая такую любовь, как она есть, удовлетворяться ею: это значило бы принести чужое счастие в жертву своему

собственному — и какому счастию!.. Когда любовь с которой-нибудь стороны кончилась, вместе жить нельзя: ибо тот не понимает любви и ее требований, и за любовь принимает грубую, животную чувственность, кто способен пользоваться ее правами от предмета, хотя бы и любимого, но уже не любящего. Такая «любовь» бывает только в браках, потому что брак есть обязательство, и, может быть, оно так там и нужно; но в любви такие отношения суть оскорбление и профанация не только любви, но и человеческого достоинства. Все такие случаи невозможны для человека *нравственно* развитого.

Есть много родов образования и развития, и каждое из них важно само по себе, но всех их выше должно стоять образование *нравственное*. Одно образование делает вас человеком ученым, другое — человеком светским, третье — административным, военным, политическим и т. д.; но нравственное образование делает вас просто «человеком», т. е. существом, отражающим на себе отблеск божественности и потому высоко стоящим над миром животным. Хорошо быть ученым, поэтом, воином, законодателем и проч., но худо не быть при этом «человеком»; быть же «человеком» — значит иметь полное и законное право на существование и не будучи ничем другим, как только «человеком». В чем же состоит нравственное образование, нравственное развитие? Так как человек не только существует, но еще и мыслит, то всякий предмет в отношении к нему существует не только практически, но и теоретически, и человек только тогда вполне владеет предметом, когда охватывает его с этих обеих сторон. Но одно практическое обладание предметом еще значит что-нибудь, тогда как одно теоретическое ровно ничего не значит. И потому теоретическая нравственность, открывающаяся в одних системах и словах, но не говорящая за себя, как *дело*, как *факт*, выходящая только из созерцаний ума, но не имеющая глубоких корней в почве сердца,— такая нравственность стоит безнравственности и должна называться китайскою или фарисейскою [4]. Истинная нравственность прозябает и растет из сердца при плодотворном содействии светлых лучей разума. Ее мерило — не слова, а практическая деятельность. В сфере теорий и созерцаний быть героем добродетели в тысячу раз легче, нежели в действительности выслужить чин коллежского регистратора или, пообедав, почувствовать себя сытым. Так как сфера нравственности есть по преимуществу сфера практическая, а практическая сфера образуется преимущественно из взаимных отношений людей друг к другу, то здесь-то, в этих отношениях, и больше нигде, должно искать примет нравственного или безнравственного человека, а не в том, как человек рассуждает о нравственности или какой системы, какого учения и какой категории нравственности он держится. Слова, как бы ни были красноречивы, хотя бы произносились страстным голосом и сопровождались не только порывистыми жестами, но и при случае и горячими слезами,— слова сами по себе все-таки стóят не больше всякой другой болтовни: здесь,

как и везде, дело — в деле. Один из высочайших священнейших принципов истинной нравственности заключается в религиозном[5] уважении к человеческому достоинству во всяком человеке, без различия лица, прежде всего за то, что он — человек, и потом уже за его личные достоинства, по той мере, в какой он их имеет,— в живом, симпатическом сознании своего *братства* со всеми, кто называется «человеком». Вот что разумели мы под словом «*нравственно* развитый человек», говоря о том, каким образом показал бы себя такой человек в отношении к любимой им особе, когда она почему бы то ни было разлюбит его. Естественно, что никогда не выказывается так резко определенно нравственность или безнравственность человека, как в тех случаях, где он судит своего ближнего по отношению к самому себе и где в эти отношения вмешивается страсть: ибо в таких случаях ему предстоит быть к самому себе строгим без эффектов, беспристрастным без гордости, справедливым без унижения, между тем как в таких-то именно обстоятельствах человек, по чувству эгоизма, и увлекается крайностями, т. е. или бывает к себе пристрастно снисходительным, обвиняя во всем своего ближнего, или, что бывает реже, из самого беспристрастия своего и своей к себе строгости делает эффектную мелодраму. Поэтому наше приложение идеи нравственности к делу любви очень удобно для решения вопроса, потому что любовь, как одна из сильнейших страстей, увлекающих человека во все крайности больше, чем всякая другая страсть, может служить пробным камнем нравственности. Если человек, находящийся в положении Алеко, подавшем нам повод к этим рассуждениям, есть истинно нравственный человек, то в любимой им особе он с большею страстию, чем в ком-нибудь другом, уважает права свободной личности, а следовательно, и невольные естественные стремления ее сердца. В таком случае натурально, что ее внезапного к нему охлаждения он не примет за преступление или так называемую на языке пошлых романов неверность и еще менее согласится принять от нее жертву, которая должна состоять в ее готовности принадлежать ему даже и без любви и для его счастия отказаться от счастия новой любви, может быть, бывшей причиною ее к нему охлаждения. Еще более естественно, что в таком случае ему остается сделать только одно: со всем самоотвержением души любящей, со всею теплотою сердца, постигшего святую тайну страдания, благословить *его* и *ее* на новую любовь и новое счастие, а свое страдание, если нет сил освободиться от него, глубоко схоронить от всех, и в особенности от *него* или от *нее,* в своем сердце. Такой поступок немногими может быть оценен как выражение истинной нравственности; многие, воспитанные на романах и повестях с ревностию, изменами, кинжалами и ядами, найдут его даже прозаическим, а в человеке, таким образом поступившем, увидят отсутствие понятия о чести. Действительно, по понятиям, искаженно перешедшим к нам от средних веков, мужчине надо кровью смыть подобное бесчестие и, как говорит Алеко, *хищнику и ей, коварной, вон-*

*зить кинжал в сердце,* а женщине прибегнуть к яду или к слезам и безмолвной тоске; но не должно забывать, что то, что могло иметь смысл в варварские средние века,— в наше просвещенное время уже не имеет никакого смысла.

# РУКОВОДСТВО К ПОЗНАНИЮ НОВОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

## Сочиненное С. Смарагдовым, адъюнкт-профессором императорского Александровского лицея. С.-Петербург. 1844.

<...>

Новая история по преимуществу есть пробный камень всякого исторического таланта: в ней более, чем в древней и средней, должны обнаружиться все симпатии, верования, все беспристрастие и вместе с тем весь энтузиазм, вся живая человеческая сторона историка. Прежде нежели скажем мы, оправдала или не оправдала надежд наших новая история г. Смарагдова, считаем за нужное вновь изложить наше воззрение на историю как на *современную* науку, чтоб читатель видел, на чем опираются наши требования от всякого исторического учебника, а следовательно, и от истории г. Смарагдова [1].

Самое простое определение истории состоит в ограничении круга ее содержания историческою верностию в изложении фактов.

...Вера в идею составляет единственное основание всякого знания. В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет и науки! Знание фактов *только потому* и драгоценно, что в фактах скрываются идеи; факты без идей — сор для головы и памяти. Взор натуралиста, наблюдая явления природы, открывает в их разнообразии общие и неизменные законы, т. е. идеи. Руководимый идеею, он в классификации явлений природы видит уже не искусственное облегчение для памяти, но постепенность развития от низших родов до высших, следовательно, видит движение, жизнь. Неужели же явления общественности, составляющей необходимую форму жизни человека, менее интересны, менее разумны, нежели явления природы? Были и есть скептики, которые утверждали и утверждают, что природа произошла случайно от каких-то атомов, которые бог весть откуда произошли; но уже давно перевелись скептики, основывавшиеся на обмане чувств, отрицавшие порядок, гармонию и неизменность законов, по которым существует природа. Неужели же человеческое общество — это высшее проявление разумности высшего явления бессознательной природы чело-

века,— неужели общество возникло из случайности и управляется случайностью? И между тем есть люди, которые думают так, может быть, сами того не зная, что они так думают! Ибо отвергать возможность истории как науки — значит отвергать в развитии общественности неизменные законы и в судьбах человека ничего не видеть, кроме бессмысленного произвола слепого случая. Пока фактические знания находились еще в колыбели, простительно было так думать; но когда знание фактов открыло между ними связь и последовательность, а философия открыла смысл и значение этой связи и последовательности, показав в них развитие и прогресс, тогда возможность истории как науки и ее великое значение могут быть закрыты только для одного слабоумия или наглого шарлатанства, которое в парадоксах более бесстыдных, чем смелых, ищет жалкой известности, способной удовлетворять мелкое самолюбие...[2]

История есть наука нашего времени, и потому наука новая. Несмотря на то, она уже успела сделаться господствующею наукою времени, альфою и омегою века. Она дала новое направление искусству, сообщила новый характер политике, вошла в жизнь и нравы частных людей. Ее вопросы сделались вопросами жизни и смерти для народов и для частных людей. Это *историческое* направление есть великое доказательство великого шага вперед, который сделало человечество в последнее время на пути совершенствования: оно свидетельствует, что отдельные лица начинают сознавать себя живыми органами общества — живыми членами человечества и что, следовательно, само человечество живет уже не объективно только, но как живая, сознающая себя личность.

Есть две истории: одна непосредственная, другая сознательная. Первая — это сама жизнь человечества, из самой себя развивающаяся по законам разумной необходимости. Вторая — это изложение фактов жизни человечества, история писанная — сознание истории непосредственной. Все разумное имеет свою точку отправления и свою цель; движение есть проявление жизни, цель есть смысл жизни. В непосредственной жизни человечества мы видим стремление к разумному сознанию, стремление непосредственное сделать в то же время и сознательным, ибо полное торжество разумности состоит в гармоническом слиянии непосредственного существования с сознательным. Жизнь животного также подчинена неизменным и общим законам природы; но животному не дано наслаждаться сознанием своего существования, не дано видеть и разуметь себя не только как нечто в самом себе, но и как вне себя пребывающее. Животное чувствует свою особенность от окружающих его предметов, чувствует свою *индивидуальность*, но у него нет личности, оно не может сказать себе: *мыслю, следовательно, существую*. Непосредственная жизнь имеет свои ступени и является то низшею, то высшею, но законы ее везде одинаковы: человек и в непосредственности бытия своего выше животного, но вполне человеком он может быть только как существо сознательное. Гегель сказал: «Человек есть животное, которое

потому уже не есть животное, что оно знает, что оно — животное». Для ума поверхностного это определение может показаться философским каламбуром; дюженные остряки, пожалуй, назовут его еще и туманным, а гордое собою невежество увидит в нем худощаво-мудреное немецкое слово. Спорить с этими господами мы не имеем ни времени, ни охоты. Мыслящие люди поймут всю глубину этого выражения, по-видимому весьма простого, но резко и определенно схватывающего великую мысль. В самом деле дикарь, пожирающий тело убитого им врага, не потому ли именно есть зверь, что он не знает, что он зверь? Если б его грубое понятие озарилось сознанием, что он — зверь, тогда, если б он и не перестал быть зверем, для него все-таки явилась бы возможность перестать быть зверем. Это можно применить ко многому. Для которого из двух злодеев предстоит больше возможности сделаться добрым: для того ли, который сознает, что он злодей, или для того, который в своем злодействе видит законную форму жизни и даже гордится им как доблестью? Дело только в том, что под сознанием не должно разуметь одного холодного логического процесса мысли, но страстное, переходящее в жизнь убеждение. Полнота жизни человека должна состоять в равномерном участии всех сторон его нравственного существования. В мысли без чувства и в чувстве без мысли виден только порыв к сознанию, половина сознания, но еще не сознание, это машина, кое-как действующая половиною своих колес и потому действующая слабо и неверно.

Мы знаем, что во времена глубокой древности и даже среди грубых, невежественных народов являлись гениальные личности, возвышавшиеся до значительных ступеней человеческого сознания. Но человек не есть сам себе цель: он живет среди других и для других, так же как и другие живут для него. Народ — тоже личность, как и человек, только еще высшая; человечество — та же личность, что и народ, только еще высшая. Итак, если цель жизни каждого человека, отдельно взятого,— сознание, то что же, если не сознание, должно быть целью существования и каждого народа и всего человечества? Это тем яснее, что, как бы ни велик был человек, народ всегда выше его, и соединенные усилия многих людей всегда превзойдут в своих результатах его усилия.

А между тем мы видим, что доселе успехи сознания состоят только в том, что от индивидуумов они перешли к сословиям. Следовательно, человечеству предлежит пройти на пути совершенствования или сознания еще более длинный путь, нежели какой оно прошло уже; но этот путь будет уже более прямой и широкий, а это уже много — из чащей и дебрей выйти наконец на большую дорогу[3]. Вот почему мы видим великий успех человечества в историческом направлении нашего века. Если человечество уже начало сознавать себя человечеством, значит, близко время, когда оно будет человечеством не только непосредственно, как было доселе, но и сознательно. И начало этого сознания оно могло почерпнуть только в истории.

История на Востоке и доселе есть сказка, ибо она там не отделилась еще от поэзии. Говоря собственно, на Востоке и не может быть истории: историю может *писать* только народ, который своею жизнию *делает* историю, т. е. наполняет массу *разумных*, а не *случайных* событий, составляющих содержание истории; а Восток умер в младенчестве, в то время, когда его сознание могло выражаться только в поэзии. У древних была история, но в их духе и удовлетворительная только для них. Они умели с дивным художественным искусством излагать события; умели даже видеть их в органической связи и последовательности; но у них не было (и не могло быть) идеи о прогрессе, о развитии человечества. Грек и римлянин видели человечество только в самих себе, а все, что не было греком и римлянином, они называли варварами. Созерцание, лежавшее в основании их истории, было чисто древнее, трагическое, в котором преобладала мысль о борьбе человека и народов с роком и победе последнего над первым. Древние носили в душе своей темное предчувствие недолговечности форм своей жизни, отсюда их понятие о мрачном царстве судьбы, которой трепетали даже самые боги их. Такое тесное воззрение не могло возвыситься до истории как науки, и потому история у древних была только искусством и принадлежала к области красноречия. Истинное понятие об истории могло возникнуть только у христианских народов, которых бог есть бог всех людей, без различия национальностей. И однако ж эта идея о человечестве, составляющая душу и жизнь истории и возвысившая ее до значения науки, явилась недавно, а развилась еще позднее. Знаменитая речь гениального Боссюэта о всеобщей истории (появившаяся в 1681 г.) была первым сочинением, которое навело на мысль — подводить все исторические события под одну точку зрения, искать в них одну идею [4]. Это была идея еще только в зародыше, и ее развитие началось с прошлого века (Вико, Кант, Шлёцер, Гердер) [5] и быстро идет в настоящем веке. Мы разумеем здесь только теоретическое развитие этой идеи, и в этом отношении едва ли кому она так многим обязана, как Гегелю [6]. Разумеется, и практика не осталась без попыток уравняться с теориею, и теперь история, чуждая идеи прогресса, никем не будет признана в достоинстве истории. Однако ж должно сказать, что в этом отношении теория далеко опередила практику, и идеал истории, ясный и определенный в сознании, до сих пор не осуществлен фактами. Если что-нибудь было замечательного по части исторических опытов, так это или история отдельных народов, или изложение какой-нибудь отдельной эпохи из всеобщей истории. Лучшие историки — английские и французские, но их имен немного: Юм, Робертсон, Гиббон, Гизо, Тьер, Мишле, Барант, Тьерри [7]; первые три принадлежат прошлому столетию, а последние — нынешнему. Из немцев замечательны Иоганн Мюллер, Шиллер, Раумер, Ранке и Лео. Нельзя не сознаться, что это число слишком невелико. Что же касается до попыток написать всеобщую историю, то здесь не на что и указать, кроме трудов Роттека и Шлоссера [8], особенно последнего,—

трудов более замечательных, чем удовлетворительных. Причина этого очевидна, нужно удивительное соединение в одном человеке слишком многих и слишком великих условий, чтоб он мог написать хорошую всеобщую историю: громадная эрудиция, широкие симпатии, многосторонность созерцания, высокое философское образование, соединенное с глубоким знанием людей и жизни, с верным тактом действительности, возвышенность и сила личного убеждения, носящего характер религиозный и соединенного с тою гуманною терпимостью, которая вытекает из живого сознания законов необходимости; наконец, великий художественный талант, в котором бы эпический элемент органически сливался с противоположным ему драматическим элементом. Для истории, в истинном значении этого слова, еще не настало время: переходные эпохи, когда старое или сокрушается с грохотом, или подтачивается медленно, а заря нового видна только немногим избранным, одаренным ясновидением будущего по темным для других приметам настоящего,— переходные эпохи, как бесплодные и лишенные великих и живых верований, не благоприятны для истории, как произведения науки и искусства вместе.

Между людьми, наиболее споспешествовавшими развитию истинного взгляда на историю, почетное место занимает человек, написавший одну преплохую историю[9] и множество превосходных романов: мы говорим о Вальтере Скотте. Невежды провозгласили его романы незаконным плодом соединения истории с вымыслом[10]. Очевидно, что в их узком понятии никак не могла склеиться история с вымыслом. Так, есть люди, которые никак не могут понять смысла оперы как художественного произведения, потому что в ней действующие лица не говорят, а поют, чего не бывает в действительности. Так, есть люди, которые считают за вздор стихи, справедливо замечая, что стихами-де никто не говорит. Разные бывают люди, и разные бывают роды узколобия! Те, которых приводит в соблазн сочетание истории с романом, смотрят на историю как на военную и дипломатическую хронику, и с этой точки зрения они, конечно, правы. Они не понимают, что история нравов, изменяющихся с каждым новым поколением, есть еще более интересная история, чем история войн и договоров, и что обновление нравов через обновление поколений есть одно из главных средств, которыми провидение ведет человечество к совершенству. Они не понимают, что историческая и частная жизнь людей так перемешаны и слиты между собою, как праздники с буднями. Вальтер Скотт угадал это как гениальный человек — инстинктом. Знакомый с хрониками, он умел читать в них не только то, что написано в строках, но и между строками. В его романах толпятся люди, волнуются страсти, кипят интересы великие и малые, высокие и низкие, и во всем этом проявляется пафос эпохи, с удивительным искусством схваченный. Прочитать его роман — значит прожить описанную им эпоху, сделаться на время современником изображенных им лиц, мыслить на время их мыслию, чувствовать их чувством. Он умел взглянуть как гениальный

человек и на кровавые внутренние волнения древней Англии, волнения, в новой Англии принявшие форму консервативности и оппозиции, и открыл их смысл и значение в борьбе англосаксонского элемента с нормандским. Вот почему Гизо называет Вальтера Скотта своим учителем в истории, и он сам объяснил источник французской революции результатом *тринадцативековой*[11] борьбы между франкским и галльским элементами.

В основании всеобщей истории должна лежать идея человечества как предмета единичного, индивидуального и личного. Задача всеобщей истории — начертать картину развития, через которое человечество из дикого состояния перешло в то, в каком мы его видим теперь. Это необходимо предполагает живую связь между современным и древним, теряющимся во мраке времен,— словом, предполагает непрерывающуюся нить, которая проходит через все события и связывает их между собою, давая им характер чего-то целого и единого. Эта нить есть идея сознания, диалектически развивающегося в событиях, так что в них все последующее необходимо выходит из предыдущего, а все предыдущее служит источником последующему, точно так, как в логическом рассуждении одно умозаключение выходит из другого и рождает из себя третье. Эта истина очевидна; она доказывается тем, что многое в нашем веке было бы совершенно непонятно в отношении к своему происхождению, если бы мы не знали древней истории. Следя за судьбами человечества, мы в ряду исторических эпох его видим строгую, непрерывную последовательность, так же как в событиях живую, органическую связь. Мы видим, что каждый человек, существуя для себя самого, в то же время существует для общества, среди которого родился; что он относится к этому обществу, как часть к целому, как член к телу, как растение к почве, которая и родит, и питает его. Отсюда происходит, что каждый человек живет в духе этого общества, выражая собою его достоинства и недостатки, разделяя с ним его истины и заблуждения. Мы видим, что общество, как собрание множества людей, которые, несмотря на все различие свое один от другого, тем не менее в своем образе мыслей, чувств, верований имеют что-то общее, есть нечто единое, органически целое, словом, что общество есть идеальная личность. Мы видим, что каждое общество (племя, народ, государство), живя для самого себя и своею собственною жизнию, как отдельный человек, в то же время живет для человечества и относится к нему, как часть к целому, как член к телу, как растение к почве, которая и родит, и питает его своими соками. Как из разнообразия характеров, способностей и воль множества людей, разнообразия, впрочем, запечатленного чем-то общим, образуется органическое единство политического тела — народ или государство, так из разнообразия характеров народного образуется единство человечества. Каждый человек потому чем-нибудь отличается от всех других людей и наружно и внутренне, что только из разнообразия способностей образуется гармония совокупных действий, и каждый народ потому отличается более или менее от всех других, что дол-

жен в общую сокровищницу человечества принести свою лепту. В обществе один — земледелец, другой — ремесленник, третий — воин, четвертый — художник и так далее, каждый по своей способности и своему призванию и каждый по этому самому представляет собою необходимое колесо для движения общественной машины. То же и с народами в отношении к человечеству: в Египте возникли математические и естественные знания; Греция развила идею искусства и гражданской доблести, основанной на благородстве свободной любви к отечеству; Рим развил идею права и дал древнему миру гражданское устройство; евреи — по превосходству народ божий — были призваны провидением быть хранителями священного огня истинной веры в бога; той веры, которой основанием была *снедающая ревность по боге* [12], и из этого воистину избранного богом народа вышло спасение мира, явился богочеловек, провозвестивший миру ту веру, которая не есть вера одного народа, но вера всех людей и которая указала людям кланяться богу не в Иерусалиме только, но всюду и везде, *духом и истиною*. Древний мир окончил свое существование: не стало Греции, погиб жертвою варваров миродержавный Рим, и рассеялись по лицу земли остатки некогда любимого и избранного богом народа; казалось, настал конец миру, светильник просвещения угас навсегда и варварство должно было поглотить человечество. Но на рубеже двух миров — умирающего древнего и возрождающегося нового, но в хаосе средних веков, этой эпохи дикого невежества, кровавых войн, беспорядка и смешения, не переставал раздаваться всемогущий глагол жизни: *да будет!* И бысть!.. Новая вера укрепилась и распространилась по лицу лучшей части земли, политический беспорядок переродился в монархическое единство, муниципальная система городов, основанная римлянами в Испании, Галлии, Британии и Германии, удержалась и развилась; римское право сменило варварские законоположения, и наконец для Европы воскресли и мудрость, и искусство, и гуманные формы гражданской жизни древней Эллады! Ничто из прожитого человечеством не пропало втуне, но все сохранилось, чтоб ожить в новых, более сложных и полных формах, чтоб войти, подобно питательным сокам, в новое общественное тело и, присуществившись ему, утучнить его на новое здравие и новые силы! И даже теперь, в наш век, холодный и расчетливый, положительный и мануфактурный, в наш век, в котором малодушие видит только гниение и близкую смерть и в котором действительно маленькими самолюбиями заменились великие страсти, а маленькими людьми — великие люди,— разве даже и в наш век развитие человечества остановилось? Да, если хотите, оно остановилось, но для того только, чтоб собраться с силами, запастись материальными средствами, которые столь же необходимы для него, как и духовные! И эти паровые машины, эти железные дороги, электрические телеграфы — все это что же такое, если не победа духа над грубою материею, если не предвестник близкого освобождения человека от материальных работ, унижающих душу и сокрушающих волю, от

рабства нужды и вещественности! И однако ж еще нелепее было бы думать, что теперь развитие должно остановиться, потому что дошло до самой крайней степени и дальше идти не может. Нет предела развитию человечества, и никогда человечество не скажет себе: «Стой, довольно, больше идти некуда!» То, что мы называем человечеством, не есть какая-нибудь реальная личность, ограниченная в самой духовности ее материальными условиями и живущая для того, чтоб умереть: человечество есть идеальная личность, для которой нет смерти, ибо умирают люди, но человечество не только от этого не умирает, даже не умаляется. Человечество — это дух человеческий, а всякий дух бессмертен и вечен! И в чем же бы состояла вечная жизнь человечества, чем бы наполнилась она, если б ее развитие остановилось навсегда? Жизнь только в движении; в покое — смерть. В чем будет состоять развитие человечества через тысячу лет? — Подобный вопрос нелеп, потому что неразрешим. Но в эпоху всеобщего разложения элементов, которые дотоле составляли жизнь обществ, в эпоху отрицания старых начал, на которые опиралась эта жизнь, в эпоху всеобщей тоски по обновлении и всеобщего стремления к новому идеалу можно предчувствовать и даже предвидеть основание будущей эпохи, ибо самое отрицание указывает на требование, и разрушение старого всегда совершается чрез появление новых идей. Если до сих пор человечество достигло многого, это значит, что оно еще большего должно достигнуть в скорейшее время. Оно уже начало понимать, что оно — человечество: скоро захочет оно в самом деле сделаться человечеством.

Мысль и гордая и великая! Нет более случайности: дух божий ведет и движет дух человеческий к его цели! Исторический фатализм — богохульство; живая вера в прогресс и ее следствие — сознание своего человеческого достоинства — вот плоды изучения истории, вот великое значение великой науки!..

Отсюда видно важное значение исторического учебника. В жизни каждого человека бывает эпоха непосредственной воспримемлемости идей и бывает эпоха, когда принятие новых идей или дальнейшее развитие старых возможно только на основании трудов первой эпохи. Слишком немногие способны, достигши возмужалости, понять истины, самые простые и доступные в лета детства и юности, посвященные учению. Это оттого, что детство принимает на веру непосредственно те идеи, которые сначала кажутся отвлеченными, а потом, в более зрелом возрасте, получают характер осязаемой действительности, поверяются и развиваются сознанием. Кто учился истории в эпоху первой молодости, тот сперва непосредственно принимает в себя созерцание народа или человечества как идеальной личности. Для человека же, который начинает мыслить и учиться в эпоху возмужалости, подобные идеи иногда даются с большим напряжением ума и часто совсем не даются: ибо ум, не развитый учением и не сделавшийся от того гибким в лета детства и юношества, делается грубым и не способным для принятия отвлеченных понятий; ему бывает доступно только

материальным образом ясное и определенное. Но эта-то самая гибкость и нежная впечатлительность юных умов, которая так способствует быстрой и легкой восприемлемости идей и на которой основывается возможность усвоения содержания науки — истины, она же бывает и причиною огрубления способностей и бессилия постигать истину. Это зависит оттого, *какие* истины впервые коснутся юного мозга и *каким образом* будут они ему переданы. Отсюда выходит великая важность всякого учебника, а следовательно, и исторического.

Исторический учебник, вопреки общепринятому ложному мнению, отнюдь не должен быть чужд всяких рассуждений, предложенных от лица автора. Дело в том, чтоб эти рассуждения были уместны и заключали в себе столько же мыслей, сколько и слов. Они должны быть выразительны без многословия, сжаты без темноты, красноречивы без изысканности, сильны без напыщенности. Их цель должна быть — приучение молодого ума рассуждать без резонерства, мыслить без сухости и вникать не только в смысл, но и в поэзию великих мировых событий. Но еще большее умение автора исторического учебника должно состоять в том живом и вместе простом изложении событий, которое говорит прямо уму и фантазии и потому без труда удерживается памятью. Этого нельзя достигнуть иначе, как проведши живую мысль через всю нить событий, в отношении к целому построению учебника, и оживив мыслию каждое особое событие. Лица, играющие роль в событиях, не должны быть только историческими именами, но и историческими идеями; каждое из них должно быть показано и со стороны его собственной мысли, во имя которой оно действовало, и в отношении к общей идее народа, среди которого оно являлось, так, чтобы ученик понимал, что такое лицо, как, например, Алкивиад, возможно было только в Афинах, и такое, как, например, Марий, только в Риме, хотя оба эти лица были столько же друзьями, сколько и врагами своего отечества. Хороший исторический учебник не одними толкованиями (хотя и они необходимы в нем), но и самым тоном своего изложения должен прежде всего и больше всего научить ученика — в каждом народе, отдельно взятом, и в целом человечестве видеть не статистические числа, не искусственные машины, не отвлеченные идеи, но живые организмы, идеальные личности, живущие вечным, непрерывным стремлением к сознанию самих себя. Без этого созерцания народа и человечества как идеальных личностей невозможна история как наука, ибо тогда она была бы наукою без содержания, повествованием без героя, сбором событий без связи и смысла. Понятие о *прогрессе* как источнике и цели исторического движения, производящего и рождающего события, должно быть прямым и непосредственным выводом из воззрения на народ и человечество как на идеальные личности. Но это движение и результат его — *прогресс* — должны быть определены и охарактеризованы как можно глубже и многосторонне. Есть люди, которые под прогрессом разумеют только сознательное движение, производимое благородны-

ми деятелями, и, как скоро на сцене истории не видят таких деятелей, сейчас приходят в отчаяние, и их живая вера в провидение уступает место признанию враждебного рока, слепой случайности, дикого произвола. Такие люди во всяком материальном движении видят упадок и гниение общества, унижение человеческого достоинства, преклонившего колено перед тельцом златым и жертвенником Ваала. Есть другие люди, которые, напротив, думают, что общий прогресс может быть результатом только частных выгод, корыстного расчета и эгоистической деятельности нескольких сословий на счет массы общества, и вследствие этого хлопочут из всех сил о фабриках, мануфактурах, торговле, железных дорогах, машинах, об основании общества на акциях и тому подобных *насущных* и *полезных* предметах. Такие люди всякую высокую мысль, всякое великодушное чувствование, всякое благородное деяние считают донкихотством, мечтательностью, бесполезным брожением ума, потому что все это не дает процентов. Очевидно, это две крайности, которых больше всего должен опасаться составитель курса истории для преподавания юношеству. Первая крайность производит пустых идеалистов, высокопарных мечтателей, которые умны только в бесплодных теориях и чужды всякого практического такта. Вторая крайность производит сциентических спекулянтов и торговцев, ограниченных и пошлых утилитаристов [13]. Для избежания этих крайностей исторический учебник должен показать общество как предмет многосторонний, организм многосложный, который состоит из души и тела и в котором, следовательно, *нравственная* сторона должна быть тесно слита с *практическою* и интересы *духовные* — с выгодами материальными. Общество тогда опирается на прочном основании, когда оно живет высокими верованиями — источником великих движений и великих деяний; в верованиях скрываются идеи; через распространение и обобщение идей общества двигаются вперед. Но идеи не летают по воздуху; они расходятся по мере успехов коммуникации между обществами, а коммуникации требуют путей материальных. Отсюда великое нравственное значение, например, железных дорог, кроме их великого материального значения как средства к усилению материального благосостояния общества. Историк должен показать, что исходный пункт нравственного совершенства есть прежде всего материальная потребность и что материальная нужда есть великий рычаг нравственной деятельности. Если б человек не нуждался в пище, в одежде, в жилище, в удобствах жизни, он навсегда остался бы в животном состоянии. Этой истины может пугаться только детское чувство или пошлый идеализм. Но эта истина не поведет ума дельного к разочарованию; дельный ум увидит в ней только доказательство того, что дух не гнушается никакими путями и побеждает материю ее же собственным содействием, ее же собственными средствами. И потому в истории являются необходимыми не одни герои добра и сердечного убеждения, но и честолюбивые эгоисты и даже самые злодеи; не одни Соломоны, Аристиды и Тимолеоны, но и Пизист-

раты, Алкивиады, Филиппы и Александры Македонские; не одни Альфреды и Карлы Великие, но и Людовики XI и Фердинанды Католики; не одни Генрихи IV и Петры Великие, но и Наполеоны. И все они равно работали одному и тому же духу человеческому, только одни сознательно действуя для него и во имя его, а другие — бессознательно, действуя для себя самих, во имя своего *я*. И нигде, ни в чем не видно так ясно присутствия миродержавных судеб божиих, как в этом равномерном служении духу и добрых, и эгоистов, и злых, в котором скептики видят неопровержимое доказательство, что человечеством правит слепой случай: ибо где же было бы обеспечение прогресса, порука за высокую цель, к которой стремится человечество, если б судьба народа или человечества зависела только от явления честолюбивых личностей, подверженных и смерти, и всем случайностям? Напротив, так как источник прогресса есть сам же дух человеческий, который беспрерывно живет, т. е. беспрерывно движется, то прогресс не прерывается даже в эпохи гниения и смерти общества, ибо это гниение необходимо как приготовление почвы для цвета новой жизни, и самая смерть в истории, как и в природе, есть только возродительница новой жизни. Развращение нравов в Западной Римской империи, достигшее до крайних пределов, возвестило конец древнего мира и приуготовило торжество новой веры, под сень которой склонилось все, жаждавшее обновления и возрождения,— и Рим, столица языческого мира, сделался столицею христианского мира. Великие исторические личности суть только орудия в руках духа: их воля при них, но она без ведома их ограничена духом времени, страны и потребностями настоящей минуты и не выходит из этого магического круга. Когда же она прорывается через этот круг и расходится с высшею волею, тогда перед глазами изумленного человечества повторяется священное сказание о древнем Израиле, который охромел в борьбе с неведомым борцом... Самовольно отторгшаяся воля человека от воли духа сокрушается, как лист, падающий с дерева, действует ли она во благо или во зло. Еще и теперь живы поколения — свидетели падения сына судьбы, который, совершив свою миссию, не внял призванию духа — и пал от бури, им самим воздвигнутой, пал не в слабости, не в истощении, не в утомлении, но в полноте сил своих, в зените своего могущества,— и его падением мир столько же был изумлен, сколько и он сам; так ясно видна была недоступная для телесных очей, но понятная разуму невидимая рука, поразившая его... Бывают в истории эпохи, когда, кажется, готова погаснуть в обществах последняя искра живительной идеи, когда над миром царят ничтожество и эгоизм, когда, кажется, уже нет более спасения,— но тут-то и близко оно,— и готовая потухнуть слабая искра жизни вдруг вспыхивает морем пламени, и осиянный ею мир дивится, откуда явилось его спасение...

Все эти идеи тем легче развить в историческом учебнике, что он весь состоит из фактов, которые не иное что, как проявление этих же самых идей. Следовательно, стоит только изложить их с

настоящей точки зрения, чтобы идея говорила сама за себя. Мы должны сказать с сожалением, что новая история г. Смарагдова далеко не удовлетворяет требованиям хорошего учебника, по нашему воззрению.

Прежде всего скажем, что самый объем ее не обнаруживает в авторе современного взгляда на новую историю. Как все наши авторы исторических учебников, не исключая и г. Кайданова, г. Смарагдов разделяет новую историю на три периода — *религиозный, меркантильный* и *революционный*. Это разделение он имеет полное право считать основательным, с своей точки зрения; но мы удивляемся, как не заметил он, что в этом разделении новая история, если ее изложить сообразно с важностью и многосложностью фактов, является человечком с маленькими ножками и огромнейшею головою, или, если последний период изложить кратко, кое-как, то уродцем с хвостиком вместо головы? Дело в том, что последний период совсем не принадлежит к новой истории, которая должна обнимать собою только время от конца XV в., или от открытия Америки, до конца XVIII в., или до французской революции, которая начинает собою *новейшую* историю, так же точно относящуюся к новой, как новая к средней. Ибо деление истории на периоды должно основываться не на произволе автора, не на привычке, а на духе событий. Справедливость нашего мнения доказывается тем, что если б г. Смарагдов события от французской революции продолжал излагать в тех же размерах, т. е. с тою же подробностию, как и предшествовавшие события, то его книга вместо 611 страниц непременно должна была бы выйти разве в 1200 страниц. Но он события от революции изложил кое-как, сделал из них какой-то сухой перечень, в котором для незнающего истории из лучших источников, нежели история г. Смарагдова, все темно, непонятно, сбивчиво, бестолково; оттого вся новая история и уместилась у него в одной книге: чтоб вписать ее в эту книгу, он срезал с нее голову, присадив на ее место набалдашник [14].

История человечества составляется из многих сторон: это есть вместе история и войн, и договоров, и финансов, и администрации, и права, и торговли, и изобретений, и наук, и искусств, и литературы, и нравов; но как политическое значение составляет главную форму жизни гражданских обществ и как борьба всех идей, составляющих основание духовной жизни обществ, доселе обнаруживалась в войнах, то история человечества по преимуществу должна быть *политическою*. Однако ж история войн, договоров и правительств должна быть в этом случае только рамою для исторического повествования, рамою, обнимающею все стороны жизни народов и все идеи, развивавшиеся в их жизни [15]. Но г. Смарагдов пошел в этом отношении по избитой колее и, только слегка обозначая причины войн, свое внимание обращает на самые войны, т. е. на мало интересные перечни сражений. Так, например, он довольно подробно рассказывает все войны, порожденные *мечтою* о политическом равновесии Европы,— и весьма

неудовлетворительно излагает картину Реформации. На мечту о политическом равновесии Европы он смотрит как на что-то важное по своему принципу и своим результатам; а между тем это было не более как мечта, державшая государства Европы в беспрерывном напряжении их сил. Лучшее доказательство в том, что результатом целого ряда кровопролитных войн за равновесие вышло совершенное неравновесие и что первостепенные державы, каковы, например, Испания и Швеция, низошли в разряд второстепенных, а второстепенные, как Англия и Пруссия, возвысились на степень первостепенных. Нарушение равновесия видели не в успехах промышленности, торговли, просвещения, а в расширении владений, тогда как оно-то самое и было причиною расслабления *внешним образом* усиливавшегося государства, ибо соединение под одною властию разнородных и часто враждебных друг другу земель только умножало издержки на содержание войск в приобретенной стране и не давало в вознаграждение никаких существенных выгод, не говоря уже о том, что вовлекало в кровопролитные войны с завистливыми чуждыми государствами. Франция сделалась при Людовике XIV первенствующим государством Европы не чрез завоевания, а чрез торжество монархизма над феодализмом, торжество, приготовленное кардиналом Ришелье,— и все войны, возженные честолюбием Людовика XIV и стоившие Франции ужаснейшего истощения, не могли низвести это государство в разряд второстепенных держав, ибо оно уже успело укрепиться *изнутри* и не было слабее других государств ни в позорные времена регентства, ни в жалкое правление Людовика XV, а при Наполеоне снова явилось сильнейшею державою в Европе; да и теперь, лишившись всех приобретений, сделанных Наполеоном, Франция едва ли слабее любого из европейских государств. Англия возвысилась тоже не завоеванием, а развитием внутренних своих сил, упрочением политического своего устройства и эгоистическою политикою, выходившею прямо из ее национального характера. Величие Пруссии основывалось на принципе протестантизма, принятого ею за принцип ее политической жизни, тогда как католическое начало сгубило Испанию своим угнетающим преобладанием над всеми другими элементами государственной жизни. Швеция своим мгновенным величием при Густаве-Адольфе, Карле X и Карле XII обязана была не внутренним своим силам, а личному характеру этих трех государей. Только одна Австрия сложилась силою внешних тяготений и утвердилась на искусственных основаниях, благодаря, во-первых, раздроблению Германии, во-вторых, своему значению, как тени империи Карла Великого и, наконец, миссии — быть оплотом против вторжения турков. Во всяком случае из странной игры в войны за политическое равновесие только Австрия извлекла для себя выгоды. Вообще же эти войны выходили, во-первых, из детских понятий о политике, во-вторых, из честолюбия тогдашних властителей Европы. Это сначала было какою-то борьбою еще не совсем умершего рыцарства с неустановившеюся новою политикою (войны Карла XIII, Людовика XII и

Франциска I с Испаниею и Австриею за Милан и Неаполь), а потом усилием выработать систему здравой политики. Народам Европы нужно было перегореть в горниле кровавых столкновений друг с другом, и в этом случае всякая причина была хороша; но для равновесия не вышло из этих войн никаких результатов, потому что *гегемония* со стороны какого бы то ни было государства была решительно невозможна. Г-н Смарагдов в войнах Франциска I с Карлом V видит характер величественный и благородный, видит борьбу за независимость Европы против габсбургского дома, а не продолжение итальянских войн (с. 36); но уже одного личного характера Франциска I достаточно для решительного опровержения этого мнения. Франциск I был рыцарь, а не политик; если он и достиг каких-нибудь хороших результатов для общей пользы Европы, то совершенно бессознательно и стремясь совсем к другим целям. Вообще, до Генриха IV в Европе не являлось ни одного истинно государственного ума, ни одного политика в настоящем значении этого слова. Но политика Генриха IV, благодетельная для Франции, не могла быть благодетельною для Европы, потому что для своего времени она была слишком высока, благородна и человечна. По обширным планам, исполненным гениального соображения и верного такта возможности и действительности, первым истинно великим политиком Европы был кардинал Ришелье. Работая для своего времени, он работал для веков; он нанес ужасный и последний удар феодализму и заставил его выродиться в бессильную аристократию, трепетавшую потом одного взора Людовика XIV. Войны за равновесие были не больше, как историческою комедиею, особенно до Реформации, которая придала им другой, более важный характер. Но Реформация явилась не в один же день с Лютером; она приготовлялась столетиями, и начало ее скрывается в средних веках. За сто лет до появления Лютера был сожжен Иоанн Гус и его сподвижник Иероним Прагский. Но и не тут еще начало ересей: в XII в., за двести с лишним лет до Иоанна Гуса, с тою же целью основал свое учение Петр Вальдо — учение, произведшее альбигойские войны. Реформа Лютера была не чем иным, как удавшаяся наконец (потому что пришло уже время) попытка дела, которое не удалось ни Вальдо, ни Гусу. Но время итальянских войн, от 1494 до 1517 г., было же занято не одними походами французов в Италию, интригами пап и противодействием Испании: под этими внешними событиями, которые вообще мало интересны и которых влияние на последующие события нисколько не заметно, скрывалась другая работа духа, менее заметная внешним образом, потому что была менее блестящею, но зато более существенною и великою по ее значению и следствиям. Изобретение книгопечатания, приготовившее успех Реформации, быстро распространялось и дало возможность избранным умам действовать на массы. Явление Лютера, протестовавшего 95 тезисами против продажи индульгенций 1517 г. октября 31, предшествовалось глухою, но тем не менее сильною и драматическою борьбою, которой Реформация была только развязкою. Притом это

событие совершено было Лютером не без помощи других замечательных людей [16]. Начало Реформации современно великому нравственному событию в жизни Европы — *возрождению наук*. По взятии турками Константинополя (1453) множество византийцев оставили свое отечество и нашли убежище в Италии; они принесли с собою сокровища древних литератур в эту страну, издавна уже знакомую с латинскою литературою. Это обстоятельство дало сильный толчок просвещению Европы: классическая ученость вступила в бой с схоластицизмом средних веков. Германия, главное гнездо этого схоластицизма в лице своих университетов, фанатически ополчилась на дух нового движения. Профессора греческого и латинского языка были преследуемы как еретики и безбожники. Они бегали из города в город, гибли от меча и яда. Несмотря на это, дух совершал свое дело — и дикое невежество уступало ему шаг за шагом. Энтузиазм новой науки до того овладел новым поколением, что молодые люди,— одни, не будучи в состоянии платить профессорам, поступали к ним в слуги; другие, презирая надзор полиции, не боясь холода, собирались по ночам в каком-нибудь отдаленном поле или в лесу, чтоб объяснять Цицерона, переводить Гомера. Университеты ожесточаются; у папы выманивается булла, запрещающая учиться еврейскому языку и читать еврейские книги; знаменитый и благородный ученый того времени Рейхлин едва не попадает на костер за свое знание древних и еврейского языков. Тогда является остроумный памфлет фон Гуттена — «Litterae Obscurorum Virorum» [17], в котором дикое невежество и фанатизм с ядовитым искусством поражаются собственным их орудием. Это упрочило торжество просвещения в Европе. Гердер сказал, что ни Гудибрас в Англии, ни Гаргантюа во Франции, ни Дон Кихот в Испании не имели столь сильного влияния на совершенствование человечества, как письма Гуттена, сокрушившие последнюю ограду варварства — схоластицизм коллегий. Мы думаем, что подвиги и заслуги даже таких людей, каковы Конрад Цельт, Герман Бушиий, Иоганн Регий, Эстикампиан, Гегий — учитель Эразма Роттердамского, Дринагенберг, образователь Меланхтона, Агрикола и другие, стоили бы почетного упоминания в историческом учебнике, хотя они и не полководцы. И еще более такие люди, как Рейхлин [18], Эразм Роттердамский, Гуттен: их значение, их борьба на жизнь и на смерть с варварством и их победы над ними стоили бы в историческом учебнике изложения более обширного, нежели какое сделали мы в этих строках; ибо во всем этом в тысячу раз более интереса и важности, чем в пустых подробностях итальянских войн. Но обо всем этом у г. Смарагдова ни слова: он описывает только то, что было уже описано г. Кайдановым. Мы не говорим, чтоб итальянские войны должно было пройти молчанием: нет, рама политических событий пусть остается рамою и *сжато* излагается в параграфах крупной печати; но события, ознаменованные внутренним смыслом, события, без которых непонятно движение человечества, пусть излагаются *подробнее* в параграфах мелкой печати. Г-н Смарагдов не почел

за нужное даже прибегнуть к этому необходимому в учебной книге разнообразию шрифтов.

Вообще в новой истории г. Смарагдова мы находим, например, историю Тридцатилетней войны, Вестфальского мира и так далее — все то же и все так же, как и у г. Кайданова, ни больше, ни меньше, ни лучше, ни хуже; но не находим развития человечества, причины прогресса и даже самого прогресса. Герои истории, как, например, Валленштейн, Густав-Адольф, Ришелье[19] и пр., очерчены слабо и бесцветно. Нам скажут: учебник не то что пространная история; в нем главное — сущность и дело, а не поэзия. Старые песни, которые убедительны только для лености, невежества и бесталанности! Для доказательства отсылаем подобных возражателей к книге, напечатанной на русском языке и русскими буквами, к «Истории средних веков» г. Лоренца, и просим прочесть в ней, например, изложение царствования Карла Великого; это будет полезно, чтоб убедиться, что глубокая эрудиция и в высшей степени дельное изложение фактов нисколько не мешают той поэзии повествования, которая выходит сама собою из живого созерцания идеи событий...

Но все это было бы еще туда-сюда. Обыкновенно говорят, что конец венчает дело, а конец-то никуда и не годится у Смарагдова.

История Наполеона у него — решительный памфлет. Можно подумать, что г. Смарагдов рассказывает современные события, для которых невозможно спокойное беспристрастие. Поступки Наполеона он называет то дерзкими, то наглыми, то отвратительными, словом, решительно ругается... В египетской экспедиции он приписывает Наполеону бесчеловечные поступки; короче, по его мнению, такого ужасного человека, как Наполеон, и свет не производил... Sic transit gloria mundi!..[20] А говоря о смерти герцога Брауншвейгского, он заставляет его оканчивать долговременно поприще славы, вероятно приобретенной в знаменитом походе против Франции в 1792 г. ...[21] Et voilá comme on écrit l'historie!..[22]

Новая история г. Смарагдова полнее всех бывших до нее историй: она доведена до 1839 г. Это было бы большою с ее стороны заслугою, если бы, чем ближе к концу, тем больше не становилась она сухим перечнем, из которого ничего нельзя узнать. Надеемся, что при втором издании своей «Новой истории» г. Смарагдов значительно ее исправит. Мы думаем, что он еще бы лучше сделал, если б эту уничтожил совсем и написал совершенно новую...

# ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1846 ГОДА

...Что составляет в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? — Конечно, то, что мы называем его духовностию, т. е. чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается в человеке низшим, случайным, относительным, преходящим? — Конечно, его тело. Известно, что наше тело мы сызденства привыкли презирать, может быть, потому именно, что, вечно живя в логических фантазиях, мы мало его знаем. Врачи, напротив, больше других уважают тело, потому что больше других знают его. Вот почему от болезней чисто нравственных они лечат иногда средствами чисто материальными и наоборот. Из этого видно, что врачи, уважая тело, не презирают души: они только не презирают тела, уважая душу. В этом отношении они похожи на умного агронома, который с уважением смотрит не только на богатство получаемых им от земли зерен, но и на самую землю, которая их произрастила, и даже на грязный, нечистый и вонючий навоз, который усилил плодотворность этой земли. Вы, конечно, очень цените в человеке чувство? Прекрасно! Так цените же и этот кусок мяса, который бьется в его груди, который вы называете сердцем и которого замедленное или ускоренное биение верно соответствует каждому движению вашей души. Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? Прекрасно! Так останавливайтесь же в благоговейном изумлении и перед массою его мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются, через позвоночный хребет, нити нерв, которые суть органы ощущений и чувств и которые исполнены каких-то до того тонких жидкостей, что они ускользают от материального наблюдения и не даются умозрению. Иначе вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины или — что еще хуже — сочините свои небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить *физический* процесс *нравственного* развития... Но это внутренний мир физиологической жизни человека; все его сокровенные от нас действия, как результат, выказываются наруже: в лице, взгляде, голосе, даже манерах человека. А между тем что такое лицо, глаза, голос, маперы? Ведь это все — тело, внешность, следовательно, все преходящее, случайное, ничтожное, потому что ведь все это — не чувство, не ум, не воля? Так. Но ведь во всем этом мы *видим* и *слышим* и чувство, и ум, и волю. Всего случайнее в человеке его манеры, потому что

они больше всего зависят от воспитания, образа жизни, от общества, в котором живет человек; но почему же иногда и в грубых манерах мужика чувство ваше угадывает доброго человека, которому вы смело можете довериться, и в то же время изящные манеры светского человека заставляют вас иногда невольно остерегаться его? Сколько на свете людей с душою, с чувством, но у каждого из них это чувство имеет свой характер, свою особенность. Сколько на свете умных людей, и между тем у каждого из них свой ум. Это не значит, чтобы умы у людей были разные: в таком случае люди не могли бы понимать друг друга; но это значит, что у самого ума есть своя индивидуальность. В этом его ограниченность, и поэтому ум величайшего гения всегда неизмеримо ниже ума всего человечества; но в этом же и его действительность, его реальность. Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум — это человек в теле или, лучше сказать, человек через тело, словом, *личность*. Оттого на свете столько умов, сколько людей, и только у человечества один ум. Посмотрите, сколько нравственных оттенков в человеческой натуре: у одного ум едва заметен из-за сердца; а у другого сердце как будто поместилось в мозгу; этот страшно умен и способен на дело, да ничего сделать не может, потому что нет у него воли; а у того страшная воля да слабая голова, и из его деятельности выходит или вздор, или зло. Перечесть этих оттенков так же невозможно, как перечесть различия физиономий: сколько людей, столько и лиц, и двух совершенно схожих найти еще невозможнее, нежели найти два древесных листка, совершенно схожих между собою... Когда вы влюблены в женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ее ума и сердца: иначе, когда вам укажут на другую, которой нравственные качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предмет своей любви для нового, как оставляют хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать влияния нравственных качеств на чувство любви, но когда любят человека, любят его всего, не как идею, а как живую личность; любят в нем особенно то, чего не умеют ни определить, ни назвать. В самом деле, как бы определили и назвали вы, например, то неуловимое выражение, ту таинственную игру его физиономии, его голоса, словом, все то, что составляет его особность, что делает его непохожим на других и за что именно — поверьте мне — вы больше всего и любите его? Иначе зачем бы вам было рыдать в отчаянии над трупом любимого вами существа? Ведь с ним не умерло то, что было в нем лучшего, благороднейшего, что называли вы в нем духовным и нравственным, а умерло только грубо материальное, случайное?.. Но об этом-то случайном и рыдаете вы горько, потому что воспоминание о прекрасных качествах человека не заменит вам человека, как умирающего от голода не насытит воспоминание о роскошном столе, которым он недавно наслаждался. Я охотно соглашусь с спиритуалистами, что мое сравнение грубо, но зато оно верно, а это для меня главное. Державин сказал:

Так, весь я не умру, но часть меня большая,
От тлена убежав, в потомстве будет жить.

Против действительности такого бессмертия нечего сказать, хотя оно и не утешит людей близких поэту; но что передает поэт потомству в своих созданиях, если не свою личность? Не будь он личность больше, чем кто-нибудь, личность по преимуществу, его создания были бы бесцветны и бледны. От этого творения каждого великого поэта представляют собою совершенно особенный, оригинальный мир, и между Гомером, Шекспиром, Байроном, Сервантесом, Вальтером Скоттом, Гете и Жорж Санд общего только то, что они — великие поэты...

Но что же эта личность, которая дает реальность и чувству, и уму, и воле, и гению, и без которой все или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много мог бы наговорить вам об этом, читатели, но предпочитаю лучше откровенно сознаться вам, что чем живее созерцаю внутри себя сущность личности, тем менее умею определить ее словами. Это такая же тайна, как и жизнь: все ее видят, все ощущают себя в ее сфере, и никто не скажет вам, что она такое. Так точно ученые, хорошо зная действие и силы деятелей природы, каковы электричество, гальванизм, магнетизм, и потому нисколько не сомневаясь в их существовании, все-таки не умеют сказать, что они такое. Страннее всего, что все, что мы можем сказать о личности, ограничивается тем, что она ничтожна перед чувством, разумом, волею, добродетелью, красотою и тому подобными вечными и непреходящими идеями, но что без нее, преходящего и случайного явления, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродетели, ни красоты, так же как не было бы ни бесчувственности, ни глупости, ни бесхарактерности, ни порока, ни безобразия...

Что *личность* в отношении к *идее* человека, то *народность* в отношении к *идее* человечества. Другими словами: народности суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики... Но, к счастию, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому...

Человеческое присуще человеку потому, что он — человек, но оно проявляется в нем не иначе, как, во-первых, на основании его собственной личности и в той мере, в какой она может его вместить в себе, а во-вторых, на основании его национальности. Личность человека есть исключение других личностей и по тому самому есть ограничение человеческой сущности: ни один человек, как бы ни велика была его гениальность, никогда не исчерпает самим собою не только всех сфер жизни, но даже и одной какой-нибудь ее стороны. Ни один человек не только не может заменить самим

собою всех людей (т. е. сделать их существование ненужным), но даже и ни одного человека, как бы он ни был ниже в нравственном или умственном отношении; но все и каждый необходимы всем и каждому. На этом и основано единство и братство человеческого рода. Человек силен и обеспечен только в обществе; но чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь — *национальность*. Она есть самобытный результат соединения людей, но не есть их произведение: ни один народ не создал своей национальности, как не создал самого себя. Это указывает на кровное, родовое происхождение всех национальностей. Чем ближе человек или народ к своему началу, тем ближе он к природе, тем более он ее раб; тогда он не человек, а ребенок, не народ, а племя. В том и другом человеческое развивается по мере их освобождения от естественной непосредственности. Этому освобождению часто способствуют разные внешние причины; но человеческое тем не менее приходит к народу не извне, а из него же самого и всегда проявляется в нем национально.

Собственно говоря, борьба человеческого с национальным есть не больше как реторическая фигура; но в действительности ее нет. Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он тем не менее совершается национально. Иначе нет прогресса. Когда народ поддается напору чуждых ему идей и обычаев, не имея в себе силы перерабатывать их силою собственной национальности в собственную же сущность, тогда он гибнет политически. На свете много людей, известных под именем «пустых»; они умны чужим умом, ни о чем не имеют своего мнения, а между тем и учатся и следят за всем на свете. Пустота их в том и состоит, что они заимствуют целиком и их мозг не переваривает чужой мысли, а передает ее через язык в том же самом виде, в каком принял ее. Это люди безличные, потому что чем человек личнее, тем способнее обращать чужое в свое, т. е. налагать на него отпечаток своей личности. Что человек без личности, то народ без национальности. Это доказывается тем, что все нации, игравшие и играющие первые роли в истории человечества, отличались и отличаются наиболее резкою национальностию. Вспомните евреев, греков и римлян; посмотрите на французов, англичан, немцев. В наше время народные вражды и антипатии погасли совершенно. Француз уже не питает ненависти к англичанину только за то, что он — англичанин и наоборот. Напротив, со дня на день более и более обнаруживается в наше время сочувствие и любовь народа к народу. Это утешительное, гуманное явление есть результат просвещения.

Но из этого отнюдь не следует, чтобы просвещение сглаживало народности и делало все народы похожими один на другой как две капли воды. Напротив, наше время есть по преимуществу время сильного развития национальностей. Француз хочет быть французом и требует от немца, чтобы тот был немцем, и только на этом основании и интересуется им. В таких точно от-

ношениях находятся теперь друг к другу все европейские народы. А между тем они нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных. Древняя Эллада была наследницею всего предшествовавшего ей древнего мира. В ее состав вошли элементы египетские и финикийские, кроме основного пелазгического. Римляне приняли в себя, так сказать, весь древний мир и все-таки остались римлянами, и если пали, то не от внешних заимствований, а оттого, что были последними представителями исчерпавшего всю жизнь свою древнего мира, долженствовавшего обновиться через христианство и тевтонских варваров. Французская литература долгое время рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила их заимствованиями — и все-таки оставалась национально французскою. Все отрицательное движение французской литературы XVIII века вышло из Англии; но французы до того умели усвоить его себе, наложив на него печать своей национальности, что никто и не думает оспаривать у их литературы чести самобытного развития. Немецкая философия пошла от француза Декарта, нисколько не сделавшись от этого французскою.

Разделение народа на противоположные и враждебные будто бы друг другу большинство и меньшинство, может быть, и справедливо со стороны логики, но решительно ложно со стороны здравого смысла. Меньшинство всегда выражает собою большинство, в хорошем или в дурном смысле. Еще страннее приписать большинству народа только дурные качества, а меньшинству — одни хорошие. Хороша была бы французская нация, если бы о ней стали судить по развратному дворянству времен Людовика XV! Этот пример указывает, что меньшинство скорее может выражать собою более дурные, нежели хорошие стороны национальности народа, потому что оно живет искусственною жизнью, когда противополагает себя большинству, как что-то отдельное от него и чуждое ему. Это видим мы и в современной нам Франции, в лице bourgeoisie [1] — господствующего теперь в ней сословия. Что же касается до великих людей, они по преимуществу дети своей страны. Великий человек всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собою свой народ. Борьба гения с народом не есть борьба человеческого с национальным, а просто-напросто нового со старым, идеи с эмпиризмом, разума с предрассудками. Масса всегда живет привычкою и разумным, истинным и полезным считает только то, к чему привыкла. Она защищает с остервенением то *старое,* против которого веком или менее <назад> с остервенением же боролась она как против *нового.* Противодействие массы гению необходимо; это с ее стороны экзамен гению: если он возьмет свое, ни на что несмотря,— значит, он точно гений, т. е. в самом себе носит свое право действовать на судьбы своего отечества. Иначе всякий резонер, всякий мечтатель, всякий философ, всякий маленький великий человек стал бы обходиться

с народом, как с лошадью, направляя его по воле своих прихотей и фантазий то в ту, то в другую сторону...

Нет никакой необходимости разделяться народу на самого себя, чтобы доставить себе источник новых идей. Источник всего нового есть старое; по крайней мере старым приготовляется новое. В гении поражает не столько находчивость нового, сколько смелость противопоставить его старому и произвести между ними борьбу на смерть. Необходимость нововведений в России чувствовали еще предшественники Петра; она указывалась настоящим положением государства; но произвести реформу мог только Петр. Для этого ему вовсе не нужно было предполагать себя во враждебных отношениях к своему народу; но, напротив, нужно было знать и любить его, сознавать свое кровное единство с ним. Что в народе бессознательно живет как возможность, то в гении является как осуществление, как действительность. Народ относится к своим великим людям, как почва к растениям, которые производит она. Тут единство, а не разделение, не двойственность. И, вопреки *силлогистам*[2] (новое слово!), для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим. То, что называют резонеры *человеческим,* противополагая его *национальному,* есть, в сущности, новое, непосредственно и логически следующее из *старого,* хотя бы оно и было чистым его отрицанием. Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до нелепости, из нее один естественный путь — переход в противоположную крайность. Это в натуре и человека, и народов. Следовательно, источник всякого прогресса, всякого движения вперед заключается не в двойственности народов, а в человеческой натуре, так же как в ней заключается и источник уклонений от истины, коснения и неподвижности.

Важность теоретических вопросов зависит от их отношения к действительности. То, что для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в которых все согласны. И — что всего лучше — эти вопросы решены там самою жизнью или если теория и имела участие в их решении, то при помощи действительности. Но это нисколько не должно отнимать у нас смелости и охоты заниматься решением таких вопросов, потому что, пока не решим мы их сами собою и для самих себя, нам не будет никакой пользы в том, что они решены в Европе. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы те же, да не те и требуют другого решения. Теперь Европу занимают новые великие вопросы. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль донкихотов, горячась из них. Этим мы заслужили бы скорее насмешки европейцев, нежели их уважение. У себя, в себе, вокруг

себя — вот где должны мы искать и вопросов, и их решения. Это направление будет плодотворно, если и не будет блестяще. И начатки этого направления видим мы в современной русской литературе, а в них — близость ее зрелости и возмужалости. В этом отношении литература наша дошла до такого положения, что ее успехи в будущем, ее движение вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее заведованию, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания, тем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодовитее будет ее развитие. Как бы то ни было, но, если она еще не достигла своей зрелости, она уже нашла, нащупала, так сказать, прямую дорогу к ней, а это великий успех с ее стороны.

# ПИСЬМО К Н. В. ГОГОЛЮ

15 июля н. с. 1847 г. Зальцбрунн

Вы только отчасти правы, увидав в моей статье *рассерженного*[1] человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, что я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большего числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах[2], ни о том вопле дикой радости, который издали при появлении ее все враги Ваши[3] — и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. д.), и литературные, которых имена Вам известны. Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги

отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом[4]. Если б она и была написана вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей — в этом виноваты только Вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, что Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего *прекрасного далека*[5], а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы в этом *прекрасном далеке* живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию[6]. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостию, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: *Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками*; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров[7] и комическим заменением однохвостого кнута трехвостою плетию[8]. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно художественными, глубоко истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое, как будто в зеркале, является с книгою, в которой во имя Христа[9] и церкви учит варвара-помещика на-

живать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами!*[10] ...И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы Вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти позорные строки... И после этого Вы хотите, чтобы верили искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения,— совсем не то написали бы Вы Вашему адепту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: *ах ты неумытое рыло!* да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые, и без того, потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина[11], и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления — быть без вины виноватым! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или Вы больны и Вам надо спешить лечиться, или — не смею досказать моей мысли...

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною... Что Вы подобное учение опираете на православную церковь — это я еще понимаю; она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковию? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от кости его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста...

А потому неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому

духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: *дурья порода, колуханы*[12], *жеребцы?* — Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: *годится — молиться, не годится — горшки покрывать*. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностию, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных по духу своему массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к Вам по их направлению[13]. Что касается до меня лично, представляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для Вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего *прекрасного далека:* вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас

же наоборот: постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania[14], он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в Вашей книге Вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна[15]. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили...

«Но, может быть,— скажете Вы мне,— положим, что я заблуждался и все мои мысли ложь; но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» — Потому, отвечаю я Вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею[16]. Конечно, в Вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее с Вами учение с большей энергиею и большею последовательностию, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые, с Вашей точки зрения, если б только Вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в Вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а, может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным Ваше письмо к Уварову[17], где Вы говорите с огорчением, что Вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д.[18] Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах публики и как писателя и, еще больше, как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся снаружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви [19]. И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных Вами всем и каждому. Положим, Вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» Вы менее резко, с меньшею истиною и талантом, и менее горькие правды высказали ей? И она, действительно, осердилась на Вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как Ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей книги!.. [20]

Не без некоторого чувства самодовольства скажу Вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли, но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно и что

в Иерусалиме ищут Христа только люди, или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его[21]. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей,— тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным униженпем своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости, или слабоумия и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом Вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнию смерти, черта и ада веет от Вашей книги. И что за язык, что за фразы! *«Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек»*[22]. Неужели Вы думаете, что сказать *всяк* вместо всякий значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на Вашей книге выставлено Вашего имени и будь из нее выключены те места, где Вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю Вам: вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за Ваш отзыв обо мне как об одном из Ваших критиков. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что Ваш отзыв о Ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но Вы имели в виду людей если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к Вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к Вам выходит из такого чистого и благородного источника, что Вас вовсе не следовало бы выдавать их с головою общим их и Вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк Вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию Вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил Вашу мысль и напечатал на Ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос[23]. Он это сделал, вероятно, в бла-

годарность Вам за то, что Вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его *«вялый, влачащийся по земле стих»*[24]. Вам это нехорошо! А что Вы только ожидали времени, когда Вам можно будет отдать справедливость и почитателям Вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением Вашим врагам), этого я не знал, не мог да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была Ваша книга, а не Ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к Вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя Вы всем и каждому печатно дали право писать к Вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошники Шпекины[25] распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу и Н[26] переслал мне Ваше письмо[27] в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Ан[ненковым] в Париж через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение Вашего письма дало мне возможность высказать Вам все, что лежало у меня на душе против Вас по поводу Вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о Вас заключениях — я первый порадуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если Вы имели несчастие с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние.

# ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1847 ГОДА

...Что составляет задушевную мысль Искандера[1], которая служит ему источником его вдохновения, возвышает его иногда, в верном изображении явлений общественной жизни, почти до художественности? — Мысль о достоинстве человеческом, которое унижается предрассудками, невежеством и унижается то несправедливостью человека к своему ближнему, то собственным доброволь-

ным искажением самого себя. Герой всех романов и повестей Искандера, сколько бы ни написал он их, всегда был и будет один и тот же: что — человек, понятие общее, родовое, во всей обширности этого слова, во всей святости его значения. Искандер — по преимуществу поэт *гуманности*. Поэтому в его романе бездна лиц, большею частию мастерски очерченных, но нет героя, нет героини. В первой части, заинтересовав нас четою Негровых, он выводит нам героями романа Круциферского и Любоньку. В эпизоде, написанном для связи обеих частей, героем является Бельтов, но мать Бельтова и его гувернер-женевец едва ли не больше, нежели он сам, интересуют собою читателя. Во второй части героями являются Бельтов и Круциферская, и в ней только раскрывается вполне основная мысль романа, являющаяся сначала так загадочною в его названии «Кто виноват?». Но мы должны признаться, что эта-то мысль всего менее и интересует нас в романе, так же как Бельтов, герой романа, кажется нам самым неудачным лицом во всем романе. Когда Круциферский сделался женихом Любоньки, доктор Крупов сказал ему: «Не пара тебе эта невеста, уж что хочешь,— эти глаза, этот цвет лица, этот трепет, который иногда пробегает по ее лицу,— *она тигренок*, который еще *не знает своей силы*; а ты, да что ты? ты невеста; ты, братец, немка; ты будешь жена — ну годно ли это?» В этих словах лежит завязка романа, который, по намерению автора, должен был только начаться свадьбою вместо того, чтобы кончиться ею. Автор, познакомивши нас с Бельтовым, ведет нас в мирное убежище молодой четы, уже четыре года наслаждающейся тихим семейным счастием; но, помня мрачное предсказание оракула в лице скептического доктора, читатель невольно ждет, что в самой картине семейного счастия Круциферских автор покажет ему зародыш и начало будущих бед. Круциферский действительно не женился, а вышел замуж. Его жена была слишком выше его, следовательно, слишком не по нем. Естественно, что он был вполне счастлив ею, но не естественно, чтоб она была спокойно счастлива, не видела тревожных снов, не задумывалась наяву. Она могла уважать и даже любить своего мужа как существо младенчески чистое и благородное, которое, сверх того, вырвало ее из ада родительского дома; но такая ли любовь могла удовлетворить такую женщину, наполнить те потребности, те стремления ее натуры, которые тем мучительнее, чем неопределеннее и бессознательнее? Знакомство с Бельтовым, скоро превратившееся в любовь, должно было только открыть ей глаза на ее положение, пробудить в ней сознание того, что она не могла быть счастлива с таким человеком, как Круциферский. Но этого автор не сделал. Мысль была прекрасная, исполненная глубокого трагического значения. Она-то и увлекла большинство читателей и помешала им заметить, что вся история трагической любви Бельтова и Круциферской рассказана умно, очень умно, даже ловко, но зато уж нисколько не художественно. Тут мастерский рассказ, но нет и следа живой поэтической картины. Мысль спасла и вынесла автора: умом он верно понял

положение своих героев, но передал его только как умный человек, хорошо понявший дело, но не как поэт. Так иногда даровитый актер, взявшийся за роль, которая вовсе не в его средствах и таланте, все-таки не портит ее, но умно и ловко выполняет ее, вместо того чтобы сыграть. Мысль роли не потеряна, а трагический смысл пьесы дополняет недостаток в выполнении главной роли,— и зритель не вдруг догадывается, что он был только увлечен, а совсем не удовлетворен.

Это доказывается, между прочим, и тем, что во второй части романа характер Бельтова произвольно изменен автором. Сперва это был человек, жаждавший полезной деятельности и ни в чем не находивший ее по причине ложного воспитания, которое дал ему благородный женевский мечтатель[2]. Бельтов знал многое и обо всем имел общие понятия, но совершенно не знал той общественной среды, в которой одной мог бы действовать с пользою. Все это не только сказано, но и показано автором мастерски. Мы думаем, что при этом автор мог бы еще указать слегка и на натуру своего героя, нисколько не практическую и, кроме воспитания, порядочно испорченную еще и богатством. Тому, кто родился богатым, надо получить от природы особенное призвание к какой бы то ни было деятельности, чтобы не праздно жить на свете и не скучать от бездействия. Этого-то призвания и не заметно вовсе в натуре Бельтова. Натура его была чрезвычайно богата и многосторонна, но в этом богатстве и многосторонности ничто не имело прочного корня. У него много ума, но ума созерцательного, теоретического, который не столько углублялся в предметы, сколько скользил по ним. Он способен был понимать многое, почти все, но эта-то многосторонность сочувствия и понимания и мешает таким людям сосредоточить все свои силы на одном предмете, устремить на него всю свою волю. Такие люди вечно порываются к деятельности, пытаясь найти свою дорогу, и, разумеется, не находят ее.

Таким образом, Бельтов осужден был томиться никогда не удовлетворяемою жаждою деятельности и тоскою бездействия. Автор мастерски передал нам его неудачные попытки служить, потом сделаться врачом, артистом. Если нельзя сказать, что он вполне очертил и разъяснил этот характер,— все же это у него лицо, хорошо очерченное, понятное и естественное. Но в последней части романа Бельтов вдруг является перед нами какою-то высшею, гениальною натурою, для деятельности которой действительность не представляет достойного поприща... Это уже совсем не тот человек, с которым мы так хорошо познакомились прежде; это уже не Бельтов, а что-то вроде Печорина. Разумеется, прежний Бельтов был гораздо лучше, как всякий человек, играющий свою собственную роль. Сходство с Печориным для него крайне невыгодно. Не понимаем, зачем автору нужно было с своей дороги сойти на чужую!.. Неужели этим он хотел поднять Бельтова до Круциферской? Напрасно! Для нее он был бы так же интересен и в прежнем своем виде, и тогда он стал бы подле бедного Круци-

ферского настоящим колоссом подле карлика. Он был человек взрослый, совершеннолетний мужчина, по крайней мере по уму и взгляду на жизнь, а Круциферский с его благородными мечтами вместо настоящего понимания людей и жизни и подле прежнего Бельтова все казался бы ребенком, которого развитие задержано какою-нибудь болезнию.

Круциферская, в свою очередь, является гораздо интереснее в первой части романа, нежели в последней. Нельзя сказать, чтобы и там ее характер был резко очерчен, но зато резко было очерчено ее положение в доме Негрова. Там она хороша молча, без слов, без действий. Читатель угадывает ее, хотя не слышит от нее почти ни слова. Автор в обрисовке ее положения обнаружил необыкновенное мастерство. Только в отрывках из ее дневника она у него высказывается сама. Но мы не совсем довольны этою исповедью. Кроме того, что манера знакомить читателя с героинями романов через их записки — манера старая, избитая и фальшивая,— записки Любоньки немножко отзываются подделкою: по крайней мере, не всякий поверит, что их писала женщина... Очевидно, что и тут автор вышел из сферы своего таланта. То же скажем мы и об отрывках Круциферской в конце романа. В том и другом случае автор ловко отделался от задачи, которая была ему не по силам, но не больше. Вообще, сделавшись Круциферскою, Любонька перестала быть характером, лицом и превратилась в мастерски, умно развитую мысль. Она и Бельтон — два единственные лица, с которыми автор не совладел как следует. Но и в них нельзя не удивляться его ловкости и искусству поддержать интерес до конца и поразить, растрогать большинство читателей там, где с его талантом, но без его ума и верного взгляда на предметы всякий другой только насмешил бы.

Итак, не в картине трагической любви Бельтова и Круциферской надо искать достоинств романа Искандера. Мы видели, что это вовсе не картина, а мастерски изложенное следственное дело. Вообще «Кто виноват?» собственно не роман, а ряд биографий, мастерски написанных и ловко связанных внешним образом в одно целое именно тою мыслию, которой автору не удалось развить поэтически. Но в этих биографиях есть и внутренняя связь, хотя и без всякого отношения к трагической любви Бельтова и Круциферской. Это — мысль, которая глубоко легла в их основание, дала жизнь и душу каждой черте, каждому слову рассказа, сообщила ему эту убедительность и увлекательность, которые равно неотразимо действуют на читателей, симпатизирующих и не симпатизирующих с автором, образованных и необразованных. Мысль эта является у автора как чувство, как страсть; словом, из его романа видно, что она столько же составляет пафос его жизни, как и его романа. О чем бы он ни говорил, чем бы он ни увлекся в отступление, он никогда не забывает ее, беспрестанно возвращается к ней, она как будто невольно сама высказывается у него. Эта мысль срослась с его талантом; в ней его сила; если б он мог охладеть к ней, отречься от нее, он бы вдруг лишился своего таланта.

Какая же эта мысль? Это — страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом и еще больше без умысла, это то, что немцы называют *гуманностию* (Humanitat). Те, кому покажется непонятною мысль, заключающаяся в этом слове, в сочинениях Искандера найдут самое лучшее ее объяснение. О самом же слове скажем, что немцы сделали его из латинского слова humanus, что значит человеческий. Здесь оно берется в противоположность слову *животный*. Когда человек поступает с людьми, как следует человеку поступать с своими ближними, братьями по естеству, он поступает гуманно; в противном случае он поступает, как прилично животному. Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием. Человек, воспитывающий бедного сироту не по расчету, не из хвастовства, а по желанию сделать добро, воспитывающий его, как родного сына, но вместе с этим дающий ему чувствовать, что он его благодетель, что он на него тратится и пр., и пр., такой человек, конечно, заслуживает название доброго, нравственного и человеколюбивого, но отнюдь не гуманного. У него много чувства, любви, но они не развиты в нем сознанием, покрыты грубою корою. Его грубый ум и не подозревает, что в натуре человеческой есть струны тонкие и нежные, с которыми надобно обращаться бережно, чтобы не сделать человека несчастным при всех внешних условиях счастия или чтобы не огрубить, не опошлить человека, который при более гуманном с ним обращении мог бы сделаться порядочным. А между тем сколько на свете таких благодетелей, которые мучат, а иногда и губят тех, на кого изливаются их благодеяния, без всякого дурного умысла, иногда горячо любя их, искренно желая им всякого добра, и потом добродушно удивляются тому, что вместо привязанности и уважения им заплачено холодностию, равнодушием, неблагодарностию, даже ненавистию и враждою или что из их воспитанников вышли негодяи, тогда как они им дали самое нравственное воспитание. Сколько есть отцов и матерей, которые действительно по-своему любят своих детей, но считают священною обязанностию беспрестанно твердить им, что они обязаны своим родителям и жизнию, и одеждой, и воспитанием! Эти несчастные и не догадываются, что они сами лишают себя детей, заменяя их какими-то приемышами, сиротами, которых они взяли из чувства благодетельности. Они спокойно дремлют на моральном правиле, что дети должны любить своих родителей, и потом, в старости, со вздохом повторяют избитую сентенцию, что от детей-де нечего ожидать, кроме неблагодарности. Даже этот страшный опыт не снимает толстой ледяной коры с их оцепенелых умов и не заставляет их наконец понять, что сердце человеческое действует по своим собственным законам и никаких других признавать не хочет и не может, что любовь по долгу и по обязанности есть чувство, противное человеческой природе, сверхъестественное, фантастическое, невозможное и небывалое, что любовь дается только любви, что любви нельзя требовать как чего-то следующего нам по праву, но всякую любовь

надо приобрести, заслужить, от кого бы то ни было, все равно — от высшего или от низшего нас, сыну ли от отца или отцу от сына. Посмотрите на детей: часто случается, что дитя очень равнодушно смотрит на свою мать, хотя она и кормит его своею грудью, и подымает страшный рев, если, проснувшись, не увидит тотчас же своей няни, которую оно привыкло видеть при себе безотлучно. Видите ли: ребенок — это полное и совершенное выражение природы — дарит своей любовью того, кто доказывает ему любовь свою на самом деле, кто отказался для него от всех удовольствий, словно железною цепью приковал себя к его жалкому и слабому существованию.

Гуманность нисколько не находится в противоречии с уважением к высоким общественным положениям и рангам; но она находится в решительном противоречии с презрением к кому бы то ни было, кроме негодяев и подлецов. Она охотно признает общественное первенство людей, но только смотрит на него не с одной внешней, но более с внутренней стороны. Гуманность не только не обязывает человека низшего сословия с грубыми манерами, привычками осыпать непривычными ему вежливостями, но даже запрещает это, потому что такое обращение поставило бы его в неловкое положение, заставило бы подозревать в нем насмешку или дурной умысел. Гуманный человек обойдется с низшим себя и грубо развитым человеком с тою вежливостию, которая тому не может показаться странною или дикою, но он не допустит его унижать перед ним свое человеческое достоинство — не позволит ему кланяться себе в ноги, не станет называть его Ванькой или Ванюхою и тому подобными именами, похожими на собачьи клички, не будет легонько трясти его за бороду в знак своего милостивого к нему расположения, чтобы тот, подло ухмыляясь, говорил ему с подобострастием: «За что изволите жаловать?..» Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважают в других человеческого достоинства, и еще более оскорбляется и страдает, когда человек сам в себе не уважает собственного достоинства.

Вот это-то чувство гуманности и составляет, так сказать, душу творений Искандера. Он ее проповедник, адвокат. Выводимые им на сцену лица — люди не злые, даже большею частию добрые, которые мучат и преследуют сами себя и других чаще с хорошими, нежели с дурными, намерениями, больше по невежеству, нежели по злости. Даже те из его лиц, которые отталкивают от себя низостию чувств и гадостию поступков, представляются автором больше как жертвы их собственного невежества и той среды, в которой они живут, нежели их злой натуры. Он изображает преступления, не подлежащие ведомству законов и понимаемые большинством как действия разумные и нравственные... Главное орудие Искандера... ирония, нередко возвышающаяся до сарказма, но чаще обнаруживающаяся легкою, грациозною и необыкновенно добродушною шуткою: вспомните доброго почтмейстера, который два раза чуть не убил Бельтова, сначала горем, потом радостию, и так добродушно потирал себе руки, так вкушал успех сюрприза,

что «нет в мире жестокого сердца, которое нашло бы в себе силу упрекнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закусить». А между тем и в этой черте, нисколько не возмутительной, а только забавной, автор остается верным своей заветной идее. Все, что касается этой идеи в романе «Кто виноват?», все это отличается верностию действительности, мастерством изложения, которые выше всяких похвал.

# А.И.ГЕРЦЕН

# А. И. ГЕРЦЕН
# (1812—1870)

*Александр Иванович Герцен родился в Москве 7 апреля 1812 г. в семье дворянина И. А. Яковлева. Отец не был обвенчан с матерью Л. К. Гааг, их ребенок был незаконнорожденным. Это наложило отпечаток на детство Герцена, на многое из первых жизненных впечатлений, явилось причиной отчужденности от аристократической среды, сближения с крепостной прислугой, бегства из салонов и гостиных в «переднюю», в «девичью» к отцовским дворовым. «Передняя,— вспоминает он в «Былом и думах»,— с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству, ко всякому произволу». Простые люди были первыми воспитателями юного Герцена, благодаря общению с ними он рано почувствовал социальную несправедливость, проник в мир народных легенд, сказок, баллад и песен. Вольнолюбивые мотивы, навеянные жизнью, укрепились в беседах с учителями.*

*Огромную роль в воспитании подростка Герцена сыграл студент Медико-хирургической академии И. Е. Протопопов, который привил ему любовь к естественным наукам, к книге и чтению, научил размышлять о прочитанном, пробудил, как позже выразился Герцен, мысль в душе.*

*Значительное влияние на юного Герцена оказали семейные разговоры и воспоминания о пожаре Москвы, беседы о 1812 годе. Отец А. И. Герцена И. А. Яковлев оказался пленником французов, и естественно, что воспоминания о пережитой семьей трагедии усиливали интерес Герцена к событиям 1812—1815 гг.: «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души» (VIII, 61)*. Позже он раскрыл воздействие этих событий не только на свою личность, но и на исторические судьбы всей русской нации: «Невелик промежуток между 1810 и 1825 годами, но между ними находится 1812 год. Россия за это время поверила в свои силы и увидела себя освободительницей Европы. Но не захватнические идеи наполнили сердце русских людей восторгом, а законная гордость за свои гуманистические силы».*

*Крупным событием в жизни подростка Герцена явилась встреча с Николаем Огаревым. Общность стремлений, желание продолжить дело декабристов, посвятить все силы борьбе за свободу слила их души и помыслы. Союз 16-летних юношей, скрепленный знаменитой клятвой на Воробьевых горах, выдержал испытание*

* Цит. по: *Герцен А. И.* Собр. соч. и писем. В 30-ти т. М., 1956.

*временем, невзгодами, преследованиями, верность своей клятве они доказали жизнью.*

*Временем юношеских конспираций назвал свои студенческие годы Герцен. Они, эти конспирации, были совсем неплохой школой гражданского мужества, воспитывавшей юношей в духе действенного патриотизма, верности лучшим национальным традициям. «Мы были уверены,— вспоминал позже Герцен,— что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым» (VIII, 100). Кружки Станкевича и Герцена, объединявшие лучшую часть мыслящего студенчества, сыграли большую роль в истории освободительного движения и передовой общественной мысли России.*

*Герцен и Огарев придавали первостепенное значение развитию науки, техники, были сторонниками идеи концентрации в руках ученых, инженеров всех рычагов управления обществом и намеревались широко развернуть воспитание молодежи именно в таком духе. Огарев разработал даже специальный проект организации «Народной политехнической школы», создание которой рассматривалось как первый шаг в перестройке всей системы просвещения. Герцен полностью разделял эти планы друга и позже субсидировал попытки их реализации. В годы студенчества в основу воззрений Герцена и Огарева были положены идеи социализма.*

*В 1833 г. Герцен окончил университет с серебряной медалью, хотя шел по всем предметам первым и был достоин высшей награды. Сказались подозрения в политической неблагонадежности Герцена и его друзей. Вскоре власти, заручившись уликами, прибегли к суровым мерам «пресечения вольнодумства». Летом 1834 г. Герцен был арестован и отправлен в ссылку в г. Вятку. Ко времени ареста относится и его объяснение с кузиной Натальей Александровной Захарьиной, вскоре ставшей его женой (1838). Она заняла важное место в жизни молодого изгнанника. В ссылке, в глуши, Герцен много и продуктивно работал. В июне 1839 г. у него родился сын Александр, и тогда Герцен-отец записал в дневнике: «Тебя, существо народившееся... тебя благословляю! Иди в жизнь, иди на службу человечеству, я тебя обрек на трудный путь...» (II, 272). Забота о сыне, а потом и о его сестрах займет в жизни Герцена важное место, и с этим связано начало его глубокого интереса к педагогике.*

*К «сыну... Александру» были обращены многие письма-раздумья Герцена, поднимающие важнейшие проблемы воспитания личности. Педагогические мысли Герцена рассеяны по письмам к жене и детям, связаны с составлением учебных программ для них, советами и спорами с женой и с их воспитателями, гувернерами. Наталья Александровна — жена Герцена — была женщиной незаурядной. Очень точно обрисовал ее личность В. Г. Белинский (он был дружен с Герценом со студенческих лет). «Эта женщина больная, низкого роста, худая, прекрасная, тихая, кроткая, с тоненьким голосом, но страшно энергичная: скажет тихо — и бык остановится с почтением, упрется ногами в землю перед этим крот-*

*ким взглядом и тихим голосом». Читая и перечитывая письма Герцена к членам семьи и близким в поисках педагогических жемчужин, в них щедро рассыпанных, следует помнить и об особой роли в его жизни этой «страшно энергичной» кроткой.*

*В 1842 г., вернувшись из ссылки, Герцен публикует в течение нескольких лет ряд крупных произведений по самым различным областям знания. Тут и философские трактаты «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы», высоко оцененные В. И. Лениным, подчеркнувшим, что в них Герцен «встал в уровень с величайшими мыслителями своего времени» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 256), и автобиографическая повесть «Записки молодого человека», и такие произведения художественной прозы, как «Сорока-воровка», «Доктор Крупов», «Кто виноват?» и др.*

*В 1847 г. А. И. Герцен с женой и детьми выехал в Европу. На родину он уже не вернулся, а сознательно остался в эмиграции, чтобы на чужбине основать вольную русскую типографию. Вскоре к нему присоединился и Огарев. Издания вольной русской типографии, и прежде всего газета «Колокол», альманах «Полярная звезда», выпуск многих запрещенных цензурой произведений имели громадное значение для политического воспитания русской нации и сыграли выдающуюся роль в истории всероссийского освободительного движения. Герцен и Огарев немало сделали и для организационного объединения революционных сил в стране, где имели многочисленных корреспондентов и сторонников.*

*Заботы по вольной типографии, организация связей с Россией, борьба с царскими жандармами, идейные искания требовали от Герцена огромного напряжения сил. В литературе употребляют даже выражение «духовная драма Герцена». Термин правомерен в том плане, что тяжелые раздумья о судьбах Европы и России трагически переплелись с личным горем, с невосполнимыми потерями, незалечиваемыми ранами. В ноябре 1851 г. во время пароходной катастрофы погибает мать Герцена и сын Николай со своим воспитателем. Не пережив утраты, вскоре (2 мая 1852 г.) умирает Наталья Александровна. Перед смертью она завещает воспитание сирот доверить ближайшим своим подругам: жене Н. П. Огарева Наталье Алексеевне и Марии Каспаровне Рейхель. На руках вдового отца осталось трое детей. Старшему, Александру, было 12 лет, Наталии — 7 лет и Ольге — 2 года. Сын остался с отцом, девочек отправили в Париж к М. К. Рейхель.*

*«У меня остались на свете только мои дети и мой труд».*

*Дети для него, изгнанника — «единственная оставшаяся поэзия» жизни. «Мой труд» — это вольная типография, «Полярная звезда», а потом и «Колокол», это конспиративные связи с огромной сетью корреспондентов-соотечественников, наконец, работа над очередными главами «Былого и дум» — его главной книги. На долю детей, как с горечью однажды выразился Герцен, остается только вечернее раздражение усталого отца. Наверное, было и такое, но не оно определяло отношение отца и детей в этой дружной,*

*судьбой так обездоленной семье. А. И. Герцен был заботливый, любящий отец, не раз говоривший близким, что отведет от детей удары жизни, которые обрушились на него самого, сделает все, чтобы наполнить их жизнь радостью, счастьем, знаниями. Герцен не хотел отдавать детей в иностранные пансионы, ни вручать их гувернерам-иностранцам: «Боюсь этого,— признавался он близким,— больше, чем укуса бешеной собаки». И это не было преувеличением. Сказывалось здесь действие ряда факторов. Во-первых, старание не допустить полного разрыва детей с родной речью, культурой, во-вторых, недоверие, критическое отношение к западной буржуазно-демократической педагогике: чем больше Герцен изучал постановку школьного дела на Западе, тем больше утверждался в своем мнении, что буржуазная Европа «гниет». С горечью он отмечал, что в Пруссии, Баварии в школах запрещено изучать Шиллера, во Франции нельзя читать не только своих же энциклопедистов, но даже и античную классику. Исключений было немного. Герцен высоко ценил педагогические опыты Р. Оуэна, связанные с трудовым, политехническим обучением, ему нравились некоторые пансионаты и школы Швейцарии, где сказывалось влияние последователей Песталоцци, но эти оазисы не меняли общей картины. В сложившейся ситуации Герцен принял решение дать детям домашнее воспитание. Он хорошо понимал, какую тяжелую ношу, ответственность брал на себя. Герцен занимается самостоятельной разработкой программы воспитания детей. В составлении программ образования и самообразования у Герцена был уже накоплен некоторый опыт. В свое время он составлял специальный полный план занятий для девушек, «Записочку о книгах», в которых он советовал читать детям Гете, Шиллера, Шекспира, Байрона, Ж. Санд, Бомарше и обязательно «по выбору Вольтера и Руссо», а также заниматься естественными науками и особенно историей. При этом просил не увлекаться чтением общих курсов, а заняться изучением конкретных трудов, посвященных определенным событиям. Теперь, в условиях изгнания, он особое значение придавал отбору книг по истории отечества, русской словесности, настаивал на чтении Пушкина и Крылова. Большое внимание уделил Герцен подбору преподавателей, старался привлечь к воспитанию детей крупных педагогов и ученых из среды своих западных и русских друзей и знакомых. Большую роль в этом сыграла близко знакомая семьи Мальвида Мейзенбург (немка по национальности). Дети привязались к ней. Но учительница стала мешать отцу в его заботах сохранить у детей любовь к далекой России, ее языку, культуре, традициям. «Я видела,— признается Мейзенбург в своих «Воспоминаниях идеалистки»,— что Герцен с каждым днем все более и более желал преобладания русского элемента в воспитании детей. Я видела, что семью изгнанников окружил родной элемент и что он становится господствующим — это всегда было горячим желанием Герцена». Герцен требовал от воспитательницы уделять больше внимания изучению русской культуры, истории.*

*Большую помощь Герцену в воспитании детей оказал Н. П. Огарев. Дети искренне и сильно любили его. Он уделял им постоянное внимание, ежедневно занимался с детьми. Революционер, поэт, яркий публицист, он многое сделал, чтобы расширить у детей «диапазон благородства», патриотичности, гуманности. В условиях эмиграции Герцену трудно было выдержать принятый им педагогический патриотический курс. Но он упорно шел к цели. Когда представлялась возможность, он привлекал к воспитанию детей тех немногих русских, кто оказывался в Лондоне и был в состоянии чем-то ему помочь. Одно время с детьми занимался известный журналист Благосветлов, давал детям уроки и отец русской эволюционной палеонтологии В. О. Ковалевский. В доме Герцена по вечерам устраивались литературно-музыкальные вечера, концерты, читались произведения любимых поэтов, ставились спектакли, читались лекции, проводились диспуты. Во всем этом живейшее участие на полном равноправии принимали и дети и отец.*

*Герцен делал все, что мог, чтобы дети не забывали о родине, жили ее интересами, знали ее заботы. Он следил за тем, чтобы взрослеющие дети были в курсе дел вольной русской типографии, читали все, что сходит с вольного русского печатного станка. Тема родины постоянно звучит в письмах отца к детям, особенно к сыну Александру: «Ты никогда не забывай, что ты должен быть русским, твои руки, чуткие руки врача, физиолога, должны быть постоянно на ранах родной страны». Только любовь к родине, понимание ее самобытности («национальная физиология», «чувство долга») дает, по словам Герцена, особенную, индивидуальную окраску стремлениям и свершениям человека, превращает отдельного индивидуума в личность со всей присущей ей неповторимостью.*

*Герцен учил своих детей стойкости, принципиальности, несгибаемости в борьбе за правое дело. Учил словами, хорошо знал силу примера жизненного опыта других: «Теория внушает убеждения, пример определяет образ действия» (VII, 200).*

*Первостепенное значение в воспитании Герцен отводил умению работать с книгой, без чего не представлял развития и самообразования личности: «Талант талантом, а вкус образуется только чтением» (XVI, 374). И детям своим Герцен стремился привить прежде всего культуру чтения, воспитывал у них умение самостоятельно разбираться в книжном море, отличать классиков от компиляторов. Сыну Александру Герцен внушал: «Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания; Гете и Шиллер равняются целому университету» (XX, 45).*

*Герцен сам подбирал книги для чтения своим детям, уделяя особенное внимание отечественной истории и словесности (в литературе он видел движение самых сокровенных дум народных). Но он не обходил вниманием и художественную прозу Запада. Так, Герцен советовал прочитать детям, а потом и своим читателям*

*«Грибуля» Ж. Санд, где герой ставит нравственные убеждения выше корыстных расчетов.*

*Призывая к безграничному доверию и любви к детям, веря в них, Герцен, однако, настаивал на том, чтобы инициативу ребенка, самостоятельность его не смешивали с распущенностью. Воспитатель, писал он, должен держать дисциплину. В трудном деле воспитания все важно, в том числе и внешняя выправка как воспитанника, так и воспитателя. Размышления Герцена-отца, революционера о дисциплине, культуре поведения и сегодня звучат актуально. «Без дисциплины нет ни спокойной уверенности, ни способа оградить здоровье и предусмотреть опасность». Дисциплина, по мысли Герцена, необходима для развития, а не подавление личности. Без порядка в обучении невозможна никакая инициатива и самостоятельность обучающегося, воспитываемого.*

*Герцен полемизировал с Р. Оуэном, считавшим личность пассивным продуктом социальной среды. Герцен был против крайностей, понимал всю сложность, противоречивость взаимодействия общественной среды и личности. «Человек,— отмечал он,— не может не отражать в себе свое время, свою среду» (VI, 120). Но он и не пассивный продукт среды, не созерцатель, а деятель, творец, борец.*

*С разработкой программ воспитания для своих детей, которая потребовала от Герцена глубокого изучения специальной литературы, связано появление специальных педагогических произведений: «Беседа с молодыми людьми», «Разговоры с детьми». Они были задуманы первоначально как специальные тематические серии статей, но, к сожалению, остались незавершенными.*

*Встает вопрос, а насколько действенными оказались педагогические методы Герцена, удалось ли ему воспитать у детей своих на чужбине чувство любви к родине, понимание смысла труда, желание продолжить дело своего отца? Младшая дочь Лиза во время манифестации в Париже приветствовала демонстрантов криками: «Долой тиранов и убийц, да здравствует свобода!» Она участвовала в 14 лет в демонстрациях, распевая Марсельезу (Архив Огаревых. М., 1930. С. 96). Старший сын Александр принял участие в деятельности общества «Земля и воля», созданного Герценом и Огаревым совместно с петербургскими революционерами, был агентом этой организации, в переписке именовался «Юниор».*

*Передовые педагогические идеи А. И. Герцена оказали огромное влияние на русских педагогов. Дальнейшее развитие они получили в деятельности Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.*

# БЫЛОЕ И ДУМЫ

## ГЛАВА II

...Мне было около пятнадцати лет, когда мой отец пригласил священника давать мне уроки богословия, *насколько* это было нужно для вступления в университет. Катехизис попался мне в руки после Вольтера. Нигде религия не играет такой скромной роли в деле воспитания, как в России, и это, разумеется, величайшее счастье. Священнику за уроки закона божия платят всегда полцены, и даже это так, что тот же священник, если дает тоже уроки латинского языка, то он за них берет дороже, чем за катехизис.

Мой отец считал религию в числе необходимых вещей благовоспитанного человека; он говорил, что надобно верить в священное писание без рассуждений, потому что умом тут ничего не возьмешь, и все мудрования затемняют только предмет; что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь, впрочем, в излишнюю набожность, которая идет старым женщинам, а мужчинам неприлична. Верил ли он сам? Я полагаю, что немного верил по привычке, из приличия и на всякий случай. Впрочем, он сам не исполнял никаких церковных постановлений, защищаясь расстроенным здоровьем. Он почти никогда не принимал священника или просил его петь в пустой зале, куда высылал ему синенькую бумажку. Зимою он извинялся тем, что священник и дьякон вносят такое количество стужи с собой, что он всякий раз простужается. В деревне он ходил в церковь и принимал священника, но это больше из светско-правительственных целей, нежели из богобоязненных.

Мать моя была лютеранка и, стало быть, степенью религиознее; она всякий месяц раз или два ездила в воскресенье в свою церковь, или, как Бакай упорно называл, «в свою кирху», и я от нечего делать ездил с ней. Там я выучился до аристократической степени передразнивать немецких пасторов, их декламацию и пустословие,— талант, который я сохранил до совершеннолетия.

Каждый год отец мой приказывал мне говеть. Я побаивался исповеди, и вообще церковная mise en scène поражала меня и пугала; с истинным страхом подходил я к причастию; но религиозным чувством я этого не назову, это был тот страх, который наводит все непонятное, таинственное, особенно когда ему придают серьезную торжественность; так действует ворожба, заговаривание. Разговевшись после заутрени на святой неделе и объевшись красных яиц, пасхи и кулича, я целый год больше не думал о религии.

Но Евангелие я читал много и с любовью, по-славянски и в лютеровском переводе. Я читал без всякого руководства, не все понимал, но чувствовал искреннее и глубокое уважение к читаемому. В первой молодости моей я часто увлекался вольтерианизмом, любил иронию и насмешку, но не помню, чтоб когда-нибудь я взял в руки Евангелие с холодным чувством, это меня проводило через всю жизнь; во все возрасты, при разных событиях я возвращался к чтению Евангелия, и всякий раз его содержание низводило мир и кротость на душу.

Когда священник начал мне давать уроки, он был удивлен не только общим знанием Евангелия, но и тем, что я приводил тексты буквально. «Но господь бог,— говорил он,— раскрыв ум, не раскрыл еще сердца». И мой теолог, пожимая плечами, удивлялся моей «двойственности», однако же был доволен мною, думая, что у Терновского [1] сумею держать ответ.

Вскоре религия другого рода овладела моей душой.

## ГЛАВА III

Одним зимним утром, как-то не в свое время приехал Сенатор [2]; озабоченный, он скорыми шагами прошел в кабинет моего отца и запер дверь, показавши мне рукой, чтоб я остался в зале.

По счастию, мне не долго пришлось ломать голову, догадываясь, в чем дело. Дверь из передней немного приотворилась, и красное лицо, полузакрытое волчьим мехом ливрейной шубы, шепотом подзывало меня; это был лакей Сенатора. Я бросился к двери.

— Вы не слыхали? — спросил он.

— Чего?

— Государь помер в Таганроге.

Новость эта поразила меня; я никогда прежде не думал о возможности его смерти; я вырос в большом уважении к Александру и грустно вспоминал, как я его видел незадолго перед тем в Москве. Гуляя, встретили мы его за Тверской заставой [3]; он тихо ехал верхом с двумя-тремя генералами, возвращаясь с Ходынки, где были маневры.

...Пока смутные мысли бродили у меня в голове и в лавках продавали портреты императора Константина, пока носились повестки о присяге и добрые люди торопились поклясться, разнесся слух об отречении цесаревича. Вслед за тем тот же лакей Сенатора сообщил мне, что в Петербурге был бунт и что по Галерной стреляли «в пушки».

На другой день вечером был у нас жандармский генерал граф Комаровский; он рассказывал о каре на Исаакиевской площади, о конногвардейской атаке, о смерти графа Милорадовича.

А тут пошли аресты: «того-то взяли», «того-то схватили», «того-то привезли из деревни»; испуганные родители трепетали за детей. Мрачные тучи заволокли небо...

Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего, не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.

Все ожидали облегчения в судьбе осужденных — коронация была на дворе. Даже мой отец, несмотря на свою осторожность и на свой скептицизм, говорил, что смертный приговор не будет приведен в действие, что все это делается для того, чтоб поразить умы. Но он, как и все другие, плохо знал юного монарха... Жители Москвы едва верили своим глазам, читая в «Московских ведомостях» страшную новость 14 июля[4].

Народ русский отвык от смертных казней; после Мирровича, казненного вместо Екатерины II, после Пугачева и его товарищей не было казней[5]; люди умирали под кнутом, солдат гоняли (вопреки закону) до смерти сквозь строй, но смертная казнь de jure не существовала.

Николай ввел *смертную казнь* в наше уголовное законодательство сначала беззаконно, а потом привенчал ее к своему своду.

Через день после получения страшной вести был молебен в Кремле. Отпраздновавши казнь, Николай сделал свой торжественный въезд в Москву. Я тут видел его в первый раз; он ехал верхом возле кареты, в которой сидели вдовствующая императрица и молодая. Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая за счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза...

Само собой разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо сознавал себя «злоумышленником», чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И. Е. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами:

— Дай бог, чтоб эти чувства созрели в вас и укрепились.

Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина: «Ода на свободу», «Кинжал», «Думы» Рылеева, я их переписывал тайком... (*а теперь* печатаю явно!).

Разумеется, что и чтение мое переменилось. Политика вперед, а главное — история революции; я ее знал только по рассказам m-me Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то исто-

рию девяностых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, четырнадцати лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку.

— Зачем,— спросил я его середь урока,— казнили Людовика XVI?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

— Parce qu'il a été traître a la patrie.

— Если бы вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

— Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субжонктивов; для меня было довольно; ясное дело, что поделом казнили короля.

К этим педагогическим поощрениям и симпатиям вскоре присовокупилась симпатия более теплая и имевшая сильное влияние на меня.

В небольшом городке Тверской губернии жила внучка старшего брата моего отца. Я ее знал с самых детских лет, но видались мы редко; она приезжала раз в год на святки или на масленицу погостить в Москву с своей теткой. Тем не менее мы сблизились. Она была лет пять старше меня, но так мала ростом и моложава, что ее можно было еще считать моей ровесницей. Я ее полюбил за то особенно, что она первая стала обращаться со мной по-человечески, т. е. не удивлялась беспрестанно тому, что я вырос, не спрашивала, чему учусь и хорошо ли учусь, хочу ли в военную службу и в какой полк, а говорила со мной так, как люди вообще говорят между собой, не оставляя, впрочем, докторальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчиками несколько лет моложе их.

Мы переписывались, и очень, с 1824 г., но письма — это опять перо и бумага, опять учебный стол с чернильными пятнами и иллюстрациями, вырезанными перочинным ножом; мне хотелось ее видеть, говорить с ней о новых идеях — и потому можно себе представить, с каким восторгом я услышал, что кузина приедет в феврале (1826) и будет у нас гостить несколько месяцев. Я на своем столе нацарапал числа до ее приезда и смарывал прошедшие, иногда намеренно забывая дня три, чтоб иметь удовольствие разом вымарать побольше, и все-таки время тянулось очень долго, потом и срок прошел, и новый был назначен, и тот прошел, как всегда бывает.

Мы сидели раз вечером с Иваном Евдокимовичем в моей учебной комнате, и Иван Евдокимович, по обыкновению запивая кислыми щами всякое предложение, толковал о «гексаметре», страшно

рубя на стопы голосом и рукой каждый стих из Гнедичевой «Илиады»,— вдруг на дворе снег завизжал как-то иначе, чем от городских саней, подвязанный колокольчик позванивал остатком голоса, говор на дворе... Я вспыхнул в лице, мне было не до рубленного гнева «Ахиллеса, Пелеева сына»; я бросился стремглав в переднюю, а тверская кузина, закутанная в шубах, шалях, шарфах, в капоре и в белых мохнатых сапогах, красная от морозу, а может, и от радости, бросилась меня целовать.

Люди обыкновенно вспоминают о первой молодости, о тогдашних печалях и радостях немного с улыбкой снисхождения, как будто они хотят, жеманясь, как Софья Павловна в «Горе от ума», сказать: «Ребячество!» Словно, они стали лучше после, сильнее чувствуют или больше. Дети года через три стыдятся своих игрушек,— пусть их, им хочется быть большими, они так быстро растут, меняются, они это видят по курточке и по страницам учебных книг; а, кажется, совершеннолетним можно бы было понять, что «ребячество» с двумя-тремя годами юности — самая полная, самая изящная, самая *наша* часть жизни, да и чуть ли не самая важная: она незаметно определяет все будущее.

Пока человек идет скорым шагом вперед, не останавливаясь, не задумываясь, пока не пришел к оврагу или не сломал себе шеи, он все полагает, что его жизнь впереди, свысока смотрит на прошедшее и не умеет ценить настоящего. Но когда опыт прибил весенние цветы и остудил летний румянец, когда он догадывается, что жизнь, собственно, прошла, а осталось ее продолжение, тогда он иначе возвращается к светлым, к теплым, к прекрасным воспоминаниям первой молодости.

Природа с своими вечными уловками и экономическими хитростями *дает* юность человеку, но человека сложившегося *берет* для себя, она его втягивает, впутывает в ткань общественных и семейных отношений, в три четверти не зависящих от него; он, разумеется, дает своим действиям свой личный характер, но он гораздо меньше принадлежит себе, лирический элемент личности ослаблен, а потому и чувства и наслаждение — все слабее, кроме ума и воли.

Жизнь кузины шла не по розам. Матери она лишилась ребенком. Отец был отчаянный игрок и, как все игроки по крови, десять раз был беден, десять раз был богат и кончил все-таки тем, что окончательно разорился. Les beaux restes своего достояния он посвятил конскому заводу, на который обратил все свои помыслы и страсти. Сын его, уланский юнкер, единственный брат кузины, очень добрый юноша, шел прямым путем к гибели; девятнадцати лет он уже был более страстный игрок, нежели отец.

Лет пятидесяти, без всякой нужды, отец женился на застарелой в девстве воспитаннице Смольного монастыря. Такого полного, совершенного типа петербургской институтки мне не случалось встречать. Она была одна из отличнейших учениц и потом классной дамой в монастыре; худая, белокурая, подслепая, она в самой наружности имела что-то дидактическое и назидательное. Вовсе

не глупая, она была полна ледяной восторженности на словах, говорила готовыми фразами о добродетели и преданности, знала на память хронологию и географию, до противной степени правильно говорила по-французски и таила внутри самолюбие, доходившее до искусственной, иезуитской скромности. Сверх этих общих черт «семинаристов в желтой шали», она имела чисто невские или смольные. Она поднимала глаза к небу, полные слез, говоря о посещениях их общей матери (императрицы Марии Федоровны), была влюблена в императора Александра и, помнится, носила медальон или перстень с отрывком из письма императрицы Елизаветы: «Il a repris son sourire de bien veillance!».

Можно себе представить стройное trio, составленное из отца — игрока и страстного охотника до лошадей, цыган, шума, пиров, скачек и бегов, дочери, воспитанной в совершенной независимости, привыкшей делать что хотелось в доме, и ученой девы, вдруг сделавшейся из пожилых наставниц молодой супругой. Разумеется, она не любила падчерицу, разумеется, что падчерица ее не любила. Вообще между женщинами тридцати пяти лет и девушками семнадцати только тогда бывает большая дружба, когда первые самоотверженно решаются не иметь пола.

Я нисколько не удивляюсь обыкновенной вражде между падчерицами и мачехами, она естественна, она нравственна. Новое лицо, вводимое вместо матери, вызывает со стороны детей отвращение. Второй брак — вторые похороны для них. В этом чувстве ярко выражается детская любовь, она шепчет сиротам: «Жена твоего отца вовсе не твоя мать». Христианство сначала понимало, что с тем понятием о браке, которое оно развивало, с тем понятием о бессмертии души, которое оно проповедовало, второй брак — вообще нелепость; но, делая постоянно уступки миру, церковь перехитрила и встретилась с неумолимой логикой жизни — с простым детским сердцем, практически восставшим против благочестивой нелепости считать подругу отца своей матерью.

С своей стороны, и женщина, встречающая, выходя из-под венца, готовую семью, детей, находится в неловком положении: ей нечего с ними делать, она должна натянуть чувства, которых не может иметь, она должна уверить себя и других, что чужие дети ей так же милы, как свои.

Я, стало быть, вовсе не обвиняю ни монастырку, ни кузину за их взаимную нелюбовь, но понимаю, как молодая девушка, не привыкнувшая к дисциплине, рвалась куда бы то ни было на волю из родительского дома. Отец, начинавший стариться, больше и больше покорялся ученой супруге своей; улан, брат ее, шалил хуже и хуже, словом, дома было тяжело, и она наконец склонила мачеху отпустить ее на несколько месяцев, а может, и на год, к нам.

На другой день после приезда кузина ниспровергла весь порядок моих занятий, кроме уроков; самодержавно назначила часы для общего чтения, не советовала читать романы, а рекомендовала Сегюрову всеобщую историю и Анахарсисово путешествие. С стоической точки зрения противодействовала она сильным наклонно-

стям моим курить тайком табак, завертывая его в бумажку (тогда папиросы еще не существовали); вообще, она любила мне читать морали,— если я их не исполнял, то мирно выслушивал. По счастию, у нее не было выдержки, и, забывая свои распоряжения, она читала со мной повести Цшоке вместо археологического романа и посылала тайком мальчика покупать зимой гречневики и гороховый кисель с постным маслом, а летом — крыжовник и смородину.

Я думаю, что влияние кузины на меня было очень хорошо; теплый элемент взошел с нею в мое келейное отрочество, отогрел, а может, и сохранил едва развертывавшиеся чувства, которые очень могли быть совсем подавлены иронией моего отца. Я научился быть внимательным, огорчаться от одного слова, заботиться о друге, любить; я научился говорить о чувствах. Она поддержала во мне мои политические стремления, пророчила мне необыкновенную будущность, славу,— и я с ребячьим самолюбием верил ей, что я — будущий «Брут или Фабриций»...

Кузина оставалась до октября месяца. Отец звал ее назад и обещал через год отпустить ее к нам в Васильевское. Мы с ужасом ждали разлуки, и вот одним осенним днем приехала за ней бричка, и горничная ее понесла класть кузовки и картоны, наши люди уложили всяких дорожных припасов на целую неделю, толпились у подъезда и прощались. Крепко обнялись мы — она плакала, и я плакал, бричка выехала на улицу, повернула в переулок возле того самого места, где продавали гречневики и гороховый кисель, и исчезла; я походил по двору — так что-то холодно и дурно, взошел в свою комнату — и там будто пусто и холодно, принялся готовить урок Ивану Евдокимовичу, а сам думал — где-то теперь кибитка, проехала заставу или нет?

Одно меня утешало — в будущем июне вместе в Васильевском!

Для меня деревня была временем воскресения, я страстно любил деревенскую жизнь. Леса, поля и воля вольная — все это мне было так ново, выросшему в хлопках, за каменными стенами, не смея выйти ни под каким предлогом за ворота без спроса и без сопровождения лакея...

Едем мы нынешний год в Васильевское или нет? Вопрос этот сильно занимал меня с весны. Отец мой всякий раз говорил, что в этом году он уедет рано, что ему хочется видеть, как распускается лист, и никогда не мог собраться прежде июля. Иной год он так опаздывал, что мы совсем не ездили. В деревню писал он всякую зиму, чтоб дом был готов и протоплен, но это делалось больше по глубоким политическим соображениям, нежели серьезно,— для того, чтоб староста и земский, боясь близкого приезда, внимательнее смотрели за хозяйством.

Кажется, что едем...

Каждый год или по крайней мере через год ездили мы в Васильевское[6]. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Но я мог деревней мерить не один физический рост, периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу

внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и тех я не читал. я занимался всего больше зайцем и векшей, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло в разрешении моего отца каждый вечер раз выстрелить из фальконета, причем, само собою разумеется, вся дворня была занята и пятидесятилетние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собою Плутарха и Шиллера; рано утром уходил я в лес, в чащу, как можно дальше, там ложился под дерево и, воображая, что это богемские леса, читал сам о себе вслух; тем не менее еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала, и я в день десять раз бегал ее осматривать и поправлять. В 1829 и 30 годах я писал *философскую* статью о Шиллеровом Валленштейне — и из прежних игр удержался в силе один фальконет.

Впрочем, сверх пальбы еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью — сельские вечера; они и теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии...

...Пастух хлопает длинным бичом да играет на берестовой дудке; мычание, блеянье, топанье по мосту возвращающегося стада, собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным кунц-галопом; а тут песни крестьянок, идущих с поля, все ближе и ближе — но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Из домов, скрыпя воротами, выходят дети, девочки — встречать своих коров, баранов; работа кончилась. Дети играют на улице, у берега, и их голоса раздаются пронзительно чисто по реке и по вечерней заре; к воздуху примешивается паленый запах овинов, роса начинает исподволь стлать дымом по полю, над лесом ветер как-то ходит вслух, словно лист закипает, а тут зарница, дрожа, осветит замирающей, трепетной лазурью окрестности...

## ГЛАВА IV

«Напиши тогда, как в этом месте
(на Воробьевых горах) развилась
история нашей жизни, т. е. моей и твоей».
(Письмо Огарева к Герцену, 1833) [7]

Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес, от них он перешел к одному симбирскому помещику, от него — к дальнему родственнику моего отца [8]. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено и которого Зонненберг называл Ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое; он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть; тем не менее сближались мы туго. Он был молчалив, задумчив; я резов, но боялся его тормошить.

Около того времени, как тверская кузина уехала в Корчеву, умерла бабушка Ника, матери он лишился в первом детстве. В их доме была суета, и Зонненберг, которому нечего было делать, тоже хлопотал и представлял, что сбит с ног; он привел Ника с утра к нам и просил его на весь день оставить у нас. Ник был грустен, испуган; вероятно, он любил бабушку...

...Посидевши немного, я предложил читать Шиллера. Меня удивляло сходство наших вкусов; он знал на память гораздо больше, чем я, и знал именно те места, которые мне так нравились; мы сложили книгу и выпытывали, так сказать, друг в друге симпатию.

От Мёроса, шедшего с кинжалом в рукаве, «чтоб город освободить от тирана» [9], от Вильгельма Телля, поджидавшего на узкой дорожке в Кюснахте Фогта [10], переход к 14 декабря и Николаю был легок. Мысли эти и эти сближения не были чужды Нику, ненапечатанные стихи Пушкина и Рылеева были и ему известны; разница с пустыми мальчиками, которых я изредка встречал, была разительна.

Незадолго перед тем, гуляя на Пресненских прудах, я, полный моим *бушотовским* терроризмом, объяснял одному из моих ровесников справедливость казни Людовика XVI.

— Все так,— заметил юный князь О.,— но ведь он был помазанник божий!

Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его и ни разу потом не просился к ним.

Этих пределов с Ником не было, у него сердце так же билось, как у меня, он также отчалил от угрюмого консервативного берега; стоило дружнее отпихиваться, и мы, чуть ли не в первый день, решились действовать в пользу цесаревича *Константина!*

Прежде мы имели мало долгих бесед. Карл Иванович мешал, как осенняя муха, и портил всякий разговор своим присутствием, во все мешался, ничего не понимая, делал замечания, поправлял воротник рубашки у Ника, торопился домой, словом, был очень противен. Через месяц мы не могли провести двух дней, чтоб не увидеться или не написать письмо; я с порывистостью моей натуры привязывался больше и больше к Нику, он тихо и глубоко любил меня.

Дружба наша должна была с самого начала принять характер серьезный. Я не помню, чтоб шалости занимали нас на первом плане, особенно когда мы были одни. Мы, разумеется, не сидели с ним на одном месте, лета брали свое, мы хохотали и дурачились, дразнили Зонненберга и стреляли на нашем дворе из лука; но основа всего была очень далека от пустого товарищества; нас связывала, сверх равенства лет, сверх нашего «химического» сродства, наша общая религия. Ничего в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес. Мы уважали в себе будущее, мы смотрели друг на друга, как на сосуды избранные, предназначенные.

Часто мы ходили с Ником за город, у нас были любимые места — Воробьевы горы, поля за Драгомиловской заставой. Он приходил за мной с Зонненбергом часов в шесть или семь утра и, если я спал, бросал в мое окно песок и маленькие камешки. Я просыпался, улыбаясь, и торопился выйти к нему.

Ранние прогулки эти завел неутомимый Карл Иванович.

Воробьевы горы, у подножия которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими «святыми холмами».

Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас, он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были нешуточными делами. В четвероместной карете «работы Иохима», что не мешало ей в пятнадцатилетнюю, хотя и покойную службу состариться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и не одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом; это было *запрещено* кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был; и ко всему этому рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца беспокойно-суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича,— но мы охотно подвергались всему, чтобы быть вместе.

В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку на самом том месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах [11].

Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас, постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу.

Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинаковая судьба поражает все обеты, данные на этом месте; Александр был тоже искренен, положивши первый камень храма, который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии,— сделался последним.

Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. *Сила* сломила в нас многое, *но не она* нас сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетны,— свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с богом.

С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда, и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев, пять лет спустя, робко и застенчиво, верю

ли я в его поэтический талант, и писал мне потом (1833) из своей деревни: «Выехал я, и мне стало грустно, так грустно, как никогда не бывало. А всё Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги; застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их, но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны, они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было так синё, синё, а на душе темно, темно».

«Напиши,— заключал он,— как в этом месте (на Воробьевых горах) развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей».

Прошло еще пять лет, я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей — А. Л. Витберг. В 1842, возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы, мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и также вдвоем,— но не с Ником.

С 1827 мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане *он* с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим,— на беду ли, на счастье ли, не знаю, но, наверное, на то, чтоб не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой писанный масляными красками портрет Огарева того времени (1827—28 года). Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки; живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту от неправильных черт и несколько смуглый колорит; на холсте виднелась задумчивость, предваряющая сильную мысль; безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа; таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина,— может, ей попадутся эти строки и она его пришлет мне.

Я не знаю, почему дают какой-то монополь воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер: та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности.

Я давно любил, и любил страстно, Ника, но не решался назвать его «другом», и когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал писать мне *ты* и назвал меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру.

Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем пятнадцатом годе. Или не лучше ли призадуматься над своим «Таков ли был я, расцветая?» и благо-

словить судьбу, если у вас *была* юность (одной молодости недостаточно на это); благословить ее вдвое, если у вас был тогда друг.

Язык того времени нам сдается натянутым, книжным, мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в тридцатилетнем человеке, как знаменитое «Bettina will schlafen», но в свое время этот отроческий язык, этот jargon de la puberté, эта перемена психического голоса — очень откровенны, даже книжный оттенок естествен возрасту теоретического знания и практического невежества.

Шиллер остался нашим любимцем *; лица его драм были для нас существующие личности, мы их разбирали, любили и ненавидели не как поэтические произведения, а как живых людей. Сверх того, мы в них видели самих себя. Я писал к Нику, несколько озабоченный тем, что он слишком любит Фиеско, что за «всяким» Фиеско стоит свой Веринна. Мой идеал был Карл Моор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу. На сто ладов придумывал я, как буду говорить с Николаем, как он потом отправит меня в рудники, казнит. Странная вещь, что почти все наши грезы оканчивались Сибирью или казнью и почти никогда — торжеством. Неужели это русский склад фантазии или отражение Петербурга с пятью виселицами и каторжной работой на юном поколении?

Так-то, Огарев, рука в руку входили мы с тобою в жизнь! Шли мы безбоязненно и гордо, не скупясь отвечали всякому призыву, искренно отдавались всякому увлечению. Путь, нами избранный, был не легок, мы его не покидали ни разу; раненые, сломанные, мы шли, и нас никто не обгонял. Я дошел... не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, и невольно ищу твоей руки, чтобы вместе выйти, чтоб пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: *«Вот и все!»*

А покамест в скучном досуге, на который меня осудили события, не находя в себе ни сил, ни свежести на новый труд, записываю я *наши* воспоминания. Много того, что нас так тесно соединяло, осело в этих листах, я их дарю тебе. Для тебя они имеют двойной смысл — смысл надгробных памятников, на которых мы встречаем знакомые имена.

...А не странно ли подумать, что умей Зонненберг плавать или утони он тогда в Москве-реке, вытащи его не уральский казак, а какой-нибудь апшеронский пехотинец, я бы и не встретился с Ником, или позже, иначе, не в той комнатке нашего старого дома, где мы, тайком куря сигарки, заступали так далеко друг другу в жизнь и черпали друг в друге силу...

* Поэзия Шиллера не утратила на меня своего влияния; несколько месяцев тому назад я читал моему сыну «Валленштейна», это гигантское произведение! Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар или педант, очерствел или забыл себя. Что же сказать о тех скороспелых alklunge Burschen (молодых старичках), которые так хорошо знают *недостатки* его в семнадцать лет? — *А. И. Г.*

# ГЛАВА VI

О, годы вольных, светлых дум
И беспредельных упований!
Где смех без желчи, пира шум?
Где труд, столь полный ожиданий?
(«Юмор») [12]

Несмотря на зловещие пророчества хромого генерала [13], отец мой определил-таки меня на службу к князю Н. Б. Юсупову в Кремлевскую экспедицию. Я подписал бумагу, тем дело и кончилось; больше я о службе ничего не слыхал, кроме того, что года через три Юсупов прислал дворцового архитектора, который всегда кричал таким голосом, как будто он стоял на стропилах пятого этажа и оттуда что-нибудь приказывал работникам в подвале, известить, что я получил первый офицерский чин. Все эти чудеса, заметим мимоходом, были не нужны: чины, полученные службой, я разом наверстал, выдержавши экзамен на кандидата,— из каких-нибудь двух-трех годов старшинства не стоило хлопотать. А между тем эта мнимая служба чуть не помешала мне вступить в университет. Совет, видя, что я числюсь в канцелярии Кремлевской экспедиции, отказал мне в праве держать экзамен.

Для служащих были особые курсы после обеда, чрезвычайно ограниченные и дававшие право на так называемые комитетские экзамены. Все лентяи с деньгами, баричи, ничему не учившиеся, все, что не хотело служить в военной службе и торопилось получить чин асессора, держало комитетские экзамены; это было нечто вроде *золотых* приисков, уступленных старым профессорам, дававшим privatissime по двадцати рублей за урок.

Начать мою жизнь этими каудинскими фуркулами науки далеко не согласовалось с моими мыслями. Я сказал решительно моему отцу, что, если он не найдет другого средства, я подам в отставку.

Отец мой сердился, говорил, что я своими капризами мешаю ему устроить мою карьеру, бранил учителей, которые натолковали мне этот вздор, но, видя, что все это очень мало меня трогает, решился ехать к Юсупову.

Юсупов рассудил дело вмиг, отчасти по-барски и отчасти по-татарски. Он позвал секретаря и велел ему написать отпуск на три года. Секретарь помялся, помялся и доложил со страхом пополам, что отпуск более нежели на четыре месяца нельзя давать без высочайшего разрешения.

— Какой вздор, братец,— сказал ему князь,— что тут затрудняться; ну в отпуск нельзя, пиши, что я командирую его для усовершенствования в науках — слушать университетский курс.

Секретарь написал, и на другой день я уже сидел в амфитеатре физико-математической аудитории.

В истории русского образования и в жизни двух последних поколений Московский университет и Царскосельский лицей играют значительную роль.

Московский университет вырос в своем значении вместе с Мос-

квою после 1812 г.; разжалованная императором Петром из царских столиц, Москва была произведена императором Наполеоном (сколько волею, а вдвое того неволею) в столицы народа русского. Народ догадался по боли, которую чувствовал при вести о ее занятии неприятелем, о своей кровной связи с Москвой. С тех пор началась для нее новая эпоха. В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя.

Сильно возбужденная деятельность ума в Петербурге, после Павла, мрачно замкнулась 14 декабрем. Явился Николай с пятью виселицами, с каторжной работой, белым ремнем и голубым Бенкендорфом.

Все пошло назад, кровь бросилась к сердцу, деятельность, скрытая снаружи, закипала, таясь внутри. Московский университет устоял и начал первый вырезываться из-за всеобщего тумана. Государь его возненавидел с полежаевской истории. Он прислал А. Писарева, генерал-майора «Калужских вечеров», попечителем, велел студентов одеть в мундирные сертуки, велел им носить шпагу, потом запретил носить шпагу; отдал Полежаева в солдаты за стихи, Костенецкого с товарищами за прозу, уничтожил Критских за бюст, отправил нас в ссылку за сен-симонизм, посадил князя Сергея Михайловича Голицына попечителем и не занимался больше «этим рассадником разврата», благочестиво советуя молодым людям, окончившим курс в лицее и в школе правоведения, не вступать в него.

Голицын был удивительный человек, он долго не мог привыкнуть к тому беспорядку, что когда профессор болен, то и лекции нет; он думал, что следующий *по очереди* должен был его заменять, так что отцу Терновскому пришлось бы иной раз читать в клинике о женских болезнях, а акушеру Рихтеру — толковать бессеменное зачатие.

Но, несмотря на это, опальный университет рос влиянием, в него, как в общий резервуар, вливались юные силы России со всех сторон, из всех слоев, в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее.

До 1848 г. устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, ни уволенным своей общиной. Николай все это исказил; он ограничил прием студентов, увеличил плату своекоштных и дозволил избавлять от нее только бедных *дворян*. Все это принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшегося на русское колесо,— вместе с законом о пассах, о религиозной нетерпимости и пр.*

* Кстати, вот еще одна из отеческих мер «незабвенного» Николая. Воспитательные дома и приказы общественного призрения составляют один

Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах; об английских университетах я не говорю: они существуют исключительно для аристократии и для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей *белой костью* или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», замучен товарищами.

Внешние различия, и то не глубокие, делившие студентов, шли из других источников. Так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами так близко, как прочие факультеты; к тому же его большинство состояло из семинаристов и немцев. Немцы держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западномещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы досадовали на их христианское смирение *.

Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то, что никогда не имел ни большой способности, ни большой любви к математике. Учились ей мы с Ником у одного учителя, которого мы любили за его анекдоты и рассказы; при всей своей занима-

из лучших памятников екатерининского времени. Самая мысль учреждения больниц, богаделен и воспитательных домов на доли процентов, которые ссудные банки получают от оборотов капиталами, замечательно умна.

Учреждения эти принялись, ломбарды и приказы богатели, воспитательные дома и богоугодные заведения цвели настолько, насколько допускало их всеобщее воровство чиновников. Дети, приносимые в воспитательный дом, частию оставались там, частию раздавались крестьянкам в деревни; последние оставались крестьянами, первые воспитывались в самом заведении. Из них сортировали наиболее способных для продолжения гимназического курса, отдавая менее способных в учение ремеслам или в Технологический институт. То же с девочками: одни приготовлялись к рукодельям, другие — к должности нянюшек и, наконец, способнейшие — в классные дамы и в гувернантки. Все шло как нельзя лучше. Но Николай и этому учреждению нанес страшный удар. Говорят, что императрица, встретив раз в доме у одного из своих приближенных воспитательницу его детей, вступила с ней в разговор и, будучи очень довольна ею, спросила, где она воспитывалась; та сказала ей, что она из «пансионерок воспитательного дома». Всякий подумает, что императрица поблагодарила за это начальство. Нет,— это ей подало повод подумать о *неприличии* давать такое воспитание подкинутым детям.

Через несколько месяцев Николай *произвел* высшие классы воспитательных домов в *обер-офицерский* институт, т. е. не велел более помещать питомцев в эти классы, а заменил их обер-офицерскими детьми. Он даже подумал о мере более радикальной — он не велел в губернских заведениях, в приказах принимать новорожденных детей. Лучший комментарий на эту умную меру — в отчете министра юстиции в графе «Детоубийство».— *А. И. Г.*

* В этом отношении сделан огромный успех; все, что я слышал в последнее время о духовных академиях и даже семинариях, подтверждает это. Само собою разумеется, что в этом виновато не духовное начальство, а дух учащихся.— *А. И. Г.*

тельности он вряд мог ли развить особую страсть к своей науке. Он знал математику включительно до конических сечений, т. е. ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистов к университету; настоящий философ, он никогда не полюбопытствовал заглянуть в «университетские части» математики. Особенно замечательно при этом, что он только одну книгу и читал, и читал ее постоянно, лет десять,— это франкеров курс [14]; но, воздержный по характеру и не любивший роскоши, он не переходил известной страницы.

Я избрал физико-математический факультет, потому что на нем же преподавались естественные науки, а к ним именно в это время развилась у меня сильная страсть.

Довольно странная встреча навела меня на эти занятия. После знаменитого раздела именья в 1822 г., о котором я рассказывал, «старший братец» переехал на житье в Петербург. Долго об нем ничего не было слышно, как вдруг разнесся слух, что он женился. Ему было за шестьдесят лет тогда, и все знали, что сверх совершеннолетнего сына у него были другие дети. Он именно женился на матери старшего сына; «молодой» тоже было за пятьдесят. Этим браком он «привенчал», как говорили встарь, своего сына. Отчего же не всех детей? Мудрено было бы сказать отчего, если б главная цель, с которой он все это делал, была неизвестна: он хотел одного — лишить своих братьев наследства, и этого он достиг вполне «привенчиванием» сына. В известное наводнение 1824 г. старика залило водой в карете, он простудился, слег и в начале 1825 г. умер.

О сыне носились странные слухи: говорили, что он был нелюдим, ни с кем не знался, вечно сидел один, занимаясь химией, проводил жизнь за микроскопом, читал даже за обедом и ненавидел женское общество. Об нем сказано в «Горе от ума»:

— Он химик, он ботаник,
Князь Федор, наш племянник,
От женщин бегает и даже от меня [15].

Дяди, перенесшие на него зуб, который имели против отца, не называли его иначе, как Химик, придавая этому слову порицательный смысл и подразумевая, что химия вовсе не может быть занятием порядочного человека.

Отец перед смертию страшно теснил сына, он не только оскорблял его зрелищем седого отцовского разврата — разврата циническо-го,— но просто ревновал его к своей серали. Химик раз хотел отделаться от этой неблагодарной жизни лауданумом; его спас случайно товарищ, с которым он занимался химией. Отец перепугался и перед смертью стал смирнее с сыном.

После смерти отца Химик дал отпускную несчастным одалискам, уменьшил наполовину тяжелый оброк, положенный отцом на крестьян, простил недоимки и даром отдал рекрутские квитанции, которые продавал им старик, отдавая дворовых в солдаты.

Года через полтора он приехал в Москву, мне хотелось его

видеть, я его любил за крестьян и за несправедливое недоброжелательство к нему его дядей.

Одним утром явился к моему отцу небольшой человек в золотых очках, с большим носом, с полупотерянными волосами, с пальцами, обожженными химическими реагенциями. Отец мой встретил его холодно, колко; племянник отвечал той же монетой и не хуже чеканенной; померявшись, они стали говорить о посторонних предметах с наружным равнодушием и расстались учтиво, но с затаенной злобой друг против друга. Отец мой увидел, что боец ему не уступит.

Они никогда не сближались потом. Химик ездил очень редко к дядям; в последний раз он виделся с моим отцом после смерти Сенатора, он приезжал просить у него тысяч тридцать рублей взаймы на покупку земли. Отец мой не дал; Химик рассердился и, потирая рукою нос, с улыбкой ему заметил: «Какой же тут риск, у меня именье *родовое,* я беру деньги для его усовершенствования, детей у меня нет, и мы друг после друга наследники». Старик семидесяти пяти лет никогда не прощал племяннику эту выходку.

Я стал время от времени навещать его. Жил он чрезвычайно своеобычно; в большом доме своем на Тверском бульваре занимал он одну крошечную комнату для себя и одну для лаборатории. Старуха мать его жила через коридор в другой комнатке; остальное было запущено и оставалось в том самом виде, в каком было при отъезде его отца в Петербург. Почерневшие канделябры, необыкновенная мебель, всякие редкости, стенные часы, *будто бы* купленные Петром I в Амстердаме, креслы, будто бы из дома Станислава Лещинского, рамы без картин, картины, обороченные к стене,— все это, поставленное кой-как, наполняло три большие залы, нетопленные и неосвещенные. В передней люди играли обыкновенно на торбане и курили (в той самой, в которой прежде едва смели дышать и молиться). Человек зажигал свечку и провожал этой оружейной палатой, замечая всякий раз, что плаща снимать не надобно, что в залах очень холодно; густые слои пыли покрывали рогатые и курьезные вещи, отражавшиеся и двигавшиеся вместе со свечой в вычурных зеркалах, солома, оставшаяся от укладки, спокойно лежала там-сям вместе с стриженой бумагой и бечевками.

Рядом этих комнат достигалась, наконец, дверь, завешенная ковром, которая вела в страшно натопленный кабинет. В нем Химик, в замаранном халате на беличьем меху, сидел безвыходно, обложенный книгами, обставленный склянками, ретортами, тигелями, снарядами. В этом кабинете, где теперь царил микроскоп Шевалье, пахло хлором и где совершались за несколько лет страшные, вопиющие дела,— в этом кабинете я *родился.* Отец мой, возвратившись из чужих краев, до ссоры с братом, останавливался на несколько месяцев в его доме, и в этом же доме родилась моя жена в 1817 г. Химик года через два продал свой дом, и мне опять случалось бывать в нем на вечерах у Свербеева, спорить там о панславизме и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не

сердился. Комнаты были перестроены, но подъезд, сени, лестница, передняя — все осталось, также и маленький кабинет остался...

С самого начала нашего знакомства Химик увидел, что я серьезно занимаюсь, и стал уговаривать, чтоб я бросил «пустые» занятия литературой и «опасные без всякой пользы» — политикой, а принялся бы за естественные науки. Он дал мне речь Кювье о геологических переворотах и Де Кандолеву растительную органографию. Видя, что чтение идет на пользу, он предложил свои превосходные собрания, снаряды, гербарии и даже свое руководство. Он на своей почве был очень занимателен, чрезвычайно учен, остер и даже любезен; но для этого не надобно было ходить дальше обезьян; от камней до орангутанга его все интересовало, далее он неохотно пускался, особенно в философию, которую считал болтовней. Он не был ни консерватор, ни отсталый человек, он просто не верил в людей, т. е. верил, что эгоизм — исключительное начало всех действий, и находил, что его сдерживает только безумие одних и невежество других.

Меня возмущал его материализм. Поверхностный и со страхом пополам вольтерианизм наших отцов нисколько не был похож на материализм Химика. Его взгляд был спокойный, последовательный, оконченный; он напоминал известный ответ Лаланда Наполеону.

«Кант принимает гипотезу бога»,— сказал ему Бонапарт.

«Sire,— возразил астроном,— мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе».

Атеизм Химика шел далее теологических сфер. Он считал Жофруа Сент-Илера мистиком, а Окена просто поврежденным. Он с тем пренебрежением, с которым мой отец сложил «Историю» Карамзина, закрыл сочинения натурфилософов. «Сами выдумали первые причины, духовные силы да и удивляются потом, что их ни найти, ни понять нельзя». Это был мой отец в другом издании, в ином веке и иначе воспитанный.

Взгляд его становился еще безотраднее во всех жизненных вопросах. Он находил, что на человеке так же мало лежит ответственности за добро и зло, как на звере; что все — дело организации, обстоятельств и вообще устройства нервной системы, от которой *больше ждут, нежели она в состоянии дать*. Семейную жизнь он не любил, говорил с ужасом о браке и наивно признавался, что он пережил тридцать лет, не любя ни одной женщины. Впрочем, одна теплая струйка в этом охлажденном человеке еще оставалась, она была видна в его отношениях к старушке матери; они много страдали вместе от отца, бедствия сильно сплавили их; он трогательно окружал одинокую и болезненную старость ее, насколько умел, покоем и вниманием.

Теорий своих, кроме химических, он никогда не проповедовал, они высказывались случайно, вызывались мною. Он даже нехотя отвечал на мои романтические и философские возражения; его ответы были коротки, он их делал улыбаясь и с той деликатностью, с которой большой, старый мастиф играет с шпицем, позволяя ему

себя теребить и только легко отгоняя лапой. Но это-то меня и дразнило всего больше, и я неутомимо возвращался à la charge, не выигрывая, впрочем, ни одного пальца почвы. Впоследствии, т. е. лет через двенадцать, я много раз поминал Химика так, как поминал замечания моего отца; разумеется, он был прав в трех четвертях всего, на что я возражал. Но ведь и я был прав. Есть истины — мы уже говорили об этом,— которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста.

Влияние Химика заставило меня избрать физико-математическое отделение; может, еще лучше было бы вступить в медицинское, но беды большой в том нет, что я сперва посредственно выучил, потом основательно забыл дифференциальные и интегральные исчисления.

Без естественных наук нет спасения современному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мысли фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разумению...

Итак, наконец затворничество родительского дома пало. Я был au large; вместо одиночества в нашей небольшой комнате, вместо тихих и полускрываемых свиданий с одним Огаревым — шумная семья в семьсот голов окружила меня. В ней я больше оклиматился в две недели, чем в родительском домес с самого дня рождения...

Как большая часть живых мальчиков, воспитанных в одиночестве, я с такой искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, с такой безумной неосторожностью делал пропаганду и так откровенно сам всех любил, что не мог не вызвать горячий ответ со стороны аудитории, состоявшей из юношей почти одного возраста (мне был тогда семнадцатый год).

Мудрые правила — со всеми быть учтивым и ни с кем близким, никому не доверяться — столько же способствовали этим сближениям, как неотлучная мысль, с которой мы вступили в университет,— мысль, что *здесь* совершатся наши мечты, что здесь мы бросим семена, положим *основу* союзу. Мы были уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что мы будем в ней.

Молодежь была прекрасная в наш курс. Именно в это время пробуждались у нас больше и больше теоретические стремления. Семинарская выучка и шляхетская лень равно исчезали, не заменяясь еще немецким утилитаризмом, удобряющим умы наукой, как поля навозом, для усиленной жатвы. Порядочный круг студентов не принимал больше науку за необходимый, но скучный проселок, которым скорее объезжают в коллежские асессоры. Возникавшие вопросы вовсе не относились до табели о рангах.

С другой стороны, научный интерес не успел еще выродиться в доктринаризм; наука не отвлекала от вмешательства в жизнь, страдавшую вокруг. Это сочувствие с нею необыкновенно подни-

мало *гражданскую* нравственность студентов. Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки *запрещенных* стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями, и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся,— но и те молчали *.

Один пустой мальчик, допрашиваемый своею матерью о маловской истории под угрозою прута, рассказал ей кое-что. Нежная мать, *аристократка* и княгиня, бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса.

История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтобы рассказать ее.

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.

— Сколько у вас профессоров в отделении? — спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.

— Без Малого девять,— отвечал студент.

Вот этот-то профессор, которого надобно было *вычесть* для того, чтобы осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском. Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной; когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.

У всех студентов на лицах был написан один страх: ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.

— Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами,— заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью,— и буря поднялась; свист, шиканье, крик: «Вон его, вон его! Pereat!» Малов, бледный как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом и не мог; студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям; аудитория — за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди 17—18 лет, которые думают об этом.

Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть, что

* Тогда не было инспекторов и субинспекторов, исправляющих при аудиториях роль моего Петра Федоровича.— *А. И. Г.*

в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. Vae victis с Николаем; но на этот раз не нам пенять на него.

Итак, дело закипело. На другой день после обеда приплелся ко мне сторож из правления, седой старик, который добросовестно принимал á la lettre, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому. Он в обшлаге шинели принес от «лехтура» записочку — мне было велено явиться к нему в семь часов вечера. Вслед за ним явился бледный и испуганный студент из остзейских баронов, получивший такое же приглашение и принадлежавший к несчастным жертвам, приведенным мною. Он начал с того, что осыпал меня упреками, потом спрашивал совета, что ему говорить.

— Лгать отчаянно, запираться во всем, кроме того, что шум был и что вы были в аудитории,— отвечал я ему.

— А ректор спросит, зачем я был в политической аудитории, а не в нашей?

— Как зачем? Да разве вы не знаете, что Родион Гейман не приходил на лекцию, вы, не желая потерять времени по-пустому, пошли слушать другую.

— Он не поверит.

— Это уж его дело.

Когда мы входили на университетский двор, я посмотрел на моего барона, пухленькие щечки его были очень бледны, и вообще ему было плохо.

— Слушайте,— сказал я,— вы можете быть уверены, что ректор начнет не с вас, а с меня; говорите то же самое с вариациями, вы же и в самом деле ничего особенного не сделали. Не забудьте одно: за то, что вы шумели, и за то, что лжете,— много-много вас посадят в карцер; а если вы проболтаетесь да кого-нибудь при мне запутаете, я расскажу в аудитории и мы отравим вам ваше существование.

Барон обещал и честно сдержал слово.

Ректором был тогда Двигубский, один из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, *допожарных,* т. е. до 1812 г. Они вывелись теперь; с попечительством князя Оболенского вообще оканчивается патриархальный период Московского университета. В те времена начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притом не в мундирных сертуках à linstar конноегерских, а в разных отчаянных и эксцентрических платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Профессо-

ра составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевшие друг друга: один состоял исключительно из немцев, другой — из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильденбрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. Не-немцы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и вместо неумеренного употребления сигар употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттенгена, не-немцы — из поповских детей.

Двигубский был из не-немцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и постоянно называл его «отец-ректор». Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее, как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Когда он бывало приходил в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельницким, который заведовал шкапом с надписью «Materia Medica», неизвестно зачем проживавшим в математической аудитории, или с Рейсом, выписанным из Германии за то, что его дядя хорошо знал химию, с Рейсом, который, читая по-французски, называл светильню bâton de coton, яд — рыбой (poisson), а слово «молния» так несчастно произносил, что многие думали, что он бранится, мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних Абенсерагов, представителей иного времени, не столько близкого к нам, как к Тредьяковскому и Кострову,— времени, в котором читали Хераскова и Княжнина, времени доброго профессора Дильтея, у которого были две собачки: одна вечно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что он очень справедливо прозвал одну *Баваркой,* а другую *Пруденкой.* Но Двигубский был вовсе не добрый профессор, он принял нас чрезвычайно круто и был груб; я порол страшную дичь и был неучтив, барон подогревал то же самое. Раздраженный Двигубский велел явиться на другое утро в совет, там в полчаса времени нас допросили, осудили, приговорили и послали сентенцию на утверждение князя Голицына...

С этого времени я в аудитории пользовался величайшей симпатией. Сперва я слыл за хорошего студента; после маловской истории сделался, как известная гоголевская дама, хороший студент во всех отношениях.

Учились ли мы при всем этом чему-нибудь, могли ли научиться? Полагаю, что да. Преподавание было скуднее, объем его меньше, чем в сороковых годах. Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание; его дело — поставить человека á même продолжать на своих ногах; его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны — и такие, как Каченовский [16].

Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений... Московский университет свое дело делал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей.

А какие оригиналы были в их числе и какие чудеса — от Федора Ивановича Чумакова, подгонявшего формулы к тем, которые были в курсе Пуансо, с совершеннейшей свободой помещичьего права прибавляя, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и $x$ за известное, до Гаврилла Мягкова [17], читавшего самую *жесткую* науку в мире — тактику. От постоянного обращения с предметами героическими самая наружность Мягкова приобретала строевую выправку; застегнутый до горла, в несгибающемся галстухе, он больше командовал свои лекции, чем говорил.

— Господа! — кричал он.— На поле! *Об артиллерии!..*

Это не значило: на поле сражения едут пушки, а просто что на марже такое заглавие. Как жаль, что Николай обходил университет; если бы он увидел Мягкова, он его сделал бы попечителем.

А Федор Федорович Рейс, никогда не читавший химии далее второй химической ипостаси, т. е. водорода! Рейс, который действительно попал в профессора химии, потому что не он, а его дядя занимался когда-то ею. В конце царствования Екатерины старика пригласили в Россию; ему ехать не хотелось — он отправил вместо себя племянника...

К чрезвычайным событиям нашего курса, продолжавшегося четыре года (потому что во время холеры университет был закрыт целый семестр), принадлежат сама холера, приезд Гумбольдта и посещение Уварова.

Гумбольдт, возвращаясь с Урала, был встречен в Москве в торжественном заседании общества естествоиспытателей при университете, членами которого были разные сенаторы, губернаторы — вообще люди, не занимавшиеся ни естественными, ни неестественными науками. Слава Гумбольдта, тайного советника его прусского величества, которому государь император изволил дать Анну и приказал не брать с него денег за материал и диплом, дошла и до них. Они решились не ударить себя лицом в грязь перед человеком, который был на Шимборазо и жил в Сан-Суси [18].

Мы до сих пор смотрим на европейцев и Европу в том роде, как провинциалы смотрят на столичных жителей,— с подобострастием и чувством собственной вины, принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая их, подчиняясь и подражая. Дело в том, что мы были застращены и не оправились от насмешек Петра I, от оскорблений Бирона, от высокомерия служебных немцев и воспитателей-французов. Западные люди толкуют о нашем двоедушии и лукавом коварстве; они принимают за желание обмануть — желание выказаться и похвастаться. У нас тот же человек готов наивно либеральничать с либералами, прикинуться легитимистом, и это без всяких задних мыслей, просто из

учтивости и из кокетства; бугор de l'appvobativité сильно развит в нашем черепе.

«Князь Дмитрий Голицын,— сказал как-то лорд Дюрам,— настоящий виг, виг в душе».

Князь Д. В. Голицын был почтенный русский барин, но почему он был «виг», с чего он был «виг» — не понимаю. Будьте уверены, князь на старости лет хотел понравиться Дюраму и прикинулся вигом.

Прием Гумбольдта в Москве и в университете было дело нешуточное. Генерал-губернатор, разные вое- и градоначальники, сенат — все явились: лента через плечо, в полном мундире, профессора воинственно при шпагах и с треугольными шляпами под рукой. Гумбольдт, ничего не подозревая, приехал в синем фраке с золотыми пуговицами и, разумеется, был сконфужен. От сеней до залы общества естествоиспытателей — везде были приготовлены засады: тут ректор, там декан, тут начинающий профессор, там ветеран, оканчивающий свое поприще и именно потому говорящий очень медленно,— каждый приветствовал его по-латыни, по-немецки, по-французски, и все это в этих страшных каменных трубах, называемых коридорами, в которых нельзя остановиться на минуту, чтоб не простудиться на месяц. Гумбольдт все слушал без шляпы и на все отвечал. Я уверен, что все дикие, у которых он был, краснокожие и медного цвета, сделали ему меньше неприятностей, чем московский прием.

Когда он дошел до залы и уселся, тогда надобно было встать.

Попечитель Писарев счел нужным в кратких, но сильных словах *отдать приказ,* по-русски, о заслугах его превосходительства и знаменитого путешественника; после чего Сергей Глинка, «офицер», голосом тысяча восьмисот двенадцатого года, густо-сиплым, прочел свое стихотворение, начинавшееся так:

Humbolat — Pvométhée de nos jours!

А Гумбольдту хотелось потолковать о наблюдениях над магнитной стрелкой, сличить свои метеорологические заметки на Урале с московскими, вместо этого ректор пошел ему показывать что-то сплетенное из высочайших волос Петра I... насилу Эренберг и Розе нашли случай кой-что рассказать о своих открытиях.

У нас и в неофициальном мире дела идут не много лучше: десять лет спустя точно так же принимали Листа в московском обществе. Глупостей довольно делали для него и в Германии, но тут совсем не тот характер; в Германии это все стародевическая экзальтация, сентиментальность, все Blumenstreuen; у нас — подчинение, признание власти, вытяжка, у нас все «честь имею явиться к вашему превосходительству». Тут же, по несчастью, прибавилась слава Листа как известного ловеласа, дамы толпились около него так, как крестьянские мальчики на проселочных дорогах толпятся около проезжего, пока закладывают лошадей, любознательно рассматривая его самого, его коляску, шапку... Все слушало одного Листа, все говорило только с ним одним, отвечало только ему.

Я помню, что на одном вечере Хомяков, краснея за почтенную публику, сказал мне:

— Поспоримте, пожалуйста, о чем-нибудь, чтоб Лист видел, что есть здесь в комнате люди, не исключительно занятые им.

В утешение нашим дамам я могу только одно сказать, что англичанки точно так же метались, толпились, тормошились, не давали проходу другим знаменитостям — Кошуту, потом Гарибальди и пр.; но горе тем, кто хочет учиться хорошим манерам у англичанок и их мужей!

Второй «знаменитый» путешественник был тоже в некотором смысле «Промифей наших дней», только что он свет крал не у Юпитера, а у людей. Этот Промифей, воспетый не Глинкою, а самим Пушкиным в послании к Лукуллу, был министром народного просвещения С. С. (еще не граф) Уваров. Он удивлял нас своим многоязычием и разнообразием всякой всячины, которую знал; настоящий сиделец за прилавком просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казовые концы или, лучше, начала. При Александре он писал либеральные брошюрки по-французски, потом переписывал с Гете по-немецки о греческих предметах. Сделавшись министром, он толковал о славянской поэзии IV столетия, на что Каченовский ему заметил, что тогда впору было с медведями сражаться нашим праотцам, а не то что песнопеть о самофракийских богах и самодержавном милосердии. Вроде патента он носил в кармане письмо от Гете, в котором Гете ему сделал прекурьезный комплимент, говоря: «Напрасно извиняетесь вы в вашем слоге; вы достигли до того, до чего я не мог достигнуть,— вы забыли немецкую грамматику».

Вот этот-то действительный тайный Пик де ла Мирандоль завел нового рода испытания. Он велел отобрать лучших студентов для того, чтоб каждый из них прочел по лекции из своих предметов вместо профессора. Деканы, разумеется, выбрали самых бойких.

Лекции эти продолжались целую неделю. Студенты должны были приготовляться на все темы своего курса, декан вынимал билет и имя. Уваров созвал всю московскую знать. Архимандриты и сенаторы, генерал-губернатор и Ив. Ив. Дмитриев — все были налицо.

Мне пришлось читать у Ловецкого из минералогии... И он уже умер!..

Когда декан вызвал меня, публика была несколько утомлена; две математические лекции распространили уныние и грусть на людей, не понявших ни одного слова. Уваров требовал что-нибудь поживее и студента с «хорошо повешенным языком». Щепкин указал на меня.

Я взошел на кафедру. Ловецкий сидел возле неподвижно, положа руки на ноги, как Мемнон или Озирис, и боялся... Я шепнул ему:

— Экое счастье, что мне пришлось у вас читать, я вас не выдам.

— Не хвались, идучи на рать...— отпечатал, едва шевеля губами и не смотря на меня, почтенный профессор.

Я чуть не захохотал, но когда я взглянул перед собой, у меня зарябило в глазах, я чувствовал, что я побледнел и какая-то сухость покрыла язык. Я никогда прежде не говорил публично, аудитория была полна студентами — они надеялись на меня; под кафедрой за столом — «сильные мира сего» и все профессора нашего отделения.

Я взял вопрос и прочел несвоим голосом: «О кристаллизации, ее условиях, законах, формах».

Пока я придумывал, с чего начать, мне пришла счастливая мысль в голову: если я и ошибусь, заметят, может, профессора, но ни слова не скажут, другие же сами ничего не смыслят, а студенты, лишь бы я не срезался на полдороге, будут довольны, потому что я у них в фавере. Итак, во имя Гайю, Вернера и Митчерлиха я прочел свою лекцию, заключил ее философскими рассуждениями и все время относился и обращался к студентам, а не к министру. Студенты и профессора жали мне руки и благодарили. Уваров водил представлять князю Голицыну,— он сказал что-то одними гласными, так, что я не понял. Уваров обещал мне книгу в знак памяти и никогда не присылал...

Но не довольно ли студенческих воспоминаний? Я боюсь, не старчество ли это — останавливаться на них так долго; прибавлю только несколько подробностей о холере 1831 г.

Холера — это слово, так знакомое теперь в Европе, домашнее в России до того, что какой-то патриотический поэт называет холеру единственной верной союзницей Николая, раздалось тогда в первый раз на севере. Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «Холера в Москве!» — разнеслась по городу.

Утром один студент политического отделения почувствовал дурноту, на другой день он умер в университетской больнице. Мы бросились смотреть его тело. Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены, возле него лежал сторож, занемогший в ночь.

Нам объявили, что университет велено закрыть. В нашем отделении этот приказ был прочтен профессором технологии Денисовым; он был грустен, может быть, испуган. На другой день к вечеру умер и он.

Мы собрались из всех отделений на большой университетский двор; что-то трогательное было в этой толпящейся молодежи, которой велено было расстаться перед заразой. Лица были бледны, особенно одушевлены, многие думали о родных, друзьях; мы простились с казеннокоштными, которых от нас отделяли карантинными мерами, и разбрелись небольшими кучками по домам. А дома всех встретили вонючей хлористой известью, «уксусом четырех

разбойников» и такой диетой, которая одна, без хлора и холеры, могла свести человека в постель.

Странное дело, это печальное время осталось каким-то торжественным в моих воспоминаниях.

Москва приняла совсем иной вид. Публичность, неизвестная в обыкновенное время, давала новую жизнь. Экипажей было меньше, мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами. Бюльтени о болезни печатались два раза в день. Город был оцеплен, как в военное время, и солдаты пристрелили какого-то бедного дьячка, пробиравшегося через реку. Все это сильно занимало умы, страх перед болезнию отнял страх перед властями, жители роптали, а тут весть за вестью — что тот-то занемог, что такой-то умер...

Я был все время жесточайшей холеры 1849 в Париже. Болезнь свирепствовала страшно. Июньские жары ей помогали, бедные люди мерли как мухи; мещане бежали из Парижа, другие сидели назаперти. Правительство, исключительно занятое своей борьбой против революционеров, не думало брать деятельных мер. Тщедушные коллекты были несоразмерны требованиям. Бедные работники оставались покинутыми на произвол судьбы, в больницах не было довольно кроватей, у полиции не было достаточно гробов, и в домах, битком набитых разными семьями, тела оставались дня по два во внутренних комнатах.

В Москве было не так.

Князь Д. В. Голицын, тогдашний генерал-губернатор, человек слабый, но благородный, образованный и очень уважаемый, увлек московское общество, и как-то все уладилось по-домашнему, т. е. без особенного вмешательства правительства. Составился комитет из почетных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый член взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц,— одеяла, белье и теплую одежду, которую оставляли выздоравливавшим. Молодые люди шли даром в смотрители больниц для того, чтоб приношения не были наполовину украдены служащими.

Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекари en masse привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями — и все это без всякого вознаграждения и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы. Я помню одного студента малороссиянина, кажется, Фицхелаурова, который в начале холеры просился в отпуск по важным семейным делам. Отпуск во время курса дают редко; он наконец получил его; в самое то время, как он собирался ехать, студенты отправля-

лись по больницам. Малороссиянин положил свой отпуск в карман и пошел с ними. Когда он вышел из больницы, отпуск был давно просрочен и он первый от души хохотал над своей поездкой.

Москва, по-видимому сонная и вялая, занимающаяся сплетнями и богомольем, свадьбами и ничем, просыпается всякий раз, когда надобно, и становится в уровень с обстоятельствами, когда над Русью гремит гроза.

Она в 1612 г. кроваво обвенчалась с Россией и сплавилась с нею огнем 1812.

Она склонила голову перед Петром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с ропотом и презрением приняла в своих стенах женщину, обагренную кровью своего мужа, эту леди Макбет без раскаяния, эту Лукрецию Борджиа без итальянской крови, русскую царицу немецкого происхождения,— и она тихо удалилась из Москвы, хмуря брови и надувая губы.

Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мундштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города.

Но не пошла Москва моя, как говорит Пушкин,— а зажгла самое себя.

Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии!

В 1830, в августе, мы поехали в Васильевское, останавливались, по обыкновению, в радклиффовском замке Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее. Бакай, подпоясанный полотенцем, уже прокричал «трогай!», как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтобы мы остановились, и форейтор Сенатора, в пыли и поту, соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В этом пакете была *Июльская революция!* — Два листа «Journal des Débats», которые он привез с письмом, я перечитал сто раз, я их знал наизусть — и первый раз скучал в деревне.

Славное было время, события неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда, Бельгия вспыхнула, трон короля-гражданина качался, какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе. Романы, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой [19].

Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы все принимали за чистые деньги.

Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описание Гейне, услышавшего на Гельголанде, что «великий языческий Пан умер». Тут нет поддельного жара: Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы — восемнадцати.

Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикаль-

ных, и хранили у себя их портреты от Манюеля и Бенжамен Констана до Дюпон де Лёра и Арман Кареля.

Середь этого разгара вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о варшавском восстании[20]. Это уж недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое:

Nein! Es sind Keine leere Träume!

Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неуспехам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки.

В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, *испуган,* он усомнился в прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнение.

С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы.

Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться. В 1832 г. пропал поляк, студент нашего отделения. Присланный на казенный счет, не по своей воле, он был помещен в наш курс, мы познакомились с ним, он вел себя скромно и печально, никогда мы не слыхали от него ни одного резкого слова, но никогда не слыхали и ни одного слабого. Одним утром его не было на лекциях, на другой день — тоже нет. Мы стали спрашивать, казеннокоштные студенты сказали нам по секрету, что за ним приходили ночью, что его позвали в правление, потом являлись какие-то люди за его бумагами и пожитками и не велели об этом говорить. Так и кончилось, *мы никогда не слыхали ничего о судьбе этого несчастного молодого человека.*

Прошло несколько месяцев, вдруг разнесся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек студентов,— называли Костенецкого, Кольрейфа, Антоновича и других; мы их знали коротко — все они были превосходные юноши. Кольрейф, сын протестантского пастора, был чрезвычайно даровитый музыкант. Над ними была назначена *военносудная комиссия,* в переводе это значило, что их обрекли на гибель. Все мы лихорадочно ждали, что с ними будет, но и они сначала как будто канули в воду. Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уж не то что чуяли ее приближение, а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу.

Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, заставляла сильнее биться сердце и с большей горячностью любить друг друга. Нас было пятеро сначала, тут мы встретились с Пассеком[21].

В Вадиме для нас было много нового. Мы все, с небольшими вариациями, имели сходное развитие, т. е. ничего не знали, кроме Москвы и деревни, учились по тем же книгам и брали уроки у тех же учителей, воспитывались дома или в университетском пансионе. Вадим родился в Сибири, во время ссылки своего отца, в нужде и лишениях; его учил сам отец, он вырос в многочисленной семье братьев и сестер, в гнетущей бедности, но на полной воле. Сибирь кладет свой отпечаток, вовсе не похожий на наш провинциальный; он далеко не так пошл и мелок, он обличает больше здоровья и лучший закал. Вадим был дичок в сравнении с нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; аристократизм несчастия развил в нем особое самолюбие; но он много умел любить и других и отдавался им, не скупясь. Он был отважен, даже неосторожен до излишества — человек, родившийся в Сибири и притом в семье сосланной, имеет уже то преимущество перед нами, что не боится Сибири.

Вадим, по наследству, ненавидел от всей души самовластье и крепко прижал нас к своей груди, как только встретился. Мы сблизились очень скоро. Впрочем, в то время ни церемоний, ни благоразумной осторожности, ничего подобного не было в нашем круге.

— Хочешь познакомиться с К(етчером), о котором ты столько слышал? — говорит мне Вадим.

— Непремѐнно хочу.

— Приходи завтра, в семь часов вечера, да не опоздай — он будет у меня.

Я прихожу — Вадима нет дома. Высокий мужчина с выразительным лицом и добродушно-грозным взглядом из-под очков дожидается его. Я беру книгу — он берет книгу.

— Да вы,— говорит он, раскрывая ее,— вы Герцен?

— Да, а вы К(етчер)?

Начинается разговор — живей, живей...

— Позвольте,— грубо перебивает меня К(етчер),— позвольте, позвольте, сделайте одолжение, говорите мне *ты*.

— Будем говорить *ты*.

И с этой минуты (которая могла быть в конце 1831 г.) мы были неразрывными друзьями;с этой минуты гнев и милость, смех и крик К(етчера) раздаются во все наши возрасты, во всех приключениях нашей жизни.

Встреча с Вадимом ввела новый элемент в нашу Запорожскую сечь...

## ГЛАВА VII

Пока еще не разразилась над нами гроза, мой курс пришел к концу. Обыкновенные хлопоты, неспаные ночи для бесполезных мнемонических пыток, поверхностное учение на скорую руку и мысль об экзамене, побеждающая научный интерес,— все это — как всег-

да. Я писал *астрономическую* диссертацию на золотую медаль и получил серебряную. Я уверен, что я теперь не в состоянии был бы понять того, что тогда писал и что стоило вес *серебра*.

Мне случалось иной раз видеть во сне, что я студент и иду на экзамен,— я с ужасом думал, сколько я забыл, срежешься да и только,— и я просыпался, радуясь от души, что море и паспорты, годы и визы отделяют меня от университета, никто меня не будет испытывать и не осмелится поставить отвратительную единицу...

После окончательного экзамена профессора заперлись для счета баллов, а мы, волнуемые надеждами и сомнениями, бродили маленькими кучками по коридору и по сеням. Иногда кто-нибудь выходил из совета, мы бросались узнать судьбу, но долго еще не было ничего решено; наконец, вышел Гейман.

— Поздравляю вас,— сказал он мне,— вы кандидат.

— Кто еще? Кто еще?

— Такой-то и такой-то.

Мне разом сделалось грустно и весело; выходя из-за университетских ворот, я чувствовал, что не так выхожу, как вчера, как всякий день; я отчуждался от университета, от этого общего родительского дома, в котором провел так юно хорошо четыре года; а с другой стороны, меня тешило чувство признанного совершеннолетия — и отчего же не признаться — и название кандидата, полученное сразу.

Alma mater! Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнью, с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельна с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития... И я благословляю его из дальней чужбины!

Год, проведенный нами после курса, торжественно заключил первую юность. Это был продолжающийся пир дружбы, обмена идей, вдохновенья, разгула...

Небольшая кучка университетских друзей, пережившая курс, не разошлась и жила еще более общими симпатиями и фантазиями, никто не думал о материальном положении, об устройстве будущего. Я не похвалил бы этого в людях совершеннолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, где только она не иссякла от нравственного растления мещанством, везде непрактична, тем больше она должна быть такою в стране молодой, имеющей много стремлений и мало достигнутого. Сверх того, быть непрактическим далеко не значит быть во лжи, все обращенное к будущему имеет непременно долю идеализма. Без непрактических натур все практики остановились бы на скучно повторяющемся одном и том же.

Иная восторженность лучше всяких нравоучений хранит от *истинных* падений. Я помню юношеские оргии, разгульные минуты, хватавшие иногда через край, я не помню ни одной безнравственной истории в нашем кругу, ничего такого, от чего человек *серьезно* должен был краснеть, что старался бы забыть, скрыть. Все делалось открыто — открыто редко делается дурное. Полови-

на, больше половины сердца была не туда направлена, где праздная страстность и болезненный эгоизм сосредоточиваются на нечистых помыслах и троят пороки.

Я считаю большим несчастьем положение народа, которого молодое поколение не имеет юности; мы уже заметили, что одной молодости на это недостаточно. Самый уродливый период немецкого студенчества во сто раз лучше мещанского совершеннолетия молодежи во Франции и Англии; для меня американские *пожилые* люди лет в пятнадцать от роду — просто противны...

Делали шалости и мы, пировали и мы, но основной тон был не тот, диапазон был слишком поднят. Шалость, разгул не становились целью. Цель была вера в призвание; положимте, что мы ошибались, но, фактически веруя, мы уважали в себе и друг в друге орудия общего дела...

...Вспоминая времена нашей юности, всего нашего круга, я не помню ни одной истории, которая осталась бы на совести, которую было бы стыдно вспомнить. И это относится без исключения ко всем нашим друзьям.

Были у нас платонические мечтатели и разочарованные юноши в семнадцать лет. Вадим даже писал драму, в которой хотел представить «страшный опыт своего *изжитого* сердца»...

Были и вовсе не платонические шалости, даже такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину, не было *содержанок* (даже не было и этого подлого слова). Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат,— разврат по контракту миновал наш круг.

— Стало быть, вы допускаете худший, продажный разврат?

— Не я, а вы! То есть не *вы* вы, а вы все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужно моей инвеституры.

Общие вопросы, гражданская экзальтация спасали нас; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интерес. Они, как зажженная бумага, выжигали сальные пятна...

Так оканчивается первая часть нашей юности, вторая начинается тюрьмой. Но прежде, нежели мы взойдем в нее, надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас.

Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости; мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно; теории наши становились нам подозрительны.

Детский либерализм 1826 г., сложившийся мало-помалу в то французское воззрение, которое проповедывали Лафайеты и Бенжамен Констан, пел Беранже, терял для нас, после гибели Польши, свою чарующую силу.

Тогда-то часть молодежи, и в ее числе Вадим, бросилась на глубокое и серьезное изучение русской истории.

Другая — в изучение немецкой философии.

Мы с Огаревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтоб скоро поступиться ими. Вера в беранжеровскую *застольную* революцию была потрясена, но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни в несторовской летописи, ни в трансцендентальном идеализме Шеллинга.

Середь этого брожения, середь догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сен-симонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас...

Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми,— мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно нравственный и потому нравственно чистый. Много издевались над свободой женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый; наше монашески развратное воображение боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное *крещение плоти* есть отходная христианства; религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты — на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало в свою очередь и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник, из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез.

Какое мужество надобно было иметь, чтоб произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении.

Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но закрепленный, перешитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании своего тайно соглашенного лицемерия, а люди эти обличили его. Их обвиняли в отступничестве от христианства, а они указали над головой судьи *завешенную* икону после революции 1830 г. Их обвиняли в оправдании чувственности, а они спросили у судьи, целомудренно ли он живет.

Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно оставался в существенном.

Удобовпечатлимые, искренно-молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду — через море!

Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки!..

# ГЛАВА XXIV

13 июня 1839 г.[22]

Раз, длинным зимним вечером в конце 1838, сидели мы, как всегда, одни, читали и не читали, говорили и молчали и молча продолжали говорить. На дворе сильно морозило, и в комнате было совсем не тепло. Наташа чувствовала себя нездоровой и лежала на диване, покрывшись мантильей, я сидел возле на полу; чтение не налаживалось, она была рассеянна, думала о другом, ее что-то занимало, она менялась в лице.

— Александр,— сказала она,— у меня есть тайна, поди сюда поближе, я тебе скажу на ухо, или нет,— отгадай.

Я отгадал, но потребовал, чтоб она сказала ее, мне хотелось слышать от нее эту новость; она *сказала мне,* и мы взглянули друг на друга в каком-то волнении и со слезами на глазах.

...Как человеческая грудь богата на ощущение счастия, на радость, лишь бы люди умели им отдаваться, не развлекаясь пустяками. Настоящему мешает обыкновенно внешняя тревога, пустые заботы, раздражительная строптивость — весь этот сор, который к полудню жизни наносит суета суетств и глупое устройство нашего обихода. Мы тратим, пропускаем сквозь пальцы лучшие минуты, как будто их и невесть сколько в запасе. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время как надобно обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь, непрошеная, с обычной щедростью своей,— и пить, и пить, пока чаша не перешла в другие руки. Природа долго потчевать и предлагать не любит.

Что, кажется, можно было бы прибавить к нашему счастью, а между тем весть о будущем младенце раскрыла новые, совсем неведанные нами области сердца, упоений, тревог и надежд.

Несколько испуганная и встревоженная любовь становится нежнее, заботливее ухаживает, из эгоизма двух она делается не только эгоизмом трех, но самоотвержением двух для третьего; семья начинается с детей. Новый элемент вступает в жизнь, какое-то таинственное лицо стучится в нее — гость, который есть и которого нет, но который уже необходим, которого страстно ждут. Кто он? Никто не знает, но кто бы он ни был, он — счастливый незнакомец, с какой любовью его встречают у порога жизни!

А тут мучительное беспокойство — родится ли он живым или нет? Столько несчастных случаев. Доктор улыбается на вопросы — «он ничего не смыслит или не хочет говорить»; от посторонних все еще скрыто; не у кого спросить, да и совестно.

Но вот младенец подает знаки жизни,— я не знаю выше и религиознее чувства, как то, которое наполняет душу при осязании первых движений будущей жизни, рвущейся наружу, расправляющей свои не готовые мышцы, это — первое рукоположение, которым отец благословляет на бытие грядущего пришельца и уступает ему долю своей жизни.

— Моя жена,— сказал мне раз один французский буржуа,— моя жена,— он осмотрелся и, видя, что ни дам, ни детей нет, прибавил в полслуха: — беременна.

Действительно путаница всех нравственных понятий такова, что беременность считается чем-то неприличным; требуя от человека безусловного уважения к матери, какова бы она ни была, завешивают тайну рождения не из чувства уважения, внутренней скромности, а из приличия. Все это идеальное распутство, монашеский разврат, проклятое заклание плоти; все это несчастный дуализм, в котором нас тянут, как магдебургские полушария, в две разные стороны. Жан Деруан, несмотря на свой социализм, намекает в «Almanach des femmes», что со временем дети будут родиться иначе. Как иначе? — Так, как ангелы родятся.— Ну, оно и ясно.

Честь и слава нашему учителю, старому реалисту Гете: он осмелился рядом с непорочными девами романтизма поставить беременную женщину и не побоялся своими могучими стихами изваять изменившуюся форму *будущей* матери, сравнивая ее с гибкими членами будущей женщины.

Действительно, женщина, несущая вместе с памятью былого упоения весь крест любви, все бремя ее, жертвующая красотой, временем, страданием, питающая своей грудью,— один из самых изящных и трогательных образов.

В римских элегиях, в «Ткачихе», в Гретхен и ее отчаянной молитве Гете выразил все торжественное, чем природа окружает созревающий плод, и все тернии, которыми венчает общество этот сосуд будущего.

Бедные матери, скрывающие, как позор, следы любви,— как грубо и безжалостно гонит их мир и гонит в то время, когда женщине так нужен покой и привет, дико отравляя ей те незаменимые минуты полноты, в которые жизнь, слабея, склоняется под избытком счастия...

...С ужасом открывается мало-помалу тайна, несчастная мать сперва старается убедиться, что ей только показалось, но вскоре сомнение невозможно, отчаянием и слезами сопровождает она всякое движение младенца, она хотела бы остановить тайную работу жизни, вести ее назад, она ждет несчастья, как милосердия, как прощения,— а неотвратимая природа идет своим путем: она здорова, молода!

Заставить, чтоб мать *желала* смерти своего ребенка, а иногда и больше — сделать из нее его палача, а потом ее казнить нашим палачом или покрыть ее позором, если сердце женщины возьмет верх,— какое умное и нравственное устройство!

И кто взвесил, кто подумал о том, что и что было в этом сердце, пока мать переходила страшную тропу от любви до страха, от страха до отчаяния, от отчаяния до преступления, до безумия, потому что детоубийство есть физиологическая нелепость. Ведь были же и у нее минуты забвения, в которые она страстно любила своего будущего малютку, и тем больше, что его существование была

тайна между ними двумя; было же время, в которое она мечтала об его маленькой ножке, об его молочной улыбке, целовала его во сне, находила в нем сходство с кем-то, который был ей так дорог...

«Да чувствуют ли они это? Конечно, есть несчастные жертвы... но... но другие, но вообще?»

Мудрено, кажется, пасть далее этих летучих мышей, шныряющих в ночное время середь тумана и слякоти по лондонским улицам, этих жертв неразвития, бедности и голода, которыми общество обороняет честных женщин от излишней страстности их поклонников... Конечно, в них всего труднее предположить след материнских чувств. Неправда ли?

Позвольте же мне рассказать вам небольшое происшествие, случившееся со мною. Года три тому назад я встретился с одной красивой и молодой девушкой. Она принадлежала к почетному гражданству разврата, т. е. не «делала» демократически «тротуар», а буржуазно жила на содержании у какого-то купца. Это было на публичном бале; приятель, бывший со мною, знал ее и пригласил выпить с нами на хорах бутылку вина, она, разумеется, приняла приглашение. Это было существо веселое, беззаботное и, наверное, как Лаура в «Каменном госте» Пушкина, никогда не заботившаяся о том, что там, где-то далеко в Париже, холодно, слушая, как сторож в Мадриде кричит «ясно»... Допивши последний бокал, она снова бросилась в тяжелый вихрь английских танцев, и я потерял ее из виду.

Нынешней зимой, в ненастный вечер, я пробирался через улицу под аркаду в Пель-Мель, спасаясь от усилившегося дождя; под фонарем за аркой стояла, вероятно, ожидая добычи и дрожа от холода, бедно одетая женщина. Черты ее показались мне знакомыми, она взглянула на меня, отвернулась и хотела спрятаться, но я успел узнать ее.

— Что с вами сделалось? — спросил я ее с участием.

Яркий пурпур покрывал ее исхудалые щеки; стыд ли это был или чахотка, не знаю, только, казалось, не румяны; она в два года с половиной состарилась на десять.

— Я была долго больна и очень несчастна,— она с видом сильной горести указала мне взглядом на свое изношенное платье.

— Да где же ваш друг?

— Убит в Крыму.

— Да ведь он был какой-то купец?

Она смешалась и, вместо ответа, сказала:

— Я и теперь еще очень больна, да к тому же работы совсем нет. А что, я очень переменилась? — спросила она вдруг, с смущением глядя на меня.

— Очень, тогда вы были похожи на девочку, а теперь я готов держать пари, что у вас есть свои дети.

Она побагровела и с каким-то ужасом спросила:

— Отчего же вы это узнали?

— Да, видите, узнал. Теперь расскажите-ка мне, что с вами в самом деле было.

— Ничего, но только вы правы, у меня есть маленький... Если б вы знали,— и при этих словах лицо ее оживилось,— какой славный, как он хорош, даже соседи, все, удивляются ему. А тот-то женился на богатой и уехал на материк. Малютка родился после. Он-то и причина моему положению. Сначала были деньги, я всего накупила ему в самых больших магазейнах, а тут пошло хуже да хуже, я все снесла «на крючок»; мне советовали отдать малютку в деревню; оно, точно, было бы лучше, да не могу; я посмотрю на него, посмотрю — нет, лучше вместе умирать; хотела места искать — с ребенком не берут. Я воротилась к матери, она ничего, добрая, простила меня, любит маленького, ласкает его; да вот пятый месяц как отнялись ноги; что доктору переплатили и в аптеку, а тут, сами знаете, пынышний год уголь, хлеб — все дорого; приходится умирать с голоду. Вот я,— она приостановилась,— ведь, конечно, лучше б броситься в Темзу, чем... да малютку-то жаль. на кого же я его оставлю, ведь уж он очень, очень мил!

Я дал ей что-то и, сверх того, вынул шиллинг и сказал:

— А на это купите что-нибудь вашему малютке.

Она с радостью взяла монету, подержала ее в руке и, вдруг отдавая мне ее назад, прибавила с печальной улыбкой:

— Уж если вы так добры, купите ему тут где-нибудь в лавке сами что-нибудь, игрушку какую-нибудь — ведь этому бедному малютке, с тех пор как он родился, никто еще не подарил ничего.

Я с умилением взглянул на эту *потерянную* женщину и дружески пожал ей руку.

Охотники до реабилитации всех этих дам с камелиями и с жемчугами лучше бы сделали, если б оставили в покое бархатные мебели и будуары рококо и взглянули бы поближе на несчастный, зябнущий, голодный разврат — разврат роковой, который насильно влечет свою жертву по пути гибели и не дает ни опомниться, ни раскаяться. Ветошники чаще в уличных канавах находят драгоценные камни, чем подбирая блестки мишурного платья...

Роковой день приближался, все становилось страшнее и страшнее. Я смотрел на доктора и на таинственное лицо «бабушки» с подобострастием. Ни Наташа, ни я, ни наша молодая горничная не смыслили ничего; по счастью, к нам из Москвы приехала, по просьбе моего отца, на это время одна пожилая дама, умная, практическая и распорядительная. Прасковья Андреевна, видя нашу беспомощность, взяла самодержавно бразды правления; я повиновался, как негр.

Раз ночью слышу, чья-то рука коснулась меня. Открываю глаза: Прасковья Андреевна стоит передо мной в ночном чепце и кофте, со свечой в руках; она велит послать за доктором и за «бабушкой». Я обмер, точно будто эта новость была для меня совсем неожиданна. Так бы, кажется, выпил опиума, повернулся бы на другой бок и проспал бы опасность... Но делать было нечего, я оделся дрожащими руками и бросился будить Матвея.

Десять раз выбегал я в сени из спальни, чтоб прислушаться, не едет ли издали экипаж: все было тихо, едва-едва утренний ветер

шелестел в саду, в теплом июньском воздухе; птицы начинали петь, алая заря слегка подкрашивала лист, и я снова торопился в спальню, теребил добрую Прасковью Андреевну глупыми вопросами, судорожно жал руки Наташе, не знал, что делать, дрожал и был в жару... Но вот дрожки простучали по мосту через Лыбедь,— слава богу, вовремя!

В одиннадцать часов утра я вздрогнул, как от сильного электрического удара: громкий крик новорожденного коснулся моего уха. «Мальчик!» — кричала мне Прасковья Андреевна, идучи к корыту; я хотел было взять младенца с подушки, но не мог: так дрожали у меня руки. Мысль об опасности (которая часто тут только начинается), сжимавшая грудь, разом исчезла, буйная радость овладела сердцем, будто в нем звон во все колокола, праздников праздник! Наташа улыбалась мне, улыбалась малютке, плакала, смеялась, и только прерывающееся, спазматическое дыханье, слабые глаза и смертная бледность напоминали о недавнем мучении, о вынесенной борьбе.

Потом я оставил комнату, я не мог больше вынести, взошел к себе и бросился на диван, совершенно обессиленный, и с полчаса пролежал без определенной мысли, без определенного чувства, в какой-то боли счастья...

## ГЛАВА XXV

...Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей, а в них было наследие 14 декабря — наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера.

В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всеми гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, *но остаются,* и если умирают на полдороге, то не все умирает с ними. Это — начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще.

Мало-помалу из них составляются группы. Более родное собирается около своих средоточий; группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и многосторонность для развития; развиваясь до конца, т. е. до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались: кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком.

Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стрем-

ление выйти из нее, а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое.

Возражение, что эти кружки, не заметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое, нам кажется очень неосновательным.

Может, в конце прошлого и начале нашего века была в аристократии закраинка русских иностранцев, оборвавших все связи с народной жизнью; но у них не было ни живых интересов, ни кругов, основанных на убеждениях, ни своей литературы. Они вымерли бесплодно. Жертвы петровского разрыва с народом, они остались чудаками и капризниками; это были люди не только не нужные, но и не жалкие. Война 1812 г. положила им предел — старые доживали свой век, новых не развивалось в том направлении... Ставить в их число людей вроде П. Я. Чаадаева было бы страшнейшей ошибкой.

Протестация, отрицание, ненависть к родине, если хотите, имеют совсем иной смысл, чем равнодушная чуждость. Байрон, бичуя английскую жизнь, бегая от Англии, как от чумы, оставался типическим англичанином. Гейне, старавшийся из озлобления за гнусное политическое состояние Германии офранцузиться, оставался истым немцем. Высший протест против юдаизма — христианство исполнено юдаического характера. Разрыв Северо-Американских Штатов с Англией мог развить войну и ненависть, но не мог сделать из североамериканцев не-англичан.

Люди вообще отрешаются от своих физиологических воспоминаний и от своего наследственного склада очень трудно; для этого надобно или особенную бесстрастную стертость, или отвлеченные занятия. Безличность математики, внечеловеческая объективность природы не вызывают этих сторон духа, не будят их; но как только мы касаемся вопросов жизненных, художественных, нравственных, где человек не только наблюдатель и следователь, а вместе с тем и участник, там мы находим физиологический предел, который очень трудно перейти с прежней кровью и прежним мозгом, не исключив из них следы колыбельных песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружающего строя.

Поэт и художник в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихи народного характера и выражает их глубже и яснее, чем сама история народа. Даже отрешаясь от всего народного, художник не утрачивает главных черт, по которым можно узнать, *чьих он*. Гете — немец и в греческой «Ифигении» и в восточном «Диване». Поэты в самом деле, по римскому выражению,— пророки; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, *что неизвестно, что есть* в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем.

Все, что искони существовало в душе народов англо-саксонских, перехвачено, как кольцом, одной личностью,— и каждое волокно, каждый намек, каждое посягательство, бродившее из поколения в поколение, *не отдавая себе отчета,* получило форму и язык...

Если аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые оставались мужиками, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей оттого, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм.

Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни...

# ГЛАВА XXIX

## НА МОГИЛЕ ДРУГА

Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное, как ласка,
И дружба с ним мне памятна, как
сказка [23].

...В 1840 г., бывши проездом в Москве, я в первый раз встретился с Грановским [24]. Он тогда только что возвратился из чужих краев и приготовлялся занять свою кафедру истории. Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой; он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синее берлинское пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы — все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и неувлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой.

Мельком видел я его тогда и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него, как в будущего близкого человека. Предчувствие мое не обмануло меня. Через два года, когда я побывал в Петербурге и, второй раз сосланный, возвратился на житье в Москву, мы сблизились тесно и глубоко.

Грановский был одарен удивительным *тактом* сердца. У него все было так далеко от неуверенной в себе раздражительности, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой

требовательности и без равнодушного «все равно». Я не помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех «волосяных», нежных, бегущих света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним было не страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говорится с самыми близкими людьми, к которым имеешь полное доверие, но у которых *строй* некоторых, едва слышных струн не по одному камертону.

В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себялюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтись. Грановский и Белинский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым и замечательным личностям нашего круга.

К концу тяжелой эпохи, из которой Россия выходит теперь, когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и вместо науки преподавали теорию рабства: цензура качала головой, читая притчи Христа, вымарывала басни Крылова,— в то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. «Не все еще погибло, если он продолжает свою речь»,— думал каждый и свободнее дышал.

А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание: мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластье приучило догадываться и понимать затаенное слово. Грановский сумел в мрачную годину гонений, от 1848 г. до смерти Николая, сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочеталась женская нежность, мягкость форм и та примиряющая стихия, о которой мы говорили.

Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации; не тех бурных, грозных, которые в «гневе своем чувствуют вполне свою жизнь», как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают; людей этих боятся судьи, им с ними неловко; их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей.

Такой был сам Колиньи, лучшие из жирондистов, и, действительно, Грановский, по всему строению своей души, по ее роман-

тическому складу, по нелюбви к крайностям скорее был бы гугенот и жирондист, чем анабаптист или монтаньяр.

Влияние Грановского на университет и на все молодое поколение было огромное и пережило его; длинную, светлую полосу оставил он по себе. Я с особенным умилением смотрю на книги, посвященные его памяти бывшими его студентами, на горячие, восторженные строки об нем в их предисловиях, в журнальных статьях, на это юношески -прекрасное желание новый труд свой примкнуть к дружеской тени, коснуться, начиная речь, до его гроба, считать от него свою умственную генеалогию.

Развитие Грановского не было похоже на наше. Воспитанный в Орле, он попал в Петербургский университет. Получая мало денег от отца, он с весьма молодых лет должен был писать «по подряду» журнальные статьи. Он и друг его Е. Корш, с которым встретился тогда и остался с тех пор и до кончины в самых близких отношениях, работали на Сенковского, которому были нужны свежие силы и неопытные юноши для того, чтобы претворять добросовестный труд их в шипучее цимлянское «библиотеки для чтения».

Собственно, бурного периода страстей и разгула в его жизни не было. После курса Педагогический институт послал его в Германию. В Берлине Грановский встретился с Станкевичем; это — важнейшее событие всей его юности.

Кто знал их обоих, тот поймет, как быстро Грановский и Станкевич [25] должны были ринуться друг к другу. В них было так много сходного в нраве, в направлении, в летах... и оба носили в груди своей роковой зародыш преждевременной смерти. Но для кровной связи, для неразрывного родства людей сходства недостаточно. Та любовь только глубока и прочна, которая восполняет друг друга; для деятельной любви различие нужно столько же, сколько сходство; без него чувство вяло, страдательно и обращается в привычку.

В стремлениях и силе двух юношей было огромное различие. Станкевич, с ранних лет закаленный гегелевской диалектикой, имел резкие спекулятивные способности, и если он вносил эстетический элемент в свое мышление, то, без сомнения, он столько же философии вносил в свою эстетику. Грановский, сильно сочувствуя тогдашнему научному направлению, не имел ни любви, ни таланта к отвлеченному мышлению. Он очень верно понял свое призвание, избрав главным занятием историю. Из него никогда бы не вышел ни отвлеченный мыслитель, ни замечательный натуралист. Он не выдержал бы ни бесстрастную нелицеприятность логики, ни бесстрастную объективность природы; отрешаться от всего для мысли или отрешаться от себя для наблюдений он не мог; человеческие дела, напротив, страстно занимали его. И разве история — не та же мысль и не та же природа, выраженные иным проявлением? Грановский думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду. А Станкевич привил ему поэтиче-

ски и даром не только воззрение современной науки, но и ее прием.

Педанты, которые каплями пота и одышкой измеряют труд мысли, усомнятся в этом... Ну а как же, спросим мы их, Прудон и Белинский? Неужели они не лучше поняли хоть бы методу Гегеля, чем все схоласты, изучавшие ее до потери волос и до морщин? А ведь ни тот, ни другой не знали по-немецки, ни тот, ни другой не читали ни одного гегелевского произведения, ни одной диссертации его *левых* и *правых* последователей, а только иногда говорили об его методе с его учениками.

Жизнь Грановского в Берлине со Станкевичем была, по рассказам одного и письмам другого, одной из яркосветлых полос его существования, где избыток молодости, сил, первых страстных порывов беззлобной иронии и шалости шли вместе с серьезными учеными занятиями, и все это согретое, обнятое горячей, глубокой дружбой, такой, какою дружба только бывает в юности.

Года через два они расстались. Грановский поехал в Москву занимать свою кафедру, Станкевич — в Италию лечиться от чахотки и умереть. Смерть Станкевича сразила Грановского. Он при мне получил гораздо спустя медальон покойника; я редко видел более подавляющую, тихую, молчащую грусть...

Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; ночи сидели мы до рассвета, болтая обо всякой всячине... В эти-то потерянные часы и ими люди срастаются так неразрывно и безвозвратно.

Страшно мне и больно думать, что впоследствии мы надолго расходились с Грановским в теоретических убеждениях. А они для нас не составляли постороннее, а истинную основу жизни. Но я тороплюсь вперед заявить, что если время доказало, что мы могли разно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни сделаться чужими, что на это и самая смерть была бессильна.

Правда, гораздо позже между Грановским и Огаревым, которые пламенно, глубоко любили друг друга, протеснилась, сверх теоретической размолвки, какая-то недобрая полоска, но мы увидим, что и она, хотя поздно, но совершенно была снята.

Что касается до споров наших, их сам Грановский окончил; он заключил следующими словами письмо ко мне из Москвы в Женеву 25 августа 1849 г. С благочестием и гордостью повторяю я их:

«На дружбу мою к вам двум (т. е. к Огареву и ко мне) ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, по-видимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса. Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем *из худшей* стороны самого себя. *Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа.* Зато все, что было романтическое в самой натуре моей, вошло в мои личные привязанности. Пом-

нишь ли ты письмо мое по поводу твоего «Крупова»? Оно написано в памятную мне ночь. С души сошла черная пелена, твой образ воскрес передо мной во всей ясности своей, и я протянул тебе руку в Париже так же легко и любовно, как протягивал в лучшие, святые минуты нашей московской жизни. Не талант твой только подействовал на меня так сильно. От этой пьесы мне повеяло всем тобой. Когда-то ты оскорблял меня, говоря: «Не полагай ничего на личное, верь в одно общее», а я всегда клал много на личное. Но личное и общее слилось для меня в тебе. От этого я так полно и горячо люблю тебя».

Пусть же эти строки вспомнятся при чтении моего рассказа о наших размолвках...

В конце 1843 г. я печатал мои статьи о «Дилетантизме в науке»; успех их был для Грановского источником детской радости. Он ездил с «Отечественными записками» из дома в дом, сам читал вслух, комментировал и серьезно сердился, если они кому не нравились. Вслед за тем пришлось и мне видеть успех Грановского, да и не такой. Я говорю о его первом публичном курсе средневековой истории Франции и Англии.

— Лекции Грановского,— сказал мне Чаадаев, выходя с третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским обществом,— имеют *историческое значение.*

Я совершенно с ним согласен. Грановский сделал из аудитории гостиную, место свидания, встречи beau mond'a. Для этого он не нарядил историю в кружева и блонды, совсем напротив,— его речь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смелости и поэзии, которые мощно потрясали слушателей, будили их. Смелость его сходила ему с рук не от уступок, а от кротости выражений, которая ему была так естественна, от отсутствия сентенций à la française, ставящих огромные точки на крошечные i, вроде нравоучений после басни. Излагая события, художественно группируя их, он говорил *ими* так, что мысль, не сказанная им, но совершенно ясная, представлялась тем знакомее слушателю, что она казалась его собственной мыслью.

Заключение первого курса было для него настоящей овацией, вещью неслыханной в Московском университете. Когда он, оканчивая, глубоко тронутый, благодарил публику, все вскочило в каком-то опьянении, дамы махали платками, другие бросались к кафедре, жали ему руки, требовали его портрета. Я сам видел молодых людей с раскрасневшимися щеками, кричавших сквозь слезы «браво! браво!». Выйти не было возможности; Грановский, бледный как полотно, сложа руки, стоял, слегка склоняя голову; ему хотелось еще сказать несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились, студенты построились на лестнице — в аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался измученный в совет; через несколько минут его увидели выходящего из совета — и снова бесконечное рукоплескание; он воротился, прося рукой пощады, и, изнемогая от волнения,

взошел в правление. Там бросился я ему на шею, и мы молча заплакали.

...Такие слезы текли по моим щекам, когда герой Чичероваккио в Колизее, освещенном последними лучами заходящего солнца, отдавал восставшему и вооружившемуся народу *римскому* отрока-сына за несколько месяцев перед тем, как они оба пали, расстрелянные без суда военными палачами венчанного мальчишки[26]!

Да, это были дорогие слезы; одними я верил в Россию, другими — в революцию!

Где революция? Где Грановский? Там, где и отрок с черными кудрями, и широкоплечий popolano, и другие близкие, близкие нам. Осталась еще вера в Россию. Неужели и от нее придется отвыкать?

И зачем тупая случайность унесла Грановского, этого благородного деятеля, этого глубоко настрадавшегося человека, в самом начале какого-то другого времени для России, еще неясного, но все-таки другого. Зачем не дала она ему подышать новым воздухом, которым повеяло у нас и который не так крепко пахнет застенком и казармами!

Грубо поразила меня весть о его смерти.

Я шел в Ричмонде на железную дорогу, когда мне подали письмо. Я прочитал его, идучи, и истинно — сразу не понял. Я сел в вагон, письма не хотелось перечитывать: я боялся его. Посторонние люди, с глупыми, уродливыми лицами, входили, выходили, машина свистела, я смотрел на все и думал: «Да это вздор! Как? Этот человек в цвете лет, он, которого улыбка, взгляд у меня перед глазами,— и его будто нет?..» Меня клонил тяжелый сон, и мне было страшно холодно. В Лондоне со мной встретился А. Таландье; здороваясь с ним, я сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержать слез.

Мало было у нас сношений в последнее время, но мне *нужно* было знать, что там, вдали, на нашей родине *живет* этот человек!

Без него стало пусто в Москве, еще связь порвалась!.. Удастся ли мне когда-нибудь одному, вдали от всех посетить его могилу? Она скрыла так много сил, будущего, дум, любви, жизни, как другая, не совсем чуждая ему могила, на *которой я был!..*

Грановский не был гоним. Перед его взглядом печального укора остановилась николаевская опричнина. Он умер, окруженный любовью нового поколения, сочувствием всей образованной России, признанием своих врагов. Но тем не меньше я удерживаю мое выражение: да, он много страдал. Не одни железные цепи перетирают жизнь; Чаадаев в единственном письме, которое он мне писал за границу (20 июля 1851), говорит о том, что он гибнет, слабеет и быстрыми шагами приближается к концу,— «не от того угнетения, против которого восстают люди, а того, которое они сносят с каким-то трогательным умилением и которое по этому самому пагубнее первого».

Передо мною лежат три-четыре письма, которые я получил от Грановского в последние годы; какая разъедающая, мертвящая грусть в каждой строке!

«Положение наше,— пишет он в 1850 г.,— становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом?! Университеты предполагалось закрыть, теперь ограничились следующими, уже приведенными в исполнение мерами: возвысили плату со студентов и уменьшили их число законом, в силу которого не может быть в университете больше 300 студентов. В московском 1400 человек студентов, стало быть, надобно выпустить 1200, чтоб иметь право принять сотню новых. Дворянский институт закрыт, многим заведениям грозит та же участь, например, лицею. Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидывали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения и дисциплины. Учитель истории должен разоблачать мишурные добродетели древних республик и показать величие не понятой историком римской империи, которой недоставало только одного — наследственности!..

Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя. Много порядочных людей впало в отчаяние и с тупым спокойствием смотрит на происходящее,— когда же развалится этот мир?..»

# ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ Г-НА ПРОФЕССОРА РУЛЬЕ

Незнание природы — величайшая неблагодарность.
Плиний Старший

Одна из главных потребностей нашего времени — обобщение истинных дельных сведений об естествознании. Их много в науке, их мало в обществе; надобно втолкнуть их в поток общественного сознания, надобно их сделать доступными, надобно дать им форму живую, как жива природа, надобно дать им язык откровенный, простой, как ее собственный язык, которым она развертывает бесконечное богатство своей сущности в величественной и стройной простоте. Нам кажется почти невозможным без естествоведения воспитать действительно мощное умственное развитие; никакая отрасль знаний не приучает так ума к твердому, положительному шагу к смирению перед истиной, к добросовестному труду и, что еще важнее, к добросовестному принятию последствий такими, какими они выйдут, как изучение природы; им бы мы начинали воспитание для того, чтобы очистить отроческий ум от предрассудков, дать ему возмужать на этой здоровой пище и потом уже раскрыть

для него, окрепнувшего и вооруженного, мир человеческий, мир истории, из которого двери отворяются прямо в деятельность, в собственное участие в современных вопросах...

...Воспитание образованных сословий во всей Европе мало захватило из естественных наук; оно осталось по-прежнему под влиянием какой-то риторико-филологической (в самом тесном смысле слова) выучки; оно осталось воспитанием памяти более, чем разума, воспитанием слов, а не понятий, воспитанием слога, а не мысли, воспитанием авторитетами, а не самодеятельности; риторика и формализм по-прежнему вытесняют природу. Такое развитие ведет почти всегда к надменности ума, к презрению всего естественного, здорового и к предпочтению всего лихорадочного, натянутого; мысли, суждения по-прежнему прививаются, как оспа, во время духовной неразвитости; приходя в сознание, человек находит след раны на руке, находит сумму готовых истин и, отправляясь с ними в путь, добродушно принимает и то и другое за событие, за дело конченное. Против этого-то ложного и вредного в своей односторонности образования нет средства сильнее всеобщего распространения естествоведения с той точки зрения, до которой оно выработалось теперь; но, по несчастию, великие истины, великие открытия, следующие быстро друг за другом в естественных науках, не переходят в общий поток кругообращающихся истин, а если доля их и получает гласность, то в такой бедной и в такой неправильной форме, что люди и эти выработанные для них истины принимают такими же втесненными в память событиями, как и все остальное схоластическое достояние. Французы сделали больше всех для популяризации естественных наук, но и их усилия постоянно разбивались о толстую кору предрассудков; полного успеха не было, между прочим, потому, что большая часть опытов популярного изложения исполнена уступок, риторики, фраз и дурного языка.

Предрассудки, с которыми мы выросли, образ выражения, образ понимания, самые слова подкладывают нам представления не токмо неточные, но прямо противоположные делу. Наше воображение так развращено и так напитано метафизикой, что мы утратили возможность бесхитростно и просто выражать события мира физического, не вводя самым выражением, и совершенно бессознательно, ложных представлений, принимая метафору за самое дело, разделяя словами то, что соединено действительностью...

# ОПЫТ БЕСЕД С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ*

Вероятно, каждому молодому человеку, сколько-нибудь привычному к размышлению, приходило в голову: отчего в природе все так весело, ярко, живо, а в книге то же самое скучно, трудно, бледно и мертво? Неужели это — свойство речи человеческой?! Я не думаю. Мне кажется, что это — вина неясного понимания и дурного изложения.

Ни трудных, ни скучных наук вовсе нет, если их начинать с начала и идти в каком-нибудь порядке. Труднее всего и во всем азбука и чтение; они требуют механических усилий памяти и воображения, чтоб запомнить множество условных знаков, но вы знаете, как это легко делается. Всякая наука имеет свою азбуку, далеко не так сложную, как настоящая, но которая издали дика и запутана, через нее надобно пройти, и это ничего не значит. Разумеется, нельзя читать химическое рассуждение, не зная, что такое кислота, соль, основание, сродство и проч. Но не надобно забывать, что нельзя и в карты играть, не давши себе труда выучиться мастям и названиям.

Будьте уверены, что трудных предметов нет, но есть бездна вещей, которых мы просто не знаем, и еще больше таких, которые знаем дурно, бессвязно, отрывочно, даже ложно. И эти-то ложные сведения еще больше нас останавливают и сбивают, чем те, которых мы совсем не знаем.

Основываясь на ложном и нелепом понимании, на произвольных предположениях, как на решенном деле, мы быстро доходим до больших ошибок. Пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела. Вот причина, почему, начиная говорить с вами, я не только не требую от вас знаний, но скорее был бы доволен, если бы вы забыли все, что знаете школьно, и имели бы тот простой взгляд и те неизбежные понятия о вещах, которые сами собой приобретаются в жизни — иногда смутной и ошибочной, но не преднамеренно ложной.

Мне хотелось бы не столько сообщить вам сведения, дать ответы на ваши вопросы, как научить вас спрашивать, поставить вас относительно предметов на точку зрения здравого смысла. Овладевши ее несложными приемами, вам легко будет приобрести сколько хотите знаний из огромных запасов наблюдений и фактов. Мне хотелось бы указать вам тропинку в их дремучем лесу, чтоб вас не обошел, как говорят наши мужички, «лукавый», т. е. дух лжи и неправды, дать вам нить, которая довела бы вас до других, уже более опытных проводников и, если вы того захотите, до собственного наблюдения.

* Я убедительно прошу принять эту статейку за опыт. Если я не умел его сделать, пусть кто-нибудь другой напишет на тех же началах; я вполне убежден, что в них я не ошибся.— *А. Г.*

Предания, которые нас окружают с детства, общепринятые предрассудки, с которыми мы выросли, которые мы повторяем по привычке и к которым привыкаем по повторениям, страшным образом затрудняют нам простое изучение окружающей нас жизни. Желая что-нибудь понять из естественных явлений, мы почти никогда не имеем дела с ними самими, а с какими-то аллегорическими призраками, вызываемыми по их поводу в нашем воображении. Оттого мы почти всегда смотрим на произведения природы как на фокусы или на колдовство, и вместо отыскивания причин, законов, связи мы думаем о фокуснике, который нас обманывает, или о колдуне, который ворожит.

Большая часть людей, занимавшихся изучением природы, знают, что это не так, но сами принимают неверный язык и лепет младенческого развития, одни — воображая, что они этим сделают понятнее науку,— так, как дурные няньки, говоря с маленькими детьми, повторяют нарочно детские ошибки и детское произношение; другие из равнодушного неуважения к истине или из жалкой боязни раздразнить людей, верующих в исторические предрассудки.

Я намерен говорить с вами, как с совершеннолетними, и думаю, что мне никогда не придется ни употреблять детский лепет, ни лицемерить. Лучше молчать, если нельзя иначе.

Безнравственно на вопрос о причине какого-нибудь явления отвечать вздором только для того, чтоб отделаться. А это-то мы и видим сплошь да рядом.

Отчего, спрашиваете вы, зверь глупее человека? — Оттого, говорят вам, что у зверя инстинкт, а у человека ум. Неужели этот ответ дельнее того, который бы кто-нибудь сделал на вопрос — отчего близорукий видит хуже других? — Оттого, что он миоп. Или, еще лучше, слабые глаза назвал бы одним именем, а сильные глаза другим и дал бы вам это за объяснение.

Кому не хочется, глядя на природу, заглянуть за ее кулисы, в ту мастерскую, из которой беспрерывно идет, летит, стремится это множество всякой всячины — звезды, камни, деревья, вы, я,— и всякий раз на вопрос ваш о том, как все это делается, вам отвечают шалостью или обманом, чтоб скрыть свое неведение, а иногда, и это еще хуже, чтоб скрыть свое знание.

Один из обыкновенных приемов — пугать начинающих такими цифрами лет, милей, что их и произнести нельзя. Сбивши ими с толку, начинают толковать о сотворении мира, прежде нежели объясняют, что такое мир и как он может быть сотворен; потом заставляют принять на веру три-четыре силы, и все это для того, чтобы потом с их помощью трудным путем дойти до того, с чего начинают катехизис.

Не лучше ли было бы начинать с первого предмета, попавшегося на глаза, с предмета знакомого, который можно взять в руки, посмотреть. Тем больше, что природа везде одинакова, все ее произведения равны законам, какого бы роста они ни были, какое бы значение они ни имели — близко ли, далеко ли, в телескоп ли на

них смотрят, простыми глазами или в микроскоп. Капля воды и струйка дыма подлежат тем же общим правилам, как океан и вся атмосфера. Страх перед количеством, длиной и долготой надобно победить с самого начала, а потому и следует начинать с величин соизмерных: то, что мы в них найдем, наверное, можно будет приложить ко всем прочим.

В капле нечистой воды зарождается бездна маленьких животных, в междузвездных пространствах бездна планет и комет, на сырой стене плесень.

Объяснить образование плесени не легче, чем объяснить образование земного шара. Плесень нас не удивляет только потому, что она неказиста, невелика. А ведь было время, что и земной шар был меньше тех животных, которые тысячами вертятся в одной капле воды.

Сделаться большим не так трудно, как начинать расти. Вы, верно, слыхали о той даме, которая на вопрос, верит ли она, что св. Дионисий прошел большое пространство без головы, отвечала, что не в этом важность, что он далеко ушел, но в том, что он сделал первый шаг.

Действительно, в определенных явлениях все зависит от первого шага, т. е. от начальной встречи необходимых условий; где они соберутся, там и делается первый шаг, и, если ничего не помешает, развитие пойдет длинным рядом изменений, смотря по обстоятельствам,— в комету, в цветок, в плесень. Эти встречи делаются беспрерывно везде, на каждой точке безграничного пространства. Миры возникают беспрерывно, как плесень и инфузории; они не сделаны, не готовы, а делаются, одни существуют теперь, другие едва образуются, третьи кончают свою жизнь в этой форме.

Мы имеем один факт, не подлежащий, так сказать, нашему суду,— факт,... обязывающий нас себя признать; это факт существования чего-то непроницаемого в пространстве — вещества. Мы можем начинать только от него, он тут, он есть; так ли, иначе ли — все равно, но отрицать его нельзя. Пространств без веществ мы не знаем, мы знаем только, что в иных пространствах вещества больше, т. е. что они гуще и плотнее, в других меньше, т. е. что они жиже и пустее.

Где бы вы ни начинали изучать вещество, вы непременно дойдете до таких общих свойств его, до таких законов, которые принадлежат всякому веществу, и из этих законов можете вывести, изменяя условия, что хотите,— возникновение миров и их движение или движение пылинок, которые колеблются и несутся в солнечном луче.

Вот, например, одно из этих общих свойств, самых очевидных и легких для наблюдения. Стоит посмотреть на несколько разных веществ, чтобы увидеть, что частицы одного вещества иногда соединяются с частицами другого, одни льнут друг к другу, другие сближаются теснее, как бы просасываясь друг в друга.

Продолжая наблюдение, мы можем изучить, заметить некоторые особенности, сопровождающие тесные соединения частиц,

Возьмем, например, стакан воды и стакан спирта, смешаем их так, чтоб ничего не утратилось; мы получим весом сумму веса воды и веса спирта, а объем их будет немного меньше двух стаканов. Новая жидкость сделалась несколько плотнее. Стало быть, есть соединения, при которых разные частицы соединяются теснее и в силу этого занимают, соединившись, меньшее пространство.

Я хочу, взяв в основание эти два простейшие явления, показать вам возможность объяснить ими возникновение всего на свете.

Одного только я потребую от вас — того, что требует всякая старушка, рассказывающая сказки,— немного внимания и немного воображения.

Вместо двух стаканов, из которых в одном налит спирт, а в другом вода, вы себе представьте глухую ночь бесконечного пространства, в котором носится разжиженное до чрезвычайности вещество; рассеянные частицы беспрерывно встречаются, соединяются, просачиваются друг в друга, снова разлагаются, опять соединяются — и это повсюду, испокон веку и ежеминутно. В бесконечном числе этих соединений должны встретиться и такие, которые удержались и с тем вместе сделались плотнее. Что может выйти из этого? Первое последствие будет нарушение равновесия, в котором около носившиеся частицы держали друг друга в балансе. Окружающие частицы, не встречая прежнего препятствия, стали падать к более плотному соединению, чтобы наполнить изреженное место, от которого вещество долей отступило, сделавшись плотнее.

Зачем? На этот вопрос, совершенно правильный, я буду отвечать фактом. Раздвигаемость частиц и стремление занять наибольшее пространство есть отличительное свойство одного из трех нам известных состояний вещества, мы его называем воздухообразным.

В обыкновенной жизни мы почти не считаем воздух за вещество. Мы говорим: «Стакан пустой», когда в нем нет ничего жидкого и ничего твердого, забывая, что он полон воздуха, и в этом нет никакой ошибки, потому что стакан сделан для того, чтоб содержать жидкость. Тем не менее надобно остерегаться и от тех ложных представлений, которые вносит не книга, а практически житейское отношение к предметам. Воздух у нас в большом пренебрежении. Вещь улетученную, воздухообразную мы считаем уничтоженной вещью. «Сколько мы истребили дров нынешней зимой!» — говорим мы относительно правильно, ибо дрова как вещь ценная, как вещь полезная, даже как вещь осязательная не существуют больше; но не следует забывать, что от сожженных дров ничего не пропало и не могло пропасть. Нет того снаряда, того пресса, того паровика, того плавильного огня, которым бы можно уничтожить пылинку, носящуюся в воздухе, малейшую скорлупу ореха. Если собрать сажу, дым, уголь, золу и разные воздушные соединения, вы бы видели с весами в руках, что дрова ваши совершенно целы, а только живут иначе. Дело в том, что всякое самое твердое тело (так, как вы это видите на льду), свинец, например, может сначала расплавиться, а потом при известных условиях сде-

лается воздухообразным, нисколько не переставая быть свинцом, и точно так же может из воздухообразного снова перейти в свое твердое состояние, так, как водяные пары превращаются в лед. Это нас приводит к одному из величайших законов природы: ничего существующего нельзя уничтожить, а можно только изменить. Но если сегодня нельзя ничего уничтожить, то и вчера нельзя было, и тысячу лет тому назад, и так далее, т. е. что вещество вечно и только по обстоятельствам переходит в разные состояния. Люди, толкующие о преходимости всего вещественного, не знают, что говорят; если льда нет, зато есть вода; если воды нет, зато есть пары; если и их разложить, мы получим два воздухообразных вещества, которые можно на тысячу ладов соединить, но уничтожить ничем нельзя, ни даже человеческим воображением; сделайте опыт представить себе что-нибудь существующее уничтоженным, как же оно примется за то, чтоб не быть?

Сочетания и разложения — по собственному ли развитию или по воле человеческой могут только переделывать, изменять материал, приводить его в другие соединения и в другие формы, но материала от этого ни больше, ни меньше, он все тот же и в том же количестве. Если в одном месте сделается что-нибудь гуще, непременно где-нибудь будет жиже. Перед нами фунт говядины, вы ее съедаете и становитесь фунтом тяжелее, а через час или два — несколько легче, но разница не пропала; говядина, превратившись в кровь, потеряла разные водяные и воздушные частицы, оставившие ваше тело испарением, дыханием. Эти освобожденные частицы пошли каждая своей дорогой, одни были всосаны растениями, другие, соединяясь с землей, рассеялись в воздухе... Можно пары охладить в воду, воду заморозить в лед, но водяных паров нельзя составить, если нет их составных частей; с чего же начать?

Мы остановились на том, что частицы вещества, окружавшие более плотное соединение, устремились к нему. При этом движении они должны были увлекать с собой слой за слоем и, следственно, быть причиной нового колебания, продолжающегося до тех пор, пока движение слоев не потеряется в пространстве и не придет в равновесие.

Наши соединившиеся частички в этом колебании уже играют роль средоточия, зерна; стремящиеся на них воздухи (газы) наносят им новые соединяющиеся частицы, движение от этого становится больше и больше. Вы знаете, что ветер не что иное, как перемещение слоев воздуха, теплых и холодных, сухих и наполненных парами, продолжавшееся до тех пор, пока слои придут в равновесие. Мы можем поэтому представить себе, как мало-помалу возрастали вьюги и вихри, колебавшиеся в воздушном растворе, без всякой рамы, на просторе бесконечного пространства, около сгущенного средоточия.

Если средоточие выдержит напор, не потеряв своей особенности, не распустившись в пространстве, не прильнув само к другому, то оно с волнующимся около него воздухом или туманом представится нам особенной областью, вымежевывавшейся от окру-

жающего пространства своим движением около ядра. Если же оно вступит в другие соединения, вовлечется в другое движение, что, вероятно, повторялось миллионы и миллионы раз, тогда оставим его своей судьбе и займемся тем другим средоточием, в котором развитие продолжается. В той ли воздушной области или в другой идет операция, мы не можем иначе себе представить ее форму, как шарообразной, потому что нет никакой причины частицам простираться больше или меньше в одну сторону, нежели в другую. А простираться ровным образом во все стороны от одного средоточия — значит быть шарообразным.

Но отчего же развилась та область или другая, почему тут образовалось более плотное соединение, а не там?.. Это один из самых пустых вопросов, но так как его повторяют довольно часто, то надобно было о нем упомянуть. Естественные науки не дают никакого ответа на подобные вопросы, потому что им нечего сказать. В бесконечном пространстве нет местничества; там, где случились необходимые условия, и именно в то время, когда они встретились, там и начало, там и продолжение; случись оно в другом месте, в другое время, оно было бы там, а не тут; может, было бы в обоих местах. Ну что же из этого?

Природа представляет нам факт, наше дело его изучать, приводить к сознанию, раскрывать его законы. Ну а если б у нее были другие законы, тогда, вероятно, и нас бы не было, а было бы что-нибудь совсем другое... где тут предел?.. Мы изучаем те факты, которые существуют, и смиренно принимаем их как есть.

Говоря о возникновении миров, например, само собою разумеется, мы говорим о тех мирах, которые возникли, и об общем законе возникновения... миры могли и могут возникать на всякой точке, но не на всякой точке нашлись условия, для них необходимые. На иных могут быть условия, годные для начала, но которые не в силах поддержать развитие. Мы их не знаем, да если б и знали, их следовало бы оставить. Описывая животных, мы не останавливаемся на неудавшихся зародышах или на уродливых недоносках.

Естественные науки занимаются только фактами и их изучением, не допуская фантастического созерцания возможностей. Почем мы знаем, что теперь делается в мрачных и холодных пространствах между звезд, какие образуются там новые миры и подрастают на замену солнечной системы или какой другой... Во всем этом нам не на что опереться, кроме на ведение,— оно действительно подтверждает, что, должно быть, это так; тем и оканчивается весь научный интерес, и дальнейшее переходит в область мечтаний.

Нас ожидают вопросы больше существенные в жизнеописании нашей воздушной области. Будучи гуще внутри, она должна была сложиться в последовательное наслоение. Легкие слои всплыли наверх, потяжелее повисли в середине, самые тяжелые потонули к средоточию. Пока все не пришло в равновесие, в шаре делалось то, что делается, когда кипятят воду: подогретая вода подымает-

ся, в то время как холодная низвергается на дно. Противуположные потоки должны были стремиться одни лучеобразно от центра ко всем точкам поверхности, другие — от всех точек поверхности к центру, но по мере того, как все частицы повисли бы на своем месте, они успокоились бы и общее движение мало-помалу должно остановиться, а с ним замереть и дальнейшее развитие. Этот покой действительно и настает в кипятке, если воду не будут подогревать. Но где же очаг, который бы подогревал наш воздушный шар?

Переходим опять к ежедневным, домашним опытам; возьмите кусок холодного железа, положите его на холодную наковальню и начните его бить холодным молотом; оно сначала сделается теплым, потом горячим — где очаг? Если в металлической трубке с одним отверстием, подвижной пробкой, туго входящей, быстро сжать воздух, то прут, прикрепленный на дне трубки, загорается. Кто его зажег? Дело состоит в том, что тела, сжимаясь, становятся теплее. А ведь две первые частицы, соединившись, заняли меньше пространства — сжались, стало быть, они сделались теплее. Притечение новых частиц и их соединение развивало больше и больше тепла в ядре, отсюда движение частиц, отдаляющихся от центра и притекающих к нему, должно было становиться сильнее и сильнее, температура центральной части выше и выше.

Идем далее... Имеем ли мы какое-нибудь право себе представить, что та данная воздушная «капля», при развитии которой мы присутствуем, одна и есть во всей вселенной? Если б это было так, то, стало быть, было когда-нибудь время, в которое ничего не было, т. е. в которое нельзя было возникнуть чему-нибудь, т. е. что вещество и законы его были не те, которые теперь, чего мы допустить не можем; совсем напротив, потому, что эта область могла развиться, стало быть, и другие миры должны были развиваться прежде нее. Если же это так... то наша сфера где-нибудь, когда-нибудь встретится с другими.

Какое же будет их взаимодействие? Верхние слои, самые изреженные по свойству воздухообразного состояния, проникнут друг в друга, могут смешаться, если не будут удерживаемы потоками частиц, летящих или низвергающихся к средоточию. Мы не имеем причины предполагать обе сферы одинакового объема, одинаковой плотности,— это может быть, но это один из случаев; гораздо легче себе представить, что одна сфера больше другой, и тогда меньшая будет постоянно склоняться к большей. Если частицы, стремящиеся к зерну меньшей сферы, не в состоянии противудействовать удаляющимся от него, то она упадет на большую, распустится в нем, станет двигаться как один из его слоев или как одна из его частных областей.

Но если движение частиц к средоточию достаточно, чтоб противудействовать падению, но недостаточно, чтоб совсем пересилить стремление частиц к средоточию большой сферы, тогда, повинуясь двум движениям, шар наш будет кружиться около центра большой сферы, постоянно готовый сорваться с пути или упасть к его цент-

ру. И то и другое может случиться, но нам для нашей цели следует взять такое отношение сфер, в котором они уравновешиваются на постоянном движении одной около другой.

Но все частицы вещества, составляющего воздушный шар, несущийся около средоточия, вне его находящегося, одинаково ринуты в движение. Слои ближе к его зерну вертятся медленнее, у самого центра все покойно, быстрота, разумеется, возрастает с удалением от него и всего больше на поверхности. Простой опыт мячика, привязанного на бечевке, который вы станете кружить, дает наглядное представление.

Сверх того, и на самой поверхности не все точки двигаются с равной скоростью, потому что не все подвергаются одинаковой близости к большой сфере, около которой двигается меньшая. Наибольшее движение будет на том поясе, который всего ближе к большой сфере, туда и будет притекать наибольше частиц. В силу этого разного движения мы можем определить такую линию, около которой шар будет обращаться, как около своей оси.

С своей стороны, постоянное притечение частичек к поясу наибольшего движения должно изменить шарообразную форму, она сплюснется у полюсов, т. е. у концов оси, и увеличится у пояса, ближайшего к внешнему средоточию.

Но чем далее частицы от зерна, тем слабее их связь с ним, а так как и движение там всего сильнее, то под его влиянием пояс может наконец сорваться или, лучше, расчлениться с общей массой, продолжая увлекаться ее движением, уже не как ее слоем, а в виде обруча. За ним может отделиться другой, третий и т. д.; тогда плотность всей сферы сделается, так сказать, полосатой в отношении к густоте, гораздо изреженнейшей между обручами, гораздо плотнейшей в них самих.

При крутом и стремительном движении обручей они сами могут разорваться, и тогда — одна часть дуги отставая, а другая напирая на нее — они могут собраться, сжаться в один или несколько комков, обращающихся около общего центра своей сферы и увлекаемых с нею около средоточия большой сферы; в каждом расчленившемся обруче или кольце снова повторяются те же явления.

При этих отделениях обручей, при их распадениях на шары должны были остаться свободные частицы, уносимые общим потоком и которые, в свою очередь, льнут к тем или другим шарам, больше и больше сгущая их. Самое образование обручей было сгущением, но сгущаться — значит разогреваться; чем больше накаливались частные центры, тем сильнее стремились от них частицы, поднимаясь к окружности. Таким образом, зерно, вместо того чтоб делаться плотнее и плотнее, становилось все жиже и жиже, истощаясь своим лучезарным рассеянием частиц.

Такое средоточие — наше Солнце, его расчленившиеся обручи — планеты нашей системы; их отделившиеся обручи, в свою очередь, составили их спутники, как Луна, или остались обручами, как кольца Сатурна.

Вся Солнечная система имеет свое общее движение около одного из своих созвездий. Представляет ли это созвездие общее средоточие или само обращается около чего-нибудь? Наверное, последнее. Мы слишком бедны, чтоб доказать это опытом, наши периоды наблюдений слишком ограниченны и слишком малы, но нелепость средоточия чего-нибудь бесконечного так же очевидна, как означение года, делящего на две равные эпохи вечность. Общего средоточия движения не может быть, оно не в духе природы... Все носится друг около друга; одни центры исчезли, послужившие причиной движения; другие возникают, приставая к той или другой системе или перетягивая к себе.

Так это и наша Солнечная система когда-нибудь перестанет существовать? — Непременно. Одна из причин бросается в глаза — это постоянное истощение Солнца; оно уже и теперь не может производить новых планет, обручи не отделяются от него, но оно продолжает на огромное пространство до Сатурна греть и светить, не получая топлива снаружи; силы Солнца также сочтены, придет время, когда воздушный очаг потухнет.

Что касается до возникновения новых небесных тел, мы можем следить за образованием и ростом плотной части туманных пятен и комет так, как можем изучать по обитателям Новой Зеландии начала стадной жизни людской.

На этом мы остановимся. Мне хотелось в этом опыте только показать, как из легкого химического опыта и из самых элементарных понятий механики и физики, что тела, сжимаясь, нагреваются, что воздухообразные частицы стремятся занимать больше пространства, что есть такие соединения веществ, при которых соединенное тело становится плотнее соединяемых, есть возможность объяснить всемирные явления, не вводя никаких фокусов, никаких спрятанных колдунов, не отводя глаз. Цель моя будет совершенно достигнута, если мой опыт возбудит умственную деятельность и желание ближе узнать то, что едва обозначено в нем. Одного желал бы я безмерно — чтоб вы заметили коренную разницу этого приема с обыкновенным риторико-теологическим.

В этом сжатом очерке я старался до того сберечь чистоту вашего воображения, что не употреблял, как ни было мне это трудно, таких слов, как притяжение, тяготение, центробежная и центростремительная сила, которыми для краткости выражают общие причины всех явлений, вследствие которых частицы соединяются, влекутся к другим, кружатся и проч. Я боялся их употреблять и предпочел передавать факты, не означая их именем, потому что незнакомые названия условным собирательным смыслом заменяют очень часто объяснение, останавливают вопросы; произнося слово, нам кажется, что мы знаем его смысл, что мы определяем самую причину, в то время как мы только ее называем.

Мы смеемся с Мольером над шутом, который объясняет свойство ревеня тем, что он имеет слабительную силу, и в то же время довольствуемся тем, что частицы веществ соединяются вследствие силы сцепления.

А что такое сила сцепления? Опять колдовство, только в другой форме, переведенное с мистического языка на язык науки, переодетое из монашеской рясы в докторскую мантию.

Слова эти необходимы, но необходимы как знаки; это стропилы, вехи по дороге к истине, а не сама истина, «взаправду», как говорят дети.

Явления, ожидающие нас, если мы будем продолжать наши беседы, становятся определеннее и вводят нас в сферы больше живые. Мы видели, что с сжатием является теплота, с теплотой свет, при их посредстве рассеянные частицы вещества обнаруживают больше и больше действий друг на друга (химизм), с теплотой и химизмом неразлучно электричество, а тут является и кристаллизация, и органическая клетчатка, а с ними все животное царство и человек.

# РАЗГОВОРЫ С ДЕТЬМИ

## I

## ПУСТЫЕ СТРАХИ — ВЫМЫСЛЫ

Желание узнать причины, как что делается возле нас, совершенно естественно человеку в каждый возраст. Это всякий испытал на себе. Кому не приходило в голову в ребячестве, отчего дождь идет, отчего трава растет, отчего иногда месяц бывает полный, а иногда видна одна закраинка его, отчего рыба в воде может жить, а кошка не может... Людям так свойственно добираться до причины всего, что делается около них, что они лучше любят выдумывать вздорную причину, когда настоящей не знают, чем оставить ее в покое и не заниматься ею.

Такого любопытства — знать, что и как делается,— звери не имеют. Зверь бегает по полю, ест, коли что попадается по вкусу, но никогда не подумает, почему он бегает и отчего он может бегать, откуда взялся съестной припас, который он ест. А люди всем этим заботятся.

Посмотрите, что из этого выходит: чем больше вещей человек знает и чем короче, подробнее он их знает, тем больше у него власти над ними. Звери с их умом несовершенным и маленькие дети с их незнанием всего слабее и беспомощнее. Не думайте, что дети только потому слабы, что они малы, слон при всем своем росте сделает не больше ребенка во всех тех случаях, где нельзя взять ни массой, ни мышцами.

Когда человек хочет что-нибудь сделать, он прежде должен знать свойство вещей, из которых ему приходится что-нибудь сделать. Вещи сами по себе очень послушны, но слушаются они человека и настолько исполняют его волю, насколько он умеет приказывать им, т. е. насколько он их знает.

Вещи не в самом деле слушаются человека или противудействуют ему. Это так говорится для краткости, вещам до человека дела нет, они очень равнодушны к своей судьбе и продолжают существовать — рудою, слитком, червонцем, кольцом на пальце, как случится, у них нет ни цели, ни намерения, ни воли. Река течет,— течет потому, что земля покатa, а не потому, что ей хочется течь. Человек ставит плотину — так как воде все равно, то она перестает течь и накапливается. Насколько человек знает силу воды, силу плотины, вышину берегов и другие условия, настолько он может заставлять воду, делая свое дело, исполнять его волю: вертеть колеса, пилить бревна, орошать луга, подымать барки. Из этого вы уж видите, что мы настолько умеем управлять природой или вещами, нас окружающими, насколько их знаем, направляя одни против других или соединяя их по их свойствам.

Вы хотите отрезать сучок от дерева и сделать из него трость. Вы берете нож, т. е. кусок железа, таким образом сплавленный, выкованный, отточенный, что одна сторона его остра, и начинаете отрезать, зная, что растительные волокна не могут удержаться против железа.

Таким точно образом человек поступает и в самых сложных своих делах, в хлебопашестве и других работах.

Совсем напротив — чего мы не знаем, то не только не в нашей воле, но скорее мы в его воле, оно нас теснит. Люди по большей части боятся того, чего не знают, потому что от него трудно защищаться.

Вот тут-то и случается, что люди лучше выдумывают ложную, мнимую причину, чем остаются в безоружном неведении. Принимая ложную причину за знание, за понимание, веря ей, они обманывают себя и думают, что овладели страшным явлением.

Возьмем для примера грозу и посмотрим, в каком отношении к грозе находились люди в младенческом состоянии и в какое перешли в более образованном.

Люди были поражены блеском молнии, раскатом грома, они видели зажженные деревья, убитый скот, убитых людей и потом снова прежнюю тишину, тучи проходили, небо разъяснялось. Вместо того чтоб добираться до причины, сличать, обдумывать, они вот как рассуждали: «Мы слышали треск и гром, стало быть, кто-нибудь гремит», и они стали искать (тут-то вся ошибка) не что гремит, а виноватого. Гремит наверху, молния падает сверху, стало быть, громовержец живет наверху. Черные тучи, мрачное небо показывают, что он сердится; на кого? Конечно, всего больше на тех, кого убивает.

Что же делать и как умилостивить этого свирепого громовержца? Унижением, бросаясь на колени, моля о пощаде. Так люди делали тысячелетия, и им в голову не приходило, что громовержец бьет бессмысленно скалы и деревья, которые не могут быть виноватыми, баранов и волов, мирно пасущихся, и из людей убивает не худших, а так — кто попадется; это объясняли тем, что громовержец делает это для острастки, чтобы виновные трепе-

тали, а прочие знали бы его мощь. И эдакого-то бессмысленного и безжалостного чудака хотят умолить красными словами, поклонами и взятками. А все это делается только для того, чтоб заглушить страх перед неизвестной опасностью.

Помните вы греческое вероисповедание, у них на все был свой Бука или своя Баба-Яга: для моря и огня, для неба и земли. И серьезные, взрослые люди, полководцы, купцы, отправляясь в море, ходили перетолковать об этом с медной куклой, делали ей обещание принести в жертву кур и телят, повесить в ее храме свое платье, если кукла пошлет хорошую погоду во время плавания.

Мы смеемся над их морским богом, разъезжающим в раковине на четверке дельфинов, с трезубцем в руке, так, как вы смеетесь над куклами, с которыми вы бывало разговаривали, как с живыми, укладывали их спать, давали им лекарства,— ведь вам и тогда чувствовалось, что они не живые, да хотелось верить, вы и верили. Но мало-помалу ваш ум креп, и по мере того как он стал брать верх над детским воображением, вам меньше и меньше казалось вероятным, что кукла больна или спит. Так жили целые народы — до тех пор, пока знание природы не победило их мечтание о ней.

Когда люди приобрели больше опытности и сведений о природе, они пошли и в деле грома и молнии иным путем; вместо того чтоб спрашивать, кто гремит, стали наблюдать, что гремит, и мало-помалу, сличая разные явления, доискались до причины; а найдя ее, стали обороняться от нее уже не молитвами и коленопреклонением, не курами и свечами, принесенными на жертву, а снарядами, называемыми громоотводами.

Точно так действует знание во всех других вещах и предметах: везде освобождает оно нас от страха, а где не может освободиться от зависимости, там учит нас избегать вредных действий.

Прежде чем мы пойдем дальше, я вам расскажу, как в детстве я сам освободил себя от одного из пустых страхов. У меня, по правде сказать, их было немного, однако ж не был я и совсем свободен от них. Нянюшки натолковали и мне о всяких чудесах, о том, как домовой приходит по ночам в конюшню и ездит верхом на лошадях и как кучер против этого в стойле держит козла. Лет двенадцати я стал с ними спорить и, разумеется, разубедить их не мог.

Бедные люди эти обречены на темную жизнь неведения и тяжкую работу, им недосуг учиться, недосуг думать, их досугом пользуемся мы; и если свет до них не доходит, то мы не должны забывать, что мы им застим его. А осуждать их — большое преступление; рассуждают иной раз не лучше их, и большая часть их верит в такого или другого домового и имеет в конюшне или дома своего козла против него.

Мне было лет двенадцать, жили мы летом в деревне. За нашим домом был овраг, заросший сосняком и ельником, овраг этот шел, огибая поля, к двум-трем курганам, тоже покрытым большим

сосновым лесом. Курганы эти, вероятно, были насыпаны над могилами падших воинов в древние времена.

Там раза два отрывали совсем поржавевшие доспехи, в преданиях у крестьян осталось темное воспоминание какого-то сражения. Курганы эти они звали «проклятыми». Неохотно ходили туда ночью мужики; про женщин и говорить нечего, ни одна ни за что на свете не пошла бы туда после сумерек — не оттого, чтоб они боялись волков — это было бы естественно, а оттого, что боялись каких-то духов.

Дворовые люди наши, разумеется, не меньше их верили в эти чудеса. Я спорил с ними, смеялся над их трусостью.

— Да вы вместо того чтоб говорить,— сказал мне один из них,— сами бы ночью сходили.

— Я охотно пойду.

— Когда?

— Сегодня, когда у нас все улягутся...

— А как же знать, до которых мест вы дойдете?

— У большой сосны возле первого кургана лежит лошадиный череп.

— Помню.

— Ну так я принесу его.

Пространство, которое мне приходилось пройти, вряд ли было всего больше полутора или двух верст, из которых половина шла полем. Пока было видно освещенное окно нашего дома и я не покидал тропинки, я шел себе спокойно, попевая песни для большей храбрости, но когда взошел в лес, мне тоже стало очень страшно. Чего мне было страшно, не знаю; но сердце билось и ноги так неверно ступали, когда я цеплялся за сучья, что в ту же пору хоть бы и воротиться. Но я переломил свой страх, дошел до черепа, взял его на палку и побежал домой.

Человек наш хотя и похвалил меня, но все же не убедился, а говорил мне, что «иногда и ничего не бывает, а иногда и бывает».

На другую, на третью ночь я уже ходил туда без всякого постороннего повода, и сердце билось меньше и меньше, и я уже не пугался, зацепляясь за хвойные ветви. Вот так проходят пустые страхи.

Но чего же собственно наши люди и крестьяне боялись в курганах? Того, чего люди обыкновенно боятся в присутствии мертвого тела, на кладбище. Они боятся, что покойник не в самом деле умер, а что он раздвоился как-то — тело само по себе, а жизнь этого тела сама по себе. Этого-то люди и боятся, по инстинкту понимая, что в этом есть что-то нелепое. А то чего же бы бояться? Люди сами хотят жить после смерти, скорбят и оплакивают, когда кто-нибудь умрет,— стало быть, следовало бы радоваться, что духи усопших уцелели и являются к нам.

Дух без тела страшен невообразимой нелепостью своей; до того страшен, что человек обыкновенно придумывает ему или чудовищное тело, или неестественно красивое.

Вы, верно, видали изображение длинных, исхудалых, завернутых в белые саваны мертвецов, с дырами вместо глаз. Видали вы, верно, также и маленькие кудрявые головки, нарисованные без туловища с двумя — четырьмя крылышками, прикрепленными к задней стороне нижней челюсти или к первому шейному позвонку. Само собою разумеется, что ни скелет в холстине, ни голова без груди, необходимой для дыхания, и без живота, необходимого для пищеварения, не только не могут понимать и говорить, но просто не могут жить. Несмотря на то, людям легче воображать эти нелепости, чем живой дух, т. е. живой воздух, газообразную личность, без всяких жидких и густых частей. Это до такой степени нелепо, что человек отпрядывает от бестелесного духа к уродливым вымыслам.

На это, пожалуй, вам скажут, что духи могут иметь воздушное или эфирное тело, незримое нашими глазами, тонкое, легкое и прозрачное.

На земной планете таких нет, а если б они где-нибудь и были, то с умершими людьми они ничего общего не имеют. К тому же не думайте, что в самом деле прозрачность и воздушность — что-нибудь высшее. Если б человек мог сделаться жиже и еще жиже и, наконец, совсем прозрачным, он от этого стал бы только хуже. Хорошая кровь густа и хороший мозг густ, хорошие мускулы упруги, воздушные мускулы не могли бы служить; газовым мозгом нельзя было бы думать.

Невидимых для простого глаза животных бездна, все наливчатые животные; но они, хотя и малы, не состоят же из одного воздуха или из одной жидкости; у них есть свои оболочки, очень тонкие, но которые оставляют после себя известку или мел. Их прозрачность сопряжена с самой бедной степенью жизни; для того чтоб жизнь мухи или осы была возможна, телу животного надобно было очень много погустеть, потерять свою прозрачность и местами окрепнуть, как крылья жука или ноги кузнечика.

Тело всякого животного — червя, слона, человека — делается из окружающих припасов едой и дыханием. На это ему нужны части твердые, жидкие и воздухообразные. Пока они вместе работают и ни одна не берет верха, жизнь продолжается. Если у животного отнять твердые оболочки его, то кровь и всякая жидкость, обращающаяся в его сосудах, прольется, газы, в ней заключающиеся, испарятся, рассеются, твердые части выветрятся, засохнут, сделаются черноземом, известковой землей.

Общее дело (жизнь) твердых, жидких и воздухообразных веществ, пока они продолжают пищеварение, нельзя отделить от этих частей (т. е. от тела). Так, как нельзя линию, границу двух площадей, отделить от площадей не на чертеже, а в самом деле.

Объяснить это общее дело, задерживающее в известном виде и в известной деятельности части тела,— задача трудная; но путь к ее разрешению очевиден — физиология и химия.

Неполное знание не дает права на произвольные предположения. Мы сейчас видели, до каких нелепостей люди доходили в

своем объяснении грома; повторять такие ошибки непростительно.

Вымыслы не только отдаляют понимание, но забивают самую возможность правильно поставить вопрос; в манере спрашивать видно, что сделанный вопрос вперед решен.

Так, вопрос «Может ли душа существовать без тела?» заключает в себе целое нелепое рассуждение, предшествовавшее ему и основанное на том, что душа и тело — две разные вещи. Что сказали бы вы человеку, который бы вас спросил: «Может ли черная кошка выйти из комнаты, а черный цвет остаться?» Вы его сочли бы за сумасшедшего — а оба вопроса совершенно одинаковые. Само собою разумеется, тот, кто может себе представить черный цвет, оставленный кошкой, или ласточку, которая летает без крыльев и легких, тому легко представить себе душу без тела, такое целое, которого части уничтожены... А затем, почему ему и не бояться на кладбище или на кургане, встречи с давно умершими, ходящими без мускулов, одними костями, говорящими без языка?

Есть люди, которые без малейшего основания говорят, что души умерших отправляются на другие планеты; это понять не легче.

Как же это они подымаются в океане кислорода и селитророда, не окислившись в нем или не соединяясь с водородом, углеродом? Но душа не имеет химических свойств. Какие же? Физические? — Нет. А двигается?

Предмет, не имеющий ни физических, ни химических свойств, без формы, без качества и количества, мы называем несуществующим, т. е. ничем.

Тут прибегают обыкновенно к сравнению с электрической искрой; но электрическая искра очень богата физическими и химическими свойствами; несмотря на то, в ней нельзя предположить сознания — а ведь это главное, чего хотят в душе, отрешенной от тела. Чтоб сознавать себя, нельзя быть ни твердым, как ремень, ни жидким, как вода, ни изреженным, как воздух: надобно быть студнем или кашей, как мозг.

На первый случай я думаю, есть о чем вам подумать и поговорить с вашими товарищами и учителями, если только они не боятся домового и не держат козла.

# ПРЕДИСЛОВИЕ[1]

Надобно было бы иметь больше наивности и детского простодушия, чем у самого Грибуля, для того, чтобы рекомендовать нашим читателям произведение одного из величайших писателей нашего времени,— писателя, с которым наша публика так коротко и так давно знакома, которого так сильно любит и который так достоин быть любимым.

Нам только хотелось обратить внимание читателей на необычайно ловкое, удачное и художественное разрешение бесконечно трудной задачи.

Писать детские книги действительно задача колоссальная, оттого-то их нет. Есть книги отроческие, современная английская литература ими очень богата, но детских нет.

Дети любят сказки. Но сказки бывают или бессмысленные, или скучные. В первых все пожертвовано фантастическому, во вторых все убито натянутой, пошлой и не вовсе нравственной моралью.

Одна книга делает исключение — «Робинзон»; да как же его зато и читают дети!

Ж. Санд, удовлетворяя совершенно художественной потребности детского воображения, создала рассказ высоконравственный и который поэтому не имеет ничего общего с нравоучительными повестями, особенно с французскими.

Мораль их состоит в развитии эгоистической, своекорыстной любви к добру, в внешних наградах за исполнение долга, так что человек, поступающий нравственно, ничем не отличается от ростовщика, лишающего себя на время денег для того, чтобы получить их назад с огромной лихвой. Вот почему детские повести и рассказы, драмы и поэмы у французов сбиваются на полицейское следствие и психический разбор их очень близок к разбору в управе благочиния. Им надобно открыть виновных и достойных, виновных наказать, достойных наградить.

Вовсе не так поняла и создала Ж. Санд своего «Грибуля». С первого появления его от него веет какой-то свежестью и чистотой; это натура наивная, бескорыстная, преданная, любящая и оттого постоянно гонимая. Родители его считают дураком, потому что он не плут и не вор. Они его бьют за то, что не хотел из любви к ним покинуть родительский дом. Этот характер она выдержала до конца.

Когда Грибуль сам зажег свой костер и царица хотела отступать, чтобы его спасти, мы так и ждали, что Шмель, тронутый героизмом Грибуля, бросится к костру спасать его, отдаст Грибуля царице, а царица отдаст себя Шмелю и сделает маршалом или констеблем. Но Грибуль сгорел, «от него осталась груда пепла, на верхушке которой вырос и распустился маленький голубой цветочек». Награда за подвиги была ему.

Здоровее нравственности нельзя проповедовать детям. Ж. Санд облекла ее во всю прелесть детской поэзии, без этого дети все бы не стали ее читать. Художественная потребность идет у детей вперед — они в книге ищут наслаждения, а не пользу. Оттого они часто рано различают два рода книг: один, который они читают, и другой, который им велят читать.

С первой страницы дети увлекаются Грибулем, любят маленького чудака, который «бросился в воду, чтобы скрыться от дождя», и следят за ним со страстным участием. Дочитавши, они

снова принимаются за книгу. Это я видел на опыте и знаю по количеству экземпляров, потребленных детьми. Они изнашивают «Грибуля» — это верх успеха для детской книги.

# „ПРОЩАЙТЕ!“

Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом не знаю, будет ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь, надобно же объяснить, в чем дело. Если я кому-нибудь повинен отчетом в моем отсутствии, в моих действиях, то это, конечно, вам, мои друзья.

Непреодолимое отвращение и сильный внутренний голос, что-то пророчащий, не позволяют мне переступить границу России, особенно теперь, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе, душит с удвоенным ожесточением всякое умственное движение и грубо отрезывает от освобождающегося человечества шестьдесят миллионов человек, загораживая последний свет, скудно падавший на малое число из них, своей черною, железною рукою, на которой запеклась польская кровь. Нет, друзья мои, я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту. Я подожду до тех пор, пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противудействием, не признает чего-нибудь достойным уважения в русском человеке!

Пожалуйста, не ошибитесь; не радость, не рассеяние, не отдых, не даже личную безопасность нашел я здесь, да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых,— отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы. Вы видели грусть в каждой строке моих писем; жизнь здесь очень тяжела, ядовитая злоба примешивается к любви, желчь — к слезе, лихорадочное беспокойство точит весь организм. Время прежних обманов, упований миновало. Я ни во что не верю здесь, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни ее вершинное образование, ни ее учреждения... я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит,— и остаюсь... остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах.

Зачем же я остаюсь?

Остаюсь затем, что борьба здесь, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но гласны: борьба открытая, никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка прежде, чем вымолвили слово; велико насилие,

но протест громок; бойцы часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достояния, а может, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства, «гонимых, но не низлагаемых».

За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзывов на светлые и темные стороны моей души, которого песнь и язык — моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей.

Дорого мне стоило решиться... Вы знаете меня... и поверите. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решился не как негодующий юноша, а как человек, обдумавший, что делает, сколько теряет. Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву.

Человеческому достоинству,
Свободной речи

До последствий мне нет дела, они не в моей власти, они скорее во власти своевольного каприза, который забылся до того, что очертил произвольным циркулем не только наши слова, но и наши шаги. В моей власти было не послушаться — я и не послушался.

Повиноваться противно своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться,— безнравственно. Страдательная покорность становится почти невозможной. Я присутствовал при двух переворотах; я слишком жил свободным человеком, чтоб снова позволить сковать себя; я испытал народные волнения, я привык к свободной речи и не могу сделаться вновь крепостным ни даже для того, чтоб страдать с вами. Если б еще надо было умерить себя для общего дела, может, силы нашлись бы; но где на сию минуту наше общее дело? У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек. Можете ли вы после этого звать?.. На борьбу — идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение — ни под каким видом. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного, уважьте во мне свободу человека.

Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближних, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь — мое право, мой долг; это единственный протест, который может у нас сделать личность, эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству. Ежели вы назовете мое удаление бегством и извините меня только

вашей любовью, это будет значить, что вы еще не совершенно свободны.

Я все знаю, что можно возразить с точки зрения романтического патриотизма и цинической натянутости; но я не могу допустить этих староверческих воззрений; я их пережил, я вышел из них и именно против них борюсь. Эти подогретые остатки римских и христианских воспоминаний мешают больше всего водворению истинных понятий о свободе,— понятий здоровых, ясных, возмужалых. По счастию, в Европе нравы и долгое развитие восполняют долею нелепые теории и нелепые законы. Люди, живущие здесь, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями; путь, пройденный их предками в продолжение двух с половиною тысячелетий, не был напрасен, много человеческого выработалось независимо от внешнего устройства и официального порядка.

В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты. В этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности — один из великих человеческих принципов европейской жизни.

В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.

У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине. Переворот Петра I заменил устарелое помещичье управление Русью европейским канцелярским порядком; все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывавшее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло. Рабство у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации и суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-то чудовищный, безвыходный деспотизм.

Если бы Россия не была так пространна, если б чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя бы было жить ни одному человеку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство.

Избалованность власти, не встречавшей никакого противодействия, доходила несколько раз до необузданности, не имеющей ничего себе подобного ни в какой истории. Вы знаете меру ее из рассказов о поэте своего ремесла, императоре Павле. Отнимите

капризное, фантастическое у Павла, и вы увидите, что он вовсе не оригинален, что принцип, вдохновлявший его, один и тот же не токмо во всех царствованиях, но в каждом губернаторе, в каждом квартальном, в каждом помещике. Опьянение самовластьем овладевает всеми степенями знаменитой иерархии в четырнадцать ступеней. Во всех действиях власти, во всех отношениях высших к низшим проглядывает нахальное бесстыдство, наглое хвастовство своей безответственностью, оскорбительное сознание, что лицо все вынесет: тройной набор, закон о заграничных видах, исправительные розги в Инженерном институте. Так, как Малороссия вынесла крепостное состояние в XVIII в.; так, как вся Русь, наконец, поверила, что людей можно продавать и перепродавать, и никогда никто не спросил, на каком законном основании все это делается,— ни даже те, которых продавали. Власть у нас увереннее в себе, свободнее, нежели в Турции, нежели в Персии, ее ничего не останавливает, никакое прошедшее; от своего она отказалась, до европейского ей дела нет; народность она не уважает, общечеловеческой образованности не знает, с настоящим она борется. Прежде, по крайней мере, правительство стыдилось соседей, училось у них, теперь оно считает себя призванным служить примером для всех притеснителей; теперь оно поучает.

Мы с вами видели самое страшное развитие императорства. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кое-как. Но не мало ли этого? Не пора ли развязать себе руки и слово для действия, для примера, не пора ли разбудить дремлющее сознание народа? А разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда крик и прямое слово едва слышны? Открытые, откровенные действия необходимы; 14-е декабря так сильно потрясло всю молодую Русь оттого, что оно было на Исаакиевской площади. Теперь не токмо площадь, но книга, кафедра — все стало невозможно в России. Остается личный труд в тиши или личный протест издали.

Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме нашего дела.

Кто больше двадцати лет проносил в груди своей одну мысль, кто страдал за нее и жил ею, скитался по тюрьмам и ссылкам, кто ею приобрел лучшие минуты жизни, самые светлые встречи, тот ее не оставит, тот ее не приведет в зависимость внешней необходимости и географическому градусу широты и долготы. Совсем напротив, я здесь полезнее, я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель.

Все это кажется новым и странным только нам, в сущности, тут ничего нет беспримерного. Во всех странах, при начале переворота, когда мысль еще слаба, а материальная власть не обуздана, люди преданные и деятельные отъезжали, их свободная речь раздавалась издали, и самое это издали придавало словам их

силу и сласть, потому что за словами виднелись действия, жертвы. Мощь их речей росла с расстоянием, как сила... растет в камне, пущенном с высокой башни. Эмиграция — первый признак приближающегося переворота.

Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего; для этого знакомства обстоятельства превосходны, ей теперь как-то не идет гордиться и величаво завертываться в мантию пренебрегающего незнания; Европе не к лицу vornehme Ignorieren * России с тех пор, как она испытала мещанское самодержавие и алжирских казаков [1], с тех пор, как от Дуная до Атлантического океана она побывала в осадном положении, с тех пор, как тюрьмы, галеры полны гонимых за убеждения... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бою, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа, они его только боятся; надобно им знать, чего они боятся.

До сих пор мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжелое положение бесправия, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что предоставляет наша народная жизнь. Мы дождались немца для того, чтоб рекомендоваться Европе.— Не стыдно ли?

Успею ли я что сделать?.. Не знаю,— надеюсь!

Итак, прощайте, друзья, надолго... давайте ваши руки, вашу помощь, мне нужно и то и другое. А там кто знает, чего мы не видели в последнее время! Быть может, и не так далек, как кажется, тот день, в который мы соберемся, как бывало, в Москве и безбоязненно сдвинем наши чаши при крике: «За Русь и святую волю!»

Сердце отказывается верить, что этот день не придет, замирает при мысли вечной разлуки. Будто я не увижу эти улицы, по которым я так часто ходил полный юношеских мечтаний; эти дома, так сроднившиеся с воспоминаниями, наши русские деревни, наших крестьян, которых я вспоминал с любовью на самом юге Италии?.. Не может быть! Ну, а если? Тогда я завещаю мой

* Высокомерное игнорирование.

тост моим детям и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа и благословлю его из дали моей добровольной ссылки!

# ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Прошло сто лет...
И перед младшею столицей,
Главой склонилася Москва
Как перед новою царицей
Парфироносная вдова [1].

Прошло еще и не сто лет, а четверть века, и новой царице, кажется, скоро придется склониться — и не перед парфироносной соперницей... а перед целым хороводом дальних сродниц, не богатых, не важных по происхождению и скорее степенных... чем великосветских.

Везде на Руси закипает жизнь, везде обнаруживается деятельность, иногда нескладная, но здоровая, молодая и самобытная...

Москва свершила свой второй подвиг. Она была во все продолжение несчастного тридцатилетия воспитательным домом России, последним убеждением мысли, науки, человеческих убеждений. Она обучала иногда тайком от отца, как жена Людовика XI. В Москве возникла, развилась, расщепилась и возмужала современная русская мысль, качаясь в своей колыбели между протестом Чаадаева и воззрением славянофилов. И если впоследствии исполнительная часть литературы, ее прилавок, перешел в Петербург, то ее тема, мысль, задача — из Москвы, то ее люди — из Москвы, Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин — все это наши товарищи, студенты Московского университета.

Этот кафедральный собор нового русского образования был больше, чем кем-нибудь, оценен императором Николаем. Он, мнительный и трус, ясновидением ненависти понял, что значат эти бедные кафедры, на которые всходили люди, изуродованные малиновыми воротниками на фраке и которых слушали какие-то юноши, одетые конноегерскими юнкерами. Он чуял, что в этих аудиториях, как некогда в римских катакомбах, есть молодые учителя, крестившие бесшумно, наукой и светом истины, одно поколение за другим, и что эти ставленники ежегодно рассыпались во все четыре стороны. Юбилей Московского университета праздновался всей Россией, и, читая речи, произнесенные в губернских городах, у нас вдали сильно билось сердце...

Его юбилей был его лебединой песнью, с похорон Грановского он не справлялся. Но в то самое время, как его уровень мельчает, уровень провинциальных университов подымается выше и выше, и подымается без малейшего содействия правительства, бросаю-

щего деньги на одни вредные и ненужные школы, вроде школы ольденбургского правоведения, юнкерского марсоводства и пр.

Провинциальные университеты забыты, министерство Ковалевского с нарезчиком Мухановым[2] занято не тем. Ковалевский, например, видел своими глазами, что в Казанском университете восемь пустых кафедр и не меньше пустых профессоров, и что же сделал? Тотчас стал хлопотать об аренде — не Казанскому университету, а себе. Учителя гимназии в Петербурге и Москве не идут в провинциальные университеты, потому что оклады малы. Провинциальные профессора, напротив, при первой возможности переходят в столицы. И со всем с этим этих университетов дух молодых профессоров и студентов превосходен.

Каждая новость из дальних университетов проникнута свежей жизнию аудитории. Сколько юной страсти к науке, негодования за скверное преподавание, как бьются эти молодые люди, чтоб заменить бездарных, тупых, отсталых преподавателей людьми свежими и молодыми мыслию, как дружно протестуют они, как составляют свои братские круги для выписки книг, журналов! Этого развития скоро не искоренят ни сыщики Тимашева á la Лужин, ни сродни бывшего дядьки наследника á la Зиновьев, ни золотушная язва немецких вечно цеховых ремесленников науки с их русскими подмастерьями на манер немецкий. Там, где жизнь круто завязывается, она чрезвычайно упорна, и, делай что хочешь, она найдет себе и щель к свету, и дорогу вперед, против нее ни преступная небрежность министерства, ни преступное внимание шпионства ничего не сделают. Университет учит столько же, или еще больше, аудиторией, сколько кафедрой, юным столкновением, горячим обменом мыслей. Если есть два-три доцента, умеющих возбудить вопросы, научить их ставить, умеющие указать, что делает наука на воле, то и довольно!

Если рассудить, то почти лучше, что правительство ничего не делает для провинциальных университетов. Оно их завело из хвастовства и поддерживает настолько, чтоб стены не упали от стыда. Пусть же молодежь пробивается сама, учится сама; за лишний труд она приобретает великое право неблагодарности, у нее не будет одолжений Петербургу, она себе и молодым труженикам науки будет обязана своим образованием *. Пусть же она отрясет прах со своих ног и примет наш братский совет — идти, не останавливаясь на препятствиях, вперед и вперед!

От души, с глубокой любовью приветствуем мы из нашей дали новые фаланги будущей Руси, идущие нам на смену; их дружеские слова долетают до нас, снимают много тяжелого и скорбного, мы себя чувствуем с ними как-то снова молодыми.

* Одно рекомендовали бы мы молодым ученым провинциальных университетов: они должны оставаться в своем краю, в родной среде, а не тотчас переезжать по первому зову в Петербург или Москву. Может, это и не совсем выгодно, но теперь не до домашней экономии.

# ИСПОЛИН ПРОСЫПАЕТСЯ!

Да, спящий «Северный колосс», «Исполин, царю послушный» просыпается, и вовсе не таким послушным, как во времена Гавриила Романовича Державина...

Господи, какой жалкий и смешной вид у этого грозного правительства! Куда делась его вахмистрская наружность, его фельдфебельская выправка, где его сиплоармейский голос, которым оно 30 лет кричало: «В гроб заколочу Демосфена!...»

Да что же случилось, отчего оно так оторопело? Революция, что ли?..

Император в Ливадии*. Петербургом управляет комитет общественного спасения... На улицах солдаты, жандармы... Паткуль скачет направо, скачет налево, одну лошадь заездил, другую заезжает. Михаил Николаевич спрашивает Николая Николаевича: зачем Паткуль скачет? Николай Николаевич, вставший с первыми петухами, по общей любви к курам, говорит Михаилу Николаевичу, что он не знает, зачем Паткуль скачет, но что, должно быть, это восстание. Тот (или этот) говорит — десять полков, и он усмирит... Кого? Где неприятельские войска?

На университетском дворе[1].

Грубое правительство, напуганное выжившим из ума Строгоновым, рядом мелких преследований и унижений начало оскорблять университеты: назначением Путятина, школьными стеснениями, бездушным отталкиванием неимущих. Студенты Петербургского университета избрали депутатов и поручили им довести до начальства их протест...

Студенты решились просить освобождения своих товарищей, и вот отчего Бистром-Сантер бунтовал солдат, натравливая их на другие сословия, Паткуль надорвал двух лошадей, и Игнатьев-Малковский шептал Филипсону: «Все готово, можно начинать»! Что начинать? Бойню юношей, резню на университетском дворе?.. Что к этому прибавлять!..

В России закрыты университеты — в Польше церкви сами закрылись, оскверненные полицией. Ни света разума, ни света религии! Куда они хотят вести нас впотьмах? Они сошли с ума — долой их с козел, если не хотите с ними грохнуться о землю!

Ну куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. Сказать вам куда?

Прислушайтесь — благо тьма не мешает слушать: со всех сторон огромной родины нашей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет стон, поднимается ропот — это начальный рев морской вол-

* Ливадия куплена у гр. Потоцкой за 300 000 руб., несмотря на то, что рядом с Ливадией лежит Орианда, построенная за счет народного пота... А говорят, что денег нет!

ны, которая закипает, чреватая бурями, после страшного утомительного штиля. В народ! К народу! — вот ваше место, изгнанники науки, покажите этим Бистромам, что из вас выйдут не подьячие, а воины, но не безродные наемники, а воины народа русского!

Хвала вам! Вы начинаете новую эпоху, вы поняли, что время шептанья, дальних намеков, запрещенных книг проходит. Вы тайно еще печатаете дома, но явно протестуете. Хвала вам, меньшие братья, и наше дальнее благословение! О, если бы вы знали, как билось сердце, как слезы готовы литься, когда мы читали о студентском дне в Петербурге!

# Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятие и это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей! Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России — к утверждению сентенций диких невежд Сената и седых злодеев Государственного совета. А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которые управляют нами! «Инвалид» недавно спрашивал, где же новая Россия, за которую пил Гарибальди. Видно, она не вся за «Днепром», когда жертва падает за жертвой...[2] Как же согласовать дикие казни, дикие кары правительства и уверенность в безмятежном покое его писак? Или что же думает редактор «Инвалида» о правительстве, которое без всякой опасности, без всякой причины расстреливает молодых офицеров, ссылает Михайлова, Обручева, Мартьянова, Красовского, Трувелье[3], двадцать других, наконец, Чернышевского в каторжную работу?

И это-то царствование мы приветствовали лет 10 тому назад!

P. S. Строки эти были написаны, когда мы прочли следующее в письме одного очевидца экзекуции: «Чернышевский сильно изменился, бледное лицо его опухло и носит следы скорбута. Его поставили на колени, переломили шпагу и выставили на четверть часа у позорного столба. Какая-то девица бросила в карету Чернышевского венок — ее арестовали[4]. Известный литератор П. Якушкин крикнул ему «прощай!» и был арестован. Ссылая Михайлова и Обручева, они делали выставку в 4 часа утра, теперь — белым днем!..[5]»

Поздравляем всех различных Катковых — над этим врагом они восторжествовали! Ну что, легко им на душе? Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа, а вы, а Россия — на сколько лет останетесь привязанными к нему?

Проклятье вам, проклятье — и, если возможно, месть![6]

# ПИСЬМА

## А. И. ГЕРЦЕН — СЫНУ

12 июня 1851 г.

Любезный Саша, в ожидании твоего рапорта о твоих занятиях за прошлую неделю я хочу написать тебе несколько слов.

Ты входишь теперь в тот возраст, когда дети бедных людей начинают уже работать и серьезно заниматься, а потому я тебе расскажу не о Цюрихе, не о ипподроме, а о том, что здесь было в суде.

Ты слыхал о знаменитом французском мыслителе Викторе Гюго; вчера судили его сына за то, что он написал в журнале статью, в которой говорил, что казнить людей отвратительно.

Отец его сам стал защищать сына и, предвидя, что его сына все же обвинят и посадят в тюрьму, вот чем он кончил свою речь:

«Сын мой, тебе делают сегодня великую честь: тебя считают достойным страдать за правду. С сегодняшнего дня ты вступаешь в действительную жизнь. Ты можешь гордиться, что в твоих летах ты уже на той скамье, на которой сидели Беранже и Шатобриан,— будь тверд и незыблем в твоих убеждениях, ты их принес в крови, ты им научился у твоего отца» [1].

Сына Гюго осудили на шесть месяцев. Когда они с отцом вышли из суда, народ, ожидавший их, окружил карету и кричал: «Да здравствует Гюго!» Гюго отвечал: «Да здравствует республика!»

Ты видишь, дружок Саша, что как ни больно отцу, что он должен сына отдать в тюрьму, но что для него этот день останется как один из лучших в жизни. Вспомни маленького Грибуля: и он пострадал за правду и за желание, чтобы всем было хорошо. Те, которые гонят, осуждают за это, те хотят, чтоб только им было хорошо.

Надобно быть или Грибулем, или Бурбоном: надобно бороться, собою жертвовать или приносить себя на жертву друзей и врагов. Но быть Грибулем не только выше, но и веселее. Помнишь, как он в тюрьме приучал мышей, лягушек и пел песни? На совести у него ничего не было, он сделал свое дело, а какой-нибудь Бурбон, отравивши жизнь другим, мучится, завидует, боится, стыдится.

Так-то и я хочу со временем видеть тебя идущего по дороге, по которой я шел 25 лет. Не думай, чтоб нужно было натыкаться самому на беды,— нет, надобно быть готовому на всякую борьбу. Не придет она — можно другое делать. Но если придет — что бы ни было, стой за свою истину, за то, что ты любишь, а там, что бы ни вышло.

Целую тебя крепко.

Занимайся как можно больше русским языком. Ты никогда не забывай, что ты должен быть русским.

Тате и Коле будут следующие письма.

## А. И. ГЕРЦЕН — А. А. ГЕРЦЕНУ

20 июня 1851 г.

Любезный Саша, тебе через пять дней будет 12 лет. Поздравляю тебя, мой друг, ты становишься больше и больше человеком. Пора тебе продолжать начатое мною: я сам был по тринадцатому году, когда пошел по трудной дороге, и вот 25 лет шел я по ней; ни тюрьма, ни ссылка, ни даже вы все не отклонили меня, я служил на пользу России словом и делом... Теперь я устал, но тебе приготовил и место, и имя, которое ты можешь носить с гордостью; ты будешь уметь воспользоваться им, ты будешь продолжать спокойнее и дольше — я буду радоваться твоим успехам. Но для этого первое дело — образование: учись, учись и учись...

## А. И. ГЕРЦЕН — Н. А. ГЕРЦЕН

Декабрь 1852 г.

Я очень рад, что ты пишешь по-французски, моя душечка Тата, но главное — говори всегда по-русски. Ты — русская девочка и должна Олю учить по-русски...

## А. И. ГЕРЦЕН — СЫНУ МОЕМУ АЛЕКСАНДРУ

1 января 1855 г.

Друг мой Саша!

Я посвящаю тебе эту книгу[1], потому что я ничего не писал лучшего и, вероятно, ничего лучше не напишу; потому что я люблю эту книгу как памятник борьбы, в которой я пожертвовал многим, но не отвагой знания; потому, наконец, что я нисколько не боюсь дать в твои отроческие руки этот, местами дерзкий, протест независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи, против нелепых идолов, принадлежащих иному времени и бессмысленно доживающих свой век между нами, мешая одним, пугая других.

Я не хочу тебя обманывать: знай истину, как я ее знаю; тебе эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованиями, а просто по праву наследства.

В твоей жизни придут иные вопросы, иные столкновения... в страданиях, в труде недостатка не будет.

Тебе 15 лет — и ты уже испытал страшные удары.

Не ищи решений в этой книге — их нет в ней, их вообще нет у современного человека. То, что решено, то кончено, а грядущий переворот только что начинается.

## А. И. ГЕРЦЕН — СЫНУ

29 сентября 1858 г.

...Пора узнать твою будущую и подробную программу занятий. Помни, что тебе в особенности недостает классического образования, т. е. того общего очеловечивания, которое именно и называется «humaniora». При специальных занятиях естественными науками тебе будет мудрено сделать многое, но, несколько образовав себя чтением и посещением какого-нибудь курса философского, можешь воспитать себя сколько-нибудь и в эту сторону. Без нее страшно то, что легко можно впасть в ремесленничество науки и за множеством фактов потерять общность дела [1].

Товарищи тебе помогут в отыскании источников или средств по части философии. Напиши, кто читает в Вюрцбурге и что читает и чем руководствуется по части философии.

Далее, не забывай, что самое колоссальное орудие многостороннего образования — чтение. Так как ты до сих пор не был большим начетчиком, то ты можешь ограничиться теми книгами, о которых записку мы раз составляли.

Не мешает ознакомиться и с древностью — не только по школьным книгам. Возьми Фоссов перевод Гомера, Софокл также хорошо переведен.

Исторические сочинения постоянно надобно читать. Шлецера «История XVIII ст.» очень полезна. Ты продолжай Альтгаузовы уроки. Я здесь нашел огромное сочинение на немецком — Страль и Германа... Возьми-ка ее в библиотеке и прочти, напр., с Петра I.

## А. И. ГЕРЦЕН — СЫНУ

22 июня 1859 г.

Вероятно, любезный Саша, ты получишь это письмо в самый день твоего рождения. Двадцать лет! И первое рождение вне дома! Мне это страннее, чем тебе...

Треть или почти треть жизни прошла для тебя; через год — гражданское совершеннолетие. Еще года два — и настанет время деятельности... а для нее надобно быть сильно вооруженным или вперед знать, что останешься в задних рядах. Я не считаю, чтоб раннее развитие было особенно необходимо; человек может много приобрести после школьного учения, но основания и занятий и всего умственного быта складываются в юности.

Из твоих писем я никак не вижу, чтоб ты сверх занятий по части физиологии и пр. особенно читал что-нибудь дельное. Or dons без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания; Гете и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века, не так, как в науке, где он берет последний

очищенный труд, а как попутчик, вместе шагая и сбиваясь с дороги.

Чтение газет и журналов очень хорошо, но я говорю о книгах, о нескольких книгах, без которых человек не есть полный человек...

## А. И. ГЕРЦЕН — СЫНУ

7 февраля 1860 г.

Не будем длить этой переписки, т. е. об этом и оставим главные вопросы до того времени, когда ты всеми силами ума и сердца поймешь задачу. Ты своего положения не понимаешь — это ясно. Быть свободным человеком — вещь очень хорошая и совершенно отрицательная...

Высокое значение всей истории — страстная борьба. И наука может быть борьбой, мучением и величайшим благом — но только когда она входит в душу с своими вопросами на жизнь и смерть. Когда ты порядком вчитаешься в «Фауста», то поймешь, как Гете ярко разграничил ученого á la Каченовский — Вагнера и мыслителя á la Огарев — Фауста. И это не все. Чем смелее, чем безумнее человек чертит свое будущее, тем шире становится он.

Неужели у тебя недостает любопытства узнать — положить пальцы в раны той страны, которая теперь становится задачей для всех дальновидных умов? Швейцария — место покоя, ученой работы, но она не может дышать свободно,— она вся под влиянием Наполеона, даже Австрии; про остальную Европу и говорить нечего, а потому я совершенно понимаю Шурца, который ушел в Америку, и совершенно не понимаю русского, который из сурово-юного хаоса идет в хаос гнилого разложения. Твое действительное несчастье и в котором ты не несешь никакой ответственности — это твоя вторванность от всякой традиции: у тебя нет той Naturgewalt, которая дает национальную физиономию, цвет и стремление. Ты бесспорно выиграл тем, что из общества Дом(анже) и Бокэ перешел в чистую семью [1], но окончательно потеряешь свою физиономию — и это оттого, что она не была круто завернута, а не была таковой оттого, что ты вел пусто-рассеянную жизнь и не понимал дела, возле тебя подымавшегося...

Помни одно, что те чувства только святы, которые прошли горнило лет, испытаний и не кончаются, меняясь с географическим перемещением и временем года.

Помни и то, что жизнь не начинается, а завершается покоем.

Затем обнимаю тебя...

Тата не знает, что я пишу. Я продолжаю быть довольным ею, у нее больше той физиогномии, о которой я говорю, чем у тебя.

Кланяйся вашим.

# А. И. ГЕРЦЕН — СЫНУ

10 марта 1860 г.

Любезный Саша, и новое письмо твое меня сильно огорчило. Ты не понимаешь ни меня, ни жизни... идешь увлечениями и дошел до безумия — жениться в 20 лет.

Изведал ли ты свое чувство, был ли у тебя искус, выработал ли ты годами, искушениями закал твоему чувству? Ничего подобного — второгодичный студент, женатый в pendant к твоему товарищу из милиции. Жизнь, начинающаяся с конца,— жизнь без борьбы... Семейная жизнь — гавань, а тебе надобно плыть.

Да тут замешан и не ты один: ты влечешь в нелепый (по летам) брак девушку. Ну а если ты через два года ее разлюбишь? Где доказательства твоего твердого постоянства? И что мы за немцы — зачем все Фогты знают это? Сильное чувство — сильно скромно и не высказывается... Я тут вижу ряд несчастий для тебя и для себя, а потому, как друг и отец, я тебе скажу со всею откровенностью мое мнение. Я считаю безумием и патентом на пошлую или несчастную жизнь — жениться студентом 20 лет.

Если ты в самом деле имеешь истинное чувство, то оно проживет и до 25. Раньше 25 я, что касается до меня, не дам моего согласия, и это потому, что моя совесть, мой опыт и мой разум согласны. Нетерпеливые чувства подозрительны. Для того чтоб испытать себя, сделай усилие над собою и жертву — жертву не одной любви ко мне, но доверия,— так как мною не руководит в моем мнении об этом никакая мысль, кроме твоего счастия (которое ты должен взять в свои руки, но по крайней мере не ранее, как сойдя с ученической лавки и взглянувши на свет), то ты и прими это за последний совет — и за совет неизменяемый.

Жалею, что я не могу старушке Фогт рассказать, что я пишу, она поняла бы меня — я уверен.

Я столько же говорю для близкой ей девушки, как для тебя. Нелепость, комизм — начинать первую главу жизни браком — бросается в глаза.

Не говорю уже о том, какой гибельный пример для Таты,— тогда и ее воспитание окончено и потому же ей не идти замуж 16 лет...

Ты думаешь, что я сержусь за то-то, и то-то, например, что ты не едешь... в Россию,— совсем нет. Я сержусь, что все здание, которое я строил в мечтах о вашей жизни, мало-помалу осаживается, а может, на это доказательство — да вот, например: сколько я ни толковал, а ты не чувствуешь, что в России идет борьба и что эта борьба отталкивает слабых, а сильных именно потому и влечет она, что это борьба насмерть. Что ты ссылаешься на письмо в «Кол»? Разве он его окончил тем, чтобы бежать или лечь спать? Он его окончил боевым криком.

На днях будет в Берне Серно-Соловьевич (брат того, который

приезжал в прошедшем году[1]) — посмотри на упорную энергию его, это тот самый, который был у Александра II и написал ему, что дело освобождения не идет...

## А. И. ГЕРЦЕН — СЫНУ

21 декабря 1861 г.

Любезный Саша, твое письмо, само собою разумеется, меня и тронуло, и обрадовало. Вспомни наш последний разговор перед твоим отъездом. Самое важное — это что ты теперь сам понимаешь вопрос, и тогда беды нет, что ты в этой стороне отстал: ты молод, времени на работу много. Может, всего важнее то, что ты это чувствуешь,— это смирение искренное и ведущее вдаль. И как отец, и друг, я желаю, чтоб ты этим путем шел, чтоб я мог всегда и твердо опереться на тебя и тебе завещать часть нашего дела.

На твой вопрос о празднике мне отвечать трудно, не зная, что будет. Одно я тебе советую: веди себя как можно скромнее. Скажи, что ты одного ищешь и хочешь — сделаться русским и участвовать в предстоящем великом деле; благодари за меня, за Огарева — вот и все...

## А. И. ГЕРЦЕН — СЫНУ

14 июня 1862 г.

Я твоим письмом, как оно ни грустно, очень доволен. Ты, наконец, дошел до недовольства собой. Это первый шаг для выхода из праздной неопределенности, у тебя начинается страх перед будущим и почти раскаяние в прошедшем. Если ты серьезно вызовешь силу воли, если ты имеешь то, что называется характер — persévérance *, ты начинаешь совершеннолетнюю жизнь.— Ученым или артистом, политическим человеком или чем хочешь, но человеком, твердо идущим, на твердых нравственных основах — гласным, а не согласным.

Теперь, только теперь, может быть, ты поймешь, что такое за благо, что ты можешь иметь такого друга по преданию, как Огарев,— вот тебе рядом со мной маяк. Что его оскорбляет, против чего он, гуманнейший человек, восстает, того бойся.

* Упорство.

# А. И. ГЕРЦЕН — Н. А. ГЕРЦЕН

5—10 декабря 1862 г.

Милая моя Тата, десять лет тому назад я провожал тебя и Ольгу на Варский мост — вы ехали с Мар(ьей) Каспа(ровной) из Ниццы в Париж после похорон... Тебе было восемь лет; прощаясь, ты стала плакать, я дал тебе два франка, и ты утешилась тем, что купишь много апельсинов на них.

Вы поехали — мы пошли назад через мост, сели в коляску — и «поехали туда, где я жил» — так сказано в записной книге моей. «Дома у меня больше не было; с вашего отъезда все приняло холостой вид. Половина комнат была заперта. Один Саша напоминал возрастом и чертами, что тут была другая жизнь, напоминал кого-то отсутствующего».

И она, та, которая отсутствовала, говорила мне за сутки до своей кончины: «Береги Тату, с ней надобно быть осторожным, это — натура глубокая и необщительная».

Судьба тебя сберегла больше, чем я. Бедна любовь отца в сравнении с материнской болью о ребенке. Так ли, иначе ли, но хорошо, что ты со здоровой душой выходишь из ребячества.

И вот через 10 лет я опять провожаю тебя вдаль — тебя и Ольгу. Тебе 18 лет. В Америке девушки твоих лет действуют самобытно — занимаются делами, путешествуют совершенно одни и не теряются так жалко и беспомощно при всякой случайности, как наши барышни.

Твое сиротство, Тата, рано приучило тебя становиться на свои ноги. За тобой не следил с любовью и страхом взгляд матери, радуясь тебе и боясь ошибки, ободряя, предупреждая, вступаясь за тебя. Жаль тебя, но, друг мой, в наше время, в нашей среде крепость и сила — великое дело, великое освобождение.

Я не отпустил бы тебя в Италию, если б не верил в твой характер и такт. Поговорим же о твоем путешествии, из моих слов ты увидишь, чего я жду от тебя.

Ты едешь для живописи. Талант у тебя есть, но для развития таланта необходим упорный, выдержанный труд. Ни таланта, ни любви к искусству недостаточно, чтоб сделаться художником, один труд в соединении с ними может что-нибудь сделать. Без работы можно быть дилетантом, аматером — художником никогда. Итак, работа должна господствовать над всем в твоей жизни во Флоренции. Привычка к работе — дело нравственной гигиены. Для работы надо жертвовать многим, без сомнения. Но ведь истинной любви вообще нет без жертвы, и там, где любовь к чему бы то ни было истинная, там жертва легка. К тому же искусство не так как боги, которым тоже люди не умеют поклоняться иначе как жертвоприношениями,— оно требует мало, а дает очень много.

Оно требует сосредоточенности и исключения пустой суеты и тревоги праздной жизни. Для этого необходимо как можно меньше иметь сношений с людьми, ничем не занимающимися, с людьми,

пропадающими от скуки, т. е. пустейшими из пустейших. В эстетическом отдыхе от работы недостатка не будет; во Флоренции, может, встретятся два, три знакомых, дельных и занимающихся. Само собой разумеется, что от них не надо бежать, но, скажу откровенно, лучше и их не искать. От первых дней вашего приезда будет зависеть все остальное время. Если в самом начале ты не сумеешь поставить свою работу независимо от внешних помех, ты не сладишь впоследствии.

Люди, вовсе не думая, по лени и небрежности, накладывают на себя совершенно ненужные вериги внешних обязанностей и с ропотом таскают их потом, не имея силы порвать их; это смешно и слабо; les exigences du monde * в самом деле не требуют столько; свет очень принимает всякую самобытную волю, когда она является наивно и просто, не как упрек и не как порицание. И потому не ссылайся на внешние невозможности; устроиться так или иначе зависит от себя.

Теперь перехожу к другому предмету, близкому мне. На тебе лежит святая обязанность относительно Ольги. Вы будете долго с ней почти одни; воспользуйся этим временем, чтоб теплее сблизиться. Ольга очень жива и вследствие этого резва через край. Ты еще настолько молода, что не имеешь терпимости совершеннолетия. Я не виню тебя за это, но думаю, что тебе на это надобно обратить внимание. Шалости ее с летами пройдут; но если вы успеете горячо сблизиться, сближение это не пройдет. Для Ольги ты представляешь семью, ее предания, даже родину; умей, друг мой, становиться выше детской шалости. Учи ее непременно по-русски — этого я требую. Об Ольге и твоей работе пиши мне всякий раз и довольно подробно; время на это найдется.

Я хотел, чтоб вы ехали через Ниццу. Я хотел, чтобы, вступая в Италию, в новый отдел жизни, ты посетила нашу могилу, чтоб ты привела туда Ольгу,— и вместе, с благоговением поклонились земле, под которой схоронена ваша мать, цветам, растущим на ней.

Ольга не знала ее почти совсем. И ты не много знала. «Мне ужасно,— писала она в одном из предсмертных писем,— думать, что дети не будут знать меня».— «Они будут тебя знать»,— отвечал я много раз. И вы узнаете ее. Пока верьте мне — это была великая женщина, и по мысли, и по сердцу, и по бесконечной поэзии всего бытия ее.

Прощайте, Тата и Ольга, именем своим и именем покойной матери благословляю вас на ваш путь... Буду с трепетным сердцем ждать вестей, буду думать об вас, и да будет жизнь ваша в Италии полна кротости, мира и гармонии и проникнута серьезной любовью к искусству.

Обнимаю вас дружески и горячо. Берегите себя — не только для себя, но и для меня.

Ваш отец.

* Светские требования (франц.).— *Ред.*

# МОСКОВСКИМ ДРУЗЬЯМ

5 сентября 1853 г. Лондон

Провел я два дня с Михаилом Семеновичем (Щепкиным). Пусть он расскажет трагедию, окончившую мою жизнь. Мне сначала было очень хорошо от его приезда, а теперь заволокло опять. Да, мы если не расходимся, то разводимся обстоятельствами дальше и дальше...

...Одно завещал бы я вам — детей. Я верю в Россию и люблю ее, я не хочу, чтоб они были иностранцами. После моей смерти дорога им раскроется — примите их и (ведите) в память былого. Я хочу, чтоб они воротились... Берегите Сашу, он вырос в среде воли.

Целую от чистой души много и очень много вас.

Прощайте.

# Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

# Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
# (1828—1889)

*Николай Гаврилович Чернышевский родился 12(24) июля 1828 г. в Саратове. Его отец Гаврила Иванович, в молодости педагог, был, как свидетельствуют близкие, «по своему времени и кругу человек ученый». Крепкие узы взаимного уважения и любви связывали отца и сына. От отца идет любовь Чернышевского к книге. В домашней библиотеке были книги от Цицерона и Гомера до Карамзина и Пушкина.*

*Летом 1846 г. Чернышевский уезжает в Петербург и поступает в университет на историко-филологический факультет. В студенте Чернышевском поражает широта и основательность духовных запросов, самостоятельность, тяга к самовоспитанию, самообразованию. Внимание Чернышевского-студента все более концентрируется на российской словесности, ее роли в разрешении судеб народных.*

*К концу университетского курса в основном завершилось становление революционного мировоззрения Н. Г. Чернышевского. Он утверждается на позиции революционного демократизма: «Я стал по убеждению в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев» (запись в «Дневнике» от сентября 1848 г.). Свои думы о России он выразил в краткой формуле: «Неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее». «Через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны»,— записывает он в «Дневнике» 11 июля 1849 г. Он мечтает о создании нелегальной типографии («тайном станке»), чтобы «напечатать манифест, в котором провозгласить свободу крестьян», он чувствует в себе силу решиться на это «и не пожалеть, когда стану погибать за это дело». В этой записи 14 мая 1850 г. Чернышевский как бы предсказывал свою судьбу.*

*После окончания университета Н. Г. Чернышевский два года работает учителем словесности в Саратовской гимназии. С приходом Чернышевского в гимназию содержательно обогатились уроки словесности. Отказавшись от догматических методов изучения, он положил в основу преподавания чтение и разбор произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова. Художественную литературу Чернышевский называл учебником, который обогащает интеллектуальный мир человека, помогает ему понять жизнь, людей, самого себя, способствует нравственному и эстетическому воспитанию, формирует гражданские чувства.*

*Педагогическая деятельность Н. Г. Чернышевского продолжалась недолго. Весной 1853 г. он переезжает в столицу и напряженно работает над диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности», преподает отечественную словесность в военных училищах, сотрудничает в ряде печатных органов («Атеней», «Отечественные записки», «Молва», «С.-Петербургские ведомости» и др.). В конце ноября 1853 г. Чернышевский знакомится с Некрасовым и начинает сотрудничать в «Современнике». С этого времени работа в журнале становится основным делом его жизни. В 1856—1862 гг. он печатает в журнале статьи и обзоры по самым различным научным и политическим вопросам, завоевывает славу лучшего литературного критика, идейного продолжателя В. Г. Белинского. В 1856 г. началась творческая дружба Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.*

*Основной идеей всех работ Чернышевского является пламенный патриотизм, с позиций которого оценивается прошлое страны, творчество корифеев ее духовной культуры. Осмысливание исторического прошлого было необходимо и для правильной оценки настоящего, и для поиска путей в будущее, для обеспечения счастья народного. Рассматривая литературу как важнейшее средство политического воспитания народа, Чернышевский неоднократно указывал, что просвещение масс надо начинать с простых проблем, понятых широким кругом читателей, постепенно ведя их к пониманию важнейших вопросов политического устройства общества, высоким идеалам гуманизма.*

*В 1860—1861 гг. Чернышевский продолжил обоснование своей политической программы. Он публикует цикл работ, посвященных острейшим проблемам экономической науки. Теоретические искания привели его к социалистическому идеалу. В России, по его мнению, свобода и социализм нерасторжимо слились, подлинное народоправие возможно лишь в условиях социализма. Это было великое завоевание русской теоретической мысли. Оно ставило Чернышевского выше всего домарксовского социализма, отрывавшего друг от друга демократию, революцию, социализм, сторонившегося политической борьбы, не верившего в массы, возлагавшего все свои упования на сильных мира сего.*

*Выступления Н. Г. Чернышевского в легальной печати образовали цикл, посвященный пропаганде, обоснованию, отстаиванию революционно-демократической программы, которая в сжатой форме, доступной пониманию широких масс, излагалась в нелегальных прокламациях. Одно нельзя понять без другого. Только взятая в единстве легальная и нелегальная деятельность Чернышевского позволяет во всем объеме понять величие поставленных им задач, глубину их аргументации, гибкость, мастерство в формах и средствах борьбы. Он умел, по глубокому определению В. И. Ленина, и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционных борцов.*

*Важной частью программы политического воспитания масс явились выступления Чернышевского по проблемам, связанным*

*с постановкой школьного дела в стране. Так, анализируя отчет министра народного просвещения за 1857 г., Н. Г. Чернышевский показал, что в России на 100 человек приходилось всего 5 человек грамотных, на 60 млн. населения — 2334 школы. «В целой Западной Европе, имеющей около 200 млн. жителей,— писал он,— не найдется столько безграмотных людей, как в одной нашей родине» (V, 695)*. Причины пагубного состояния школьного дела в России Н. Г. Чернышевский усматривал в самом социально-экономическом и общественно-политическом строе, в реакционной сущности официальной педагогики, в отсталости педагогической теории. В отличие от педагогов официального и либерального направлений он считал распространение просвещения важнейшей социально-педагогической проблемой, органически связанной с необходимостью изменения существовавшего строя. Первым из русских мыслителей Н. Г. Чернышевский указал на диалектическую взаимосвязь политической власти, материального благосостояния и образования. «Кто находится в нищете, тот не может развить своих умственных сил; в ком не развиты умственные силы, тот не способен пользоваться властью выгодным для себя образом; кто не пользуется политической властью, тот не может спастись от угнетения, т. е. от нищеты, т. е. и от невежества» (VII, 97—98). Чернышевский вплотную подошел к научному пониманию роли социальных условий в воспитании и развитии личности. Раскрепощение крестьянства, уничтожение дикого самовластия, наделение крестьян землей — вот необходимые предпосылки духовного раскрепощения всего народа и каждого отдельного человека.*

*Педагогическое наследие Н. Г. Чернышевского имеет ряд особенностей, связанных с его ролью в журнале «Современник». Помимо общего руководства он вел политический отдел, выступая со статьями, посвященными важнейшим вопросам теории. В последний период своей свободной творческой деятельности (1861—1862 гг.) Чернышевский всецело сосредоточился на проблемах, связанных с борьбой за политическую свободу. По его мнению, без политической свободы невозможна жизнь, развитие общества, науки, просвещения. Вопросы школы, педагогики, содержания, форм и методов обучения затрагивались Чернышевским в статьях, посвященных проблемам общественной жизни. Педагогические мысли Н. Г. Чернышевского сохраняют актуальность и в наши дни. В статье «Суеверие и правила логики», посвященной анализу причин отсталости страны, автор указывает на тесную взаимосвязь между уровнем экономического развития, политическим устройством и уровнем образованности общества. По словам Чернышевского, «только просвещенный народ может успешно работать» (V, 695). Этот принцип он развил в статье «Июльская монархия» (1860). Он писал, что улучшение общественного и материального положения является необходимым условием развития просвещения и улучшения нравов (IV, 842). Большое значение*

* Цит. по: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 16-ти т. М., 1932—1953.

*он придавал формам трудовой деятельности людей: «Прежняя теория говорит: все производится трудом, новая теория добавляет: и потому все должно принадлежать труду» («Что делать?»). И только в обществе, где полноправным хозяином станут люди труда, будут созданы условия для развития просвещения, для гармоничного развития всех членов общества.*

*В своих экономических и философских работах Чернышевский немало страниц отвел проблеме общественной значимости педагогического труда. Он указывал, что труд воспитателя по подготовке молодого поколения к жизни, деятельности, имеет много общих черт с другими формами общественно необходимого, производительного труда, но специфика труда учителя в том, что его конечным продуктом и целью является не производство жизненных благ, «не предмет, посторонний человеку, а сам человек» (IX, 549). Чернышевский развил мысль Белинского о великой роли воспитания, которое решает участь человека. По его мнению, целью воспитания является формирование активной личности, озабоченной общественными интересами, страдающей и борющейся за народное благо. «Лучше не развиваться человеку,— писал он,— нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, побуждаемых участием в них. Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую пользу, т. е. исключены гражданские мотивы, что останется наблюдать мне? В чем останется участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с узенькими личными заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах» (V, 169). Чернышевский заявлял, что без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувства гражданина ребенок, вырастая, становится существом средних, а потом и пожилых лет, но от этого не становится ни мужественнее, ни благороднее (V, 168). Сложны, ответственны задачи и цели педагогического труда, и велики требования, предъявляемые школе и учителю. Их может удовлетворить только педагог, не только обладающий обширными познаниями, но и любящий искренне детей, имеющий дар воспитателя, наставника. С горечью отмечал Чернышевский, что «пока в стране еще мало хороших школ и настоящих педагогов». «Науки нет в школах, в школах чопорное тупоумие невежд, средневековое уродство» (XV, 14). Казенная школа пронизана духом сословности. Она готовит не граждан, а чиновников, рассматривающих образование только под углом зрения выгод, которые дает аттестат. Дело здесь не в титулах, отмечал Чернышевский, а в привычке занимать высокое общественное положение. В казенной школе учителя глушат любознательность учащихся, подавляют их волю и ум, забивая голову пересказами дурных устаревших учебных пособий на основании официально рекомендованных свыше дурных приемов и методов преподавания. Вся система воспитания, образования нуждается в коренном обновлении.*

*Подобно другим педагогам-демократам, Н. Г. Чернышевский отстаивал принцип сочетания в обучении естественных и гуманитарных дисциплин, одновременно указывая на необходимость освобождения учебных программ от устаревших, оторванных от жизни предметов. В своих философских сочинениях, например в работе «Антропологический принцип в философии», он выдвинул идею единства физических и духовных начал в человеке, о тесной связи человека с природой. В цикле гуманитарных наук Чернышевский наибольшее значение придавал изучению родного языка, истории, отечественной словесности. История, прежде всего отечественная, по мнению Чернышевского, оказывает огромное воздействие не только на умственное, но и на нравственное развитие молодежи, знакомит ее с закономерностями общественного развития, судьбами народов. Основательное знание прошлого, пройденных народом путей помогает лучше понимать настоящее, определять пути в грядущее. История играет большую роль в патриотическом воспитании народа.*

*Чернышевский отстоял и развил дальше идеи Белинского о народности и патриотическом воспитании. По его мнению, принцип народности ведет не только к познанию и правдивому отражению жизни народа, но и к активной борьбе за народные интересы, за осуществление сокровенных надежд народа. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» он показал роль художественной литературы как средства познания и преобразования действительности, раскрытия внутреннего мира человека. Преподавание литературы Чернышевский считал одним из самых важных средств воспитания у молодежи действенного патриотизма, активной жизненной позиции, выработки стойких убеждений, развития эстетических воззрений и вкусов. Указывая на служение Белинского своей Родине, Чернышевский писал: «Значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силой его патриотизма» (III, 137). Подлинное образование, просвещение несовместимо с политическим деспотизмом, указывал Чернышевский. Угнетенный народ не может не отставать в экономическом и культурном развитии. Только политическое освобождение страны создаст условия для формирования нового поколения педагогов, подлинных просветителей своего народа. Но все это не придет самотеком, педагогам самим следует стать активными участниками общественной жизни и борьбы, в ходе которой и произойдет их перевоплощение, преображение. «Воспитателю должно перевоспитать самого себя и переучиться: ему следует сделаться из скучного, бестолкового, сурового педанта добрым и рассудительным преподвателем, отбросить дикие понятия, которыми загромождён здравый смысл в его голове, приобрести взамен их разумные» (X, 913). В борьбе с религиозным, официальным пониманием нравственности, направленной на подавление личности, переносившей удовлетворение потребностей и стремлений человека в потусторонний мир, Чернышевский вслед за Герценом и Фейербахом развивал теорию так*

*называемого разумного эгоизма. Ее суть состояла в реабилитации земных, реальных, жизненных потребностей, интересов человека, в воспитании умения и желания встать на их защиту. Раскрывая значение такого понимания теории эгоизма, В. И. Ленин отмечал, что это не эгоизм мещанина, буржуа, а философский принцип сообразности человеческих поступков с разумом, с природой вопреки религиозной фантастике и политической деспотии (см.: Полн. собр. соч. Т. 29. С. 45).*

*Согласно Чернышевскому, поведение человека определяет разум, продуманный расчет, направленный на удовлетворение своих и общественных потребностей. С этим связано и понимание им таких основополагающих этических категорий, как добро, польза, счастье, долг. Для полного торжества добра необходимо коренное изменение существующих порядков, установление полного равноправия людей, равных между ними отношений (VII, 288—290; XI, 275).*

*Носителем идеала высокой нравственности у Чернышевского являются новые люди, прежде всего Рахметов. «Разумный эгоист» Чернышевского готов по внутреннему убеждению идти на величайшие жертвы, вплоть до самопожертвования, в борьбе за благо народное и считает такое поведение естественным, внутренне ему необходимым: «Хороша жизнь, но самое лучше счастье — не пожалеть, если надобно, и самой жизни своей для блага людей» (XVI, 324).*

*В нравственном воспитании Чернышевский большую роль отводил труду. Критерием действенности всей системы воспитания, показателем зрелости человека является, по его мнению, практическая деятельность, активность включения молодежи в борьбу за народное счастье, благосостояние. В 1862 г. Чернышевский призвал педагогическую общественность к активному включению в революционную борьбу. Он писал: «Деятели народного образования должны заботиться о том, как бы улучшить материальное положение народа» (X, 507). В условиях того времени это означало включение педагогов в борьбу за коренной пересмотр грабительской «крестьянской реформы», за свободу.*

*Особое значение в наследии Н. Г. Чернышевского имеют его прокламации: «Барским крестьянам...» и «Великорусс» — первые в истории освободительного движения в России политические листовки. Педагогический аспект этого особого жанра публицистики, сыгравшего столь важную роль в политическом воспитании народа, несомненен и заслуживает специального исследования. Конечно, прокламации Чернышевского — это не трактаты о воспитании, но их с полным правом можно отнести к педагогической деятельности мыслителя, конкретному воплощению и применению определенных, продуманных и весьма действенных приемов, методов политического воспитания и обучения. Автор их поражает своим громадным даром пропагандиста-воспитателя, просветителя, своим умением решать сложнейшие проблемы и вопросы с учетом особенностей тех слоев и групп населения, к которым адресует*

*свои послания. Как прост, ясен, убедителен, последователен автор в обращении к барским крестьянам! Как он строг к лексике, понятийному аппарату своего текста! Прокламация написана речью близкой к народной, в ней широко используются народные пословицы и поговорки. Автор органично включает их в ткань своих рассуждений. Форма изложения тоже весьма близка к задушевной беседе, обсуждению самых острых волнующих вопросов жизни.*

*«Великорусс» — это уже обращение не к простолюдинам, а к «образованным классам» («публике»), лицам свободных профессий, гордых своей эрудицией, независимостью суждений, оппозиционностью. На деле, правда, и Чернышевский это хорошо знал, «публика» не шла дальше деклараций в гостиных и редакциях. А надо было объединить этих «умеренных» и «крайних прогрессистов», подтолкнуть их к решительным действиям. Сплотить «образованную публику» Чернышевскому, однако, не удалось. Либеральная оппозиция после некоторых колебаний все же не пошла на союз с революционной демократией, готовой сделать ей серьезные уступки в целях достижения взаимоприемлемого политического соглашения.*

*В. И. Ленин высоко оценивал «Великорусса» и его руководителей называл вождями («коноводами») демократического движения, отмечал, что, в отличие от либералов, они не болтали, а действительно боролись за свободу, за конституцию (см.: Полн. собр. соч. Т. 5. С. 36).*

*После «Великорусса» на повестку дня был поставлен вопрос о непосредственной подготовке общероссийского революционного выступления — «развязке топором». Эта новая расстановка сил в стране передана в последних перед арестом статьях Чернышевского. Речь шла об организационном назначении литературы, передовых ее органов в подготовке народного натиска на царизм.*

*В мае 1862 г., уже накануне ареста, Чернышевский публикует знаменитую статью «Научились ли?», в которой защищает студенческие демонстрации. Эта статья неразрывно связана с предшествующими выступлениями автора, в которых именно университетская молодежь прямо называлась выразительницей общественного мнения и наиболее деятельным борцом за социальный прогресс, за свободу мысли и слова. Автор статьи подчеркивает, что надо организовать народ, создать «партию действия», «вооружаться», готовиться к битвам — «нам нужны дела и люди дела», «полководцы нужны народу». Но и реакция приняла свои меры: Н. Г. Чернышевский и ряд виднейших, ближайших его соратников (Н. А. Серно-Соловьевич, М. Л. Михайлов, а также большая группа революционных студентов и офицеров) были арестованы.*

*Вождь всероссийской революционной демократии был предан суду Сената — высшей судебной инстанции царской России. Никакими уликами для вынесения обвинительного приговора власти не располагали. Все уловки и фальшивки следователей были им разоблачены и отбиты. Чернышевский был арестован 7 июля 1862 г. по обвинению в составлении «Великорусса», но власти не*

*располагали юридическими доказательствами; улик не оказалось. Отбил Чернышевский и обвинение о связях с «лондонскими пропагандистами». Тогда прибегли к подлогу, к услугам предателя. По прямому указанию Александра II суд, долгий и неправый, приговорил Чернышевского к каторжным работам с последующим лишением политических прав и поселением в Сибири. Его имя было запрещено употреблять в подцензурной печати. Н. Г. Чернышевский не только стойко выдержал неравную, изнурительную борьбу с царскими властями, но и вышел из нее победителем. Даже в условиях одиночного заключения в крепости, на каторге, в остроге он изыскивал средства борьбы с врагом. Чернышевский написал «Пролог» — эту сжатую и правдивую историю эпохи. Он считал сугубо важным делом для воспитания народа продуманное изложение опыта политической борьбы своего времени как первой попытки воплощения в жизнь демократической программы, выражающей коренные интересы простого люда, а следовательно, и общенациональные, общероссийские интересы.*

*Свой идеал человека Чернышевский создал, находясь в крепости, в романе «Что делать?». Он поставил проблему воспитания (и самовоспитания, которому отводил едва ли не рашающую роль) нового человека — революционера, борца за благо народное, за свободу, за социальную справедливость. Герой романа, Рахметов, воплотивший лучшие черты революционных деятелей того времени, близких соратников автора, оказал огромное влияние на современников, на последующие поколения. По словам Г. В. Плеханова, «почти в каждом из выдающихся русских революционеров была огромная доля рахметовщины» *. Роман «Что делать?» оказал значительное влияние на выработку мировоззрения молодежи 60—70-х гг. XIX в. «Для русской молодежи,— вспоминал П. А. Кропоткин,— повесть была своего рода откровением и превратилась в программу» **.*

*В. И. Ленин, говоря о влиянии на него романа Чернышевского «Что делать?», подчеркивал, что это произведение «дает заряд на всю жизнь». «Под его влиянием сотни людей делались революционерами... Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. Он меня всего глубоко перепахал» ***.*

* *Плеханов Г. В.* Соч. Т. 5. М., 1924. С. 121.

** *Кропоткин П. А.* Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907. С. 307.

*** *Валентинов Н.* Встречи с В. И. Лениным // В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1977. С. 647.

# ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Неоспоримо, что род человеческий совершенствуется; усовершенствование его простирается на все отрасли жизни его, духовной и телесной, умственной и физической. Подтверждения и доказательства на это так очевидны, что не нужно и представлять их. Самые упорные хвалители старины не могут отрицать, что настоящее поколение образованнее прошедшего, а мы в свою очередь должны сознаться, что потомки наши будут образованнее нас.

Как всякое развтие, так и ход человеческого образования может быть ускорен и замедлен, остановлен на время, даже на несколько времени возвращен назад: так, телесные силы не только остаются без приращения во время жестоких болезней, но и после того, как болезнь пройдет, человеку надобно долгое время, чтобы совершенно оправиться и войти в прежние силы. Бывают также и такие благоприятные обстоятельства, что силы нашего тела развиваются, как говорят, не по дням, а по часам. Точно то же случается и с развитием умственных сил каждого человека, то же и с ходом образования целого человечества.

Как ускорение, так и замедление образования и вообще весь ход его зависит от молодого поколения; и власть его в этом случае простирается не только на настоящее, но и далеко в будущее.

О настоящем нечего и говорить: молодое поколение одно в нем действует, от него зависит, чтобы время, в которое оно жило, принесло плоды для наук или осталось совершенно бесполезным; в этом [об этом? — *Н. Ч-я*] никто не может с ним спорить, ни препятствовать ему.

Но власть его простирается и на будущее: это видно уже из того, что своею недеятельностью оно замедлит на все время своего действования дальнейший ход образованности человечества.

Еще более: предшествовавшие поколения ему во власть предоставляют познания, ими накопленные: от него зависит воспользоваться ими или не воспользоваться; увеличить сумму их или уменьшить; передать их последующему человечеству умноженными или расточенными; да и последнее в его власти. Но можно ли расточить познания? Что же я делаю, как не расточаю их, когда забываю? Тем более проматывают их, когда истребляют памятники образованности предшествующих поколений.

Молодое поколение есть полный наследник того богатства, которое собрано предыдущими поколениями, и, так же как наслед-

ник какого-нибудь материального имения, может по произволу умножить его или расточить.

Знание — это неисчерпаемый рудник, который доставляет владетелям своим тем большие сокровища, чем глубже будет разработан. Конечно, владетель его не в силах уничтожить богатства, находящиеся в его недрах, но может продолжать или прекратить его разработку и самою этою остановкою затруднить дальнейшую разработку его своим наследникам...

А когда настоящее поколение умножит массу знаний, им наследованных, тогда, без сомнения, благодетельное влияние его деятельности распространится на всю будущность образования человечества.

Таким образом, молодое поколение имеет величайшее влияние и на будущие успехи человечества на пути образования.

Это совершенно подтверждается историей...

# СОЧИНЕНИЯ Т. Н. ГРАНОВСКОГО

## Том первый. М., 1856.

...Но если мы до сих пор еще слишком мало усвоили себе науку, то главною виною этому в настоящее время должны считаться не какие-нибудь внешние препятствия, как то было до Петра Великого, а равнодушие самого общества ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходит из круга личных житейских забот и личных развлечений. Это наследство котошихинских времен [1], времен страшной апатии. Привычки не скоро и не легко отбрасываются и отдельным лицом; тем медленнее покидаются они целым обществом. Мы еще очень мало знаем не потому, чтоб у нас не было дарований — в них никто не сомневается,— не потому, чтоб у нас было мало средств — великий народ имеет силу дать себе все, чего серьезно захочет,— но потому, что мы до сих пор все еще дремлем от слишком долгого навыка к сну. Оттого-то существеннейшая польза, какую может принести у нас обществу отдельный подвижник просвещения, посредством своей публичной деятельности, состоит не только в том, что он непосредственно сообщает знание — такой даровитый народ, как наш, легко приобретает знание, лишь бы захотел,— но еще более в том, что он пробуждает любознательность, которая у нас еще недостаточно распространена. В этом смысле лозунгом у нас должны быть слова поэта:

Ты вставай, во мраке спящий брат! [2]

Наконец, на людях, щедро наделенных природою и высокоразвитых наукою, есть у нас еще обязанность, мало развлекающая

силы западных ученых. Общество дает у нас мало опоры научным и человечным стремлениям; воспитание наше обыкновенно бывает неудовлетворительно: оно не полагает твердых оснований нашей будущей деятельности, не влагает в нас никакого сильного стремления, никакого определенного взгляда на самые простые житейские и умственные вопросы. Потому даже в людях наиболее даровитых и развитых, по уму, знанию и положению имеющих призвание быть деятелями просвещения, по большей части не бывает никаких бодрых и решительных стремлений; мысли их колеблются, перепутываются, деятельность не имеет никакой определенной цели; они часто готовы бывают блуждать сами в смутном хаосе недоумений, по воле случая направляясь то туда, то сюда, не приходя и сами ни к чему достойному внимания, не только не проводя за собою других к какой-нибудь возвышенной цели. Для них бывает нужен человек, который постоянно возбуждал бы в них желание искать истинный путь, постоянно указывал бы направление их деятельности, решал бы их недоумения, который был бы для них авторитетом и оракулом. Вообще, часто бывает нужно восставать против слепого увлечения авторитетами; быть может, настанет время, когда люди найдут, что могут обходиться и без авторитетов: тогда люди будут гораздо счастливее, нежели были до сих пор. Но пока — и это «пока» продолжится еще целые века — сила привычки и апатии так еще сильна, что большинство чувствует себя спокойным и уверенным только тогда, когда встречает объяснение стремлениям века и ободрение своим мыслям в каком-нибудь авторитете. Особенно должно сказать это о нашем молодом обществе. Оно не может, кажется, шагу ступить без поддержки какой-нибудь сильной отдельной личности. Явление, если говорить правду, само по себе прискорбное; но что же делать, когда иначе не бывает в известных периодах развития? Поневоле надобно признать, что люди, которые были авторитетами добра и истины, заслуживают глубокой благодарности за пользу, которую принесли, за успехи, совершенные под их влиянием и пока невозможные без них...

# ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ

## Июль 1856 г.

...Другая статья, обратившая на себя общее внимание, помещена в «Морском сборнике» и служит продолжением различных рассуждений о воспитании, о которых мы говорили в предыдущем нумере. Это «Вопросы жизни. Отрывок из забытых бумаг, выведенный на свет неофициальными статьями «Морского сборника» о воспитании», знаменитого нашего хирурга г. Пирогова.

Охотники спорить, пожалуй, захотели бы заметить в статье господина Пирогова некоторые частности, относительно которых

возможно держаться не того воззрения, какое кажется справедливым автору. Но в таком случае несогласие было бы более о словах, нежели о деле. О сущности дела, о коренных вопросах образованному человеку невозможно думать не так, как думает г. Пирогов. Вот эти коренные мысли, в высокой степени справедливые: воспитание главною своею целью должно иметь приготовление дитяти и потом юноши к тому, чтобы в жизни был он человеком развитым, благородным и честным. Это важнее всего. Заботьтесь же прежде всего о том, чтобы ваш воспитанник стал человеком в истинном смысле слова. Когда это основное, общее направление к знанию и правде уже достаточно утверждено в нем, тогда,— и только тогда, а не раньше,— пусть он сам под вашим руководством выбирает себе специальную дорогу, к которой наиболее расположен и способен. Если вы будете поступать иначе, с самого раннего детства заботясь только о том, чтобы сделать из вашего воспитанника офицера, и, притом еще, именно инфантерийского или кавалерийского, морского или инженерного офицера, или чиновника, или, притом, чиновника именно такого, а не другого министерства, и, для большей аккуратности, именно по таким-то и таким-то, а не по другим должностям,— вы сделаете очень важную ошибку, следствия которой будут вредны и для вашего воспитанника, и для общества. Вы, не дождавшись, пока у человека развился рассудок и характер, скуете его на всю жизнь, столкнете его на узкую дорогу, с которой уж нет ему выхода и идти по которой он почти всегда оказывается неспособен, потому что ведь выбор был делом слепого произвола, каприза с вашей стороны, а не разумного соображения его наклонностей и способностей. Что ж окажется в результате? Множество специалистов, не способных именно к своей специальности и не способных ни к чему иному, и мало людей, истинно знающих свое дело, а еще меньше того людей развитых, образованных и имеющих благородное направление. Да и чего же иного можно ждать? Жизнь — тяжелая борьба; в ней много и соблазнов и недоумений; а вы позаботились ли о том, чтобы приготовить юношу к честной борьбе с соблазнами, к светлому взгляду на недоумения? Нет, вы хлопотали только о том, чтобы механически вбить ему в голову какое-нибудь ремесло: чему же дивиться, если он не выдерживает житейской борьбы с соблазном, против которого не вооружили вы его ни развитостью ума, ни благородными убеждениями, и если редко он остается человеком чистым? Вы, не дождавшись развития его наклонностей и способностей, дали ему в руки ремесленный инструмент, что же удивительного, если он оказывается потом и неспособен и несклонен хорошо владеть этим инструментом, который ему вовсе не по рукам? Вы хромого сделали кровельщиком, глухого музыкантом, бессильного труса кучером: что ж чудного, если и кровельщик ваш, и музыкант, и кучер — все одинаково плохо исполняют свое дело? А если бы поступили вы разумно, подождав, пока можно будет различить качества этих людей и пока они поймут, к чему они годны, тогда и результаты были бы не те: тому

глухота не помешала бы сделаться хорошим кровельщиком, другому трусость — хорошим скрипачом, третьему хромота — хорошим кучером. Произвол ваш не дал развиться людям и перепутал специальности — в результате получилось: неспособность, невежество и отсутствие твердой честности. А поступайте иначе, сообразно здравому смыслу и природе — и все должно пойти гораздо лучше.

Кто и не хотел бы, должен согласиться, что тут все — чистая правда — правда очень серьезная и занимательная не менее лучшего поэтического вымысла. Теперь читатель знает общую мысль «Вопросов жизни» г. Пирогова; познакомим его с некоторыми отрывками размышлений нашего гениального специалиста.

Эпиграф статьи очень удачен:

— К чему вы готовите вашего сына? — Кто-то спросил меня.

— Быть человеком,— отвечал я.

— Разве вы не знаете,— сказал спросивший,— что людей собственно нет на свете? Это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.

— Правда это или нет?

Вот и начало статьи, не менее прекрасное:

Мы живем, как всем известно, в девятнадцатом веке, по преимуществу практическом.

Отвлечения, даже и в самой столице их, Германии, уже не в ходу более. А человек, что ни говори, есть, действительно, только одно отвлечение.

Зоологический человек, правда, еще существует с его двумя руками и держится ими крепко за существенность; но нравственный вместе с другими старосветскими отвлечениями, как-то плохо принадлежит настоящему.

Впрочем, не будем несправедливы к настоящему. И в древности искали людей днем с фонарями, но — все-таки искали.

Правда, языческая древность была не слишком взыскательна. Она позволяла иметь все возможные нравственно-религиозные убеждения: можно было ad libitum[1] сделать эпикурейцем, стоиком и пифагорийцем; только худых граждан она не жаловала.

Несмотря на все наше уважение к неоспоримым достоинствам реализма настоящего времени, нельзя, однако же, не согласиться, что древность как-то более дорожила нравственною натурою человека.

Правительства в древности оставляли школы без надзора и считали себя не вправе вмешиваться в учения мудрецов. Каждый из учеников мог пролагать впоследствии новые пути и образовать новые школы. Только жрецы, тираны и зелоты от времени до времени выгоняли, сжигали и отравляли философов, если их учения уже слишком противоречили поверьям господствующей религии: да и то это делалось по интригам партий и каст.

Язычество древних, не озаренное светом истинной веры, заблуждалось, но заблуждалось, следуя принятым и последовательно проведенным убеждениям.

Если эпикуреец утопал в чувственных наслаждениях, то он делал это, основываясь хотя и на ложно понятом учении школы, утверждавшей, что «искать по возможности наслаждения и избегать неприятного — значит быть мудрым».

Если стоик делался самоубийцею, то это случалось от стремления к добродетели и идеалу высшего совершенства.

Даже кажущаяся непоследовательность в поступках скептика извиняется учением школы, проповедовавшей, что «ничего нет верного на свете и что даже сомнение сомнительно».

В самых грубых заблуждениях языческой древности, основанных всегда на известных нравственно-религиозных началах и убеждениях, проявляется все-таки самый существенный атрибут духовной натуры человека — стремление разрешить вопрос жизни о цели бытия.

Теперь нет этой последовательности, нет этой честной верности своим нравственным убеждениям, потому что воспитание обыкновенно и не заботится о приготовлении воспитанника к честной последовательности в жизни: оно только учит мастерству, и юноша, не имеющий ни правил, ни понятий, кроме принадлежащих его ремеслу, вдруг становится среди общества, которое предлагает ему принять тот или другой из взглядов на цель и правила человеческой жизни. Каковы ж эти взгляды? Вот для примера некоторые из них:

Вот, например, *первый* взгляд, очень простой и привлекательный. Не размышляйте, не толкуйте о том, что необъяснимо. Это, по малой мере, лишь потеря одного времени. Можно, думая, потерять и аппетит и сон. Время же нужно для трудов и наслаждений, труды и наслаждения — для счастия.

Вот *третий* взгляд — старообрядческий. Соблюдайте самым точным образом все обряды и поверья. Читайте только благочестивые книги, но в смысл не вникайте. Это главное для спокойствия души. Затем, не размышляя, живите так, как живется.

Вот *четвертый* взгляд — практический. Трудясь, исполняйте ваши служебные обязанности, собирая копейку на черный день. В сомнительных случаях, если одна обязанность противоречит другой, избирайте то, что вам выгоднее или, по крайней мере, что для вас менее трудно. Впрочем, предоставьте каждому спасаться на свой лад. Об убеждениях, точно так же как и о вкусах, не спорьте и не хлопочите. С полным карманом можно жить и без убеждений.

Вот *пятый* взгляд, также практический в своем роде. Хотите быть счастливыми, думайте себе что́ вам угодно и как вам угодно, но только строго соблюдайте все приличия и умейте с людьми уживаться. Про начальников и нужных вам людей никогда худо не отзывайтесь и ни под каким видом им не противоречьте. При исполнении обязанностей, главное, не горячитесь. Излишнее рвение не здорово и не годится. Говорите, чтобы скрыть, что́ вы думаете. Если не хотите служить ослами другим, то сами на других верхом ездите: только молча, в кулак себе, смейтесь.

Вот *шестой* взгляд, очень печальный. Не хлопочите: лучшего ничего не придумаете. Новое только то на свете, что хорошо было забыто. Что будет, то будет. Червяк на куче грязи, вы смешны и жалки, когда мечтаете, что вы стремитесь к совершенству и принадлежите к обществу прогрессистов. Зритель и комедиант поневоле, как ни бейтесь, лучшего не сделаете. Белка в колесе, вы забавны, думая, что бежите вперед. Не зная, откуда взялись, вы умрете, не зная, зачем жили.

Вот *восьмой* взгляд, и очень благоразумный. Отдаляйте теорию от практики. Принимайте какую вам угодно теорию для вашего развлечения, но на практике узнавайте, главное, какую роль вам выгодно играть; узнав, выдержите ее до конца. Счастие — искусство. Достигнув его трудом и талантом, не забывайтесь; сделав промах, не пеняйте и не унывайте. Против течения не плывите.

Спрашивается: что́ выйдет из юноши, поставленного среди таких понятий о жизни, без всякого приготовления к борьбе с ними? Примеры мы видели и видим,— и, чтобы они, по крайней мере, не повторялись в будущем, воспитание должно изменить свой характер, и не к ремеслу только, а прежде всего к честной борьбе с соблазнами жизни должно оно готовить нас:

Приготовить нас с юных лет к этой борьбе — значит именно:

*Сделать нас людьми.*

То есть тем, чего не достигнет ни одна наша *реальная школа* в мире, заботясь сделать из нас, с *самого нашего детства,* негоциантов, солдат, моряков, духовных пастырей или юристов.

Человеку не суждено и не дано столько нравственной силы, чтобы сосредоточивать все свое внимание и всю волю в одно и то же время на занятия, требующие напряжения совершенно различных свойств духа.

Погнавшись за двумя зайцами, ни одного не поймаешь.

На чем основано приложение реального воспитания к самому детскому возрасту?

Одно из двух: *или* в реальной школе, назначенной для различных возрастов (с самого первого детства до юности), воспитание для первых возрастов ничем не отличается от обыкновенного, общепринятого.

*Или* же воспитание этой школы с самого его начала и до конца есть совершенно отличное, направленное исключительно к достижению одной известной, практической цели.

В первом случае нет никакой надобности родителям отдавать детей до юношеского возраста в реальные школы, даже и тогда, если бы они, во что бы то ни стало, самоуправно и самовольно, назначили своего ребенка еще с пеленок для той или другой касты общества.

Во втором случае можно смело утверждать, что реальная школа, имея преимущественною целию практическое образование, не может в то же самое время сосредоточить свою деятельность на приготовлении нравственной стороны ребенка к той борьбе, которая предстоит ему впоследствии, при вступлении в свет.

Да и приготовление это должно начаться в том именно возрасте, когда в реальных школах все внимание воспитателей обращается преимущественно на достижение главной, ближайшей цели, заботясь, чтобы не пропустить времени и не опоздать с практическим образованием. Курсы и сроки учения определены. Будущая карьера резко обозначена. Сам воспитанник, подстрекаемый примером сверстников, только в том и полагает всю свою работу, как бы скорее выступить на практическое поприще, где воображение ему представляет служебные награды, корысть и другие идеалы окружающего его общества.

Отвечайте мне, положив руку на сердце, можно ли надеяться, чтобы юноша в один и тот же период времени изготовлялся выступить на поприще, не самим им выбранное, прельщался внешними и материальными выгодами этого, заранее для него определенного поприща и вместе с тем серьезно и ревностно приготовлялся к внутренней борьбе с самим собою и с увлекательным направлением света?

Не спешите с вашею прикладною реальностью. Дайте созреть и окрепнуть внутреннему человеку: наружный успеет еще действовать; он, выходя позже, но управляемый внутренним, будет, может быть, не так ловок, не так сговорчив и уклончив, как воспитанник реальных школ, но зато на него можно будет вернее положиться: он не за свое не возьмется.

Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку, дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а главное — у вас будут люди и граждане.

Значит ли это, что я предлагаю вам закрыть и уничтожить все реальные и специальные школы?

Нет! Я восстаю только против двух вопиющих крайностей.

Для чего родители так самоуправно распоряжаются участью их детей, назначая их, едва выползших из колыбели, туда, где, по разным соображениям и расчетам, предстоит им более выгодная карьера?

Для чего реально-специальные школы принимаются за воспитание тех возрастов, для которых общее человеческое образование несравненно существеннее всех практических приложений?

Кто дал право отцам, матерям и воспитателям властвовать самоуправно над благими дарами творца, которыми он снабдил детей?

Кто научил, кто открыл, что дети получили врожденные способности

и врожденное призвание играть именно ту роль в обществе, которую родители сами им назначают? Уже давно оставлен варварский обычай выдавать дочерей замуж поневоле, а невольный и преждевременный брак сыновей с их будущим поприщем допущен и привилегирован; заказное их венчание с наукой празднуется и прославляется, как венчание дожа с морем!

И разве нет другого средства, другого пути, другого механизма для реально-специального воспитания? Разве нет другой возможности получить специально-практическое образование в той или другой отрасли человеческих знаний как распространяя его насчет общего человеческого образования?

Вникните и рассудите, отцы и воспитатели!

Когда мы припомним, какое важное значение имел и продолжает иметь во всех образованных европейских государствах вопрос о необходимости общего воспитания и о степени участия, которое может быть уступлено специальным наукам в высшем преподавании, и вспомним, в каком смысле решается повсюду этот спор, вспомним, например, о том, много ли военных школ существует во Франции, славной своею воинственностью, мы оценим и высокий интерес и чрезвычайную справедливость этих мнений о необходимости, чтобы общечеловеческое образование играло главную роль в воспитании,— мнений, которые с такою силою высказывает — не забудем — человек, который всеми единогласно признан знаменитейшим из всех наших ученых в настоящее время. Если он — слава наших специалистов — говорит, что специализм обманчив, вреден и для общества, и для самого обрекаемого на специализм, когда не основан на общем образовании, кто у нас может сказать: «Я лучший судья в этом деле, нежели г. Пирогов?» Кто имеет у нас право не принять в уважение его мнения? Слова г. Пирогова, без сомнения, будут иметь сильное и благодетельное влияние на образ мыслей в нашем обществе. Честь и слава г. Пирогову за прекрасное и решительное выражение таких здравых убеждений; полная честь и «Морскому сборнику» за помещение таких статей.

# ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

...Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни.

Действительность выше мечты, и существенное значение выше фантастических притязаний.

Задачею автора было исследовать вопрос об эстетических отношениях произведений искусства к явлениям жизни, рассмотреть справедливость господствующего мнения, будто бы истинно

прекрасное, которое принимается существенным содержанием произведений искусства, не существует в объективной действительности и осуществляется только искусством. С этим вопросом неразрывно связаны вопросы о сущности прекрасного и о содержании искусства. Исследование вопроса о сущности прекрасного привело автора к убеждению, что прекрасное есть жизнь. После такого решения надобно было исследовать понятия возвышенного и трагического, которые, по обыкновенному определению прекрасного, подходят под него как моменты, и надобно было признать, что возвышенное и прекрасное — не подчиненные друг другу предметы искусства. Это уже было важным пособием для решения вопроса о содержании искусства. Но если прекрасное есть жизнь, то сам собою решается вопрос об эстетическом отношении прекрасного в искусстве к прекрасному в действительности. Пришедши к выводу, что искусство не может быть обязано своим происхождением недовольству человека прекрасным в действительности, мы должны были отыскивать, вследствие каких потребностей возникает искусство, и исследовать его истинное значение. Вот главнейшие из выводов, к которым привело это исследование:

1) Определение прекрасного: «прекрасное есть полное проявление общей идеи в индивидуальном явлении» — не выдерживает критики; оно слишком широко, будучи определением формального стремления всякой человеческой деятельности.

2) Истинное определение прекрасного таково: «прекрасное есть жизнь; прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает; прекрасный предмет — тот предмет, который напоминает ему о жизни.

3) Это объективное прекрасное, или прекрасное по своей сущности, должно отличать от совершенства формы, которое состоит в единстве идеи и формы, или в том, что предмет вполне удовлетворяет своему назначению.

4) Возвышенное действует на человека вовсе не тем, что пробуждает идею абсолютного; оно почти никогда не пробуждает ее.

5) Возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов или гораздо сильнее явлений, с которыми сравнивается человеком.

6) Трагическое не имеет существенной связи с идеею судьбы или необходимости. В действительной жизни трагическое большею частью случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов. Форма необходимости, в которую облекается оно искусством,— следствие обыкновенного принципа произведений искусства: «развязка должна вытекать из завязки» или неуместное подчинение поэта понятиям о судьбе.

7) Трагическое, по понятиям нового европейского образования, есть «ужасное в жизни человека».

8) Возвышенное (и момент его, трагическое) не есть видоизменение прекрасного; идеи возвышенного и прекрасного совершенно различны между собою; между ними нет ни внутренней связи, ни внутренней противоположности.

9) Действительность не только живее, но и совершеннее фантазии. Образы фантазии — только бледная и почти всегда неудачная переделка действительности.

10) Прекрасное в объективной действительности вполне прекрасно.

11) Прекрасное в объективной действительности совершенно удовлетворяет человека.

12) Искусство рождается вовсе не от потребности человека восполнить недостатки прекрасного в действительности.

13) Создания искусства ниже прекрасного в действительности не только потому, что впечатление, производимое действительностью, живее впечатления, производимого созданиями искусства: создания искусства ниже прекрасного (точно так же, как ниже возвышенного, трагического, комического) в действительности и с эстетической точки зрения.

14) Область искусства не ограничивается областью прекрасного в эстетическом смысле слова, прекрасного по живой сущности своей, а не только по совершенству формы: искусство вопроизводит все, что есть интересного для человека в жизни.

15) Совершенство формы (единство идеи и формы) не составляет характеристической черты искусства в эстетическом смысле слова (изящных искусств); прекрасное как единство идеи и образа, или как полное осуществление идеи, есть цель стремления искусства в обширнейшем смысле слова или «умения», цель всякой практической деятельности человека.

16) Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, чтобы черты живого человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что́ интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности.

17) Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни.

# ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО

## Сочинение графа Л. Н. Толстого. СПб., 1856

# ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

## Графа Л. Н. Толстого. СПб., 1856

«Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость и поэзия в картинах природы, изящная простота — отличительные черты таланта графа Толстого». Такой отзыв вы услышите от каждого, кто только следит за литературою. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общим голосом, и, повторяя ее, была совершенно верна правде дела.

Но неужели ограничиться этим суждением, которое, правда, заметило в таланте графа Толстого черты, действительно ему принадлежащие, но еще не показало тех особенных оттенков, какими отличаются эти качества в произведениях автора «Детства», «Отрочества», «Записок маркера», «Метели», «Двух гусаров» и «Военных рассказов»? Наблюдательность, тонкость психологического анализа, поэзия в картинах природы, простота и изящество — все это вы найдете и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г. Тургенева, определять талант каждого из этих писателей только этими эпитетами было бы справедливо, но вовсе не достаточно для того, чтобы отличить их друг от друга; и повторить то же самое о графе Толстом еще не значит уловить отличительную физиономию его таланта, не значит показать, чем этот прекрасный талант отличается от многих других столь же прекрасных талантов. Надобно было охарактеризовать его точнее.

Нельзя сказать, чтобы попытки сделать это были очень удачны. Причина неудовлетворительности их отчасти заключается в том, что талант графа Толстого быстро развивается и почти каждое новое произведение обнаруживает в нем новые черты. Конечно, все, что сказал бы кто-нибудь о Гоголе после «Миргорода», оказалось бы недостаточным после «Ревизора», и суждения, высказавшиеся о г. Тургеневе как авторе «Андрея Колосова» и «Хоря и Калиныча», надобно было во многом изменять и дополнять, когда явились его «Записки охотника», как и эти суждения оказались недостаточными, когда он написал новые повести, отличающиеся новыми достоинствами. Но если прежняя оценка развивающегося таланта непременно оказывается недостаточною при каждом новом шаге его вперед, то, по крайней мере, для той минуты, как является, она должна быть верна и основательна. Мы уверены, что не дальше как после появления «Юности», то, что мы скажем теперь, будет уже нуждаться в значительных пополнениях: талант графа Толстого обнаружит перед нами новые качества, как обнаружил он «Севастопольскими рассказами» сторо-

ны, которым не было случая обнаружиться в «Детстве» и «Отрочестве», как потом в «Записках маркера» и «Двух гусарах» он снова сделал шаг вперед. Но талант этот, во всяком случае, уже довольно блистателен для того, чтобы каждый период его развития заслуживал быть отмечен с величайшей внимательностью. Посмотрим же, какие особенные черты он уже имел случай обнаружить в произведениях, которые известны читателям нашего журнала.

Наблюдательность у иных талантов имеет в себе нечто холодное, бесстрастное. У нас замечательнейшим представителем этой особенности был Пушкин. Трудно найти в русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина старых времен в начале его повести «Дубровский». Но трудно решить, как думает об изображаемых им чертах сам Пушкин. Кажется, он готов был бы отвечать на этот вопрос: «можно думать различно; мне какое дело, симпатию или антипатию возбудит в вас этот быт? Я и сам не могу решить, удивления или негодования он заслуживает». Эта наблюдательность — просто зоркость глаза и памятливость. У новых наших писателей такого равнодушия вы не найдете; их чувства более возбуждены, их ум более точен в своих суждениях. Не с равною охотою наполняют они свою фантазию всеми образами, какие только встречаются на их пути; их глаз с особенным вниманием всматривается в черты, которые принадлежат сфере жизни, наиболее их занимающей. Так, например, г. Тургенева особенно привлекают явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому, что называется поэзиею жизни, и к вопросу о гуманности. Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином.

Из других замечательнейших наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова; но и у него она все-таки играет слишком второстепенную роль, обнаруживается редко, да и то почти в совершенном подчинении анализу чувства. Из тех страниц, где она выступает заметнее, едва ли не самая за-

мечательная — памятные всем размышления Печорина о своих отношениях к княжне Мери, когда он замечает, что она совершенно увлеклась им, бросив кокетничанье с Грушницким для серьезной страсти.

...изображение внутреннего монолога надобно, без преувеличения, назвать удивительным. Ни у кого другого из наших писателей не найдете вы психических сцен, подмеченных с этой точки зрения. И, по нашему мнению, та сторона таланта графа Толстого, которая дает ему возможность уловлять эти психические монологи, составляет в его таланте особенную, только ему свойственную силу. Мы не хотим сказать, что граф Толстой непременно и всегда будет давать нам такие картины: это совершенно зависит от положений, им изображаемых, и, наконец, просто от воли его. Однажды написав «Метель», которая вся состоит из ряда подобных внутренних сцен, он в другой раз написал «Записки маркера», в которых нет ни одной такой сцены, потому что их не требовалось по идее рассказа. Выражаясь фигуральным языком, он умеет играть не одной этой струной, может играть или не играть на ней, но самая способность играть на ней придает уже его таланту особенность, которая видна во всем постоянно. Так, певец, обладающий в своем диапазоне необыкновенно высокими нотами, может не брать их, если то не требуется его партией, и все-таки какую бы ноту он ни брал, хотя бы такую, которая равно доступна всем голосам, каждая его нота будет иметь совершенно особенную звучность, зависящую собственно от способности его брать высокую ноту, и в каждой ноте его будет обнаруживаться для знатока весь размер его диапазона.

Особенная черта в таланте графа Толстого, о которой мы говорили, так оригинальна, что нужно с большим вниманием всматриваться в нее, и тогда только мы поймем всю ее важность для художественного достоинства его произведений. Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту. Но обыкновенно он имеет, если так можно выразиться, описательный характер, берет определенное, неподвижное чувство и разлагает его на составные части, дает нам, если так можно выразиться, анатомическую таблицу. В произведениях великих поэтов мы, кроме этой стороны его, замечаем и другое направление, проявление которого действует на читателя или зрителя чрезвычайно поразительно: это — уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в другую. Но обыкновенно нам представляются только два крайних звена этой цепи, только начало и конец психического процесса,— это потому, что большинство поэтов, имеющих драматический элемент в своем таланте, заботятся преимущественно о результатах проявлениях внутренней жизни, о столкновениях между людьми, о действиях, а не о таинственном процессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство; даже в монологах, которые, по-видимому, чаще всего должны бы служить выражением этого процесса, почти всегда выражается борьба чувств, и шум этой

борьбы отвлекает наше внимание от законов и переходов, по которым совершаются ассоциации представлений,— мы заняты их контрастом, а не формами их возникновения, почти всегда монологи, если содержат не простое анатомирование неподвижного чувства, только внешностью отличаются от диалогов: в знаменитых своих рефлексиях Гамлет как бы раздвояется и спорит сам с собою; его монологи, в сущности, принадлежат к тому же роду сцен, как и диалоги Фауста с Мефистофелем или споры маркиза Позы с Дон-Карлосом. Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что она не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс — и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым. Есть живописцы, которые знамениты искусством уловлять мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом стоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из всех замечательных русских питателей он один мастер на это дело.

Конечно, эта способность должна быть врождена от природы, как и всякая другая способность; но было бы недостаточно остановится на этом слишком общем объяснении: только самостоятельною [нравственною] деятельностью развивается талант, и в той деятельности, о чрезвычайной энергии которой свидетельствует замеченная нами особенность произведений графа Толстого, надобно видеть основание силы, приобретенной его талантом. Мы говорим о самоуглублении, о стремлении к неутомимому наблюдению над самим собою. Законы человеческого действия, игру страстей, сцепление событий, влияние обстоятельств и отношений мы можем изучать, внимательно наблюдая других людей; но все знание, приобретаемое этим путем, не будет иметь ни глубины, ни точности, если мы не изучим сокровеннейших законов психической жизни, игра которых открыта перед нами только в нашем [собственном] самосознании. Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей. Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы выше, доказывает, что он чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы обратили внимание читателя, но еще, быть может, больше потому, что дало ему прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений. Мы не ошибемся, сказав, что самонаблюдение должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, приучить его смотреть на людей проницательным взглядом.

Драгоценно в таланте это качество, едва ли не самое прочное из всех прав на славу истинно замечательного писателя. Знание человеческого сердца, способность раскрывать перед нами его тайны — ведь это первое слово в характеристике каждого из тех писателей, творения которых с удивлением перечитываются нами. И, чтобы говорить о графе Толстом, глубокое изучение человеческого сердца будет неизменно придавать очень высокое достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе ни написал. Вероятно, он напишет много такого, что будет поражать каждого читателя другими, более эффектными качествами — глубиною идеи, интересом концепций, сильными очертаниями характеров, яркими картинами быта — и в тех произведениях его, которые уже известны публике, этими достоинствами постоянно возвышался интерес,— но для истинного знатока всегда будет видно,— как очевидно и теперь,— что знание человеческого сердца — основная сила его таланта. Писатель может увлекать сторонами более блистательными; но истинно силен и прочен его талант только тогда, когда обладает этим качеством.

Есть в таланте г. Толстого еще другая сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью,— чистота нравственного чувства. Мы не проповедники пуританизма; напротив, мы опасаемся его: самый чистый пуританизм вреден уже тем, что делает сердце суровым, жестким; самый искренний и правдивый моралист вреден тем, что ведет за собою десятки лицемеров, прикрывающихся его именем. С другой стороны, мы не так слепы, чтобы не видеть чистого света высокой нравственной идеи во всех замечательных произведениях литературы нашего века. Никогда общественная нравственность не достигала такого высокого уровня, как в наше благородное время, благородное и прекрасное, несмотря на все остатки ветхой грязи, потому что все силы свои напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наследных грехов. И литература нашего времени, во всех замечательных своих произведениях без исключения, есть благородное проявление чистейшего нравственного чувства. Не то мы хотим сказать, что в произведениях графа Толстого чувство это сильнее, нежели в произведениях другого какого из замечательных наших писателей: в этом отношении все они равно высоки и благородны, но у него это чувство имеет особенный оттенок. У иных оно очищено страданием, отрицанием, просветлено сознательным убеждением, является уже только как плод долгих испытаний, мучительной борьбы, быть может, целого ряда падений. Не то у графа Толстого: у него нравственное чувство не восстановлено только рефлексиею и опытом жизни, оно никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести. Мы не будем сравнивать того и другого оттенка в гуманическом отношении, не будем говорить, который из них выше по абсолютному значению,— это дело философского или социального трактата, а на рецензии, мы здесь говорим только об отношении нравственного чувства к до-

стоинствам художественного произведения и должны признаться, что в этом случае непосредственная, как бы сохранившаяся во всей непорочности от чистой поры юношества свежесть нравственного чувства придает поэзии особенную — трогательную и грациозную — очаровательность. От этого качества, по нашему мнению, во многом зависит прелесть рассказов графа Толстого. Не будем доказывать, что только при этой непосредственной свежести сердца можно было рассказать «Детство» и «Отрочество» с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дают истинную жизнь этим повестям. Относительно «Детства» и «Отрочества» очевидно каждому, что без непорочности нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их. Укажем другой пример — в «Записках маркера»: историю падения души, созданной с благородным направлением, мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту.

Благотворное влияние этой черты таланта не ограничивается теми рассказами или эпизодами, в которых она выступает заметным образом на первый план: постоянно служит она оживительницею, освежительницею таланта. Что́ в мире поэтичнее, прелестнее чистой юношеской души, с радостною любовью откликающейся на все, что представляется ей возвышенным и благородным, чистым и прекрасным, как сама она? Кто не испытывал, как освежается его дух, просветляется его мысль, облагораживается все существо присутствием девственного душою существа, подобного Корделии, Офелии или Дездемоне? Кто не чувствовал, что присутствие такого существа навевает поэзию на его душу, и не повторял вместе с героем г. Тургенева (в «Фаусте»):

Своим крылом меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет сень
Для очарованной души...[1]

Такова же сила нравственной чистоты и в поэзии. Произведение, в котором веет ее дыхание, действует на нас освежительно, миротворно, как природа,— ведь и тайна поэтического влияния природы едва ли не заключается в ее непорочности. Много зависит от того же веяния нравственной чистоты и грациозная прелесть произведений графа Толстого.

Эти две черты — глубокое знание тайных движений психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, придающие теперь особенную физиономию произведениям графа Толстого, [всегда] останутся существенными чертами его таланта, какие бы новые стороны ни выказались в нем при дальнейшем его развитии.

Само собою разумеется, что всегда останется при нем и его художественность. Объясняя отличительные качества произведений графа Толстого, мы до сих пор не упоминали об этом достоинстве, потому что оно составляет принадлежность или, лучше сказать, сущность поэтического таланта вообще, будучи собствен-

но только собирательным именем для обозначения всей совокупности качеств, свойственных произведениям талантливых писателей. Но стоит внимания то, что люди, особенно много толкующие о художественности, наименее понимают, в чем состоят ее условия. Мы где-то читали недоумение относительно того, почему в «Детстве» и «Отрочестве» нет на первом плане какой-нибудь прекрасной девушки лет восемнадцати или двадцати, которая бы страстно влюблялась в какого-нибудь так же прекрасного юношу...[2] Удивительные понятия о художественности! Да ведь автор хотел изобразить детский и отроческий возраст, а не картину пылкой страсти, и разве вы не чувствуете, что, если б он ввел в свой рассказ эти фигуры и этот патетизм, дети, на которых он хотел обратить ваше внимание, были бы заслонены, их милые чувства перестали бы занимать вас, когда в рассказе явилась бы страстная любовь,— словом, разве вы не чувствуете, что единство рассказа было бы разрушено, что идея автора погибла бы, что условия художественности были бы оскорблены? Именно для того, чтобы соблюсти эти условия, автор не мог выводить в своих рассказах о детской жизни ничего такого, что заставило бы нас забыть о детях, отвернуться от них. Далее, там же мы нашли нечто вроде намека на то, что граф Толстой ошибся, не выставив картин общественной жизни в «Детстве» и «Отрочестве»; да мало ли и другого чего он не выставил в этих повестях? В них нет ни военных сцен, ни картин итальянской природы, ни исторических воспоминаний, нет вообще многого такого, что можно было бы, но неуместно и не должно было бы рассказывать: ведь автор хочет перенесть нас в жизнь ребенка, а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятие о жизни общества? Весь этот элемент столь же чужд детской жизни, как лагерная жизнь, и условия художественности были бы точно так же нарушены, если бы в «Детстве» была изображена общественная жизнь, как и тогда, если б изображена была в этой повести военная или историческая жизнь. Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану[3] и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями...

# ОЧЕРКИ ГОГОЛЕВСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ

...Явления действительности чрезвычайно разнородны и разнообразны. Она представляет много такого, что́ сообразно с желаниями и потребностями человека, и много такого, что́ решительно противоречит им. Прежде, когда пренебрегали действительностью, слишком гордясь фантастическими богатствами, полагали, что переделать действительность по фантастическим мечтам очень легко. Но когда фантастическая гордость смирилась, ученые и поэты должны были убедиться в том, что́ всегда было ясно в практической жизни для людей, одаренных здравым смыслом. Сам по себе человек очень слаб; всю свою силу заимствует он только от знания действительной жизни и умения пользоваться силами неразумной природы и врожденными, независимыми от человека качествами человеческой натуры. Действуя сообразно с законами природы и души и при помощи их, человек может постепенно видоизменять те явления действительности, которые несообразны с его стремлениями, и таким образом постепенно достигать очень значительных успехов в деле улучшения своей жизни и исполнения своих желаний.

Но не всякие желания находят себе подобие в действительности. Многие противоречат законам природы и человеческой натуры; ни философского камня, который бы обращал все металлы в золото, ни жизненного эликсира, который бы навеки сохранял нам юность, невозможно добыть из природы; напрасны и все наши требования, чтобы люди отказались от эгоизма, от страстей: человеческая натура не подчиняется таким, по-видимому, превосходным требованиям.

Это обстоятельство, полагающее очевидную разницу между нашими желаниями, заставило пристальнее всмотреться в те из них, достижению которых отказываются служить природа и люди с здравым смыслом,— в самом ли деле необходимо для человека исполнение таких желаний? Очевидно, нет, потому что он, как мы видим, и живет и даже, при благоприятных обстоятельствах, бывает очень счастлив, не обладая ни философским камнем, ни жизненным эликсиром, ни теми очаровательными благами и качествами, какими манит его волшебство фантазии, заносящейся за облака. А если человек может обходиться, как показывает жизнь, без этих благ, которые выставляются фантазиею, будто необходимые для него, если обнаружилось уже, что она обманула человека в отношении необходимости, то нельзя было не заподозрить ее и с другой стороны: действительно ли приятно было бы чело-

веку исполнение тех мечтаний, которые противоречат законам внешней природы и его собственной натуры? И при внимательном наблюдении оказалось, что исполнение таких желаний не вело бы ни к чему, кроме недовольства или мучений; оказалось, что все ненатуральное вредно и тяжело для человека и что нравственно здоровый человек, инстинктивно чувствуя это, вовсе не желает в действительности осуществления тех мечтаний, которыми забавляется праздная фантазия.

Как найдено было, что мечты фантазии не имеют ценности для жизни, точно так же найдено было, что не имеют значения для жизни многие надежды, внушаемые фантазиею.

Прочное наслаждение дается человеку только действительностью; серьезное значение имеют только те желания, которые основанием своим имеют действительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею.

Достичь такого убеждения и действовать сообразно с ним — значит сделаться человеком положительным.

Но часто те самые, которые воображают себя людьми положительными, заблуждаются в этом высоком мнении о себе самым жестоким и постыдным образом, впадая в особенного рода фантазерство именно по узости своих понятий о действительности.

Например, несправедливо было бы считать положительным человеком холодного эгоиста. Любовь и доброжелательство (способность радоваться счастью окружающих нас людей и огорчаться их страданиями) так же врождены человеку, как и эгоизм. Кто действует исключительно по расчетам эгоизма, тот действует наперекор человеческой природе, подавляет в себе врожденные и неискоренимые потребности. Он в своем роде такой же фантазер, как и тот, кто мечтает о заоблачных самоотвержениях; разница только в том, что один — злой фантазер, другой — притворный фантазер, но оба они сходны в том, что счастье для них недостижимо, что они вредны и для себя и для других. Голодный человек, конечно, не может чувствовать себя хорошо; но и сытый человек не чувствует себя хорошо, когда вокруг него раздаются несносные для человеческого сердца стоны голодных. Искать счастья в эгоизме — ненатурально, и участь эгоиста нимало не завидна: он урод, а быть уродом неудобно и неприятно.

Точно так же вовсе нельзя назвать положительным и того человека, который, поняв, что силы придаются человеку только действительностью и прочные наслаждения доставляются только ею, вздумал бы объявлять, что нет в действительности таких явлений, которые нужно и возможно человеку изменить, что в действительности все приятно и хорошо для человека и что он совершенно бессилен перед каждым фактом: это опять своего рода фантазерство, столь же нелепое, как и мечты о воздушных замках. Равно ошибается человек, который хлопочет о замене обыкновенной здоровой пищи амвросиею и нектаром [1], и тот, который утвер-

ждает, что всякая пища вкусна и здорова для человека, что в природе нет ядовитых растений, что пустые щи с лебедою хороши, что невозможно очищать поля от камней и бурьяна, чтобы засевать пшеницею, что не должно и невозможно очищать пшеницу от плевел.

Все эти люди — одинаковые фантазеры, потому что одинаково увлекаются одностороннею крайностью, одинаково отвергают очевидные факты, одинаково хотят нарушать законы природы и человеческой жизни. Нерон, Калигула, Тиберий были так же близки к сумасшествию, как рыцарь Тоггенбург[2] и индейский факир Вителлий, который объедался до того, что каждый день должен был прибегать к помощи рвотного, терпел от желудка не меньше мучений, нежели терпит человек, не имеющий сытного обеда. Развратник точно так же лишен лучших наслаждений жизни, как и кастрат. Положительного в жизни всех этих людей очень мало. Положителен только тот, кто хочет быть вполне человеком: заботясь о собственном благосостоянии, любит и других людей (потому что одинакового счастья нет); отказываясь от мечтаний, несообразных с законами природы, не отказывается от полезной деятельности; находя многое в действительности прекрасным, не отрицает также, что многое в ней дурно, и стремится, при помощи благоприятных человеку сил и обстоятельств, бороться против того, что неблагоприятно человеческому счастью. Положительным человеком в истинном смысле слова может быть только человек любящий и благородный. В ком от природы нет любви и благородства, тот жалкий урод, шекспиров Калибан[3], недостойный имени человеческого,— но таких людей очень мало, может быть, вовсе нет; в ком обстоятельства убивают любовь и благородство, тот человек жалкий, несчастный, нравственно больной; кто преднамеренно подавляет в себе эти чувства, тот фантазер, чуждый положительности и противоречащий законам действительной жизни.

По отвержении фантазерства требования и надежды человека делаются очень умеренными: он становится снисходителен и отличается терпимостью, потому что излишняя взыскательность и фанатизм — порождения болезненной фантазии. Но из этого вовсе не следует, чтобы положительность ослабляла силу чувства и энергию требований,— напротив, те чувства и требования, которые вызываются и поддерживаются действительностью, гораздо сильнее всех фантастических стремлений и надежд: человек, мечтающий о воздушных замках, и в сотую долю не так сильно занят своими слишком радужными мечтами, как человек, заботящийся о постройке для себя скромного (лишь бы только уютного) домика, занят мыслью об этом домике. О том уже нечего и говорить, что мечтатель обыкновенно проводит время лежа на боку, а человек, одушевленный рассудительным желанием, трудится без отдыха для его осуществления. Чем действительнее и положительнее стремление человека, тем энергичнее борется он с обстоятельствами, препятствующими их осуществлению. И любовь и ненависть даются и возбуждаются в высшей степени теми предметами, которые

принадлежат к области действительной жизни. Фантастическая Елена, при всей своей невообразимой красоте, не возбуждает в здоровом человеке и слабой тени того чувства, которое возбуждается действительною женщиною, даже не принадлежащею к числу блистательных красавиц. С другой стороны, зверства каннибалов, о которых мы, к счастью, знаем только по слухам, далеко не в такой степени волнуют нас, как довольно невинные в сравнении с ними подвиги Сквозников-Дмухановских и Чичиковых, совершаемые в ваших глазах...

## СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ, И ПОСЛЕДНЯЯ

...Во всех отраслях человеческой деятельности только те направления достигают блестящего развития, которые находятся в живой связи с потребностями общества. То, что не имеет корней в почве жизни, остается вяло и бледно, не только не приобретает исторического значения, но и само по себе, без отношения к действию на общество, бывает ничтожно. Когда дело идет о стремлениях и фактах, принадлежащих к сферам материальной, научной и общественной жизни, эта истина признается бесспорно всеми. Когда дело идет о живописи, скульптуре, архитектуре, также ни один сколько-нибудь сведущий человек не будет спорить против мысли, что каждое из этих искусств достигало блестящего развития только тогда, когда это развитие условливалось общими требованиями эпохи. Скульптура процветала у греков только потому, что была выражением господствующей черты в их жизни — выражением страстного поклонения красоте форм человеческого тела. Готическая архитектура создала дивные памятники только потому, что была служительницею и выразительницею средневековых стремлений. Итальянская школа живописи произвела дивные картины только потому, что была выразительницею стремлений общества в том веке и в той стране, служила духу века, состоявшему в слиянии классического поклонения красоте человеческого тела с заоблачными стремлениями средних веков.

Странным исключением из общего закона была бы литература, если бы могла производить что-нибудь замечательное, отрешаясь от жизни. Но мы уже говорили в одной из прежних статей, что таких случаев никогда и не бывало. Каким же образом может находить себе защитников так называемая теория чистого искусства (искусства небывалого и невозможного), требующая от литературы, чтобы она исключительно заботилась только о форме? Тут все основано на том, что приверженцы так называемого чистого искусства сами не замечают истинного смысла своих желаний или хотят вводить других в заблуждение, говоря о чистом искусстве, которого никто не знает и никто, ни сами они, не желает. Не останавливаясь на общей фразе, которою заведомо или без ведома для самих себя прикрывают они свои истинные жела-

ния, надобно ближе всмотреться в факты, свидетельствующие о их стремлениях, надобно посмотреть, в каком духе сами они пишут и в каком духе написаны произведения, одобряемые ими, и мы увидим, что они заботятся вовсе не о чистом искусстве, независимом от жизни, а, напротив, хотят подчинить литературу исключительно служению одной тенденции, имеющей чисто житейское значение. Дело в том, что есть люди, для которых общественные интересы не существуют, которым известны только личные наслаждения и огорчения, независимые от исторических вопросов, движущих обществом. Для этих изящных эпикурейцев[4] жизнь ограничивается тем горизонтом, который обнимается поэзиею Анакреона и Горация[5]: веселая беседа за умеренным, но изысканным столом, комфорт и женщины — больше не нужно для них ничего. Само собою разумеется, что для таких темпераментов равно скучны все предметы, выходящие из круга эпикурейских идей; они хотели бы, чтобы и литература ограничивалась содержанием, которым ограничивается их собственная жизнь. Но прямо выразить такое желание значило бы обнаружить крайнюю нетерпимость и односторонность, и для прикрытия служат им фразы о чистом искусстве, независимом будто бы от интересов жизни. Но, скажите, разве хороший стол, женщины и приятная беседа о женщинах не принадлежат к житейским фактам наравне с нищетою и пороком, злоупотреблениями и благородными стремлениями? Разве поэзия, если бы решилась ограничиться застольными песнями и эротическими беседами, не была бы все-таки выразительницею известного направления в жизни, служительницею известных идей? Она говорила бы нам: «пойте и любите, наслаждайтесь и забавляйтесь, не думая ни о чем больше»; она была бы проповедницею эпикуреизма, а эпикуреизм точно так же философская система, как стоицизм и платонизм, как идеализм и материализм, и проповедовать эпикуреизм — значит просто-напросто быть проповедником эпикуреизма, а не служителем чистого искусства.

Итак, вот к чему сводится вопрос о так называемом чистом искусстве: не к тому, должна или не должна литература быть служительницею жизни, распространительницею идей,— она не может ни в коем случае отказаться от этой роли, лежащей в самом существе ее,— нет, вопрос сводится просто к тому: должна ли литература ограничиваться эпикурейскою тенденциею, забывая обо всем, кроме хорошего стола, женщин и беседы на аттический манер с миртовыми венками на головах собеседников и собеседниц? * Ответ, кажется, не может быть затруднителен. Ограничивать литературу изящным эпикуреизмом — значит до нелепости стеснять ее границы, впадать в самую узкую односторонность и нетерпимость. Нет нужды на односторонность отвечать другою односторонностью; за остракизм[6], которому защитники так называемого чис-

* Само собою разумеется, мы здесь говорим только то, какой смысл имеет теория чистого искусства в наше время. Здесь нас занимает настоящее, а не давно минувшее.

того искусства хотели бы подвергнуть все другие идеи и направления литературы, кроме эпикурейского, нет нужды платить остракизмом, обращенным против эпикурейской тенденции, хотя она скорее всякой другой тенденции заслуживала бы осуждения, как нечто праздное и пошловатое. Нет, избегая всяких односторонностей, скажем, что эпикурейское настроение духа, существуя в жизни, имеет право выражаться и в литературе, которая должна обнимать собою всю жизнь. Но справедливость требует сказать, что вообще эпикуреизм может играть важную роль в жизни только немногих людей, расположенных к нему по натуре и обставленных в жизни исключительно благоприятными обстоятельствами; потому и в литературе эпикурейское направление может приходиться по вкусу только немногим счастливым празднолюбцам, а для огромного большинства людей такая тенденция всегда казалась и будет казаться безвкусна или даже решительно противна. Если же речь переходит к настоящему времени, то надобно заметить, что оно решительно неблагоприятно для эпикуреизма, как время разумного движения [и борьбы], а не праздного застоя, и так как эпикуреизм в жизни для нашего времени есть занятие холодно-эгоистическое, следовательно, вовсе не поэтическое, то и в литературе эпикурейское направление нашего времени, по необходимости, запечатлевается холодною мертвенностью. Поэзия есть жизнь, действие, [борьба], страсть; эпикуреизм в наше время возможен только для людей бездейственных, чуждых исторической жизни, потому в эпикуреизме нашего времени очень мало поэзии. И если справедливо, что живая связь с разумными требованиями эпохи дает энергию и успех всякой деятельности человека, то эпикуреизм нашего времени не может создать в поэзии ровно ничего сколько-нибудь замечательного. Действительно, все произведения, написанные нашими современниками в этой тенденции, совершенно ничтожны в художественном отношении: они холодны, натянуты, бесцветны и риторичны.

Литература не может не быть служительницей того или другого направления идей: это назначение, лежащее в ее натуре,— назначение, от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться. Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам за нечто долженствующее быть чуждым житейских дел, обманываются или притворяются: слова «искусство должно быть независимо от жизни» всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы с целью сделать ее служительницею другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу. Мы видели, чего хотят защитники теории чистого искусства в наше время, и едва ли можно думать, что их слова могли иметь какое-нибудь влияние на литературу, как скоро смысл этих слов открыт. Нашему времени нет никакой охоты для эпикуреизма забыть обо всем остальном, и литература никак не может подчиниться этому узкому и мелкому направлению, чуждому здоровым стремлениям века.

[Как и всякая другая достойная внимания умственная или

нравственная деятельность, литература по самой натуре не может не быть служительницею стремлений века, не может не быть выразительницею его идей. Вопрос состоит только в том, каким идеям должна служить она — таким, ли, которые, не имея важного места в жизни века, сообщат и литературе, ими ограничивающейся, характер пустоты, празднословия, или тем идеям, которыми движется век. Ответ на это нимало не затруднителен: только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоятельным потребностям эпохи. У каждого века есть свое историческое дело, свои особенные стремления. Жизнь и славу нашего времени составляют два стремления, тесно связанные между собою и служащие дополнением одно другому: гуманность и забота об улучшении человеческой жизни. К этим двум основным идеям примыкают, от них получают свою силу все остальные частные стремления, свойственные людям нашего века: вопрос о народности, вопрос о просвещении, государственные, юридические стремления оживляются этими идеями, решаются на основании их, вообще интересуют собою современного человека только по мере связи их с тенденциею к гуманности и улучшению человеческой жизни. Даже отдельные науки приобретают или теряют свою относительную важность по мере того, в какой степени служат они господствующим потребностям века. То же самое замечаем в судьбе искусств: если живопись ныне находится вообще в довольно жалком положении, главною причиною тому надобно считать отчуждение этого искусства от современных стремлений. Другие искусства более или менее подверглись той же участи, как живопись, и по той же самой причине. Из всех искусств одна только литература сохраняет свое могущество и свое достоинство, потому что одна она поняла необходимость освежать свои силы живыми вдохновениями века. В самом деле, все те люди, которыми гордится новая европейская литература,— все без исключения вдохновляются стремлениями, которые движут жизнью нашей эпохи. Произведения Беранже, Ж. Санд, Гейне, Диккенса, Теккерея[7] внушены идеями гуманности и улучшения человеческой участи. А те таланты, деятельность которых не проникнута этими стремлениями, или остались безвестны, или приобрели известность вовсе не выгодную, не создав ничего заслуживающего славы. Теперь, например, почти каждому читателю покажется нелепостью, если кто вздумал бы признавать великий талант в каком-нибудь Александре Дюма (старшем)[8]. «Это пустой болтун; романы его нелепы и ничтожны во всех отношениях и преимущественно в художественном отношении»,— скажет каждый. А между тем этот писатель, без сомнения, наделен от природы очень большим талантом, но талант этот остался чужд стремлениям века, и результатом было ничтожество его произведений.]

Нельзя насильно дать себе одушевления тем, что не возбуждает одушевления в нашей натуре. Или врожденные качества темперамента, или опыт жизни, размышление и наука, а не произволь-

ное напряжение фантазии приводят человека к живому сочувствию всякой доброй, здоровой и благородной идее. Есть люди, неспособные искренно одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг них: для таких писателей бесполезно было бы накладывать на себя маску патетического одушевления современными вопросами,— пусть они продолжают быть, чем хотят: великого ничего не произведут они ни в каком случае. Но те писатели, в которых природа или жизнь соединила с талантом живое сердце,— те писатели должны дорожить в себе этим прекрасным сочетанием таланта с мыслью, дающею силу и смысл таланту, дающею жизнь и красоту его произведениям. Они должны сознавать, что их благородное сердце, их просвещенный ум ведут их по прямой, по единственной дороге к славе, внушая им потребность действовать на пользу исторического развития, быть служителями идей гуманности и улучшения человеческой жизни.

# СУЕВЕРИЕ И ПРАВИЛА ЛОГИКИ

...Крепостное право было одним из учреждений, ослаблявших народную энергию. Но не одному ему надобно приписывать страшный упадок ее. Крепостное право было только одним из множества элементов, имеющих такое же влияние на силу нации. Мы не хотим теперь перечислять всех этих вредных учреждений: для нашей цели довольно будет обратить внимание только на результат их. Русский народ [живет или, лучше сказать, прозябает, или дремлет] в тяжелой летаргии, немногим отличающейся от расположения духа, владычествующего над азиатцами. [Апатия у нас изумительная; она так поразительна, что многие называют нас народом ленивым. Мы не знаем, существуют ли на свете ленивые народы. Психология говорит, что страсть к деятельности врождена человеку, а физиология объясняет и доказывает это, говоря, что наши мускулы имеют физическую потребность работать, подобно тому как желудок имеет потребность переваривать пищу, нервы — потребность испытывать впечатления, глаза — потребность смотреть и т. п. Оставляя в стороне этот общий принцип органической жизни, по которому каждая часть нашего организма требует соответственной своему характеру деятельности, мы заметим только, что в нашем климате леность никак не может находить себе место, если б и могла принадлежать каким-нибудь другим племенам, живущим под полюсами или под тропиками. Смешно говорить о наклонностях к лени в человеке, который в пять или шесть месяцев должен запастись средствами к жизни на целый год; но между тем не подлежит сомнению, что

мы работаем хуже, нежели, например, англичане и немцы. Это оттого, что энергия труда подавлена в нас вместе со всякою другою энергиею. Исторические обстоятельства развили в нас добродетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям [, обидам] и всяким невзгодам. В сантиментальном отношении эти качества могут быть очень хороши, и нет сомнения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде; но для развития экономической деятельности пассивные добродетели никуда не годятся. [Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений? Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе тем, чтобы почесывать себе затылок и переминаться с ноги на ногу. Он будет таким же вахлаком и за сохою. Впрочем, об этом предмете можно было бы наговорить слишком много, если бы в самом деле нуждалась в доказательствах мысль, что энергия в русском человеке подавлена обстоятельствами, сделавшими из него какого-то аскета. Возвратимся лучше к той, более отрадной стороне его жизни, которая показывает, что по природе своей он вовсе не предназначен быть апатичным. Когда пробуждается в нем усердие к делу, он обнаруживает чрезвычайно замечательную неутомимость и живость в работе. Но для этого бывает нужно ему увидеть себя самостоятельным, почувствовать себя освобожденным от стеснений и опек, которыми он вообще бывает подавлен.]

Мы сказали, что не хотим перечислять причин, подавляющих энергию труда в русском народе. Это перечисление было бы слишком огорчительно для нашего с вами патриотизма, читатель. (Мы надеемся, что вы такой же яростный патриот, как и мы; что вы, подобно нам, восхищаетесь нашим общественным устройством во всех его подробностях, начиная с петербургских и кончая сельскою администрациею.) Но мы должны обратить внимание на одну сторону народной жизни, которая, сама обусловливаясь благосостоянием и свободою народа, служит коренным источником всех успехов его экономической деятельности. Каждое человеческое дело успешно идет только тогда, когда руководится умом и знанием; а ум развивается образованием, и знания даются тоже образованием; потому только просвещенный народ может работать успешно. В каком же положении наше образование? В целой Западной Европе, имеющей около 200 миллионов жителей, не найдется столько безграмотных людей, как в одной нашей родине; в какой-нибудь Бельгии или хотя бы даже Баварии, при всей отсталости Баварии от других земель Западной Европы, на 5 миллионов населения считается столько же учащихся в школах, сколько в целой России, и число всех грамотных людей в России таково, что едва ли бы достало его на

одну провинцию в Прусском королевстве *. О том, насколько распространено у нас высшее образование, нечего и говорить: об этом слишком красноречиво свидетельствуют цифры изданий Гоголя, Пушкина, Тургенева и число экземпляров, в каком издаются наши газеты и журналы **.

Как из [апатичности] русского человека в материальной работе проницательные люди вывели, что он от природы расположен к лености, так из слабого развития нашей образованности они заключают, что русское племя мало имеет охоты к просвещению. Обе эти клеветы одинаково тупоумны и нелепы. [Об этих обоих делах надобно сказать одно и то же: «охота смертная, да участь горькая».] Стремление в народе чрезвычайно сильно; но обстоятельства [и учреждения] слишком не благоприятствуют его осуществлению...

Положительно известно, например, что просвещение облагораживает человека, а благородство противоположно, например, хоть взяточничеству. Между тем сколько мы видим у нас взяточников, кончивших курс в высших учебных заведениях. По способу умозаключения, которого держатся отсталые экономисты, вывод из этого совпадения фактов таков: человек, кончивший курс в одном из высших заведений, берет взятки — итак, ученье делает человека взяточником. Логика велит судить об этом иначе. Она говорит: если даже люди образованные становятся взяточниками, несмотря на противоречие между образованностью и взяточничеством, то надобно полагать, что в обстановке, среди которой живут эти люди, есть обстоятельства, столь могущественно влекущие к взяточничеству, что противоположное направление, внушаемое образованностью, может изнемогать под силой этих обстоятельств.

Другой пример. Светское воспитание, хорошо оно или дурно в других отношениях, но имеет ту несомненную хорошую тенден-

* По самым щедрым расчетам предполагается, что из 65 или 70 миллионов жителей Русской империи людей, умеющих читать, набирается до 5 миллионов. Но эта цифра, по всей вероятности, слишком высока. Большинство грамотных людей сосредоточено в городах; в селах едва ли наберется половина того, сколько находится в городах. Но и в городах гораздо больше половины жителей еще не знают грамоты. Судя по этому, едва ли мы ошибемся, положив число грамотных людей в России не превышающим 4 миллионов.

** Все наши ежедневные газеты, вместе взятые, расходятся в числе 30 или много 35 тысяч экземпляров; все большие журналы, вместе взятые, далеко не достигают этой цифры. Предположив для каждого экземпляра даже по 10 человек читателей, мы увидим, что все наше образованное общество едва ли простирается до полумиллиона человек. Во Франции, где чтение распространено меньше, нежели в Германии и Англии, одни только парижские ежедневные газеты печатаются в числе более 200 000 экземпляров (провинциальных газет мы не считаем). Итак, во Франции приходится один экземпляр газеты на 180 человек, а в России один экземпляр на 2200 человек. Но всего прелестнее цифры изданий наших классических писателей. Кто из людей сколько-нибудь образованных не читал Гоголя? Число экземпляров всех изданий Гоголя не простирается и до 10 тысяч.

цию, что делает человека деликатным в обращении, отучает его от низких, грязных манер. Но сколько у нас есть людей, получивших светское воспитание, которые чрезвычайно грубы в обращении со своими подчиненными, которые невежливо обращаются с мелкими чиновниками, если бывают в гражданской службе, которые ругают солдат, если бывают офицерами. По умозаключению отсталых экономистов опять выходил бы такой силлогизм: люди, получившие светское воспитание, унижаются до пошлых грубостей — итак, светское воспитание отнимает у человека вежливость. Логика опять говорит напротив: если даже люди, получившие светское воспитание, бывают невежливы, грубы, пошлы в обращении с другими, то надобно думать, что в обстановке, среди которой живут эти люди, есть обстоятельства, столь сильно располагающие к нахальному попиранию всякой слабой личности, что даже вежливость, даваемая светским воспитанием, подавляется этими обстоятельствами.

В подобных случаях логика велит вместо того, чтобы останавливаться на тупоумном предположении «совпадает, следовательно имеет причинную связь», пристальнее всматриваться в обстоятельства, среди которых происходит явление, чтобы отыскать истинные причины его. Так поступим и мы. Отыскать истинные причины небезопасности нашей поземельной собственности очень нетрудно. Можно даже сказать, что они известны каждому, кроме отсталых экономистов.

Собственность принадлежит к числу общественных учреждений. Чем же ограждается безопасность общественных учреждений? Законами. Прекрасно. Какими способами проявляется в обществе действие законов? Опять каждому известно, что для приведения законов в действие общество имеет два органа: администрацию и судебную власть. Итак, если мы рассуждаем о безопасности какого-нибудь общественного учреждения в известном обществе, то не должен ли нам прежде всего приходить в голову вопрос о том, каково состояние администрации и судебной власти в этом обществе?

Мы не имеем намерения подробно отвечать здесь на такой вопрос, [говорить о взяточничестве, потворстве сильным, нахальстве над слабым, о медлительности, неумении ничего хорошего исполнить надлежащим образом, о безграничном произволе, соединенном с бессилием, столь же безграничным]. Сколько бы ни наговорили мы об [этих] качествах нашей администрации и судебной власти, мы не сказали бы ничего такого, что не было бы не хуже нас известно каждому из наших читателей. Доказывать [эту] истину было бы тут не для кого и спорить не с кем. Мы полагаем, что даже отсталые экономисты, так мало понимающие нашу жизнь, понимают, каково положение администрации и судебной власти у нас. [Мы полагаем, что даже и они, подобно нам, скажут: наша администрация до сих пор не была способна удовлетворительным образом ограждать личность и собственность наших сограждан; от судебной власти до сих пор нельзя было у

нас обиженному ожидать быстрого восстановления своих нарушенных прав.

Этого довольно для нашей цели.]

Мы нашли коренную причину не только явления, объяснением которого специально занимаемся в этой статье, но и всех тех фактов, которые представлялись нам ближайшими причинами его. Не только слабость успехов нашего земледелия, но и медленность в развитии нашего населения вообще, нашего городского населения в частности, неудовлетворительное состояние наших путей сообщения, торговли, промышленности, недостаток оборотного капитала в земледелии — все это, и не только это, но также и крепостное право, и упадок народной энергии, и умственная наша неразвитость — все эти факты, подобно всем другим плохим фактам нашего быта, коренную, сильнейшую причину свою имеют в состоянии нашей администрации и судебной власти. [Весь наш быт во всем, что есть в нем печального, обусловливается этою основною причиною всех зол.

В самом деле, пересмотрим все недостатки его, для всех найдем одну и ту же главную причину. Начнем с экономической стороны. Все неудовлетворительные явления нашего материального быта подводятся под одно общее выражение: «наш народ беден». Если мы сознались в этом общем факте, кажется не подлежащем спору, мы не станем удивляться ни одному из частных явлений, входящих в состав его или представляющихся его последствиями. Например, может ли быстро увеличиваться население, у которого бедностью отнята возможность вести жизнь в здоровой обстановке и потреблять хорошую пищу? Могут ли быстро развиваться города у бедного народа? Может ли у него процветать торговля, когда у него нет обильного запаса продуктов для обширной торговли или промышленности, когда ему не на что покупать произведения промышленности? Могут ли у него быть достаточные оборотные капиталы в земледелии, когда он вообще терпит чрезвычайный недостаток в капиталах? Словом сказать, в чем бы ни увидели мы недостаток, мы уже вперед сказали о нем, когда произнесли общую фразу: «народ беден».

Но может ли выйти из бедности народ, у которого администрация дурна и судебная власть не исполняет своего предназначения? Разве не каждому известно, что народное благосостояние развивается только трудолюбием и бережливостью? А эти качества могут ли существовать при дурной администрации, при плохом суде? Человек может работать с усердием только тогда, когда никто не помешает его труду и не отнимет у него плодов труда. Этой уверенности нет у человека, живущего в стране, где администрация дурна и суд бессилен или несправедлив. Бережливым можешь быть только при уверенности, что бережешь для себя и своей семьи, а не для какого-нибудь хищника. Если этой уверенности нет, человек спешит поскорее растратить — хотя бы на водку — те скудные деньги, которые успеет приобрести. Распространяться здесь об этом вновь едва ли нужно, потому что много раз говорил

об этом «Современник». Приведем только небольшой отрывок из статьи, которая, по нашему мнению, довольно верно указывает причину зла.

«Кто говорит «бедность народа», тот говорит «дурное управление». Это — единственный источник народной бедности. Но что такое дурное управление? Зависит ли оно от лиц? Нет, каждый видел на опыте, что при самых благонамеренных начальниках порядок дел оставался точно таков, каков был при самых дурных. Мы жили в провинции, губернатором которой был человек честнейший, редкого ума и чрезвычайно хорошо знавший дело [1]. Каждый житель того края скажет вам, что при нем делалось то же самое, что и до него. Должности продавались с формального торга. Суда и управы не было; грабительство было повсеместное: оно владычествовало в канцелярии губернатора, в губернском правлении, по всем ведомствам и инстанциям. Теперь мы нашли там начальником одного из частных управлений, человека тоже безукоризненной честности и большого ума [2]. Но когда, проезжая по провинции, мы спрашивали поселян его управления, меньше ли берут с них взяток, чем прежде, при отъявленных взяточниках или глупцах, они отвечали, что берут с них столько же, как и прежде. Мы поручимся, что и в соседней, также поволжской, губернии, где губернатором теперь человек известной честности, дельности и ума [3], делается то же самое, что делалось прежде; поручимся, что не исправилась администрация и в Р. губернии, где вице-губернатором один из наших благороднейших писателей, характер которого достоин его прекрасных произведений [4]. Итак, не личные качества людей причина дурного управления. Или виновны в нем понятия народа, будто не сознающего всей гнусности гнусных дел? О, нет. Послушайте, как говорят о чиновниках люди всех других сословий: помещики, купцы, духовенство, мещане, крестьяне. Все, кроме берущих взятки, рассуждают о дурном управлении с теми чувствами, которых оно заслуживает. Или дурное управление зависит от привычек? Но нет, мы видим, что самые отъявленные взяточники на казенной службе бывают честными людьми, как помещики и хозяева промышленных заведений. И притом, что значила бы привычка какой-нибудь горсти людей, действия которых осуждаются всем остальным обществом? Эти люди быстро исправились бы или бы уступили место людям другого образа действий, если бы на их местах возможно было действовать другим образом. И послушайте самых дурных чиновников: редкий из них доволен своим служебным поведением. Напротив, почти все скажут вам, что хотели бы действовать иначе, отправлять свои обязанности честно, и если не делают этого, то лишь потому, что это невозможно. Да, они правы: действительно, они не могут отправлять своих должностей иначе. Мы не говорим о недостаточности жалованья, потому что действуют беззаконно и те чиновники, которые получают достаточное жалованье; недостаточность жалованья служит причиною только мелкого, можно сказать невин-

ного и безвредного взяточничества маленьких чиновников. Какой-нибудь бедняжка писец или помощник столоначальника гражданской палаты берет с вас полтинник за то, что сделает для вас справку,— тут нет еще большой беды. Дело не в этом взяточничестве. Нет, вопрос в том, почему дела у нас вообще ведутся беззаконно, с получением или без получения взяток, все равно. Если, например, я имею чин коллежского советника (это уже важный чин в провинции), я могу беззаконно прибить мещанина, и меня оправдают, не взяв с меня никакой взятки. Зато, если обидит меня генерал (каждый генерал в провинции важнее, нежели в столице генерал-адъютант или действительный тайный советник), его также оправдают, не взяв с него никакой взятки, и от меня не захотят взять даже огромной взятки, чтобы обвинить его.

Только в тех случаях дело решается взяткою, когда обе стороны почти равны по общественному положению. Это случаи довольно редкие. Итак, вовсе не о взятках должна быть речь: речь должна быть о том, что вообще у нас дела ведутся беззаконно; то, что беззаконие доставляет доход чиновнику, есть уже только последствие системы, а не причины ее. Истинные причины беззаконности — безответственность и беззащитность чиновников. Чиновник наш подлежит одному только контролю — контролю начальства; ни общество, ни товарищи, ни подчиненные не могут ничего сделать с ним, если только начальство довольно им; зато ни общество, ни товарищи, ни подчиненные не могут спасти его, если начальство им недовольно. Он безответствен пред всем и всеми на свете, кроме начальства; зато перед начальством он беззащитен. Лишенный всякой независимости относительно начальства, он может держаться на службе только тем, чтобы угождать ему. Теперь представим себе такой случай. У начальника есть брат, который имеет тяжбу с человеком маленьким. Начальнику нет времени и охоты вникать в запутанные подробности дела, да если он станет вникать, все дело поневоле представляется ему в свете более благоприятном для его брата, нежели как может представляться постороннему человеку. Дело производится, положим, в уездном суде. Если маленькие чиновники чисты и секретарь уездного суда [не] произведет его, как считает справедливым пристрастный по родству глаз начальника, они навлекут на себя его неудовольствие. То же, что о брате начальника, надобно сказать о других его родных, и о его друзьях, и о его знакомых, и о знакомых его друзей и родственников. Что же будет, если во второй, в третий, в десятый раз члены уездного начальства навлекут на себя неудовольствие начальника? Они беззащитны, они вполне зависят от него. Каким же образом могут они занимать свои места, если часто не нарушают закона для того, чтобы их решения совпадали с предубежденным в пользу известной стороны мнением начальника? И как устоят они против искушения нарушить закон? Ведь это совершенно безопасно: лишь бы был доволен начальник, и

никакая ответственность не упадет на них. Таким образом, они должны нарушать закон не для того, чтобы брать взятки, а для того, чтобы не подвергнуться несчастию самим. Вот истинный источник беззаконного ведения дел. А если уже совестью надо кривить, все равно, будешь ли брать взятки или нет: то почему же и не брать взяток? Когда надобно делать одно и то же — кривить душою — с выгодою и без выгоды, то, конечно, будешь даже лучше кривить душою с выгодою. И без того не избежишь греха. Таким образом, взяточничество является только уже результатом предшествующей ему необходимости нарушать закон, по беззащитности исполнителей закона перед сильнейшими и безответственности перед обществом. Чтобы восстановить законность, надобно обратить внимание не собственно на взяточничество, а на эту коренную причину невозможности чиновникам обходиться без нарушения закона. Надобно изменить положение чиновников, дать им возможность не погибать от отказа нарушать закон в угоду сильным людям и, с другой стороны, сделать так, чтобы одно благорасположение начальства не служило для них залогом полной безопасности при нарушении закона. Читатель видит, что для этого должны быть изменены отношения должностной деятельности к общественному мнению. Оно должно получить возможность к тому, чтобы защищать чиновника, исполняющего свой долг, от погибели подвергнуть ответственности чиновника, нарушающего закон. Для этого одно средство: надобно сделать, чтобы должностная деятельность перестала быть канцелярскою тайною, чтобы все делалось открыто, перед глазами общества, и общество могло высказывать свое мнение о каждом официальном действии каждого должностного лица».

Мы не знаем, возможно ли при нынешнем устройстве наших общественных отношений осуществление условия, которое предлагается выписанным нами отрывком для прекращения беззаконности: быть может, подобная реформа предполагает уничтожение отношений слишком сильных, не поддающихся реформам, а исчезающих только вследствие важных исторических событий, выходящих из обыкновенного порядка, которым производятся реформы. Мы не хотим решать этого, мы не хотим рассматривать, какие обстоятельства нужны для исполнения мысли, изложенной автором приведенного нами отрывка. Но можно сказать, что пока не осуществится изменение, необходимость которого он показывает, все попытки к водворению законности в нашей администрации и судебном деле останутся безуспешными.

Впрочем, рассмотрение средств, которыми могла бы устраниться коренная причина бедности нашего народа — дурное управление, не составляет главного предмета этой нашей статьи. Мы должны показать только, что дурное управление есть общая коренная причина всех тех недостатков, которые задерживают развитие нашего земледелия. Начав с экономической стороны быта, мы сказали, что дурное управление — основная бедность нашего народа, которая, в свою очередь, не дает развиться ни

одному из материальных условий, нужных для успехов земледелия.]

Другая сильнейшая причина нашей бедности [вообще и жалкого положения нашего земледелия в особенности] — крепостное право произошло некогда от дурного управления и поддерживалось им. О происхождении крепостного права мы заметим только, что это учреждение развилось от бессилия нашей старинной администрации охранить прежние свободные отношения поселян, живших в известной даче, к владельцу дачи и удержать постепенное расширение произвольной власти, захватываемой владельцем над населявшими его землю людьми; заметим еще, что [превращение огромной массы вольных людей в крепостных крестьян никак не могло бы совершиться, если бы управление было способно защищать мелких вольных людей от произвола сильных соседей]. Возможность учредить крепостное состояние происходила только оттого, что вольные люди, слишком плохо защищаемые управлением, терпели слишком много притеснений, так что переставали дорожить своею свободою и не видели слишком большой потери для себя от записи в принадлежность сильному человеку. Излагать подробнее этот предмет, относящийся к старине, было бы неуместно в статье, говорящей о нынешнем положении дел. Мы хотели сказать, что если крепостное право держалось до сих пор, то оно было обязано такою продолжительностью своего существования только дурному управлению. Действительно, каковы бы ни были законы, определявшие права помещиков над крепостными людьми, но если бы даже эти законы соблюдались, то, во-первых, все помещики давно бы перестали находить выгоду в крепостном праве, во-вторых, почти во всех поместьях крепостное право было бы прекращено частными судебными решениями по процессам о злоупотреблении властью. [Мы уже сказали, что не намерены писать филиппик против крепостного права; но мы укажем факт всем известный, если скажем, что трудно было найти поместье, в котором пользование крепостным правом или не превышало бы границ, определенных ему законом, или не употреблялись бы для управления крестьянами средства, запрещенные законом, и не оставлялись бы в пренебрежении обязанности относительно крестьян, возлагаемые законом на помещика. В одних поместьях требовалась барщина выше трех дней, в других — крестьяне подвергались иным притеснениям, в третьих — оставлялись без надлежащего пособия во время неурожаев и т. д. Надобно сказать, что эти нарушения законов далеко не всегда проистекали оттого, что помещик был дурным человеком: нет, источник их лежал не в личных качествах отдельных людей, а в самой натуре крепостного отношения. По своей сущности крепостное право ведет к произволу, и, какими бы законами ни определялось оно, оно неминуемо влечет и к нарушению, потому что произвол не может ужиться ни с каким законом. Если бы управление действительно хотело и могло преследовать все бесчисленные нарушения законов, неминуемо вытекавшие из

крепостных отношений, в каждом поместье беспрестанно возникали бы процессы против помещика, и, измученный справедливыми преследованиями, он давным-давно сам постарался бы вывести свое поместье из крепостных отношений, которые, прибавим, очень мало доставляли бы ему материальной и денежной выгоды, если бы управление не позволяло далеко превышать законных размеров и средств пользования крепостным правом. Много говорить об этом нет надобности: спросите какого угодно дельного чиновника, он скажет вам, что удовлетворительные формы ведения процессов гражданских и уголовных были невозможны при крепостном праве; а это значит, иными словами, что существование крепостного права было бы невозможно при хорошем управлении.

Если мы посвятили несколько страниц изложению последствий дурного управления в экономической стороне народного быта, то едва ли понадобится нам больше нескольких строк для обнаружения того, что дурное управление было также главной причиной неудовлетворительного развития нравственных и умственных сил народа. Говоря о бедности, производимой дурным управлением, мы уже видели, что оно производит ее через подавление нравственной энергии в народе. Действительно, может ли быть энергичным человек, привыкший к невозможности отстоять свои законные права, человек, в котором убито чувство независимости, убита благородная самоуверенность? Соединим теперь упадок нравственных сил с бедностью, и мы поймем, почему дремлют также умственные силы нашего народа. Какая энергия в умственном труде возможна для человека, у которого подавлены и сознание своего гражданского достоинства, и даже энергия в материальном труде, который служит школой, подготовляющей человека к энергии в умственном труде?]

# ИЮЛЬСКАЯ МОНАРХИЯ

...В последние годы июльской монархии было всем известно, что большинство депутатов, поддерживающих кабинет, выбираются людьми подкупленными и потому безнаказанно дают подкупать себя. В те времена всеобщее право выбора считалось само по себе достаточною гарантиею для составления такой палаты, которая действительно была бы представительницею общественных потребностей. Теперь, когда опыт показал, что всеобщим избирательством дается власть обскурантам и реакционерам, многие лучшие люди потеряли веру в этот принцип. Дело в том, что и тут, как во всех исторических делах, разные условия общественного благосостояния связаны одно с другим, и, какое из них ни возьмете вы в отдельности, оно оказывается непрактичным без других условий.

Политическая власть, материальное благосостояние и образованность — все эти три вещи соединены неразрывно. Кто находится в нищете, тот не может развить своих умственных сил, в ком не развиты умственные силы, тот не способен пользоваться властью выгодным для себя образом; кто не пользуется политическою властью, тот не может спастись от угнетения, т. е. от нищеты, т. е. и от невежества. Эта неразрывность условий, похожая на фальшивый логический круг, приводит в отчаяние людей нетвердых духом или нетерпеливых. Но что же делать, если так устроен свет? Нам, вероятно, будет случай поговорить об этом подробнее, если мы доведем рассказ о французской истории до тех времен, когда вопрос о всеобщем избирательстве получил практическую важность и когда потом первые опыты всеобщего избирательства оказались так неудачны. Теперь заметим только, что не одно всеобщее избирательство, а все права и блага общественной жизни находятся теперь и, вероятно, долго еще будут находиться в нелепом положении, представляясь возможными только как результаты таких фактов, которые сами должны служить их результатами.

# ОСНОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

## III
## О НЕПРИЯТНОСТИ ТРУДА

«В понятии труда заключаются кроме самой деятельности и все те неприятные или тяжелые ощущения, которые соединены с этой деятельностью»,— говорит Милль, кто станет спорить с этим? Но одни ли неприятные ощущения соединены с деятельностью, которая называется трудом? Милль об этом не говорит. Очень может быть, что во времена Адама Смита [1] не представлял никакой важности вопрос о том, одну ли только неприятную сторону имеет в себе труд или кроме неприятных ощущений он производит также приятные. Но теперь вопрос этот поставлен, и объяснено, что тот или иной ответ на него имеет последствия совершенно различные для направления экономической теории.

Есть теория, утверждающая, что неприятные ощущения, производимые трудом в трудящемся человеке, проистекают не из сущности самой деятельности имеющей имя труда, а из случайных, внешних обстоятельств, обыкновенно сопровождающих эту деятельность при нынешнем состоянии общества, но устраняющихся от нее другим экономическим устройством. Теория эта прибавляет, что, напротив, сам по себе труд есть деятельность приятная, или по термину, принятому этою теориею, деятельность

привлекательная, так что, если отстраняется внешняя неблагоприятная для труда обстановка, он составляет наслаждение для трудящегося.

Мы должны предоставить личному мнению читателя суждение о том, справедлива ли изложенная нами теория в абсолютном своем развитии, когда она утверждает, что *никакой* род труда не заключает сам в себе ничего неприятного. Экономическое устройство, которое считается рациональным в этой теории, до сих пор еще не осуществлено, и потому нельзя с достоверностью знать, в том ли именно размере изменится при этом устройстве характер *всякого* труда, как предполагает она.

Но если при нынешнем состоянии общественных учреждений и знаний нельзя с математическою точностью доказать, чтобы *никакой* род труда не имел в своей сущности ничего неприятного, то еще менее можно сказать, чтобы наука давала нам право утверждать противное. Вопрос этот принадлежит к тем очень многочисленным вопросам, на которые при нынешнем состоянии знаний невозможно давать ответов, имеющих математическую безусловную точность, а можно отвечать только с приблизительною точностью, впрочем совершенно удовлетворительною для практики.

Действительно ли во всех *без исключения* родах труда неприятные ощущения просходят *единственно* от внешней неблагоприятной обстановки? Действительно ли *никакой* род труда не заключает сам в себе абсолютно *ничего* неприятного? Этого нельзя решить при нынешнем состоянии знаний; но и при нынешнем состоянии знаний уже положительно надобно сказать, что *почти* во всех родах труда, и в том числе *во всех важнейших* по экономическому значению, *почти* все неприятные ощущения производятся не самою сущностью труда, а только внешнею, случайною обстановкою его; что почти все роды труда, и в том числе все важные роды его, имеют по своей сущности приятность или привлекательность, которая далеко превышает их неприятную сторону, если даже есть в их сущности неприятная сторона (существование которой сомнительно), так что при отстранении неблагоприятной, случайной и внешней обстановки почти всякий, и в том числе всякий важный в экономическом отношении, труд составляет для трудящегося не неприятность, а удовольствие.

Это подтверждается ежедневным опытом и естественными науками. Каждый на себе и на других может замечать, что труд часто доставляет ему наслаждение. Анализируя эти случаи и случаи противного, когда труд составляет не удовольствие, а обременение, каждый может видеть, что ощущение приятное производится трудом всегда, когда существуют следующие три условия: во-первых, когда труду не препятствуют слишком сильные внешние помехи; во-вторых, когда человек совершает его по собственному соображению о его надобности и полезности для него самого, а не по внешнему принуждению; в-третьих, когда труд не продолжается долее того времени, пока мускулы совер-

шают его без изнурения, вредного организму, разрушающего организм. Анализ показывает, что неприятность труда всегда происходит от неисполнения этих условий.

Легко заметить, что труд не отличается в этом отношении ни от какой другой органической деятельности. Каждая из них становится неприятной при неисполнении условий, перечисленных нами. Например, никто не скажет, чтобы еда хорошей пищи, или слушание хорошей музыки, или какие-нибудь гимнастические развлечения вроде танцев, прогулки и т. п. были сами по себе неприятны; напротив, сами по себе они составляют удовольствие, наслаждение. Но если человек танцует не потому, чтобы ему самому вздумалось танцевать, а по какому-нибудь внешнему понуждению, танцы уже составят для него обременение, скуку, досаду. Точно так же они становятся неприятны, когда продолжаются более, нежели сколько времени может заниматься ими организм без изнурения. Это мы постоянно замечаем на балетных танцовщицах; замечаем на самих любящих танцы молодых людях, когда бал происходит или в неудобное для них время, или они отправляются на него не по собственному желанию, или когда он тянется слишком долго. Самый приятный концерт, самый приятный спектакль становится неприятен для меломанов и театралов, если бывает слишком продолжительным. Когда желудок уже пресыщен пищею, самое вкусное блюдо становится отвратительным, и если нельзя от него отказаться, то еда бывает большою неприятностью.

Из этого мы видим, что приятность или неприятность труда подчинена тем же самым условиям, как приятность или неприятность всех других органических деятельностей. Труд различается в этом смысле от светских развлечений и разных родов физического или умственного наслаждения не тем, чтобы его неприятность происходила не точно от таких же внешних обстоятельств, от каких получают неприятность еда, танцы, слушание концертов и т. д., а просто только тем, что при труде гораздо чаще бывают эти неблагоприятные внешние обстоятельства, нежели при собственно так называемых удовольствиях или занятиях, обыкновенно называемых приятными. Чрезвычайно редко бывает, чтобы человек ел по внешнему принуждению или больше, чем приятно для него; но чрезвычайно часто бывает, что человек трудится по внешнему принуждению или больше, нежели удобно для его организма.

Из этого возникает новый вопрос: отчего же происходит, что труд гораздо чаще совершается под условиями, дающими ему неприятность, нежели совершаются те органические деятельности, которые, собственно, называются удовольствиями? Происходит ли эта слишком частая неблагоприятность внешней обстановки от самих предметов, на которые обращен труд, или от причин столь же посторонних, как те, которыми производится неприятность удовольствий? Подробное исследование этого вопроса найдет свое место в учении о распределении продуктов труда,

составляющем вторую книгу в трактате Милля. Здесь мы предварительно, и только мимоходом, заметим лишь одно обстоятельство: те явления общественной жизни, которые называются удовольствиями, бывают обыкновенно производимы обращением человеческой мысли и воли собственно на произведение именно этих явлений. Например, если происходит спектакль, он происходит собственно оттого, что люди, составлявшие его, хотели устроить именно спектакль, а не что-нибудь другое. Поэтому они и устраивали дело так, чтобы оно происходило с наивозможно лучшим устранением всех невыгодных для него обстоятельств. Например, они устроили спектакль в удобном для зрителей здании, чтобы ветер, дождь или холод не мешал публике заниматься собственно тем делом, за которым она пришла в театр, т. е. смотрением на сцену; время для спектакля выбрано такое, в какое удобнее всего публике заниматься спектаклем. Словом, приняты все возможные меры для удобства дела. Невозможно сомневаться в том, что именно только сосредоточением забот собственно на этом пункте достигается приятность спектакля для публики. Попробуйте снять крышу с оперы, и все уйдут из нее с негодованием, и разве только палкою загоните вы публику в оперу, пока крыша останется раскрытой. Попробуйте назначить начало оперы в три часа дня, когда всем хочется обедать, или в три часа утра, когда всем хочется спать, а не ехать в спектакль, и почти никто не пойдет в оперу добровольно, да и те немногие, которые пойдут, уйдут из нее с недовольством.

Подумаем же теперь о том: с какими целями, по каким соображениям, для каких дел организовано общество во всех странах? Руководились ли народы заботою о наивыгоднейшей обстановке труда, когда давали обществам своим то устройство, которое до сих пор сохраняется в существенных и важнейших чертах? Подробное исследование об этом дело истории, а не политической экономии; мы можем здесь представить только готовый вывод, даваемый историею и несомненный для людей, сколько-нибудь знакомых с нею. Для ясности возьмем определенный факт, например, хотя Францию, история которой наиболее известна у нас. Франки, основавшие нынешнее французское общество, пришли в страну, овладели ею и дали ей известное устройство не для того, чтобы трудиться, а чтобы воевать, грабить и праздношатательствовать. Надобно сказать, что устройство, ими данное Франции, прекрасно соответствовало этой цели. Но политическая экономия находит, что условия, нужные для такой цели, совершенно противоположны условиям, какие нужны для удобства труда. С X или XI в. (до той поры продолжалось без всяких перемен положение вещей, созданное в IV и V в.) Франция испытала много изменений в своем общественном устройстве. Нам нет нужды рассматривать, как велика произошедшая от этих перемен разница между XI и XIX в. в нравственном, умственном, юридическом отношениях; но об экономической сфере французского быта надобно сказать, что мы можем

сколько нашей душе угодно восхищаться громадностью произошедших перемен, а по точном исследовании они все-таки оказываются преобразовавшими до сих пор только некоторые второстепенные подробности быта, существовавшего в XI в., а вовсе не существенные черты его, не коренные его основания. Доказывать это — дело не политической экономии, а истории и статистики. Но так как вывод, приводимый нами из этих наук, покажется нов для многих, то мы обратим внимание, для пробы, хотя на одну черту, едва ли не самую важную, на состояние поземельной собственности. Можно сколько угодно говорить об огромности конфискаций, произведенных в конце прошлого века, об упадке французской аристократии по материальному богатству и т. д., но статистика говорит, что почти вся та масса земли во Франции, которою владело потомство франков в XI в., до сих пор остается в руках их потомков. Массу населения во Франции составляют потомки кельтов [2] и латинских племен; но едва ли не половина земли во Франции и ныне, в 1860 г. принадлежит малочисленным потомкам тех малочисленных франков, которые взяли себе эту землю при Хлодвиге [3] и его преемниках. Ни один французский статистик не отваживается утверждать, что больше половины земли принадлежало во Франции людям, ее возделывающим, и все согласны в том, что другая половина принадлежит людям неземледельческого сословия. Этого одного факта уже довольно. Ясно, что весь порядок земледельческого производства должен определяться во Франции надобностями и удобствами людей, которые живут доходом с земли, не возделывая ее; потому что, когда половина производства зависит прямо от людей сильных, то другая половина должна подчиняться косвенному их влиянию. Землепашец, владеющий 5 или 6 гектарами земли, по необходимости должен оставаться при таком характере производства и при таких условиях труда, какие налагаются на французское общество удобствами больших землевладельцев, поместьями которых окружен его ничтожный участок и в зависимости от которых он сам находится по всевозможным общественным отношениям. Повторяем, что доказательств нашим словам надобно искать в истории и статистике; мы берем здесь уже готовый результат исследований из этих наук, и, кто знаком с ними, для того справедливость представляемого нами вывода несомненна. Экономический быт Франции с XI в. изменился в очень незначительной степени; но все-таки перемены до сих пор не так велики, чтобы экономическое устройство французского общества ныне существенно отличалось по отношению к обстановке труда от того устройства, какое Франция имела в XI или даже в V в. Перемены значительны и хороши, мы против этого не спорим; мы говорим только, что они еще не получили до сих пор такой значительности, чтобы условия труда во Франции соответствовали хотя сколько-нибудь требованиям науки. В сущности остается во Франции порядок дел, устроенный для войны, для праздности, но не для труда.

То, что мы сказали о Франции, применяется еще в гораздо

большей степени к другим странам Западной Европы. Северная Америка до сих пор жила европейскими преданиями. Обстановка труда до сих пор везде чрезвычайно неблагоприятна, потому что дается ему такою организациею общества, которая была устроена для деятельностей, совершенно не похожих на труд и требующих характера отношений, противоположного тому, какой нужен для труда.

Если от этой обстановки, неудобной для труда, мы обратимся к самой сущности труда, то естественные науки заставляют нас утверждать, что труд по своей сущности составляет для человека приятность. Мы говорим это собственно о физическом или мускульном труде, потому что привлекательность умственного или нервного труда известна по опыту каждому, в чьей голове труд этот достигает или когда-нибудь достигал какой-нибудь энергии. Мускульный труд, по прекрасному разъяснению Милля, состоит исключительно в движении, и мускулы имеют движение единственным родом деятельности, к какой способны. Выражаясь техническим языком, движение составляет функцию мускулов, как зрение составляет функцию глаза, слушание — функцию ушей, мышление — функцию головного мозга, пищеварение — функцию желудка. Естественные науки говорят, что приятное ощущение получается каждым из наших органов тогда, когда он с известною степенью энергии занят своею функциею. Например, зрение доставляет нам приятность, когда предмет, на который смотрит наш глаз, занимателен для нас, т. е. когда он возбуждает в глазе довольно значительную энергию деятельности; мы имеем приятное ощущение в желудке, когда он приобрел достаточное количество материала, нужного для его деятельности. Неприятное ощущение от известной части организма производится или отсутствием материала для ее деятельности, или внешним препятствием совершать эту деятельность. Одним из препятствий бывает чрезмерность материала, который массою своею превышает силы организма. Например, такое количество света, при котором глазу удобно смотреть, доставляет глазу удовольствие; но когда свет слишком ярок, т. е. когда глаз получает такое количество его, которого не в силах переработать удобным для себя образом, глаз страдает; точно так же желудку неприятно, когда пищи в нем уже слишком много. Но недостаток материала, т. е. невозможность заниматься своею функциею с надлежащей энергией, также производит в органе неприятное чувство. Когда зрению нечем заняться, мы чувствуем скуку; когда нечем заняться желудку, мы чувствуем голод.

Прилагая эти общие выводы естественных наук к мускулам и к их функции, т. е. к движению, т. е. к труду, мы должны сказать, что отсутствие нужного количества труда должно производить в мускулах чувство неудовлетворенности, соответствущее чувствам скуки, тоски, голода; должны сказать, что, наоборот, чрезмерностью труда должно производиться в мускулах такое же неприятное чувство изнурения, соответствующее рези в глазу и

чувству обремененности в желудке; а таким количеством труда, которое не превышает сил мускулов, должно производиться в них ощущение приятное, какое производится не чрезмерным количеством света на глаз, не чрезмерным количеством пищи на желудок *.

Мы видим, что из этого длинного рассуждения получается краткий вывод, до того простой, что, когда придешь к нему, удивительно становится, каким образом могла явиться односторонность или ошибка, вызвавшая нужду в исследовании и доказывании того, что для всех всегда было ясно и понятно без всяких исследований. Мы пришли к выводу, что труд должен быть сообразен с силами человека и что он дурен, т. е. неприятен, тогда, когда превышает их. О чем тут рассуждать, что тут доказывать? Но мы еще будем иметь много случаев видеть, как важна практическая разница между истиною, очевидною до начала научных исследований о ней, с тою же истиною, уже выдержавшею отрицание и подтвержденною научным исследованием.

## ЗАМЕЧАНИЯ НА ГЛАВУ ВОСЬМУЮ

...Мы видели, что сам принцип разделения занятий носит в себе тенденцию к сочетанию разнообразных занятий в деятельности одного работника: он ведет к этому, упрощая операции до того, что исчезают все невыгоды и растраты, которыми задерживается сочетание разных занятий в круге работ одного лица при недостаточном развитии разделения занятий. Сбережение и укрепление здоровья в работнике, производимое разнообразием занятий, составляет громадный выигрыш для производства. Столь же важна другая выгода такой формы деятельности работника. При разнообразии занятий он будет иметь более широкую сообразительность, умственные силы его будут развиваться от работы, а не тупеть, как тупеют при ограничении всей деятельности его одною упрощенною до машинальности операциею. Подумаем только, может ли быть какое-нибудь сравнение по изобилию материалов для умственного развития, по богатству промышленной

* Мы берем понятие о функции мускулов, движении за понятие, равносильное понятию физического труда, состоящего исключительно в движении. Движение, составляющее труд, отличается от других родов мускульного движения, как, например, от игры, гигиенического моциона и т. д., только тем, что совершается по внушению расчета о своей полезности для материального благосостояния. Нет надобности говорить, что взрослый и рассудительный человек отдает этому расчету преимущество над всеми другими личными своими побуждениями, и потому скучным и глупым кажется ему всякое движение, производимое не по расчету о материальном благосостоянии. Политическая экономия признает личный интерес сильнейшим или даже единственным важным двигателем человеческой жизни. Чем более важное место мы приписываем ему, тем полнее охватывает труд всякую мускульную деятельность.

опытности, по догадливости между работником, который бывал и на полевой работе, и на ткацких фабриках, и на постройках, и в ремеслах, и между таким работником, который всю жизнь просидел у одного колеса одной машины на одной фабрике? Тут разница такая же, как между человеком, изъездившим вдоль и поперек Россию, и другим, который носа не высовывал за шлагбаум своего уездного города. А мы отчасти уже видели, еще яснее увидим впоследствии, что решительно ни один из элементов успешности производства не имеет такого громадного значения, как степень умственного развития в работнике. Климат, почва, запасы капитала, самая крепость физических сил — все это ничтожно по сравнению с развитием мысли. Из этого развития все возникает, все достигает только той величины, какая сообразна с ним, все поддерживается только им. Потому важнейшим препятствием к развитию производства надобно считать те формы, которые неблагоприятны умственному развитию работника. Впоследствии мы займемся разбором того, какие формы экономического устройства благоприятны, какие неблагоприятны развитию этого важнейшего элемента успешности труда. Теперь мы обратим внимание еще на одно обстоятельство.

Степень, до которой может быть доводимо разделение занятий в данное время, в данном месте, определяется размером рынка для сбыта производимых товаров. Это совершенная правда; но должно прибавить, что размер рынка, потребный для известной высоты в разделении занятий, бывает различен при разных формах производства. Для ясности мы предположим такой случай. Пусть для наибольшего разделения занятий, т. е. для успешнейшего производства, нужен ткацкой фабрике размер, при котором требуется 100 работников. Положим, что в данном обществе, в данное время развилась такая форма производства, при которой ткач шелковой материи не может уже заниматься ничем, кроме этой отрасли дела, ткач бумажных материй также. Ясно, что нужны будут две особые фабрики, одна для бумажных, другая для шелковых материй, и нужен такой размер рынка, который потреблял бы полное годичное производство товаров той и другой фабрики. Но пусть размер рынка будет вдвое меньше, тогда при форме производства, не допускающей разнообразия занятий, невозможно существовать двум этим фабрикам, имея по 100 работников; каждая из них не может иметь более пятидесяти работников, т. е. принуждена будет остановиться на гораздо менее высокой степени разделения занятий, иначе сказать, должна вести свое производство гораздо менее усовершенствованным и успешным процессом. Но предположим, что была бы принята в этом обществе другая форма производства, допускающая поочередный переход одного работника по разным занятиям; тогда было бы очень удобно быть одной фабрике, которая половину года ткала бы при труде 100 работников бумажные материи, а другую половину года в таком же размере шелковые материи. Правда, обращение фабрики от выделки бумажных тканей на выделку шел-

ковых и наоборот каждый раз требовало бы некоторого расхода; но этот расход совершенно ничтожен по сравнению с выгодой, получаемой от большого развития труда. Здание фабрики не требует для такого перехода никаких переделок, паровые машины также не требуют, большая часть ткацких механизмов и других рабочих орудий также одинаково годится для обоих производств; орудия, которых нужен будет двойной комплект, имеют ценность совершенно незначительную с этими огромными ценностями, расход на подстановку одного комплекта этих орудий на место другого при перемене производства также будет совершенно ничтожен по сравнению с огромными расходами на полугодичное содержание фабрики. Эти ничтожные прибавки, решительно незаметные в общей сумме расходов, дают возможность сделать то колоссальное сбережение в основном капитале, какое происходит от заменения двух фабрик одною, и доставить производству те громадные выгоды, какие получаются от вдвое большего разделения занятий, т. е. от усовершенствования процессов производства вдвое больше прежнего.

Эта гипотеза показывает нам еще новую сторону выгодности форм благоприятных и невыгодности форм неблагоприятных сочетанию разнообразных занятий в деятельности одного работника. Мало того, что разнообразие занятий заменяет хилого работника здоровым, тупого сообразительным: оно дает также возможность при каждом данном размере рынка доводить разделение занятий, то есть совершенствование производительных процессов, до степени гораздо высшей, чем какая возможна без поочередного занятия одного и того же работника разными операциями.

# ОЧЕРКИ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ (ПО МИЛЛЮ)

...Потребности эстетического наслаждения никак не могут уже и сами по себе идти в сравнение с потребностями материального благосостояния. Наслаждаться чем-нибудь изящным удобно человеку лишь тогда, когда его материальные потребности удовлетворены. Выражаясь, быть может, слишком сурово, но совершенно верно, надобно сказать, что эстетическое наслаждение годится собственно лишь на то время, которого уже ни на что другое не способен человек употребить или по отсутствию всяких надобностей, или по истощению сил предшествующим трудом; оно всегда бывает или отдыхом, или праздностью. Но отдых и праздность, конечно, не должны иметь меновой ценности. Потому не следует иметь ее и предметам эстетического наслаждения. Разумеется, мы очень хорошо знаем, что они имеют ее теперь; за

вход в театр собирается плата, картина или статуя продается. Но мы говорим, что этим оскорбляется самая природа подобных вещей. Красота и изящество не должны иметь никакой цены,— если эта фраза покажется вам жестка для этих уважаемых вами предметов, можете выразить тот же принцип самым лестным для них образом: они бесценны или неоцененны. Ставьте их несравненно ниже или несравненно выше предметов, нужных для физического благосостояния, это как вы хотите; но сравнения между ними нет никакого. Точно то же вы должны будете сказать, если от потребностей, которым они удовлетворяют, вы обратитесь к способу их происхождения. Один из них производится самою природою, без человеческого усилия, как, например, красота природы и человеческая красота. Для произведения других нужна специальная, преднамеренная деятельность человека; таковы танцы, драматические представления, картины; но деятельность, их производящая, не может быть вызвана трудом в экономическом смысле слова; она сама по себе уже составляет наслаждение для занимающегося ею; она принадлежит к тому разряду деятельностей, к которому принадлежит принимание пищи или любовь. Вознаграждение за такие деятельности не должно состоять в чем-нибудь внешнем, они по своей сущности отвергают всякую идею о вознаграждении. Кто декламирует или играет на скрипке, сам наслаждается своею декламациею или игрою,— которая по-настоящему и хороша бывает, которая по-настоящему и для других может служить источником наслаждения лишь тогда, когда служит наслаждением для дакламирующего или играющего *. Потому деятельность, производящая предметы эстетического наслаждения, не должна иметь никакого другого вознаграждения, кроме удовольствия, чувствуемого занимающимся ею человеком. О меновой ценности не должно быть тут никакого помина и с этой стороны.

Точно так же не должна иметь меновой ценности и та умственная деятельность, которая имеет своим результатом развитие самого человека, ею занимающегося, а источником имеет потребность узнать истину. Сюда принадлежит, во-первых, всякая ученая деятельность; во-вторых, деятельность учащегося. Учащийся должен по-настоящему учиться только из желания выучиться, из потребности знания. Точно так же ученый должен заниматься наукою только из желания овладеть ею или двинуть ее вперед. Самая успешность в том и другом случае бывает соразмерна преобладанию этой, так сказать, самонаслаждающейся любви к делу над всякими другими расчетами.

Но есть умственная деятельность другого рода, составляющая не самонаслаждение, а жертву для занимающегося ею. Это деятельность педагогическая. Конечно, воспитатель или учитель бывает хорош лишь тогда, когда занимается своим делом усердно

* Если вы замечаете, что актер играет не по увлечению натуры, а только по найму, его игра уже отвратительна для вас.

и добросовестно; а для этого нужна и некоторая привязанность к делу. Но и по своему внутреннему характеру, и по своему отношению к другим чувствам этого человека такая привязанность ничем не отличается от привязанности всякого порядочного работника, плотника или ткача к ремеслу; ведь и каменщик должен любить свое дело, заниматься им усердно и добросовестно. Эта привязанность — просто привязанность честного человека к исполнению принятого на себя долга. Она возникает только из нежелания быть обманщиком и сознания о полезности данного дела. Это — далеко еще не такое чувство, как органическая потребность заниматься именно известным предметом,— потребность, которая создает и живописца, и актера, и ученого,— не такая потребность, которая принадлежит к деятельностям, противоположным понятию внешнего вознаграждения. Педагог — такой же чернорабочий, как землекоп или портной. Его труд должен иметь экономическую ценность.

Но лишь в некоторых частных случаях эта экономическая ценность педагогического труда может прямо соразмеряться с ценностью труда, производящего внешние предметы. Это надобно сказать о ремесленном или вообще техническом обучении. Обучение плотничеству приносит лишь ту пользу, что делает человека способным успешнее производить внешние предметы, ценностью которых может определиться ценность обучения. Но совершенно иное дело — то воспитание или обучение, которое развивает умственные или нравственные достоинства человека, окончательный продукт которого не предмет, посторонний человеку, а сам человек. Этим делом удовлетворяются надобности совершенно иного рода, чем надобность в домах или стульях, в сапогах или рубашках. Прямой соразмерности нельзя тут найти, и педагогический труд общего нравственного или научного воспитания не может быть оценен сравнительно с трудом, производящим внешние предметы...

...Таким образом, по теории производства отношение человека, участвовавшего своим трудом в произведении продукта, к продукту труда имеет два элемента: корыстный и бескорыстный. Человек трудится отчасти для того, чтобы иметь продукт, отчасти для того, чтобы наслаждаться самим трудом. Присутствие или по крайней мере значительное развитие второго бескорыстного элемента в труде зависит, как мы говорили, от некоторых условий. Каждая деятельность, долженствующая по своей натуре доставлять наслаждение человеку, может обращаться в неприятность для него, если происходит в неблагоприятных для нее обстоятельствах *. Точно так и труд в противоположность коренному своему свойству может быть неприятностью для человека.

* Например, самое потребление пищи бывает неприятно, если пища не имеет надлежащих условий чистоты и сообразности с личными особенностями человека или если человек принужден по обстоятельствам принимать ее не вовремя и т. д.

В этом случае внутреннее влечение к труду отстраняется неблагоприятностью обстановки, и единственным побуждением остается надобность в продукте труда. Обыкновенная экономическая теория исследует исключительно этот один случай: при своем возникновении она не заметила ненормальность его, а теперь, когда ошибка обнаружена, еще продолжает по рутине держаться прежнего взгляда и даже усиливается доказывать его безусловную справедливость, доказывать, что расчет надобности в предмете всегда бывает в практике и должен считаться в теории единственным побуждением к труду. Попытка эта напрасна теперь, когда уже дознано, что кроме своих внешних последствий труд имеет физиологическое основание.

Спора нет в том, что при нынешней обстановке труда довольно редко служит он наслаждением. Но все-таки есть множество отдельных фактов по каждой отрасли производительного труда, доказывающих, что сама по себе эта отрасль труда доставляет трудящемуся наслаждение, как скоро соблюдены известные условия, сущность которых состоит лишь в том, чтобы устранены были обстоятельства, мешающие успешности труда.

Устранение обстоятельств, мешающих успешности труда, конечно, должно составлять предмет исследований науки, занимающейся вопросом о материальном благосостоянии человека. Обыкновенная экономическая теория слишком мало обращает внимания на эту сторону задачи. Она подробно занимается лишь вопросами об устранении препятствий второстепенных, забывая о самой главной и всеобщей причине того, что труд ныне вообще не имеет полной успешности,— о том, что слишком редко имеет он обстановку, при которой могло бы проявляться нормальное физиологическое его свойство — служить наслаждением для человека.

Ныне уже невозможно оспаривать ту мысль, что внешний результат труда — продукт производится гораздо успешнее, когда труд исполняется не по одной надобности в продукте, а также и по внутреннему влечению трудящегося. Потому в оправдание своей забывчивости к этому важнейшему условию господствующая экономическая теория уже утверждает теперь только то, что неудобоисполнимы условия, нужные для устранения неблагоприятной обстановки, мешающей труду быть наслаждением. Удобоисполнимы ли они в настоящее время или нет — это вопрос, требующий довольно обширного изложения; а главное дело — то, что если мы найдем положительный ответ на него, если физиологические и экономические факты заставят нас убедиться, что вся или почти вся масса экономического труда может иметь обстановку, при которой она будет совершаться с наслаждением, как совершается теперь труд в немногих случаях,— если мы принуждены будем фактами убедиться в этом, то получатся у нас для теории распределения и обмена принципы, очень различные от принципов господствующей теории. Не то чтобы законы, разъясненные господствующею теориею, оказались в этом случае лож-

ными,— нет, они сохранят свою справедливость; но рядом с ними раскроются для нас еще иные законы, которыми видоизменяется их действие, найдены будут общие формулы для действия экономических сил,— формулы, в которых представятся лишь частными случаями формулы, претендующие по господствующей теории на безусловное значение; от этого изменится смысл и уменьшится важность теорем, разъясненных господствующею теориею, так что, быть может, не останется у нас и охоты изучать их со вниманием, какого требует для них она. Когда новая, более полная истина будет признана за истину большинством, когда отрывочное и половинчатое понимание истины, представляемое господствующею теориею, станет для большинства предметом такого же насмешливого пренебрежения, каким служит ныне меркантильная теория[1] или протекционизм[2],— тогда, конечно, не будет надобности много заниматься этою неудовлетворительною теориею: споры с ее приверженцами будут тогда устраняться у большинства простыми словами, какими устраняются теперь споры с меркантилистами и протекционистами: «это отсталый взгляд». Теперь положение дел еще не таково. Ссылка на Рау или Рошера, на Бастиа или Шевалье[3] еще имеет все авторитетности для большинства, и нам представляется необходимость, подобная той, какая бывает для европейца, рассуждающего, например, о судопроизводстве или о семейном быте с азиатцем, воображающим, что азиатские понятия об этих предметах очень хороши. Европеец должен вникать в них довольно подробно; извлекать для азиатца из азиатских же понятий выводы, которых не замечал азиатец и которыми приближается этот азиатец к более верному взгляду на вещи. А начни ему европеец говорить с первого же раза лишь то одно, что действительно важно, называя пустяки пустяками, азиатец глубокомысленно возразит: «Ты так думаешь потому, что ты невежда; ты не знаешь нашей азиатской истины» — и не станет слушать его.

Так оно и бывало обыкновенно. Не у нас у одних, а также и в Англии, Франции, Германии рутинные ученые, улемы и муфтии[4] господствующей экономической теории поднимали крик о невежестве против всех мыслителей, излагавших теорию более глубокую и полную: «Вы не знаете нашей теории!»

Милостивые государи! Да чего тут не знать-то? Будто бы изучить вашу теорию так трудно? Можно затрудняться изучением истории, или латинского языка, или немецкой археологии, много труда требует порядочное изучение статистики или ботаники, зоологии или медицины, а ваша политическая экономия — наука совершенно иного рода: знакомство с двумя, с тремя техническими приемами, знакомство с десятками двумя-тремя терминов да знание двух-трех коренных ваших формул — вот и вся штука. Изучить вашу теорию политической экономии — да на это требуется меньше времени, чем на то, чтобы выучиться рассказывать знаменитую сказку «про белого быка»: сказка бесконечная, очень занимательная, и вся штука в том, чтобы к какому

хотите слову прибавляйте все одну и ту же фразу. Так и в господствующей теории ко всякому факту, ко всякому слову надобно только прибавлять: «свобода труда, свобода обмена, безопасность собственности» и не надобно даже разбирать, какую из этих фраз куда лучше приставить: всякая ко всему одинаково идет. Идет-то идет, спору нет, только что из этого выходит? А вот мы станем смотреть. Шутя будет оказываться, что и не совсем то, на чем останавливаются рутинисты политической экономии.

По теории труд должен вытекать из двух побуждений: из потребности организма в деятельности, которая сама по себе уже доставляет ему наслаждение, и из надобности в продукте, который производится трудом. Рутинная теория утверждает, что неудобоисполнимы для массы экономического труда те условия, при которых успешность производства оживлялась бы внутреннею привлекательностью самого труда, и принимает гипотезу, что единственным возбуждением к труду служит лишь надобность в продукте. На время, и на долгое время, мы совершенно оставляем критику этой гипотезы и будет рассматривать дело по принципам господствующей теории.

Она говорит: человек трудится лишь затем, чтобы получить продукт; поэтому необходимо, чтобы труд вознаграждался присвоением продукта; иначе не было бы расчета трудиться и прекратилось бы производство.

# БАРСКИМ КРЕСТЬЯНАМ ОТ ИХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ПОКЛОН

Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля.

Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете.

Много тут рассказывать нечего. На два года остается все попрежнему: и барщина остается и помещику власть над вами остается, как была[1]. А где барщины не было и был оброк, там оброк остается, либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, землю перепишут да отмежуют. Как не в два года! Пять лет, либо десять лет проволочут это дело. А там что? Да почитай, что то же самое еще на семь лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будет. Знаете вы сами, каково это слово «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же оберут, да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще в солдаты забреют, либо в Сибирь,

да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известное дело: коза с волком тягалась, один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, покуда волки останутся, значит, помещики да чиновники останутся[2]. А как уладить дело, чтобы волков-то не осталось, это дальше все рассказано будет. А теперь покуда не об этом речь, какие новые порядки надо вам завести; покуда об том речь идет, какой порядок вам от царя дан,— что, значит, не больно-то хороши для вас нонешние порядки, а что порядки, какие по царскому манифесту да по указам заводятся, все те же самые прежние порядки. Только в словах и выходит разница, что названья переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а нопе срочно обязанными вас звать велят[3]; а на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы! Срочнообязанные, вишь ты глупость какая! Какой им черт это в ум-то вложил такие слова! А по-нашему надо сказать: вольный человек, да и все тут. Да чтобы не названием одним, а самым делом был вольный человек. А как бывает и в исправду вольный человек и каким манером вольными людьми можно вам стать, об этом обо всем дальше написано будет. А теперь покуда о царском указе речь, хорош ли он.

Так вот оно как: два года ждите, царь говорит, покуда земля отмежуется, а на деле земля-то межеваться будет пять либо и все десять лет; а потом еще семь лет живите в прежней кабале, а по правде-то оно выйдет опять не семь лет, а разве что семнадцать либо двадцать, потому что все, как сами видите, в проволочку идет. Так, значит, живите вы по-старому, в кабале у помещика все эти годы, два года да семь лет, значит, девять лет, как в указе написано, а с проволочками-то взаправду выйдет двадцать лет, либо тридцать лет, либо и больше. Во все эти годы оставайся мужик в неволе, уйти никуда не моги: значит, не стал еще вольный человек, а все остается срочнообязанный, значит, все тот же крепостной. Не скоро же воли вы дождетесь — малые мальчики до бород аль до седых волос дожить успеют, покуда воля-то придет по тем порядкам, какие царь заводит.

Ну а покуда она придет, что с вашей землей будет? А вот что с нею будет. Когда отмежевывать станут, обрезывать ее велено против того, что у нас прежде было, в иных селах четвертую долю отрежут из прежнего, а в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. Это еще без плутовства от помещиков да без потачки им от межевщиков, по самому царскому указу. А без потачки помещикам межевщики делать не станут, ведь им за то помещики станут деньги давать; оно и выйдет, что они оставят вам земли меньше, чем наполовину против прежней; где было на тягло по две десятины в поле, оставят меньше одной десятины. И за одну десятину либо меньше мужик справляй барщину почти что такую же, как прежде за две десятины, либо оброк плати почти что такой же, как прежде за две десятины[4].

Ну а как мужику обойтись половиной земли? Значит, должен

будет прийти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше, больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную барщину справляй либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика сколько хочет. А мужику уйти от него нельзя, а прокормиться с одной земли, какая оставлена ему по отмежевке, тоже нельзя. Ну мужик на все и будет согласен, чего барин потребует. Вот оно и выйдет, что нагрузит на него барин барщину больше нынешней либо оброк тяжелее нонешнего.

Да за одну ли пашню надбавка будет? Нет, ты барину и за луга подавай, ведь сенокос-то, почитай, что весь отнимут у мужика по царскому указу. И за лес барин с мужика возьмет, ведь лес-то почитай во всех селах отнимут; сказано в указе, что лес — барское добро, а мужик и валежнику подобрать не смей, коли барину за то не заплатит. Где в речке или в озере рыбу ловили, и за то барин станет брать. Да за все, чего ты ни коснись, за все станет с мужика барин либо к барщине, либо к оброку надбавки требовать. Все до последней нитки будет барин драть с мужика. Просто сказать, всех к нищете поворотят помещики по царскому указу.

Да еще не все. А усадьбы-то переносить? Ведь от барина зависит. Велит перенести — не на год, а на десять лет разоренья сделает. С речки на колодцы пересадит, на гнилую воду да на вшивую, с доброй земли — на солончак, либо на песок, либо на болото — вот тебе и огороды, вот тебе и конопляники, вот тебе и выгон добрый, не поминай как звали. Сколько тут перемрет народу, на болотах-то да на гнилой-то воде! А больше того, ребятишек жаль: их лета слабые, как мухи будут на дрянной-то земле да и на дрянной-то воде мереть! Эх, горькое оно дело! А гробы-то родительские — от них-то каково отлучаться?

Тошно мужику придется, коли барин по царскому указу велит на новые места переселяться. А коли не переселил барин мужиков, так они, значит, уж в чистой как есть в кабале у него: на все есть у него одно такое словцо, что в ноги ему упадет мужик да завопит: «Батюшка, отец родной, чего хочешь требуй, все выполню, весь твой раб!» А словцо это у барина таково: «Коли не хочешь такую барщину справлять либо такой оброк платить, как я хочу, переноси усадьбу». Ну и сделаешь все по этому словечку.

А то вот что еще скажет: ты на меня работал этот день, да его в счет не ставлю: плохо ты работал; завтра приходи отрабатывать. Ну и придешь. На это тоже власть барину дана по указу царскому.

Это все о том говорится, как мужикам будет жить, покуда их срочнообязанными звать будут, значит, девять лет, как в бумаге обещано, а на деле больше будет, лет до двадцати либо до тридцати.

Ну, так; а потом-то что будет, когда, значит, мужику разрешено будет отходить от помещика? Оно, пожалуй, что и толко-

вать-то об этом нечего, потому что долго еще ждать этого по царскому указу. А коли любопытство у вас есть, так и об этом дальнем времени рассудить можно.

Когда срочнообязанное время покончится, волен ты будешь отходить от помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: а коли ты уйдешь, так земля твоя останется за помещиком. А помещик и сам, коли захочет, может тебя прогнать с нее. Потому, видишь ты, что земля, которая тебе была отмежевана, все же не твоя была, а барская, а тебе барин только разрешение давал ее пахать либо сено с нее косить; покуда ты срочнообязанным назывался, он тебя с нее прогнать не мог; а когда перестал ты срочнообязанным называться, он тебя с нее прогнать может. В указе не так сказано напрямки, что может прогнать, да на то выходит. Там сказано: мужик уйти может, когда срочнообязанное время кончится. Вон вы и разберите, что выходит. Барину-то у мужиков землю отнять хочется; вот он будет теснить их да ждать, да сожмет так, что уйдут, а землю ему оставят,— оно, попросту сказать, и значит, что барин у мужиков землю отнять может, а мужиков прогнать.

Это об том времени, когда срочнообязанными вас называть перестанут. А покуда называют, барину нельзя мужиков прогнать всех с одного разу, а можно только по отдельности прогнать: ноне Ивана, завтра Сидора, послезавтра Карпа, поочередно; оно, впрочем, на то же выходит.

А мужику куда идти, когда у него хозяйство пропало? В Москву, что ли, али в Питер, али на фабрики? Там уже все полно, больше народу не требуется, поместить некуда. Значит, походишь, походишь по свету, по большим-то городам да по фабрикам, да все туда же в деревню назад вернешься. Это спервоначала пробу мужики станут делать. А на первых-то глядя, как они нигде себе хлеба не нашли, другие потом и пробовать не будут, а прямо так в том околотке и будут оставаться, где прежде жили. А мужику в деревне без хозяйства да без земли что делать, куда деваться, кроме как в батраки наняться. Ну и наймешься. Сладко ли оно, батраком-то жить? Ноне, сами знаете, не больно вкусно; а тогда и гораздо похуже будет, чем ноне живут батраки. А почему будет хуже, явное дело. Как всех-то погонят с земли-то, так везде будут сотни да тысячи народу шататься да просить помещиков, чтобы в батраки их взяли. Значит, уж помещичья воля будет, какое житье им определить, они торговаться не могут, как ноне батрак с хозяином торгуется: они куску хлеба рады будут, а то у самого-то в животе-то пусто, да и семья-то приюта не имеет. Есть такие поганые земли, где уж и давно заведен этот порядок; вот вы послушайте, как там мужики живут. У вас ноне избы плохи, а там и таких нет: в землянках живут да в хлевах; а то в сараях больших, в одном сарае семей десяток набито, все равно как там табун скота какого. Да и хлеба чистого не едят, а дрянь всякую, как у нас в голодные годы, а у них вечно так. У нас, в русском царстве, есть такая поганая

земля — где города Рига, да Ревель, да Митава стоят, а народ там тоже христианский, и вера у него тоже хорошая; да не по вере эта земля поганая, а по тому, как в ней народ живет: коли хорошо мужику жить в какой земле, то и добрая земля; а коли дурно, то и поганая.

Так вот оно к чему по царскому-то манифесту да по указам дело поведено: не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней.

А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать? Значит, знал. Ну и рассуждайте, чего надеяться вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно.

Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные-то крестьяне чьи же? Ведь они его крестьяне крепостные. Да и вас-то в крепостные помещикам все цари же отдали, иных давно, так что вам уж и не памятно; а других не больно давно, так что деды помнят, прабабка нонешнего царя Екатерина отдала в крепостные из вольных. А есть еще такие неразумные, что ее матушкою Екатерину величают. Хороша матушка, детей в кабалу отдала.

Вы у помещика крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Значит, что он, что они — все одно. А сами знаете, собака собаку не ест. Ну царь и держит барскую сторону. А что манифесты да указы выпустил, будто волю вам даст, так он только для обольщения сделал. А почему сделал, вот почему. У французов да у англичан крепостного народа нет, вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыдно было перед ними. Вот он им пыль-то в глаза и подпустил: для похвальбы это сделано, для обману сделано.

Волю, слышь, дал он вам! Да разве такая в исправду-то воля бывает! Хотите знать, так вот какая.

Вот у французов есть воля, у них нет розницы: сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать: много у него земли, значит, богат он; мало — так беден, а розницы по званию нет никакой, все одно, как богатый помещик либо бедный помещик — все одно помещик. Надо всеми одно начальство, суд для всех один, и наказание всем одно.

Вот у англичан есть воля, а у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет на военную службу, все равно как у нас помещики тоже юнкерами и офицерами служат, коли хотят. А кто не хочет, тому и принуждения нет. А солдатская служба у них выгодная, жалованье солдату большое дается; значит, доброй волей идут служить, сколько требуется людей. А то и вот еще в чем воля и у французов и у англичан: подушной подати нет. Вам это, может, и в ум не приходило, что без рекрутчины да без подушной подати может царство стоять. А у них стоит. Вот, значит, умные люди, коли так устроить себя умели.

А то вот еще в чем у них воля. Пачпортов нет; каждый ступай куда хочет, живи, где хочет, ни от кого разрешенья на то ему не надо...

А вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен, окроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь, а у них ничего этого нет, а заместо всего староста, который без миру ничего поделать не может и во всем должен миру ответ давать. А мир над старостою во всем властен, а кроме мира, никто над старостою не властен, и ни к кому староста страха не имеет, а к миру страх имеет. Полковник ли, генерал ли, у них все одно: перед старостою шапку ломит и во всем старосту слушаться должен: а коли чуть в чем провинился генерал, али кто бы там ни был, перед старостою али ослушался старосты, староста его, полковника-то аль генерала-то, в острог сажает — у них перед старостою все равны: хоть ты простой мужик, хоть ты помещик, хоть ты генерал будь, все одно староста над тобою начальствует, а над старостою мир начальствует, а над миром никто начальствовать не может, потому что мир значит народ, а народ у них всему голова: как народ повелит, так всему и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь, значит, для всего народа староста, и народ-то, значит, над этим старостою, над этим царем-то, начальствует. Хорош царь, послушествует народу, так и жалованье ему от народа выдается, а чуть что царь стал супротив народа делать, ну так и скажут ему: ты, царь, над нами уж не будь царем, ты нам неугоден, мы тебя сменяем, иди ты с богом, куда сам знаешь, от нас подальше; а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим да судить станем тебя за твое ослушание. Ну царь и пойдет от них, куда сам знает, потому что ослушаться народа не может. А как провожать его от себя станут, они ему на дорогу еще деньжонок дадут, из жалости. Христа ради там складчину ему сделают промеж себя по грошу аль по копейке с души, чтобы в чужой-то земле с голоду не умер. Добрый народ, только и строгий же: потачки царю не любит давать. А на место его другого царя выберут, коли захотят, а не захотят, так и не выбирают, коли охоты нет. Ну тогда уж просто там на срок староста народный выбирается, на год ли там, на два ли, на четыре ли года, как народ ему срок полагает. Так заведено у народа, который швейцарским зовется, и у другого народа, который американцами зовется. А французы и англичане царей у себя пока держат. И надобно так сказать, когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается, и царем не зовется, а просто зовется народным старостою, а по-ихнему, по-иностранному, президентом, тогда народу лучше бывает жить, народ богаче бывает. А то и при царе тоже можно хорошо жить, как англичане и французы живут, только, значит, с тем, чтобы царь во всем народу послушанье оказывал и без народа ничего сделать не смел, и чтобы народ за ним строго смотрел, и чуть что дурное от царя увидит, сменял бы народ его, царя-то, и вон из своей зем-

ли выпроваживал, как у англичан да у французов делается[5].

Так вот она какая в исправду-то воля бывает на свете: чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный, и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, и чтобы пачпортов не было и подушного оклада не было, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля так воля и есть. А коли того нет, значит, и воли нет, а все одно обольщение в словах.

А как же нам, русским людям, в исправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать; и не то чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собой мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись. Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских мужиков. А другая половина — государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше прописано. Чтобы рекрутчины, да подушной, да пачпортов не было, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними, ваших доброжелателей поклон им скажите: как вам, так и им одного добра мы хотим.

Государственным и удельным крестьянам от их доброжелателей поклон.

А вот тоже солдат — ведь он опять из мужиков, тоже ваш брат. А на солдате все держится, все нонешние порядки. А солдату какая прибыль за нонешние порядки стоять? Что ему, житье, что ли, больно сладкое? Али жалованье хорошее? Проклятое нонче у нас житье солдатам. Да и лоб-то им забрили по принужденью, и каждому из них вольную отставку получить бы хотелось. Вот вы им и скажите всю правду, как об них написано. Когда воля мужикам будет, каждому солдату тоже воля объявится: служи солдатом, кто хочет, а кто не хочет, отставку чистую получай. А у солдата денег нет, чтобы домой идти за хозяйством или каким мастерством обзавестись, так ему при отставке будут на то деньги выданы: сто рублей серебром каждому. А кто волей захочет в солдатах остаться, тому будет в год жалованье 50 рублей серебром. А и принужденья никакого нет, хочешь — оставайся, хочешь — в отставку иди. Вы так им и скажите, солдатам: вы, братья солдатушки, за нас стойте, когда мы себе волю добывать будем, потому что и вам воля будет: вольная отставка каждому, кто в отставку пожелает, да сто рублей серебром награды за то, что своим братьям-мужикам волю добывать помогал. Значит, и вам и себе добро сделают. И поклон им от нас скажите:

Солдатам русским от их доброжелателей поклон.

А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры, и немало таких офицеров[6]. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые надежны, что за народ стоять будут, таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добывать[7].

А еще вот о чем, братцы, солдат просите: чтобы они вас учи-

ли, как в военном деле порядок держать. Муштровки большой вам не надо, чтобы там в ногу идти по-солдатски да носок вытягивать,— без этого обойтись можно, а тому надо учиться вам, чтобы плечом к плечу плотнее держаться, да команды слушаться, да страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле да рассудок спокойный, значит, хладнокровие. И то вам надо узнать, что, покуда вперед прешь да плотно держишься, да команды слушаешься, тут мало вреда терпишь, только тогда и опасность большая бывает, когда дрогнешь да мяться начнешь, да еще коли побежишь назад,— нет, тут уж плохо дело. А покуда вперед идешь, мало тебе пушка вреда делает. Ведь из сотни-то ядер разве одно в человека попадает, а другие все мимо летят. И о пулях тоже надо сказать. Тут грому много, а вреда мало.

А кроме того, ружьями запасайтесь, кто может да всяким оружием.

Так вот оно какое дело: надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. А покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит, спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорит, что один в поле не воин. Что толку-то, если в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это, значит, только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена, ну тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом-мужиком толкуй да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал. А когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть, отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну тогда и пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, и что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет, и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добывать. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовка у тебя идет.

А это наше письмецо промеж себя читайте да друг дружке раздавайте. А кроме своего брата-мужика да солдата, ото всех его прячьте, потому что для мужиков да для солдат наше письмецо писано, а к другому ни к кому оно не писано, значит, окроме вас, крестьян, да солдат, никому и знать об нем не следует.

Оставайтесь здоровы да вести от нас ждите. Вы себя берегите до поры до времени, а уж от нас вы без наставленья не останетесь, когда пора будет.

Печатано письмецо это в славном городе Христиании, в славном царстве Шведском, потому что в русском царстве царь правду печатать не велит. А мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что

на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе дело приниматься, тогда откроемся.

# ВЕЛИКОРУСС

## № 1

Помещичьи крестьяне недовольны обременительною переменою, которую правительство производит под именем освобождения; недовольство их уже проявляется волнениями, которым сочувствуют казенные крестьяне и другие простолюдины, также тяготящиеся своим положением. Если дела пойдут нынешним путем, надобно ждать больших смут. Правительство ничего не в силах понимать: оно глупо и невежественно, оно ведет Россию к пугачевщине. Надобно образованным классам взять в свои руки ведение дел из рук неспособного правительства, чтоб спасти народ от истязаний; если общество не сделает этого, оно само подвергнется терроризму, потому что правительство, при своей неспособности вести национальные дела разумным образом, впадает в необходимость держаться системы стеснений.

Если образованные классы почтут себя бессильными, не почувствуют в себе решимости обуздать правительство и руководить им, тогда патриоты будут принуждены призвать народ на дело, от которого отказались бы образованные классы. Сначала же попробуем: быть может, просвещенная часть нации не почтет себя бессильною. На деле она гораздо сильнее правительства, тупого и трусливого. Так, просвещенные люди лишь должны громко сказать правительству: мы требуем отмены таких-то и таких-то вещей, мы хотим замены их такими-то и такими-то. Требование будет исполнено. Мы не поляки и не мужики. В нас стрелять нельзя.

Программу действий, конечно, должно определить для себя само общество. Итак, мы будем ждать его решений. Теперь пока поставим два из вопросов, особенно нуждающихся в решении:

должна ли состоять сущность нового порядка вещей, которого одинаково желают и народ и образованные классы, в устранении произвольного управления, в замене его законностью, и

способна ли нынешняя династия отказаться от произвольной власти добровольно и твердо.

Сообразно тому или другому решению этих вопросов определятся и способы действия, а определив способы действия, общество найдет в себе и силу действовать.

## № 2

Выслушав отчеты своих членов о мнениях, высказываемых в публике по поводу вопросов, предложенных в «Великоруссе», комитет пришел к следующим заключениям:

По первому вопросу.

Водворение законного порядка — общее желание просвещенных людей. Большинство их сознает, что главнейшие условия для этого таковы: хорошее разрешение крепостного дела, освобождение Польши и конституция.

Помещичьи крестьяне по своему понятию об ожидаемой ими к весне 1863 г. воле разделяются на две партии. Одна думает, что вся земля поместья должна перейти в собственность крестьян, т. е. и земля, бывшая в пользовании помещика; никакого выкупа за землю платить крестьяне не должны: помещики, потеряв решительно всю землю, удалятся из сел в города, вознаграждение получат они от государства (по выражению крестьян, царь возьмет помещиков на свое жалованье). Партия, непременно ждущая такого решения, очень многочисленна между крепостными крестьянами; она неизбежно возьмет верх, если нынешнее положение дел продолжится. Другая, так сказать, умеренная, партия, полагает, что крестьяне должны получить только всю ту землю, какой они пользовались при крепостном праве, со всеми угодьями, в пользовании которыми они участвовали, т. е. с рыбными ловлями и частью леса; но земля, которою пользовался сам помещик, может, по их мнению, остаться за ним. О выкупе и эта партия думает точно так же, как и первая, т. е. совершенно его отвергает. Теперь эта умеренная партия слабее первой, но можно надеяться, что она привлечет к себе всех крестьян, если вопрос будет разрешен чисто в ее духе. Эта надежда основывается на том, что крестьяне еще не организовались для общего восстания, эпохою которого будет лето 1863 г., если весна его обманет их. Но должно помнить, что выкуп отвергают единодушно все крестьяне. О требовании с них выкупа нечего и думать людям, желающим, чтобы они остались довольны решением вопроса. Если же крестьяне останутся недовольны, законный порядок не может водвориться путем мирных реформ, потому что удерживать крестьян в спокойствии надобно будет, как теперь, военными мерами. А власть, действующая такими мерами против массы населения, не будет соблюдать законности ни в чем. В таком случае законность будет введена только вследствие революции.

Итак, для мирного водворения законности необходимо решить крестьянский вопрос в смысле удовлетворительном, по мнению самих крестьян, т. е. государство должно отдать им по крайней мере все те земли и угодья, которыми пользовались они при крепостном праве, и освободить их от всяких особенных платежей или повинностей за выкуп, приняв его на счет всей нации.

По той же самой причине русские, приверженцы законности, должны требовать безусловного освобождения Польши. Теперь

стало ясно для всех, что власть наша над нею поддерживается только вооруженною рукою. А пока в одной части государства власть над цивилизованным народом держится системой военного деспотизма, правительство не может отказаться от этой системы и в остальных частях государства. Вспомним слова Чатама при начале восстания американских колоний: если английское правительство подчинит деспотизму Америку, сама Англия подвергнется деспотизму. Потому он, вместе со всеми друзьями свободы в Англии, требовал, чтобы английские войска были выведены из недовольных колоний. Точно так же интерес русской свободы требует освобождения Польши.

Наша народная гордость, любовь к нашему народу и финансовый расчет требуют того же. Наша власть над Польшей основана только на том, что нарушили все условия, по которым Царство Польское было соединено с Россией на Венском конгрессе. Мы обязались тогда, что оно будет иметь конституцию, полную независимость внутреннего управления и свою отдельную, чисто национальную армию. Мы изменили этому своему слову. Мы остаемся в глазах всей Европы обманщиками.

Чтобы сохранять господство над Польшей, мы должны иметь лишних двести тысяч войска, тратить ежегодно по сорока миллионов наших собственных денег, кроме тех, которые берем с Польши. Наши финансы не придут в порядок, пока мы будем делать такую трату. Сотни тысяч женщин, стариков и детей остаются у нас без средств к жизни, потому что работники их семейств отведены на запад — удерживать Польшу в рабстве, столь разорительном для нас.

Это разорение мы будем терпеть, пока не откажемся от Польши совершенно. Поляки не удовольствуются ничем, кроме полной отдельности от нас. Мы должны вовсе уйти из Польши, чтобы избавиться от разорения. Если мы сделаем это добровольно, поляки станут уважать нас как людей умных, полюбят нас как людей честных. Если мы не сделаем этого сами, поляки все-таки скоро освободятся: они ждут только первого случая, чтобы восстать поголовно. И нам не удастся подавить их теперь, как при Паскевиче, потому что нет теперь в Польше внутреннего раздора, которому тогда мы были обязаны гибельным для нас торжеством. Польские патриоты решили отдать крестьянам землю даром, несмотря на усилия нашего правительства раздувать вражду между сословиями в Польше, польские крестьяне знают об этом и одушевляются патриотизмом, и потому нам теперь невозможно будет победить польского восстания.

Итак, вопрос о Польше для нас, русских, состоит только в том, станем ли мы ждать, чтобы нас с позором выгнали из Польши. Освободившаяся нация останется тогда враждебна нам. Или мы будем там умны, что сами добровольно откажемся от владычества, разорительного для нас, и сделаем поляков верными друзьями нам.

Та же самая надобность уничтожить систему вооруженного

насилия требует, чтобы дана была населению южной Руси полная свобода располагать своею судьбою по собственной воле. Теперь этот народ еще не мог высказать своих желаний. Но известно, что он крайне недоволен нашим господством. До каких бы требований ни довело это недовольство, мы должны уступить им. Если он захочет отделиться совершенно, пусть отделяется. Захочет ли он этого — мы не знаем; да и сам он едва ли решил это при настоящей своей безгласности. Но, судя по живому чувству страданий от нашего деспотизма, должно ожидать, что при первой возможности подумать о своей судьбе он захочет отойти от нас. Будем готовы и на такое решение. Мы, великоруссы, достаточно сильны, чтобы остаться одним, имея в самих себе все элементы национального могущества. Гордые своею силою, мы не имеем низкой нужды искать по примеру Австрии вредного для нас самих искусственного могущества в насильственном удерживании других цивилизованных племен в составе нашего государства. Мы можем вполне признать права национальностей. Мы необходимо должны это сделать, чтобы ввести и упрочить у себя свободу. Вот объяснение имени, носимого нашею газетою. Но вопрос о южной Руси еще только возбуждаем мы сами, предлагая его на рассмотрение южноруссов. Вопрос о Польше же требует немедленного практического решения. Оно: вывод наших войск из Польши и всех земель, где масса народа или говорит по-польски или привязана к прежней униатской вере, потому что во всех этих местах народ имеет если не имя поляков, то польский дух.

Еще не все либеральные русские убеждены в необходимости такого решения крестьянского и польского вопросов; некоторые думают ограничиться половинными уступками. Такие взгляды оставляют без внимания связь этих вопросов с конституционным. Рассмотрев же их по отношению к этому коренному делу, нельзя не видеть, что никакое решение их, кроме изложенного, не ведет к главной цели — упрочению конституции у нас. Это желание либеральных русских может исполниться только при полном удовлетворении поляков и крепостных крестьян: если останется надобность подавлять тех или других оружием, законный порядок невозможен у нас самих. Эту точку зрения комитет настоятельно рекомендует вниманию русских конституционистов.

Все согласны в том, какие черты законного порядка должна установить конституция. Главные из них: ответственность министров, вотирование бюджета, суд присяжных, свобода исповеданий, свобода печати, уничтожение сословных привилегий, самоуправление по областным и общинным делам. Но чего требовать? Для того, чтобы государь даровал конституцию или чтобы он предоставил нации составить ее? Правительство не умеет порядочно написать даже обыкновенного указа; тем менее сумело бы оно составить хорошую конституцию, если бы и захотело. Но оно хочет сохранить произвол, потому что под именем конституции издало бы оно только акт, сохраняющий при новых словах

прежнее самовластие. Итак, требовать надобно не октроирования конституции, а созвания депутатов для свободного ее составления. Для выбора представителей нужны: свобода печати, право популярным людям составить из себя в каждой губернии распорядительный комитет, с подчинением ему всех губернских властей, составление временного избирательного закона популярными лицами, которых укажет голос публики.

Следующий номер Великорусса, изложив выводы из мнений, высказываемых по вопросу о династии, представит на рассмотрение публики способ действий, наиболее сообразный с нынешним настроением общественного мнения.

## № 3

Выслушав отчеты своих членов о мнениях, высказываемых публикою, комитет пришел к следующим заключениям по второму из вопросов, предложенных в первом номере Великорусса.

### *О династии*

Мнения о том, способна ли нынешняя династия отказаться от произвольной власти добросовестно и твердо, очень разделены. Многие из конституционистов думают, что нынешний государь сам расположен к конституционному порядку и способен верно соблюдать его правила. Они основываются на неопределенных, но многочисленных анекдотах о произнесенных будто бы им разных словах в этом смысле, основываются также на его личном характере, который называют они добрым, мягким, наклонным к спокойному пользованию почетностию и материальными выгодами своего положения. Другие находят, что анекдоты о мнимых конституционных намерениях нынешнего государя неосновательны. Не отвергая добрых качеств его характера, эти лица убеждены, что быть приверженцами конституционного правления он не может, что это было бы противно и воспитанию, полученному им в духе безусловного самодержавия, и приобретенной им привычке пользоваться неограниченною властью, и всем фамильным его преданиям, и всем свойствам придворной среды, из которой он не хочет и не может выйти, что это их убеждение подтверждается всеми действиями его царствования, которые часто были следствием хороших намерений, но все были проникнуты боязнию политической свободы и безусловным ее отрицанием (почему и остались совершенно бесплодны).

В пример эти лица указывают на положение литературы, попрежнему подчиненной произволу, на враждебность государя к университетам, на стеснение воскресных школ, на ведение крестьянского дела бюрократическим порядком с устранением литературы от участия в этом вопросе, на одобрение кровопролитий,

совершенных посланными его в Казанской и других губерниях, на его несогласие хотя бы только ослабить стеснения, которым подвергнута Польша, на его симпатии к Франциску Неаполитанскому. Из этих и всех других действий его царствования видно, что он считает политическую свободу вещью вредною, никогда не откажется от самовластия добровольно и, если будет принужден отказаться, будет думать о его восстановлении. Так думают все лица, с должным вниманием рассматривавшие действия нынешнего государя по отношению к конституции. Но, будучи согласны о том, что царствующему государю противна всякая мысль о законной форме правления, эти люди расходятся между собою в мнениях о том, к чему же возможно теперь стремиться. Одни думают, что низложенные династии — дело легкое при настоящем раздражении простого народа, озлоблении помещиков, недовольстве образованного класса и расстройстве финансов. Другие находят, что при всем изобилии революционных начал в нации просвещенные классы еще мало расположены поддержать подобное стремление, к которому уже так близок народ.

Видя такое разногласие между друзьями свободы, комитет думает, что для блага нации надобно дать время проверить свои мысли людям, считающим сохранение династии вещью совместною с конституционным правлением. Если нынешний государь добросовестно откажется от произвола, проигрыш республиканской партии будет не очень велик. Истинно конституционная монархия мало отличается от республики. Что касается Комитета, он вместе с передовою частью патриотов уверен, что законность и нынешняя династия — вещи, которых нельзя соединить. Тем не менее он убеждает передовых патриотов ограничиться на первое время только тем, чтобы помогать умеренной партии, желающей сделать такую пробу. Время, употребленное на этот опыт, не будет потеряно для политического воспитания нации. Сами факты пусть раскроют глаза людям, питающим ошибочную надежду на династию. Всего важнее, чтобы друзья свободы действовали заодно. Для этого передовые прогрессисты должны подождать (ждать придется недолго), пока отставшие от них в своем политическом развитии конституционисты будут приведены событиями к принятию истины, которую теперь они еще не замечают. Быть снисходительными и терпеливыми — дело тех, которые убеждены, что довольно скоро всеми будет признана верность их взгляда.

Сообразно этому следует на первый раз испытать мирные средства. Должно подать государю адрес. Проект адреса мы рассылаем. Он написан в самом уверенном духе, чтобы все либеральные люди могли принять его. Что же делать с ним? Должно пользоваться существующими собраниями, чтобы пропагандировать его принципы и мысль о необходимости подать его государю. Сначала пусть ведет эту пропаганду каждый в частном кругу своих знакомых; круги эти будут расти, руководители их сближаться. Когда большинство публики будет думать об адресе

одинаково с ними, можно будет говорить о нем и в общественных собраниях. Везде есть клубы для танцев и карт, везде бывают балы, вечера. Тут, в числе других предметов разговора, будет идти речь и об адресе. Этот мирный обмен мыслей не будет иметь в себе ничего опасного: полиция не может сделать больших неприятностей человеку за то, что он, подобно всем другим, говорит со своими знакомыми о средствах предотвратить бедствия. Об этом и теперь говорят все повсюду, только без общего основания и определенной цели, цель и связь эту даст дело о подаче адреса. Разумеется, действовать надобно спокойно, удерживая опрометчивых людей от выходок, которые подвергли бы их бедам, без пользы делу. Пропагандою будет заниматься каждый, в ком есть убеждения. На людях особенно сильных умом и характером лежит еще другая обязанность — организовать и дисциплинировать движение. Они должны составлять комитеты, которые систематически руководили бы партиями. Главные правила тут: 1) не должно ничего вверять бумаге, не иметь ни списков, ни протоколов, ничего подобного, чтобы не было материальных улик. Все дела должно вести изустно; 2) никто из членов партии не должен предпринимать ничего важного, иначе как сообщив свое намерение комитету своего города, и не должен ни в чем переступать инструкций этого комитета. Эти правила должно соблюдать неуклонно. Человек, нарушающий их, вреден для дела, и партия должна прекратить всякие сношения с ним.

Держась этих правил, комитеты могут существовать безопасно. В случае открытия их нельзя будет даже назвать тайными обществами: это дружеские свидания лиц, уважаемых публикою и предотвращающих напрасные столкновения. Разумеется, они позаботятся заслужить доверие молодежи. Дав цель ее усердию в деле пропаганды, они будут удерживать ее от преждевременных демонстраций, иначе неизбежных, и спасут многих наилучших юношей от бед, которым подверглись бы они, не имея, как теперь, осторожных руководителей в наступающие смутные времена.

Когда образуются комитеты по городам, наш комитет вступит в сношения с ними. Спрашивают, кто мы? Когда явится надобность, наши скромные имена будут открыты тем, кому будет нужно знать их для пользы дела. А наши намерения теперь явны всем. В первом номере Великорусса мы с расчетом только ставили вопросы, и притом в крайне общих выражениях, чтобы не навязывать публике наших мнений, а узнать ее желания и сообразовать наши действия с ними. Дав публике время высказаться, теперь мы выставляем программу, которую потребовала она сама.

Итак, на первое время должно ограничиться пропагандою мысли об адресе и об условиях, которые необходимо соблюсти для водворения законного порядка. Решительные действия: собирание подписей к адресу и назначение депутатов для представления его государю надобно будет начать только тогда, когда большинство публики будет приготовлено к этому деятельностью

комитетов. Раньше этого такие попытки вредны. Нам будет видно, когда настанет срок, и публика может быть уверена, что мы пригласим ее к подписыванию и подаче адреса только тогда, когда эту демонстрацию можно будет исполнить спокойно, торжественно, с непреодолимою силою, перед которою робко преклонится правительство. Заставить его согласиться на требования публики будет легко. Не в этом сомневались мы, говоря о несовместности нынешней династии с конституцией. Мы думаем, что, согласившись на все, династия будет потом стараться взять назад свои уступки. Но прямо противиться требованию, выраженному всем образованным русским обществом, оно не может. Пусть каждый подумает, возможно ли с Москвой и Петербургом поступить так, как с Варшавой, Вильной или каким-нибудь селом Бездной? Нет, нет. Депутации русских столиц, опираясь на все великорусские провинции, представят собою могущество, перед которым опустятся штыки, побледнеют придворные и смирится беспомощный царь. Поймите свою силу, вы, к кому мы обращаемся теперь.

Этим номером и проектом адреса наша газета прикращается на время. Мы посмотрим, какое действие произведет наше приглашение на образованные классы. Мы обращаемся к ним, как обещали. Но если мы увидим, что они не решаются действовать — нам не останется выбора: мы должны будем действовать на простой народ и с ним будем принуждены говорить уже не таким языком, не о таких вещах. Долго медлить с решением нельзя: если не составят образованные классы мирную оппозицию, которая вынудила бы правительство до весны 1863 г. устранить причины к восстанию, народ неудержимо поднимется летом 1863 г. Отвратить это восстание патриоты не будут в силах и должны будут позаботиться только о том, чтобы оно направилось благотворным для нации образом.

# НАУЧИЛИСЬ ЛИ?

В «С.-Петербургских академических ведомостях» напечатана и перепечатана в «Северной пчеле», а быть может еще и в других газетах, статья под заглавием «Учиться или не учиться?» [Хорошо ли сделали те, которые напечатали эту статью, мы увидим из того, явятся ли в печати мысли, вызванные ею в нас. Каждый может иметь о всяком предмете свое мнение и поступает хорошо, если предлагает его на обсуждение общества; если статья «Учиться или не учиться?» предлагает на обсуждение общества взгляд, ею выражаемый, лица, поместившие эту статью в наших газетах, поступили хорошо. Но в таком случае пусть же они не отнимают у общества права обсуждать этот взгляд. Если же считают они ненужным для себя или неудобным для кого-нибудь или для

чего-нибудь выслушивать и принимать к соображению публичные ответы на свой взгляд, если они хотят, чтобы этому их взгляду общество только повиновалось, не рассуждая об его основательности, в таком случае он должен был высказываться в форме приказания, распоряжения, циркуляра или указа, а не в форме рассуждающей статьи, и придавать ему такую форму — было дело нехорошее. Посмотрим же, можно ли кому-нибудь, кроме автора статьи «Учиться или не учиться?» и людей, одобряющих его взгляд, публично рассуждать о предметах, к рассуждению о которых, по-видимому, вызывает эта статья.]

Начинается она тем, что «и смешно и грустно, а приходится сделать вопрос: хотим мы учиться или нет?» Кто это «мы»? По грамматическому смыслу ближе всего тут разуметь автора статьи и людей, составляющих одно с ним. Если бы он предлагал свой вопрос в этом смысле, было бы, пожалуй, «и смешно и грустно» для общества, но полезно для этих «мы», что они пришли наконец к сознанию, не нужно ли им хоть немножко поучиться. Смешно и грустно было бы для общества узнать от самих этих «мы», что они еще не знают, полезно ли учиться; но для самих этих «мы» было бы уж очень большим шагом вперед то, что от прежней уверенности в ненужности и вреде учения они перешли к сомнению об этом предмете и начинают подумывать, что, может быть, и нужно им учиться; это служило бы для общества предвестием тому, что когда-нибудь и убедятся в надобности учиться.

Но автор статьи, очевидно, относит не к себе и к своим единомышленникам, а к русскому обществу свое сомнение о существовании охоты учиться. Он говорит, что, по-видимому, кажется, будто общество хочет учиться. Признаками тому как будто служат «сотни новых журналов, десятки воскресных школ».— *Сотни* новых журналов, да где же это автор насчитал сотни? А нужны были бы действительно сотни. И хочет ли автор знать, почему не основываются сотни новых журналов (вероятно, он хотел сказать: газет), как было бы нужно? Потому, что по нашим цензурным условиям невозможно существовать сколько-нибудь живому периодическому изданию нигде, кроме нескольких больших городов. Каждому богатому торговому городу было бы нужно иметь несколько хотя маленьких газет; в каждой губернии нужно было бы издаваться нескольким местным листкам. Их нет, потому что им нельзя быть. Говорят, что это скоро переменится; дай бог [1].

«Десятки воскресных школ» [2].— Вот это не преувеличено, не то что «сотни новых журналов»: воскресные школы в империи, имеющей более 60 млн. населения, действительно считаются только десятками. А их нужны были бы десятки тысяч, и скоро могли бы, точно, устроиться десятки тысяч и теперь же существовать, по крайней мере, много тысяч. Отчего же их только десятки? Оттого, что они подозреваются, стесняются, пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать [3].

Если это неправда, потрудитесь доказать противное и попробуйте в доказательство обнародовать некоторые записки и совещания, результатом которых были разные правила и инструкции относительно воскресных школ.

Но, по мнению автора статьи, эти признаки желания общества учиться, т. е. небывалые сотни новых журналов и действительные десятки (удивительное число!) воскресных школ,— признаки обманчивые: «послушаешь крики на улицах, скажут, что вот там-то случилось то-то, и поневоле повесишь голову и разочаруешься...». Позвольте, г. автор статьи: какие крики слышите вы на улицах? Крики городовых и квартальных — эти крики и мы слышим. Про них ли вы говорите? — «Скажут, что вот там случилось то-то, а здесь вот то-то» — что же такое, например? Там случилось воровство, здесь превышена власть, там сделано притеснение слабому, здесь оказано потворство сильному — об этом беспрестанно говорят.

От этих криков, слышных всем, и от этих ежедневных разговоров в самом деле «поневоле повесишь голову и разочаруешься». Но автор статьи ведет речь не о том. Он толкует о так называемых историях со студентами. Что же, и об этих историях мы умели бы рассказать много любопытного. Например, захватывались все люди, которых заставала полицейская или другая команда на известном пространстве набережной, служащей единственным путем сообщения между двумя частями города, и все эти люди держались не один месяц в заключении, без разбора даже того, каким образом кто из них находился на опальном пространстве в несчастную минуту,— не проходил ли кто-нибудь из них через это пространство с Васильевского острова в Гостиный двор для покупки сукна или сапог; не проходил ли другой с этой стороны города на бывшую тогда выставку картин в Академии художеств,— не только без всякого отношения к студенческой истории, но, быть может, и без понятия о том, что существуют на белом свете люди, называемые студентами. Если угодно, можно будет указать сотни подобных сторон в делах, называемых студенческими историями. Но автор статьи говорит не об этих многочисленных сторонах, но только об одной той, которая, по его мнению, может быть обращена в порицание студентам. По его словам, «поколение», которое ныне должно кончать свое образование, отказалось от учения, оно может обойтись и без науки: это поколение косвенным образом содействовало закрытию Петербургского университета и прямо — прекращению публичных лекций. Будем говорить о деле даже только в тех слишком узких границах, в которых угодно рассуждать о нем автору статьи.

Первым доказательством тому, что молодое поколение, представляемое студентами здешнего университета, отказалось от учения, он выставляет события, вследствие которых был закрыт университет. Чем были вызваны эти события? Теми «правилами», которые сделались известны под именем матрикул. Чем были

недовольны студенты в этих правилах? Общий дух правил состоял в том, что студентов, людей, вообще имеющих тот возраст, в котором, по законам нашей же империи, мужчина может жениться и становиться отцом семейства, возраст, в котором, по законам нашей же империи, человек принимается на государственную службу, может быть командиром военного отряда [, хозяйством которого будет управлять, над людьми которого будет иметь очень большую дискреционную[4] власть], может быть товарищем председателя гражданской или уголовной палаты [и решать самые многосложные гражданские дела о миллионах или приговаривать людей к плетям и каторге, может быть даже управляющим палатою государственных имуществ или удельною конторою, т. е. иметь очень значительную самостоятельную власть над сотнями тысяч],— студентов, людей этого возраста, «правила» хотели поставить в положение маленьких ребят. Удобно ли это вообще? Пусть рассудит автор статьи. Мы ограничимся только тою стороною дела, о которой угодно рассуждать ему. Если люди признаны недостойными или неспособными находиться в ином положении, чем маленькие ребята, значит, эти люди признаны неспособными и науку изучать в таком виде, в каком сообщается она взрослым людям и в каком должна преподаваться в университете; значит, общий дух «правил» необходимо вел к обращению университета со стороны преподавания в училище малолетних ребят, в низшие классы гимназии, в уездные училища. Значит ли, что взрослый человек отказывается от учения, когда недоволен тем, что его хотят учить, как маленького ребенка? Это пусть знает автор статьи относительно общего духа «правил». Кроме того, были в них два отдельных постановления, в особенности возбудившие неудовольствие студентов. Эти два постановления были: во-первых, отнятие права у университетского начальства освобождать недостаточных студентов от взноса платы за слушание лекций и воспрещение студенческих сходок. Разъясним автору статьи значение этих постановлений.

Плата за слушание лекций составляет 50 руб. в год. Большинство студентов — люди, не имеющие совершенно ничего и живущие самыми скудными и неверными доходами, из-за приобретения которых они бьются бог знает как. Кто из этих бедняков имеет какие-нибудь уроки, тот уже счастливец. Не имея верного рубля серебром на чай и сахар, не имея никогда хотя бы 20 руб. свободных денег, каким образом могли бы эти люди взносить по полугодиям 25 руб., требуемых в начале каждого семестра? Прекращение права университетского начальства освобождать бедных студентов от взноса платы за слушание лекций равнялось отнятию у большинства студентов права слушать лекции. Если они почувствовали неудовольствие на такое распоряжение, значит ли, что они не имели охоты учиться?

Людям, перебивающимся такими малыми и неверными доходами, как большинство студентов, беспрестанно бывают очень важны какие-нибудь 10 или 20 рублей. Через месяц, через два

студент как-нибудь перевернется — получит уроки, достанет несколько листов перевода и будет уделять рубли на уплату долга; через три, четыре месяца доходы опять иссякнут и опять придется занимать. Понятна важность кассы взаимного вспоможения для общества людей, живущих в таком положении. Понятно также, что этою кассою никто не может управлять, кроме товарищей тех людей, которым она должна помогать. Тут нужно до мельчайших точностей знать дела и характер каждого просящего денег. Ведь обеспечения в уплате нет никакого, кроме личного характера; а видимое положение почти всей массы таково, что, кроме близких знакомых, никто не может различить, действительно ли нужно пособие требующему его или требование неосновательно. Ни профессора, никакое начальство не может заменить студентов в управлении их кассой. Также никто, кроме студентов, не в состоянии и проверять добросовестность или беспристрастие распорядителей кассы. Значит, при существовании кассы необходимы сходки студентов для выбора депутатов, распоряжающихся кассой, для проверки их отчетов, для обсуждения многочисленных случаев, в которых сами распорядители кассы будут чувствовать надобность спрашивать советов. Значит, запрещение студенческих сходок равнялось уничтожению студенческой кассы, столь необходимой.

Понятно ли теперь автору статьи и его единомышленникам, какой смысл имело недовольство студентов воспрещением сходок и непременною обязанностью платы за слушание лекций с каждого студента? Тут дело шло не о каких-нибудь политических замыслах, а просто о куске хлеба и о возможности слушать лекции. Этот хлеб, эта возможность отнимались.

Или это не так? Попробуйте доказать противное; попробуйте напечатать документы, относящиеся к этому периоду дела.

[Угодно ли слушать, что́ было далее? Студенты, которым сходки еще не были воспрещены, собрались, чтобы путем, который они считали законным и который тогда еще не был незаконным (потому что «правила» еще не были приведены в действие, и потому студенты даже и формально еще не имели основания считать воспрещенным для них в эти дни то, что не было им воспрещаемо прежде), чтобы законным путем просить высшее начальство университета ходатайствовать перед правительством об отмене «правил», искажавших характер университетского преподавания и отнимавших у большинства студентов возможность слушать лекции. Начальство это находилось в здании университета. Но, узнав о предполагавшемся представлении просьбы, оно исчезло. Надобно было отыскивать, где оно. Натуральнее всего было предположить, что надобно искать его на его квартире. Студенты пошли к этой квартире. Они шли совершенно спокойно.

Или это не так? Но ведь это известно всему городу.

Виним ли мы кого-нибудь? Нет, мы еще только пробуем, можно ли и без всяких обвинений против кого-нибудь объяснить автору статьи и его единомышленникам, что напрасно винят они

студентов в нежелании учиться. Мы еще сомневаемся, допущено ли будет говорить хотя в этом тоне. Но если из допущения этих замечаний мы увидим, что можно сделать дальнейшую пробу публичного разбора этих дел, тогда прямо попробуем сказать, кого тут следует винить и за что́.

Итак, студенты вынуждены были перейти из здания университета в другую часть города, чтобы отыскать свое начальство для представления ему просьбы, на представление которой оставалось за ними законное право и были у них такие уважительные причины, как желание учиться и забота о куске хлеба для возможности учиться. Найденное ими начальство пригласило их возвратиться в здание университета. Они сделали это с радостью, как только получили от начальства обещание, что оно также отправится туда для выслушания их просьбы.

Образ их действий был так мирен и законен, что само это начальство почло себя вправе уверить студентов на совещании с ними в здании университета, что никто из них не будет арестован или преследуем за события того дня. На другой день поутру жители Петербурга, и в том числе студенты, были встревожены известием, что ночью арестовано значительное число студентов.

Виним ли мы кого-нибудь за эти аресты? Нет, мы еще не пробуем теперь делать этого, как уже и говорили выше.

Но весь город недоумевал при несоответствии факта с уверением, которое публично было дано накануне университетским начальством. Студенты желали, чтобы начальство разъяснило им это недоумение и сообщило им, насколько то удобно по обстоятельствам, в чем обвиняются их арестованные товарищи, чего ждать этим товарищам и всем другим студентам.

Узнать это желал весь город.

Вследствие попытки студентов узнать, не может ли университетское начальство сколько-нибудь разъяснить им это дело и сколько-нибудь успокоить тревогу каждого из них за самого себя, были новые аресты.

Опять повторяем, что мы еще не пробуем винить кого бы то ни было. Посмотрим, откроется ли нам впоследствии возможность к этому. Но если откроется, то, разумеется, мы воспользуемся ею.]

Продолжать ли изложение дальнейшего хода осенней студенческой истории, следствием которой было закрытие здешнего университета? Если угодно будет автору статьи и его единомышленникам, мы готовы будем сделать это для пополнения их сведений о ней. Но для нашей цели довольно изложенных фактов. Автор статьи выставляет закрытие здешнего университета следствием или признаком нежелания студентов учиться. Мы доказали, что события, имевшие своим следствием закрытие университета, произошли от недовольства студентов «правилами», отнимавшими у большинства их возможность учиться.

Рассматривать ли вопрос, до какой степени имелась в виду при составлении «правил» эта цель — отнятие возможности учиться у большинства людей, поступавших в студенты университета? Мы не будем рассматривать этого вопроса теперь; но если автор статьи или его единомышленники считают нужным доказать, что эта цель нисколько не имелась в виду при составлении «правил», пусть они напечатают документы, относящиеся к тем совещаниям, из которых произошли «правила».

Но во всяком случае какую бы цель ни полагали себе лица, занимавшиеся составлением «правил», правила вышли таковы, что необходимым их последствием было именно отнятие возможности учиться у большинства студентов и возбуждение недовольства в студентах этим отнятием. Таково было мнение не одних студентов, а также и большинства профессоров здешнего университета и многих других лиц, [занимавших или занимающих теперь в Министерстве народного просвещения места более высокие.]

Если автор статьи и его единомышленники хотят опровергнуть это наше свидетельство, пусть попробуют они напечатать документы, относящиеся к заседаниям совета здешнего университета по вопросу о тогдашних университетских «правилах», и другие документы, связанные с этим вопросом.

Если они захотят утверждать, что разделяемое нами мнение этих лиц о тогдашних «правилах» неосновательно, то пусть они докажут, что мы ссылаемся на факты, выдуманные нами, когда говорим, что в скором времени после закрытия здешнего университета правительство учредило комиссию для пересмотра этих «правил»; что председателем этой комиссии было назначено лицо, формально осудившее эти «правила» при самом же их обнародовании и отказавшееся приводить их в исполнение в своем университете [5]; что теперь эти «правила» совершенно отвергнуты правительством.

Когда будет доказано, что мы лжем, указывая на эти факты, только тогда будет доказано и то, что ошибочно было впечатление, произведенное этими «правилами» на студентов здешнего университета, и что причиною закрытия здешнего университета были не именно эти «правила», а нежелание студентов учиться.

Переходим к другому факту, выставляемому у автора статьи вторым доказательством нежелания студентов учиться. Этот факт — прекращение публичных лекций весною нынешнего года. Мы думаем, что автор статьи и его единомышленники не найдут вредящим убедительности своего мнения об этом происшествии то, что мы не делаем попытки к изложению обстоятельства, за несколько дней перед прекращением лекций возбудившего очень сильные толки в целом городе [6], надеясь на то, мы не будем касаться этого предварительного обстоятельства [, рассмотрение которого не необходимо для частного вопроса о степени виновности студентов в прекращении публичных лекций. Для нашей цели достаточно будет начать изложение дела несколькими днями позже этого первоначального случая.

Мы слышали, что за два дня до прекращения лекций, объявленного в четверг, 8 марта, было (во вторник, 6 марта, вечером) на квартире одного профессора собрание профессоров, читавших лекции; что на этом собрании эти профессора приняли решение прекратить лекции; что, будучи спрошены, свободно ли и по собственному ли убеждению они приняли это решение, они отвечали, что приняли его совершенно свободно, по собственному убеждению. Мы желаем знать, может ли быть отрицаема достоверность этого слышанного нами рассказа; и пока не будет нам доказано, что она может быть отрицаема, мы считаем делом излишним доказывать какими-либо другими соображениями, что прекращение публичных лекций не должно быть приписываемо студентам. Если же автор статьи или его единомышленники захотят опровергать слышанный нами и сообщенный здесь рассказ о собрании профессоров вечером во вторник 6 марта, то мы предупреждаем, что он может быть опровергаем только свидетельством самих профессоров, бывших на этом собрании, что это свидетельство будет заслуживать рассмотрения только тогда, когда будет скреплено их подписями.]

Мы посвятили несколько страниц разбору нескольких строк, которыми начинается статья «Учиться или не учиться?». Теперь можем идти быстрее.

Автор статьи, «разочаровавшись» в нынешних студентах, спрашивает себя, каковы будут будущие студенты: «будут ли они грозить кафедрам свистками, мочеными яблоками и т. п. уличными орудиями протестующих», т. е. нынешних студентов. Свистки и моченые яблоки употребляются не как «уличные орудия»; уличными орудиями служат: штыки, приклады, палаши; пусть вспомнит автор статьи, студентами ли употреблялись эти уличные орудия против кого-нибудь или употреблялись они против студентов, и пусть скажет, если может, была ли нужда употреблять их против студентов [; и если вздумает говорить, что нужда в этом была, то пусть объяснит, было ли в то время разделяемо такое мнение высшим начальством расположенного в городе отдельного гвардейского корпуса.] Итак, отлагаем речь об употреблении уличных орудий во время студенческой истории до той поры, когда автор статьи покажет нам возможность подробнее заняться этим предметом. Что же касается свистков и моченых яблок, эти орудия протеста употребляются за границею в театральных и концертных залах, а не на улицах; но находился ли хотя один свисток в руках у кого-нибудь из студентов и было ли хотя одно моченое яблоко брошено в кого-нибудь на какой-нибудь лекции или студенческой сходке? Мы не слышали ничего подобного и будем полагать, что ничего подобного не было, пока автор статьи не докажет противного. Впрочем, он, вероятно, только не умел выразиться с точностью или увлекся красноречием, а в сущности намерен был сказать только, что 8 марта в зале городской думы было шиканье и свист. Кто свистал и шикал? По одним рассказам, бóльшая половина присутствовавших, по другим рассказам —

меньшинство, но очень многочисленное. Между тем известно, что студенты составляли лишь небольшую часть публики, находившейся в зале. И если бы не хотела свистать и шикать публика, то голоса студентов были бы заглушены ее аплодисментами, если бы и все до одного студенты шикали. А притом известно, что многие из них не свистали и не шикали.

Следовательно, многочисленность свиставших и шикавших показывает, что шикала и свистала публика. Это положительно утверждают и все слышанные нами рассказы: часть публики аплодировала, другая часть шикала. Если шиканье было тут дурно или неосновательно, то извольте обращать свои укоризны за него на публику, а не на студентов. Пропуская несколько тирад, содержащих в себе вариации на строки, нами избранные, заметим слова, относящиеся также к прекращению публичных лекций: студенты «стали требовать от профессоров, чтобы они пристали к их протестациям и демонстрациям». Когда это было? Сколько мы знаем, этого никогда не было. «Конечно, последние отказались». Как они могли «отказываться» от того, к чему их никогда не приглашали и чего никогда не предполагали делать сами студенты? «Это вызвало со стороны учащихся ряд таких неприличных выходок»,— каких это выходок? Когда они были? [— «что и публичные лекции должны были закрыться». Решение прекратить публичные лекции, как мы сказали, было принято профессорами вечером 6 марта свободно и по их собственному убеждению, как они тогда объявили, и никакие выходки со стороны студентов не предшествовали этому свободно принятому профессорами решению.]

Далее автор статьи рассуждает о «свободе» человека «иметь в религии, политике и т. д. такие убеждения, какие почитает лучшими», и порицает наших «либералов» за то, что они стесняют эту свободу во всех других людях. В доказательство тому приведена фраза из одной моей статьи; впрочем, она совершенно напрасно выставляется уликой против либералов, которые всегда отвергали всякую солидарность со мною и порицали мои статьи не меньше, чем автор статьи порицает студентов. А главное дело в том, что чем же студенты-то виноваты в моих статьях или в неблагонамеренности либералов? Разве я советуюсь с студентами, когда пишу свои статьи? или разве наши «либералы»,— имя, под которым разумеются люди более или менее немолодые и чиновные и уж ни в коем случае не студенты,— разве они набираются своих мнений от студентов? Впрочем, автор только не умел начать речь так, чтобы понятно было, к чему он ведет ее,— а он ведет ее не к тому, чтобы винить студентов за неблагонамеренность наших «либералов», каковых он обижает совершенно напрасно, выставляя их солидарными со мною, с которым не хотят они иметь ничего общего, а к тому, чтобы убедить студентов перестать верит этим «либералам», которых он выставляет похожими на «турецких пашей» и имеющими привычку «грозить побоями» людям других мнений. Но, во-первых, студенты никогда

и не верили нашим «либералам», всегда считали их людьми пустыми, даже и не турецкими пашами, а просто пустозвонами; во-вторых, если статья имеет целью подольститься к студентам и разочаровать их насчет «либералов» (забота совершенно излишняя), то статья не должна была бы так несправедливо винить самих студентов и тем отнимать у них расположение к мыслям, в ней изложенным.

Потом речь идет о каких-то «деспотах» и «инквизиторах», под которыми автор статьи разумеет все тех же наших «турецких пашей», т. е., по его мнению, «либералов». Они между прочим сравниваются с двумя Наполеонами — тем, который ходил на Москву, и тем, который управляет теперь Францией, и которые «оба были республиканцами». Но это последнее слово уж никак не приложимо к нашим «либералам», которые от республиканских понятий гораздо дальше, чем от понятий, свойственных автору статьи. Вот удивятся они, что успели прослыть республиканцами!

Затем автор «от души жалеет тех молодых людей, которые, еще не искушенные опытом жизни, увлекаются обманчивой и ласковой наружностью лжелибералов» — успокойтесь, почтенный автор: ни лжелибералами, ни просто либералами молодые люди никогда и не увлекались [, когда собирались просить свое начальство об отмене «правил», из-за которых произошли события, имевшие своим последствием закрытие университета; а прекращение публичных лекций было следствием решения, принятого, как мы уже говорили, профессорами, читавшими лекции]. Затем опять идет речь о «миниатюрных бонапартиках и кромвельчиках», которые были будто бы «коноводами» студентов. Любопытно было бы знать, на каких основаниях автор статьи полагает, что во время, предшествовавшее закрытию здешнего университета, или во время, предшествовавшее прекращению публичных лекций, у студентов были «коноводы» из людей, не принадлежавших к студенческому обществу? Мы положительно говорим, что никаких таких «коноводов» студенты не имели[7]. Если же автор статьи желает опровергнуть это, то пусть попробует напечатать следственные дела, производившиеся по поводу осенней студенческой истории или по другим процессам, в которых падало подозрение на каких-нибудь студентов,— тогда мы увидим, подтверждается или опровергается этими документами мнение автора о каких-то, будто бы существовавших тогда связях между студентами и какими-то «коноводами». Пока не будут обнародованы документальные доказательства подобных отношений, мы будем утверждать, что ни в каких документах ничего подобного отыскать нельзя, а во множестве документов должно находиться множество фактов, положительно уничтожающих всякую возможность хотя сколько-нибудь основательного предположения о существовании этих мнимых связей.

Но вслед за обличением «миниатюрных бонапартиков и кромвельчиков», которые губили студентов, мы читаем успокоитель-

ное уверение, что теперь студенты уже отвергли этих прежних своих зловредных коноводов: «высказавшись слишком рано, они (миниатюрные бонапартики и кромвельчики) вовремя оттолкнули от себя тех, которые сначала поверили было искренности их стремлений», т. е. оттолкнули от себя студентов. Ну вот и слава богу. Далее следует уверение еще более отрадное: по словам автора, скоро и вовсе провалятся в общественном мнении «миниатюрные бонапартики и кромвельчики». Вот в подлиннике это чрезвычайно утешительное предуведомление:

«До сих пор еще, впрочем, условия цензуры несколько затрудняли общественное разочарование; если же (как носятся слухи) печать будет в скором времени более облегчена, тогда мыльные пузыри или миражи рассеются сами собою, и тогда вряд ли будут увлекаться даже наивнейшие из самых наивных людей. Это будет первой и огромной пользой, которую принесет за собою облегчение печати.

Когда можно будет говорить свободнее, тогда лжелибералы встретят себе сильный отпор в людях, истинно преданных какой-либо мысли; тогда никто не будет стеснен; на один полунамек, темный, неясный, обманчивый и двусмысленный, ответят десятью ясными и здравыми словами. Внутренняя пустота, скрывающаяся теперь под наружными формами каких-либо убеждений, должна будет уступить полноте убеждений истинных».

Дай бог, дай бог, чтобы поскорее пришло такое хорошее время!

Но дальше автор статьи как будто несколько сбивается в словах: «обществу», говорит он, «нужны коноводы»; ну, на что же это похоже, что он желает всему обществу стать в послушание «коноводов», когда сам же так сильно напустился на студентов по одному неосновательному подозрению, что они имели «коноводов». Ай, ай, ай, ведь это уж вовсе нехорошо! Да то ли еще провозглашает автор статьи: мало того, говорит, что обществу нужных «коноводы»,— «народу нужны полководцы»,— с нами крестная сила, чтó это такое значит? какие это полководцы нужны народу? Разве народ надобно поднимать против кого-нибудь, вооружать? вести в какие-нибудь битвы? Странно, странно читать такие вещи, напечатанные в «С.-Петербургских ведомостях» и перепечатанные оттуда в «Северной пчеле». Ну, договорился благонамеренный автор статьи до того, что оставалось бы ему только тут же закончить статью восклицанием про себя: «Язык мой — враг мой!» Но он, нимало не конфузясь, продолжает: «довольно мы слышали всяких возгласов; нам теперь нужны дело и люди дела». Я совершенно разочаровываюсь в благонамеренности автора и кричу: «слово и дело!» Что же это, в самом деле, автор хочет, чтобы у нас образовалось то, что в Италии называется «партия действия»? [8]

[Выразив это желание, которое так удивительно видеть напечатанным в петербургских газетах, автор возвращается от забот о ведении народа в какие-то битвы снова к студентам. Ну, думаем, авось-либо поправится, обнаружит прежнюю благонамеренность; не тут-то было. Он говорит, например, что если бы публичные лекции не были прекращены демонстрацией 8 марта в зале городской думы, то «сочувствие общества принадлежало бы»

студентам «вполне, потому что в таком случае все их прежние демонстрации имели бы смысл». Позвольте, позвольте: а какой смысл имеют эти слова? Дело студентов испорчено прекращением публичных лекций: без этого случая «прежние их демонстрации имели бы смысл, и сочувствие общества принадлежало бы студентам вполне» — так; значит, до этого случая оно не было бы испорчено, и «сочувствие публики вполне принадлежало студентам» и их «прежние демонстрации» казались публике (или даже и автору статьи?) «имеющими смысл»? Так, так. А ведь решение прекратить публичные лекции было принято профессорами; значит, только профессора испортили дело студентов, а то оно «вполне» пользовалось сочувствием публики,— ну хорошо; только уж не слишком ли автор выставляет профессоров порицанию публики?

К этому, что ли, хотел привести речь автор статьи, что студенческое дело испорчено только профессорами?]

Хорошо, хорошо, слушаем, что будет дальше.

Дальше автор говорит, что столичные университеты безнадежны, погубили себя безвозвратно (или он не то хочет сказать? Ведь у него не разберешь, ведь, может быть, [он и профессоров не хотел выставлять людьми, испортившими студенческое дело, и народ не хотел вести на борьбу против каких-то врагов)] и что «остается надежда» только «на провинциальные университеты»,— что это значит? Предположено уничтожить здешний и Московский университеты? Или это только неумение автора выражаться? Должно быть, только неумение выражаться, потому что вслед за тем статья оканчивается уведомлением о возобновлении лекций в здешнем университете и вопросом: «какие слушатели соберутся» в здешний университет, когда он снова откроется и будут или не будут они «учиться»? На эти вопросы отвечать очень легко: соберутся в университет все те не успевшие кончить курса слушатели его, которые будут иметь средства и получат дозволение собраться; а учиться они будут, пока им не помешают учиться.

Но автор статьи, вероятно, только не умел выразить свою настоящую мысль и хотел спросить вовсе не об этом, а о том, будут ли новые демонстрации со стороны студентов при открытии или по открытии университета? И на это можно отвечать очень определенно: студенты решили до последней крайности воздерживаться от всяких демонстраций, и, насколько делание или неделание демонстраций зависит от воли студентов, демонстраций не будет. Но ведь не всесильны же студенты — мало ли что делается против их желания? Вот, например, публичные лекции они устраивали с мыслью держать себя совершенно спокойно и удерживали спокойствие в залах лекций, пока могли; а все-таки произошла демонстрация 8 марта. Студенты накануне решили, что не нужно делать демонстрации; но обстоятельства сложились против их воли так, что она была произведена публикою.

Прошедшие события должны служить уроком для людей, ко-

торые думают, что демонстрации вредны. Эти люди должны предотвращать такие обстоятельства, из которых рождаются демонстрации.

О, если бы эти люди приобрели хотя наполовину столько самообладания и благоразумия, сколько имеют студенты, тогда, конечно, не было бы никаких демонстраций.

Посмотрим, как эти люди будут держать себя при открытии и по открытии университета, и тогда увидим, научились ли они рассудительности. [А мало надежды на это, если люди, о которых мы говорим, разделяют взгляд, выразившийся в статье, нами разобранной.]

# ПИСЬМА

## РОДНЫМ

27 сентября [1846 г.]

Милый братец и друг мой Саша! Неужели так законом положено, чтобы мне каждое письмо к тебе должно было начинать жалобами тебе на тебя за то, что ты не пишешь? Ты не пишешь — это значит не любишь.

Ты говоришь, что тебе нечего писать ко мне?

Вот это, к несчастью, и доказывает мне, что ты не любишь меня. Не думай, что я пишу это так: нет, это глубоко огорчает меня, ты не воображаешь, как глубоко.

Разумеется, в твоей жизни внешней, так же как и в моей, нет ничего замечательного, никакого разнообразия. О ней нельзя написать ничего, это точно.

Вот эту жизнь и описывают тем, кто тебя не любит и кого ты не любишь.

Но разве это жизнь в существенности? Конечно, есть такие несчастные люди (они не чувствуют своего ничтожества и несчастия, как спящий голода и холода и бедствий своих, но мы видим его), внешняя жизнь составляет всю жизнь которых. Почему несчастны они, жалки, если ты не видишь этого, я, если угодно, напишу тебе.

Я надеюсь или, лучше, знаю, что ты не можешь принадлежать к числу этих жалких созданий.

Есть жизнь другая, жизнь внутренняя, душевная.

Это-то и есть истинная жизнь.

В ком есть она, тот занимается внешней жизнью и заботится о ней только настолько и постольку, чтобы она не мешала внутренней жизни...

Прощай. Целую тебя. Брат твой Николай

Чернышевский.

## Г. И. и Е. Е. ЧЕРНЫШЕВСКИМ

22 ноября 1849 г.

...Разумеется, очень много зависит от экзаменов, но я о них не беспокоюсь: если не будет со мною ничего особенного или не случится какого-нибудь такого, какого нельзя предвидеть и ожидать, происшествия, то экзамены, конечно, сойдут хорошо. О них я не беспокоюсь, хоть думаю с большою скукою, потому что целых два месяца этих будут самые хлопотливые; но уж нельзя же избежать этого; нужно будет читать и перечитывать несколько раз кипы записок...

Это очень хорошо, что Сашенька учится по-английски. Что у них прибавили политическую экономию, это чудесно, потому что теперь она и история (т. е. и то и другое, как приложение философии, и вместе главные опоры, источники для философии) стоят теперь во главе всех наук. Без политической экономии теперь нельзя шагу ступить в научном мире. И это не то что мода, как говорят иные, нет, вопросы политико-экономические действительно теперь стоят на первом плане и в теории, и на практике, т. е. и в науке, и в жизни государственной.

Прощайте, милые мои папенька и маменька. Целую ваши ручки. Сын ваш Николай.

## М. И. МИХАЙЛОВУ

28 мая 1851 г.

...В Саратове я нашел еще большую глушь, чем нашли Вы в Нижнем. До сих пор я об этом, впрочем, мало тужу, потому что чем менее людей, тем менее развлечений, следов, тем скорее кончу свои дела, а кончивши их, потащусь в Петербург.

Воспитанники в гимназии есть довольно развитые. Я по мере сил тоже буду содействовать развитию тех, кто сам еще не дошел до того, чтобы походить на порядочного молодого человека. Учителя — смех и горе, если смотреть с той точки зрения, с какой следует смотреть на людей, все-таки потершихся в университете,— или позабыли все, кроме школьных своих тетрадок, или никогда и не имели понятия ни о чем. Разве, разве, один есть сколько-нибудь развитой из них. А то все в состоянии младенческой невинности, подобные Адаму до вкушения от древа познания добра и зла. Вы понимаете, что я поставлю условием того, чтоб называться развитым человеком. Они и не слыхивали ни о чем, кроме Филаретова катехизиса, свода законов и «Московских ведомостей»— православие, самодержание, народность. А ведь трое из них молодые люди, и один еще немец. Директор страшный реакционер, обскурантист и абсолютист. Впрочем,— и это-то хуже всего — кое-что читал и не совсем малоумен, как обыкновенно бывают директоры...

# Н. А. НЕКРАСОВУ

5 ноября 1856 г.

...Вы находите, что в прежнем письме я преувеличивал достоинства Ваших стихотворений,— напротив, я выражался слишком слабо, как вижу теперь, перечитав Ваши стихотворения. Такого поэта, как Вы, у нас еще не было. Пушкин, Лермонтов, Кольцов, как лирики, не могут идти в сравнение с Вами.

Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении Вашею тенденциею,— тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других, притом же я вовсе не исключительный поклонник тенденции, это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие (же) права, как и поэзия мысли,— лично для меня первая привлекательнее последней, и потому, например, лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденциею.

Когда из мрака заблужденья...
Давно отвергнутый тобою...
Я посетил твое кладбище...
Ах, ты, страсть роковая, бесплодная...

и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, но только затем, чтобы сказать Вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив, политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею.

Не подумайте также, что я увлекаюсь общим мнением,— я люблю противоречить ему, если то возможно. Восторг других возбуждает во мне потребность противоречия, но что ж делать, когда другие справедливы? Нельзя же отказаться от своего мнения только потому, что оно разделяется другими.

Не думайте, что мне легко или приятно признать Ваше превосходство над другими поэтами,— я старовер по влечению своей натуры и признаю новое, только вынуждаемый решительною невозможностью отрицать его. Я люблю Пушкина, еще больше Кольцова, мне вовсе нет особенной приятности думать: поэты, которые доставили мне столько часов восторга, превзойдены — но

что ж делать? Нельзя не отрицать истины только потому, что она лично мне не совсем приятна.

Словом, я чужд всякого пристрастия к Вам,— напротив, Ваши достоинства признаются мною почти против воли, по крайней мере, с некоторою неприятностью для меня.

Я должен сознаться, что Ваши произведения, изданные теперь, имеют более положительного достоинства, нежели произведения Пушкина, Лермонтова и Кольцова. Но этим, конечно, нельзя удовлетвориться. Надобно желать гораздо большего, надобно желать, чтобы мы были принуждены забыть для Вас о Пушкине, Лерм[онтове], Кольцове, как для Кольцова забыли о Цыганове и Мерзлякове, как для Лермонтова забыли об Огареве и т. д., как для Гоголя забыли о прежних романах.

Вы имеете все силы, нужные для этого. Только одно может воспрепятствовать Вам быть в поэзии создателем совершенно нового периода — если Вы будете личные Ваши силы и время тратить на бесплодные и совершенно неосновательные сожаления о том, что в прошедшем Вашем не все было расположено благоприятным образом для развития Ваших сил, если Вы предадитесь мысли, что в самом деле не имеете силы быть тем, чем быть назначила Вас натура Ваша, если Вы будете бездействовать в сожалениях и ипохондрии. Конечно, каждому из нас естественно быть недовольным собою, своим прошедшим, думать: «я мог бы быть гораздо лучшим, нежели каков я теперь» и т. п. Быть может, Вы имеете на это несколько более права, нежели другие,— но что ж из того? Как Вы ни думайте о себе, а все-таки Вы в настоящем имеете великие силы, и предаваться унынию — нет причины для Вас.

Вы говорите:

Волшебный луч любви и возрожденья!
Я звал тебя, теперь уж не зову!
Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить...
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

Лично мне эти стихи очень симпатичны — я знаю, что необходимы в жизни минуты уныния,— но не все имеют основание оставаться в унынии — или в отчаянии, если хотите более громкого слова,— как в законном расположении их духа. И Вы не имеете этого права — с чего Вы взяли, что имеете право унывать и отчаиваться?

Организм Ваш еще крепок — как Вы ни думайте о своем здоровье, а Вам суждено еще быть здорову и крепку телом,— только сами не разрушайте своего здоровья ни бесплодным унынием, ни неосторожностями,— и Вы будете крепок и бодр физически. Я вовсе не собираюсь скоро умереть, но уверен в том, что Вы переживете меня. Полноте, не рассчитывайте на то, что Вам не достанет времени и здоровья для деятельности, и не успокаивайте себя отчаянием.

Или в самом деле Ваше сердце устало ненавидеть? Или в самом деле Вы ничего и никого не любите? Все это ипохондрические мечты. На самом деле Вы человек со свежими еще душевными силами. Вы когда-то предавались излишествам относительно женщин,— ну, были развратником, если Вам угодно этого слова,— но что ж из того? Все-таки очень мало юношей, которые сохранили бы такое чистое сердце, какое сохранилось у Вас, человека, испытавшего все излишества. Немногие способны так глубоко уважать достоинство женщины, немногие способны к такой нежности чувства, как Вы,— не говорите, что это неправда,— это ясно для меня из Вашей книги, ясно и из личного знакомства. Какое же право имеете Вы сказать, что Ваше сердце не научится любить? Я взял в пример одно чувство, которое раньше других теряет свою чистоту и свежесть,— то же самое должно сказать и о всех других чувствах, дающих жизнь поэзии.

Я знаю, что в стихах, которые выписаны, Вы говорите не о любви к женщине, а о любви к людям, но тут еще меньше права имеете Вы унывать за себя:

Клянусь, я честно ненавидел,
Клянусь, я искренно любил!

Не вернее ли будет сказать Вам о себе:

...я честно ненавижу,
...я искренно люблю!

В чем другом, а в холодности Вам не следует упрекать себя. Вы — апатичный человек! — да есть ли хотя капля правды в этой фразе! Это все равно, что Дружинина упрекать в пылкости или Гончарова в избытке благородства.

Извините, если я беру смелость говорить подобным тоном, но верьте, меня возмущает мысль о том, что Вы можете смотреть на себя как на человека с изношенным сердцем,— я не хочу знать, много ли было в Вашей жизни волнений и испытаний, от которых мог бы износиться и утомиться другой человек,— дело идет о настоящем, и довольно того, что в настоящем Вы сохранили редкую свежесть и силу чувства,— если прежде Вы были лучше и свежее, тем лучше было для Вас, но из того, что прошедшее было хорошо, не следует, чтобы настоящим следовало пренебрегать — оно недурно у Вас, даже, быть может, еще чересчур хорошо,— быть может, Вы будете писать лучше, когда будете холоднее, а теперь Вам грех жаловаться на свою холодность или усталость.

Вы просто хандрите, и главная причина хандры — мысль о расстроенном здоровье. Так постарайтесь же укрепиться физически — это возможно для Вас. Вы несомненно будете крепок и здоров, если сами будете хотеть того. Пожалуйста, постарайтесь укрепить свое здоровье — оно нужно не для Вас одних. Вы теперь лучшая — можно сказать, единственная прекрасная — надежда нашей литературы. Пожалуйста, не забывайте, что общество имеет право требовать от Вас: «будь здоров, ты нужен мне»...

# И. И. БАРЫШЕВУ

7 и 8 августа 1888 г.

...как же Вам равнять себя по образованности с литераторами, имеющими университетские дипломы? Эти дипломы не относятся к делу. Университет не дает образованности; в нем приобретаются только технические знания по специальным ремеслам, отличающимся от собственно так называемых ремесел лишь своею почетностью во мнении общества. Серьезное, дельное значение университет имеет лишь как совокупность технических мастерских. Сапожному ремеслу очень трудно выучиться иначе, как в сапожной мастерской, под непрерывным руководством опытного мастера. Землепашескому делу совершенно невозможно научиться иначе, как в его мастерской, составляющей передвижное собрание орудий труда, работая в поле этими орудиями под руководством опытного мастера, называемого земледельцем. Точно так же как земледелию, медицинскому ремеслу (считающемуся почетным и вследствие того называющемуся не ремеслом, а профессиею) нельзя выучиться иначе, как в передвижной мастерской этого ремесла, переносящейся из анатомического театра в разные отделения клинических больниц и производящей свои работы, по многосложности их, руками разных мастеров (как и в мастерстве изготовления карманных часов обучение человека, желающего стать хорошим мастером по всем отраслям его, производится не одним мастером, а несколькими); а химии — хоть и возможно, но очень трудно (как и сапожному мастерству) выучиться иным средством, чем работая в его мастерской (химической лаборатории), по указаниям мастера, опытного химика, заведующего этой мастерской в звании профессора химии.

По специальным предметам, в которых главное дело не теория, а техника, привычка глаза и ловкость рук, школьное преподавание действительно или полезно (как в медицинском деле), (или) даже необходимо. Но знания, надобные беллетристу, совершенно не таковы. Они приобретаются не слушанием школьного преподавания, а чтением книг, приятельскими разговорами о житейских делах и, главное, опытом жизни. Важнейшие из этих знаний вовсе не преподаются и не могут быть преподаваемы в школах. А те, которые преподаются в школах (например, в университетах), преподаются обыкновенно в искаженном виде, по надобностям обскурантизма. Университетское преподавание, насколько оно касается знаний, нужных беллетристу, стремится одурачить людей. Кто имеет верные понятия о жизни, приобрел их помимо школьного учения, и если слушал это учение (например, в университетских аудиториях), то наперекор ему, лживому.

Молодые люди, проходящие университетский курс, действительно имеют в деле своего человеческого (не ремесленного, как медицинское, которое не нужно беллетристу, а общего человеческого) образования важное преимущество над своими сверстни-

ками, лишенными возможности состоять с 10 или 12 лет до 20 или 25-летнего возраста в звании гимназистов и потом студентов. Гимназисты и студенты — дети достаточных людей или, по счастливой случайности, нашли себе средство провести много лет без надобности употреблять большую часть своего времени на добывание денег работой: получили стипендии, имеют уроки и т. п. Итак, будучи на содержании родителей или имея сравнительно легкие средства кормить себя, они могут употреблять на свое образование гораздо больше часов дня, чем их сверстники, принужденные почти весь день работать для своего прокормления. Стало быть, в чем сущность разницы? Все сводится к преимуществу сравнительно легкой, беззаботной жизни в годы детства и юности. Но если человек, обремененный в эти годы работою для своего пропитания, более любознателен, чем заурядные гимназисты и студенты, он приобретает больше начитанности, чем они, будет образованнее их. У него меньшее количество свободного времени, чем у них, но он лучше их пользуется им; у него в году лишь 1000 часов свободных, у них по 2000, но он из 1000 употребляет на свое образование 500, а они из своих 2000 — лишь по 300, по 200 или много меньше; сумма капитала образованности, собранного им, будет гораздо больше, чем суммы, собранные ими.

Но Вы читали книги без системы, и читали много пустых или ненужных книг, а многие, которые полезно было бы прочесть, остались не читаны Вами. Так бывает со всеми по делу приобретения образованности; систематически читаются книги лишь по тем отделам знания, которыми гимназист или студент занимается как ремеслом, для будущей своей технической практики; эти книги не дают образованности; руководства к изучению греческого языка или римского права отличаются от руководств к изучению пивоваренного искусства только числом страниц: они толще; впрочем, по некоторым отделам технологии хорошие руководства тоже очень толсты.

По делу приобретения нетехнической подготовки к ремеслу — юридическому, филологическому — или башмачному, плотничному; все равно: ремеслу,— а человеческой образованности, каждый — литератор ли, не литератор ли — такой же самоучка, как Вы; стало быть, Вам нечего смущаться этим.

# Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

# Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
# (1836—1861)

*Николай Александрович Добролюбов родился 24 января (5 февраля) 1836 г. в Нижнем Новгороде. Умер 17 ноября 1861 г. в Петербурге. Скупы, скудны внешние вехи его биографии: годы детства и отрочества на волжских берегах, четыре года юности, отданных педагогике, и следующие четыре — журналистике, затем год заграничных странствий по лекарям и санаториям, борьба со смертельным недугом, возвращение и безвременная кончина.*

*Уже самые ранние работы Н. А. Добролюбова свидетельствуют о незаурядности его дарования, редкой самостоятельности мысли, независимости ума и характера, меткости наблюдений, неуемной жажде деятельности на благо народное. Дарование Н. А. Добролюбова было многогранным. В историю он вошел прежде всего как великий критик, суждения которого сохраняют свою значимость и в наши дни. Но существен его вклад и в педагогику. Все его педагогические статьи звучали подобно набатному колоколу, поднимая все живое на борьбу с «темным царством».*

*Уже в уездном училище, в духовной семинарии Добролюбов поражал обширностью своих знаний, неординарными суждениями о прочитанном, а прочел еще в отчем доме «до Гоголя включительно из отечественной литературы и до Жорж Санд и Прудона из западноевропейской», как писал о том сам. «С увлечением читаю латинских классиков», «русские журналы все почти были в свое время проглочены мною... я вечно читал, жадно читал» (IX, 239, 253)*. Этому он и был обязан всем. Прочтя еще в молодые годы «много хороших книг», замечает его первый биограф Чернышевский**, Добролюбов «был обязан образованием своим самому себе, укрепив свои умственные силы чтением». Так, по собственным словам, он выработал в себе «твердость взгляда и убеждения» (VIII, 447). Еще юношей начал пробовать он свои силы в поэзии, этнографии, лингвистике, испытывая, по собственному признанию, «с самых ранних лет постоянную любовь к русской словесности». Юношей Добролюбов собирает пословицы и поговорки среди своих земляков, составляет историко-статистическое описание нижегородского края, сознательно раз-*

* Цит. по: *Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9-ти т. М.; Л., 1961.

** *Чернышевский Н. Г.* Материалы для биографии Н. А. Добролюбова. Т. 1. М., 1890. С. 665.

*вивая в себе «чувство родины» (IX, 98). Понимание огромной роли отечественной словесности в судьбах родины определило смысл и цель жизни Добролюбова. Он поднимается до последовательного демократизма. Молодой Добролюбов буквально одержим жаждой общественной деятельности, борьбы за осуществление своих сокровенных идеалов: «Чувства мои рвутся наружу со страшной силой... нечего сидеть сложа руки». Так у молодого поэта, начинающего публициста стремление к истине и добру, служение музам связывалось с социализмом, с революцией.*

*У Добролюбова выбор жизненной позиции, утверждение в социалистическом идеале неразрывно сливаются с пониманием огромной роли словесности (в ее тогдашнем широком понимании, включая художественную литературу, критику, публицистику) в политическом воспитании нации. И не случайно выбор Добролюбова пал на «Современник», работа в котором стала «серьезнейшим делом» его жизни. Познакомившись с Чернышевским, он замечает в дневнике: «Я решительно втягиваюсь в литературный круг и... кажется, могу теперь осуществить давнишнюю мечту моей жизни» (февраль, 1857 г.) (VIII, 559).*

*Стремление Добролюбова войти в круг «Современника» объяснялось не только славой лучшего журнала, основанного еще Пушкиным. В руководителе журнала — Н. Г. Чернышевском — он видел мыслителя, блестящего публициста, вдумчивого критика, вождя революционных сил.*

*В июле 1857 г. Добролюбов был принят на постоянную работу в «Современник». Ему было предложено вести критико-библиографический отдел, а несколько позже, с конца 1857 г., он стал вести общередакторскую работу на правах одного из руководителей лучшего влиятельнейшего русского журнала вместе с Н. Г. Чернышевским и Н. А. Некрасовым.*

*Разные псевдонимы Добролюбова не помешали ему очень скоро стать известным читателям России, видевшим в нем достойного продолжателя линии Белинского, Герцена, Чернышевского. Да он и сам понимал меру своей ответственности и не случайно подписал один из первых памфлетов «Анастасий (т. е. «воскресший».— А. С.) Белинский». В нем поистине воскрес дух «неистового Виссариона». Высоко ценя демократизм русской художественной классики, В. И. Ленин писал в 1907 г.: «Еще Некрасов и Салтыков учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов...». К концу 50-х гг. окончательно сложился тот круг сотрудников «Современника», какой определил его лицо, дал журналу новое направление, которое смело можно назвать последовательным, выдержанным революционным демократизмом. В журнале помимо художественных произведений, литературно-критических статей также публиковались исследования по философии, педагогике, политэкономии, международные и внутренние обзоры, теоретические статьи по этим вопросам. Помимо «Совре-*

*менника» Добролюбов печатался в профессиональном «Журнале для воспитания», где опубликовал за 1856—1861 гг. многочисленные статьи, рецензии, обзоры на педагогические темы. Обращаясь к педагогическим проблемам, он разоблачал реакционную официальную педагогику, подвергал критике деятельность органов Министерства просвещения и учебники, созданные им.*

*Н. А. Добролюбов неоднократно подчеркивал, что вопросы образования и воспитания неотделимы от политики, что самодержавие старается «держать народ в невежестве по принципу», так как непросвещенные массы легче обманывать и эксплуатировать. Право на образование было стеснено множеством ограничений — по сословной, религиозной принадлежности, национальному признаку, полу и т. д. Революционный демократ с горечью писал о массовой неграмотности в России, о недоступности образования для народа.*

*Образование превратилось в такую же «монополию» богатых, как промышленное предпринимательство, и они не заинтересованы дать это «оружие против себя тем, чьим трудом они до сих пор пользовались даром» (V, 248). Характерной в этом отношении была теория наследственной предопределенности способностей, защитники которой пытались доказать, что человеку остается лишь готовить себя к наилучшему исполнению того дела, которое предназначила ему наследственность. Добролюбов саркастически замечал, что подобная теория очень выгодна для господствующих классов, так как весьма «упрощает» распределение ролей и обязанностей в обществе.*

*Н. А. Добролюбов не только широко развернул критику порожденной самодержавным деспотизмом теории и практики воспитания, но и выдвинул собственную педагогическую концепцию. Во главу угла он поставил заботу о личности ученика, ее гармоничном развитии, о подготовке ребенка к полноценной и счастливой жизни, о воспитании у молодежи нетерпимого отношения к социальной несправедливости и готовности встать на борьбу со злом.*

*Обучение, по мысли Добролюбова, должно не просто сообщать сумму каких-то сведений, а способствовать умственному и нравственному развитию детей. Задача педагога — приучить детей «думать самостоятельно, внушить им любовь к знаниям, сообщить о предметах ясные и полные понятия, дать материал для деятельности всем способностям и полный простор для их развития» (II, 370). Успешного усвоения учебных предметов можно достигнуть, опираясь на любознательность и сильно развитое воображение детей, на их постепенно крепнущий разум, добиваясь, чтобы учение стало «нравственной необходимостью». Раскрывая роль педагога в процессе обучения, Добролюбов пишет: «Чем больше учитель будет помнить, что ученики смотрят на него как на высшее существо, тем сильнее будет его влияние на детей, тем более будет доставлять отрады каждая его похвала, тем глубже врежется в сердце ученика каждый упрек его, а следовательно, и*

*все дело воспитания будет несравненно благотворнее... Директор — это тот же учитель, только с большей ответственностью. Ему должны быть присущи лучшие качества учителя и умение, опыт руководителя. Его святая святых вести дело так, чтобы не только не убивать инициативы и самостоятельности учителя, а всячески их поддерживать. Главное в его работе — педагогическое руководство. Он — душа школы».*

*Отстаивание Добролюбовым самостоятельности, инициативы педагога, его протест против администрирования явились осуждением практики царских властей, широко привлекавших в качестве администраторов немцев как доморощенных («остзейцев»), так и специально приглашаемых из немецких княжеств. Царские власти требовали от педагога не инициативы и самостоятельности, а слепого повиновения циркулярам. Учитель, отступивший от указаний властей, подлежит суду как государственный преступник, заявлял великий князь Михаил. Такому механическому повиновению более всего подходили иностранцы, далекие от раздумий об исторических судьбах русского народа.*

*Успешно осуществлять задачи обучения мог бы учитель, которого отличает «ясность, твердость и непогрешимость убеждений, чрезвычайно высокое, всестороннее развитие, обширные и разнообразные познания, приведенные в полную гармонию с общими принципами» (I, 497). Учитель — носитель прогрессивных идеалов и научного знания. Он всю жизнь продолжает учиться, чтобы идти в ногу с непрерывно двигающейся вперед наукой. Знания и высокие качества личности учителя обеспечивают любовь и уважение к нему учащихся, но учитель пользуется своим авторитетом только для того, чтобы в процессе воспитания и обучения предоставлять максимальную свободу самостоятельному развитию детей, проявлению их способностей и индивидуальных качеств.*

*Лишь неавторитетный педагог вынужден противопоставлять себя детям и добиваться дисциплинированного поведения и выполнения учебных заданий с помощью наказаний.*

*Высоким требованиям должны отвечать и учебные книги. Хороший учебник не только дал бы детям знания, но и способствовал бы формированию их мировоззрения и нравственных качеств. Между тем учебники, которые использовались в школах царской России, калечили детей умственно и растлевали нравственно.*

*В самодержавно-крепостнической России невозможно было осуществить выдвинутые Добролюбовым идеи образования для всего народа, правильного воспитания, счастливого и свободного развития человека. В статье «Луч света в темном царстве» он сравнивал жизнь народа под гнетом самодержавия с прозябанием узников в тюрьме, на «кладбище человеческой мысли и воли». В народе возникают пассивность и невежество, и может ли быть иначе, если начиная со школьной скамьи народ «учат не рассуждать, а исполнять; в деле сердца и высших стремлений он слышит беспрестанно суеверные аллегории от разных мистификато-*

*ров», на каждом шагу испытывает притеснения от помещика, станового, промышленника.*

*Н. А. Добролюбов верил, что «настоящее» образование помогло бы народу уяснить свои отношения к окружающей жизни, а затем и начать «добиваться приведения их в нормальный вид» (V, 298). Но в то же время он отмечал, что для того, чтобы образование в полной мере оказало свое положительное влияние, необходимо улучшение «материального быта», изменение «гражданских прав и общественных отношений» трудящихся.*

*Время поставило на повестку дня задачу подготовки инициативных борцов, которые, по мысли Добролюбова, помогут забитым и покорным освободиться от гнета. Добролюбов считал, что они формируются в процессе самообразования и самовоспитания в постоянной борьбе с российской действительностью. Самообразование, органическое усвоение прогрессивных идеалов, самоотверженная работа и борьба на благо народа — так представлял себе Добролюбов жизненный путь «нового человека». Для того героя не может быть камнем преткновения затянувшийся поиск дела, от которого страдали «лишние люди». Перед носителем лучших идеалов эпохи естественным являлось, что главное дело его жизни — это освобождение народа от тирании и эксплуатации, подготовка счастливого будущего человечества*. Борец за народное дело выступает у Добролюбова как идеал человеческой личности. Потребность проявлять себя в действии — его важнейшая черта. При этом общественная жизнь — основная сфера, в которой удовлетворяются интересы, развивается и воспитывается личность человека. Однако деспотизм не позволял гражданину воплощать в жизнь свои идеалы, выражать свою личность в деятельности. Отсюда Добролюбов делал вывод: если возможностей нет, их надо создать, смело включаться в борьбу, «предпринять коренное изменение ложных общественных отношений, господствующих над нами и стесняющих нашу деятельность» (IV, 374).*

*Добролюбов был принципиальным врагом громких слов, не подкрепленных конкретным делом по их жизненному воплощению. Воспитание, по его убеждению, должно готовить активного борца за народное благо, обладающего волей, упорством, настойчивостью в достижении цели, способного в случае необходимости на самопожертвование, «гражданский героизм». Отечеству нужны, писал Добролюбов, не люди фразы, а герои мысли, слова и дела, способные и готовые встать «прямо и безбоязненно на смертельную борьбу с застарелыми предрассудками и общественной неправдой» (VI, 7).*

*За осуществление своих «задушевных убеждений» Добролюбов настойчиво боролся всю свою недолгую, яркую жизнь. Осенью 1861 г. он публикует цикл статей — «От дождя да в воду» —*

* См.: *Козьмин В. Ф.* Педагогические идеи Н. А. Добролюбова: Вступительная статья к избранным педагогическим сочинениям. М., 1985, С. 13—14.

*о Н. И. Пирогове, «Забитые люди» — о Ф. М. Достоевском, в которых убедительно показывает, что коренное улучшение положения страны, подлинное преобразование просвещения невозможны без изменения основ политического строя, завоевания свободы.*

*В. И. Ленин высоко ценил Добролюбова, подчеркивал, что всей образованной и мыслящей России дорог писатель, страстно ненавидевший произвол и страстно желавший, ждавший народного восстания против «внутренних турок» — против самодержавного правительства (Полн. собр. соч. Т. 5. С. 370). Он подчеркивал, что его статьи были подобны ударам молнии; из разбора «Обломава» он, по словам Ленина, сделал клич к воле, к активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» — настоящую революционную прокламацию, написанную так, что она не забывается (см.: В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1977. С. 647—648).*

# КРИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.

...Если несомненно, что воспитание и образование тогда только может быть успешно, когда оно делает их наклонными и способными к дальнейшему самовоспитанию, то несомненно, что ту же цель нужно преимущественно иметь в виду при образовании будущих педагогов. Если воспитанник Педагогического института, вышедши, перестает учиться и считает достаточными те знания, которые он получил в заведении, то он педагог во многих отношениях несовершенный. Наука в настоящее время быстро идет вперед; подобный наставник неизбежно отстает от ее хода и на ту же отсталость неизбежно осуждает и своих учеников. Преподавание подобного, не любящего своей науки, наставника холодно, вяло, лишено энергии и одушевления, которые так возбудительно действуют на учеников. Разумная сила проявляется тогда от прикосновения другой разумной жизни; а жизнь состоит в изменениях, последовательно совершающихся в разумном организме. Поэтому и нужно заботиться о том, чтобы возбудить в воспитаннике стремление к дальнейшему самообразованию и дать средство к нему, познакомивши с источниками и пособиями и с теми научными приемами, при помощи которых можно с успехом самостоятельно разрабатывать науку...

# О ЗНАЧЕНИИ АВТОРИТЕТА В ВОСПИТАНИИ

## Мысли по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова

Умственное движение, возбужденное в нашем обществе событиями последних годов, обратилось недавно и к вопросам о воспитании. Теперь у нас основано уже два педагогических журнала [1] и, кроме того, статьи о воспитании появляются от времени до времени и в других изданиях. Но первый обратил внимание на это важное дело «Морской сборник», поместивший в начале прошлого года статью о воспитании г. Бема, за которою последовали и другие статьи, которыми высказывались о воспитании мнения более или менее новые и справедливые. Многие из этих статей находили сочувствие в читателях, но ни одна из них не имела такого полного

и блестящего успеха, как «Вопросы жизни» г. Пирогова. Они поразили всех — и светлостью взгляда, и благородным направлением мыслей автора, и пламенной, живой диалектикой, и художественным представлением затронутого вопроса. Все, читавшие статью г. Пирогова, были от нее в восторге, все о ней говорили, рассуждали, делали свои соображения и выводы. В этом случае общество предупредило даже литературную критику, которая только подтвердила общие похвалы, не пускаясь в подробный анализ статьи и не делая никаких своих заключений. Это явление весьма много говорит в пользу русской публики, и оно тем более замечательно, что статья г. Пирогова вовсе не отличается какими-нибудь сладкими разглагольствиями или пышными возгласами для усыпления нерадивых отцов и воспитателей, вовсе не старается подделаться под существующий порядок вещей, а, напротив, бросает прямо в лицо всему обществу горькую правду; не обинуясь говорит о том, что у нас есть дурного,— смело и горячо, во имя высочайших вечных истин, преследует мелкие интересы века, узкие понятия, своекорыстные стремления, господствующие в современном обществе. Сочувствие публики к такой статье имеет глубокий святой смысл. Значит, при всем своем несовершенстве, при всех увлечениях на практике общество наше хочет и умеет, по крайней мере, понимать, что хорошо и справедливо, к чему должно стремиться. Оно уже имеет столько внутренней силы, что не пугается сознания своих недостатков, а сознание прошедшего и настоящего зла есть лучшее ручательство за возможность добра в будущем. С глубокой радостью и искренним сочувствием приветствуя этот благородный порыв русских людей, мы решаемся высказать по поводу статьи г. Пирогова несколько соображений, на которые наводит она всякого мыслящего читателя. Делаем это тем с большею смелостью, что до сих пор нигде еще не встречали более честного развития тех мыслей, которые заключаются в общих афористических положениях г. Пирогова.

Сущность мыслей, изложенных в «Вопросах жизни», состоит в следующем. Главные и высшие основы нашего воспитания находятся в совершенном разладе с господствующим направлением общества. Из этого выходит, что, оканчивая курс воспитания и вступая в общество, мы находим себя в необходимости *или* отречься от всего, чему нас учили, чтоб подделаться к обществу, *или* следовать своим правилам и убеждениям, становясь таким образом противниками общественного направления. Но жертвовать святыми, высшими убеждениями для житейских расчетов — слишком безнравственно и отвратительно; а идти против общества — где же взять сил на это? К такой борьбе с ложным направлением общества воспитание совсем не готовит нас. Оно даже совсем не заботится о том, чтобы вкоренить в нас высшие, человеческие убеждения; оно хлопочет только о том, чтобы сделать нас учеными, юристами, врачами, солдатами и т. п. Между тем, вступая в жизнь, человек хочет иметь какое-нибудь убеждение, хочет определить, что он такое, какая его цель и назначение. Всматриваясь в себя,

он находит уже готовое решение этих вопросов, данное воспитанием, а присматриваясь к обществу, видит в нем стремления, совершенно противоположные этим решениям. Он хочет бороться со злом и ложью — но здесь-то и сказывается вся несостоятельность его прежнего воспитания: он не приготовлен к борьбе, он должен сначала перевоспитать себя, [чтобы выйти на арену бойца]. А между тем годы летят, жизнь не ждет, нужно действовать... и человек действует как попало, часто падая под бременем тяжелых вопросов, увлекаясь стремительным течением толпы то в ту, то в другую сторону,— потому, что сам собой он не умеет действовать,— в нем не воспитан внутренний человек, в нем нет убеждений. А убеждения даются нелегко: «Только тот может иметь их, кто *приучен с ранних лет проницательно смотреть в себя,* кто приучен с первых лет жизни *любить искренно правду, стоять за нее горою и быть непринужденно откровенным* — как с *наставниками,* так и со сверстниками».

На этом останавливается г. Пирогов. Он указывает зло в воспитании и доказывает свои положения с беспощадной, неотразимой логической силой. Он дает понимать и угадывать причину зла: преобладание внешности в самом воспитании, пренебрежение внутреннего человека. Но каким образом именно убивается в детях внутренний человек, отчего внешнее развивается в них более, от каких частных влияний они выходят на жизненное поприще неприготовленными, бессильными — этого г. Пирогов не разбирает подробно, а опять предоставляет только угадывать. Мы решаемся высказать здесь несколько мыслей об этом, родившихся в нас по прочтении «Вопросов жизни».

Трактуя со своих педагогических высот вопросы о воспитании, мы до сих пор очень сильно напоминали басню, в которой поставили волков в начальники над овцами. Здесь все обстоятельства были прекрасно соображены, все голоса собраны, только одного недоставало: не спросили самих овец. Так точно, бо́льшая часть наших педагогических рассуждений, отлично разбирая вопросы высшей философии, представляя верные и полезные правила с точки зрения религиозной, государственной, нравственной, общепсихологической и т. п., упускает из виду одно весьма важное обстоятельство — действительную жизнь и природу детей и вообще воспитываемых... Оттого дитя нередко жертвуется педагогическим расчетам. Вознесшись на своего нравственного конька, воспитатель считает воспитанника своей собственностью, вещью, с которой он может делать, что ему угодно. «Дитя не должно иметь своей собственной воли,— говорят премудрые педагоги,— оно должно слепо подчиняться требованиям родителей, учителей, вообще старших. Приказание воспитателя должно быть для него высшим законом и исполняться без малейших рассуждений. Безусловное повиновение — главное и единственно необходимое условие воспитания. Воспитание своей последней целью и имеет именно то, чтобы на место *неразумной* воли ребенка поставить *разумную* волю воспитателя».

Не правда ли, что все это кажется очень логическим и справедливым? Но, припоминая характеристику этого *разумного* воспитания, сделанную в «Вопросах жизни», и сами еще не слишком отдаленные от впечатлений собственного воспитания и учения, мы не можем без недоверчивой улыбки слушать логические рассуждения. Все они, очевидно, обнаруживают только одно: страшную педантическую гордость почтенных педагогов, соединенную с презрением к достоинству человеческой природы вообще. Говоря, что в лице воспитателя осуществляются для ребенка нравственный закон и разумное убеждение, они, очевидно, ставят воспитателя на недосягаемую высоту, непогрешительным образцом нравственности и разумности. Нетрудно, конечно, согласиться, что если б возможен был такой идеальный воспитатель, то безусловное, слепое следование его авторитету не принесло бы особенного вреда ребенку (если не считать важным вредом замедление самостоятельного развития личностей). Но, во-первых, идеальный наставник не стал бы и требовать *безусловного* повиновения: он постарался бы как можно скорее развить в своем воспитаннике разумные стремления и убеждения. А во-вторых, искать непогрешимых, идеальных наставников и воспитателей в наше время была бы еще слишком смелая и совершенно напрасная отвага. Для этого требуется слишком много условий. Прежде всего нравственные правила воспитателя должны быть безусловно верны и строго проведены по всем, самым частным и мелочным, случайностям жизни. Темных вопросов, сомнительных случаев для него никогда и никаких не должно быть: иначе — что же он станет делать, если в подобном случае придется приказывать ребенку, который всякое предписание исполняет безусловно, следовательно, вызвать на рассуждение и соображение никак не может? Кроме того, в воспитателе предполагается еще при этом совершенное бесстрастие: он не может увлечься ни гневом, ни любовью, не может чувствовать лени и утомления, для него не может существовать хорошее и дурное расположение духа, он должен быть не обыкновенным человеком, а особенного рода снарядом, в котором должен без всяких уклонений осуществляться нравственный закон. Но, сколько нам известно, подобные снаряды еще не изобретены, а если иные и объявляют, будто они открыли секрет такого изобретения, то в этом опять выражается только их презрение к человеческой природе и желание во что бы то ни стало не походить на людей. Если же в воспитателе допустить возможность увлечения, то как можно поручиться за безусловную непогрешимость его действий в отношении к ребенку? И не лучше ли с самых первых лет приучать ребенка к разумному рассуждению, чтобы он как можно скорее приобрел умение и силы не следовать нашим приказаниям, когда мы приказываем дурно?

В умственном отношении от идеального наставника тоже требуется ясность, твердость и непогрешимость убеждений, чрезвычайно высокое, всестороннее развитие, обширные и разнообразные познания, приведенные в полную гармонию с общими принципами.

Самая натура его должна стоять гораздо выше натуры ребенка во всех отношениях. Иначе — что выйдет, если учитель будет, например, восхищаться Державиным и заставит ученика учить оду «Бог»; а тому нравится уже Пушкин, а ода «Бог» представляет совершенно непонятный набор слов? Что, если целый год морят над музыкальными гаммами ребенка, у которого пальцы давно уже свободно бегают по клавишам и который только и порывается играть и играть?.. Что, если дитя восхищается картиной, статуей, пьесой, любуется цветами, насекомыми, с любопытством всматривается в какой-нибудь физический или химический прибор, обращается к своему воспитателю с вопросом, а тот не в состоянии ничего объяснить?.. [Тут уже плохое безусловное повиновение!] А много ли найдется наставников и воспитателей, которые бы умели объяснить *все* детские вопросы? Многим, конечно, не раз случалось видеть, как иногда семи- или восьмилетнее бойкое дитя забьет в пух и поставит в тупик иного почтенного старичка. А между тем этот почтенный старичок имеет своего воспитанника, который обязан безусловно его слушаться!.. Этот уж, конечно, никого в тупик не поставит.

Таким образом, идеальный воспитатель, не желающий, чтобы ребенок рассуждал и убеждался, а требующий только, чтобы он слушался, должен быть готов на все, должен знать все, должен еще предварительно разрешить *все* вопросы, какие могут родиться у воспитанника, обсудить все мнения, соображения и заключения, какие могут когда-нибудь составиться в душе ребенка.

Только с этой предупредительностью он может еще как-нибудь вести воспитание, не насилуя детской природы. А затем он должен иметь силы вести воспитанника верным и самым лучшим путем на всяком поприще. Откроет ли он в ребенке наклонность к музыке, к живописи, страсть к ботанике, легкость математического соображения, поэтическое чувство, способность к изучению языков и пр. и пр., он должен быть вполне способен развить все в своем питомце. Если же он не может за это взяться, значит, он сам еще не столько приготовлен, не столько развит, чтобы руководить другими. А если так, то он и не имеет права требовать, чтобы его слушались безусловно.

Но даже если мы допустим, что воспитатель всегда может стать выше личности воспитанника (что и бывает, хотя, конечно, далеко, далеко не всегда), то, во всяком случае, он не может стать выше целого поколения. Ребенок готовится жить в новой сфере, обстановка его жизни будет уже не та, что была за 20—30 лет, когда получил образование его воспитатель. И обыкновенно воспитатель не только не предвидит, а даже просто не понимает потребностей нового времени и считает их нелепостью. Он старается удержать своего питомца в тех понятиях, в тех правилах, которых сам держится: старание совершенно естественное и понятное, но тем не менее вредное в высшей степени, как скоро оно доходит до стеснения собственной воли и ума ребенка.

Из этого происходит то, что естественный смысл воспитанни-

ка раскрывается медленнее, восприимчивость к явлениям и потребностям той жизни, того общества, среди которых придется ему действовать, совсем иногда заглушается старыми предрассудками и мнениями, на веру принятыми в детстве от воспитателей. Такое воспитание, без сомнения, есть враг всякого усовершенствования и успеха и ведет к мертвой неподвижности и застою... влияние его отражается уже не на одних отдельных личностях, а на целом обществе.

Если предрассудки и заблуждения старого поколения насильно, с малых лет, вкореняются во впечатлительной душе ребенка, то просвещение и совершенствование целого народа надолго замедляется этим несчастным обстоятельством. Горький опыт жизни убеждает, правда, целое поколение в неверности того, о чем толковали ему в детстве, и человек теряет часть своего детского энтузиазма к давним внушениям, не оправданным жизнью; но все еще по привычке он держится этих внушений и передает их детям, только с меньшей восторженностью, чем ему самому передавали их.

Новое поколение утрачивает еще частичку благоговения к внушенным мнениям; но зато родовая привычка усиливается, и чем дальше, тем бессознательнее, и по тому самому тем крепче держится народ за предания отцов. Нужно, чтобы жизнь сделала невозможным приложение этих давно ставших мертвыми преданий, нужно, чтобы явился мощный гений мысли, чтобы заставить общество почувствовать нужду и возможность изменения в принятых неразумных началах. И после этого открытия как медленно, как слабо принимается новая мысль, как долго не проникает она в глубину души людей и не распространяется в массах!

Прошли столетия после того, как указано движение Земли, а до сих пор простолюдин наш, слыша беспрестанно, что солнышко взошло и закатилось, смотрит на него как на огромный фонарь, подвигающийся по небесному своду от востока до запада. Девять веков уже Россия оглашается божественным учением христианства, но в народе до сих пор живы поверья о домовых, водяных и леших. Даже те, которые впоследствии теоретически освобождаются от детских верований, на практике долго еще им подчиняются. Много есть образованных людей, имеющих хорошее понятие о явлениях электричества и все-таки прячущихся от ужаса в темную комнату во время грома; точно так же, как есть множество других, достигших до умения рассуждать об истинном достоинстве человека и все-таки в своем знакомом ценящих более всего изящество французского выговора и модный жилет. Отчего происходит это, как не от влияния неразумных впечатлений детства, перешедших к ребенку, по несчастию, от тех, кого он любит или уважает?.. «Влияние старших поколений на младшие неизбежно,— скажете вы,— и его нельзя уничтожить, тем более что, при дурных сторонах, оно имеет и много хороших: все сокровища знаний, собранные в прошедших веках, передаются ребенку именно под этим влиянием, и без него нельзя поставить человека на ту точку, с

которой он должен начать в жизни собственное продолжение всего, что до него было сделано человечеством».

Возражение совершенно справедливое, и мы поступили бы безумно, если бы стали требовать уничтожения того, что естественно, само по себе является, существует и уничтожиться не может.

Но мы не видим также причины и ратовать за то, что неизбежно само по себе. Младшее поколение необходимо должно быть под влиянием старшего, и от этого проистекает неизмеримая польза для развития и совершенствования человека и человечества. Никто не станет спорить против такой очевидной истины. Мы говорим только о том — зачем же ставить прошедшее идеалом для будущего, зачем требовать от новых поколений *безусловного, слепого* подчинения *мнениям* предшествующих? Для чего уничтожать самостоятельное развитие дитяти, насилуя его природу, убивая в нем веру в себя и заставляя делать только *то, чего я хочу,* и только *так, как я хочу, и* только *потому, что я хочу?..* А объявляя такое *безусловное* повиновение, вы именно уничтожаете разумное, правильное, свободное развитие дитяти. Как это вредно действует на все нравственное существо ребенка, ясно можно видеть из бесчисленных опытов, равно как и из теоретических соображений. Представим некоторые из них.

Прежде всего определим яснее, что нужно разуметь под *безусловным* повиновением. *Безусловный* — значит не зависящий ни от каких условий и обстоятельств, неизменно остающийся при всех возможных случайностях, не происходящий вследствие каких-нибудь внешних или внутренних причин, но существующий самобытно и сам в себе заключающий свое оправдание. Таково именно бывает повиновение, которое требуют у нас от детей и которого необходимость еще недавно доказывал весьма сильно в «Морском сборнике» (1856, № 14), г. пастор Зедергольм. Из этого следует, что ребенок должен слушаться без рассуждений, слепо веровать своему воспитателю, признавать его приказания единственно непогрешительными, а все остальное несправедливым и, наконец, делать все не потому, что это хорошо и справедливо, а потому, что это приказано и, следовательно, должно быть хорошо и справедливо.

Посмотрим же, какое психологическое действие может произвести подобное отречение от своей воли в дитяти.

Предположим сначала идеальных воспитателей и наставников. Их внушения всегда справедливы, всегда последовательны, всегда соразмерны со степенью духовного развития ребенка; они сами любимы и уважаемы детьми. Предположим, что подобные воспитатели требуют от детей повиновения *безусловного,* а не *разумного.* Что из этого выходит?

Отдается приказание; ребенок исполняет его беспрекословно; за это его хвалят и награждают. Но в самом поступке нет ничего достойного награды — ребенок потому и исполнил приказ тотчас, что приказанное дело казалось ему совершенно естественным, что

это согласно было с его собственным желанием; за что же его хвалят? Очевидно, за послушание.

Дается другое приказание; воспитаннику оно не нравится, он находит его несправедливым, неуместным и представляет свои возражения. Ему говорят, чтобы слушался, а не рассуждал, и гневаются. Он поневоле повинуется. Но мысль, что его возражения были справедливы, остается у него во всей силе; за что же, значит, бранили его? Ясно за что — за непослушание.

Подобные случаи повторяются часто, и в душе ребенка мало-помалу погасает чувство правды, уважение к разумному убеждению, и место его занимает слепое последование авторитету.

Вы скажете, что впоследствии, сделавшись поумнее, воспитанник сам поймет, как разумны были приказания воспитателя. Это, конечно, и бывает очень часто, и это прекрасно, но только для воспитателя, который таким образом приобретает себе более уважения,— но никак не для воспитанника, на которого все подобные открытия имеют совершенно противное влияние. Увидевши через год, через месяц, неделю, день, час, наконец, но во всяком случае поздно (потому, что дело уже сделано и сделано не по убеждению, [а по приказу]),— увидевши, что его противоречие было глупо и неосновательно, ребенок теряет доверие к собственному рассудку, лишается отваги и энергии в своих собственных рассуждениях, боится составить какое-нибудь собственное мнение и не смеет следовать собственному убеждению даже тогда, когда оно представляется ему ясным, как солнце... А может быть, думает он, что-нибудь тут не так... Вот, может быть, пройдет несколько времени, и окажется, что я не прав... Отсюда нерешительность, медленность, вялость, выжидание в действиях — черты, сохраняющиеся на всю жизнь и нередко поражающие нас в людях, одаренных замечательной силой воображения в теории, [но не имеющих отваги осуществить свои мысли на практике].

А что еще, если ребенок прав в абсолютном смысле, если его противоречие было истинно с точки зрения высших принципов, а несообразно было только с житейскими обстоятельствами? Житейские обстоятельства оправдывают воспитателя; ребенок понимает это; так как он еще не утвердился в принципе сознательным убеждением, то мало-помалу высшая правда, как несогласная с жизнью, поступает в разряд отвлеченных, негодных мнений, пустых бредней...

Вот примеры. Мальчик сказал в семействе про своего товарища, что он вор. Отец стал бранить сына и приказал ему не говорить этого никогда. Мальчику сначала досадно, он находит несправедливым это запрещение; но через неделю, на одном вечере, другой его товарищ упрекнул маленького вора в воровстве. Поднялась кутерьма: два семейства поссорились, откровенного болтуна наказали... Отец говорит мальчику: вот видишь, что может выйти из этого?..

Мальчик входит в близкие отношения со старым слугой; гордый гувернер бранит его и запрещает говорить со стариком. Но маль-

чик не слушает и в одно время так зашаливается в лакейской, что старик слуга без церемонии берет его за руку и выпроваживает от себя с приличными поучениями. Мальчику неприятно; гувернер, увидя это, приходит в ужас и, поддразнивая самолюбие мальчика, говорит: а все оттого, что не слушался! Погоди, он тебя еще бить будет, если станешь по-прежнему быть с ним запанибрата!.. И мальчик раскаивается в своей дружбе со стариком, как будто в преступлении.

Гувернантка приказывает девочке вести себя благопристойно — стан выпрямить, идти плавно, голову держать прямо, говорить только, когда спрашивают, и т. п. С такими правилами приезжает она в гости. Там много детей, и все такие резвые, веселые; они бегают, шумят, болтают, хохочут. Ей тоже хотелось бы пристать к ним, но гувернантка говорит, что это неблаговоспитанно, и она скучает, с завистью смотря на веселящихся подруг, особенно на одну, которая шалит больше всех и которой, кажется, всех веселее... Но вдруг эта резвая девочка упала и сломала себе ногу... Торжествующая гувернантка говорит своей скромной воспитаннице: вот что значит вести себя неприлично!..

И тому подобное. Рассудите беспристрастно, насколько безусловное повиновение служит здесь к развитию нравственного чувства. Не убивает ли, напротив, такое воспитание и тех добрых, святых начал, которые природны ребенку? Не естественно ли, что при этом он примет исключение за правило, извращенный порядок за естественный? И кто в этом будет виноват? Неужели сам он?

А между тем какое пышное развитие мог бы получить ум, какая энергия убеждений родилась бы в человеке и слилась со всем существом его, если бы его с первых лет приучали *думать* о том, что делает, если бы каждое дело совершалось ребенком с сознанием его необходимости и справедливости, если бы он привык сам отдавать себе отчет в своих действиях и исполнять то, что другими велено, не из уважения к приказавшей личности, а из убеждения в правде самого дела!.. Правда, тогда многим воспитателям пришлось бы отступиться от своего дела, потому что их воспитанники доказали бы им, что они не умеют приказывать!

Убивая в ребенке смелость и самостоятельность ума, *безусловное* повиновение вредно действует и на чувство. Сознание своей личности и некоторых прав человеческих начинается в детях весьма рано (если только оно *начинается,* а не прямо родится с ними). Это сознание необходимо требует удовлетворения, состоящего в возможности следовать *своим* стремлениям, а не служить бессознательным орудием для каких-то чужих, неведомых целей. Как скоро стремления ребенка удовлетворяются, т. е. дается ему простор думать и действовать самостоятельно (хотя до некоторой степени), ребенок бывает весел, радушен, полон чувств самых симпатичных, выказывает кротость, отсутствие всякой раздражительности, самое милое и разумное послушание в том, справедливость чего он признает. Напротив, когда деятельность ребенка стесняется, стремления его подавляются, не находя ни желаемого удовлет-

ворения, ни даже разумного объяснения, когда, вместо сознательной личной жизни, дитя, как труп, как автомат, должно быть только послушным орудием [чужой воли], тогда естественно, что мрачное и тяжелое расположение овладевает душой ребенка, он становится угрюм, вял, безжизнен, выказывает неприязнь к другим и делается жертвой самых низких чувств и расположений. В отношении к самому воспитателю, до тех пор пока не усвоит себе *безусловного* достоинства машины, воспитанник бывает очень раздражителен и недоверчив. Да и впоследствии, успевши даже до некоторой степени обезличить себя, он все-таки остается в неприятных отношениях к воспитателю, требующему только *безусловного* исполнения приказаний, справедливо, хотя и смутным инстинктом постигая в нем притеснителя и врага своей личности, от которой, при всех усилиях, человек никогда не может совершенно отрешиться.

Нужно ли говорить о том губительном влиянии, какое производит привычка к *безусловному* повиновению на развитие воли? Кажется, совершенно излишне, и мы бы охотно прошли молчанием этот пункт, если бы не имели пред глазами странных положений г. Зедергольма («Морской сборник», 1856, № 14, с. 38—39), утверждающего, что «усилие, которое делает дитя, чтобы преодолеть собственную волю и подчинить ее чужой, развивает его *нравственную силу* (!). Этим одним возбуждается в душе его первое проявление нравственности, первая нравственная борьба, и только с нее начинается собственно *человеческая жизнь*. А от беспрестанного упражнения в этой борьбе силы его воли укрепятся так, что он после, когда его воспитание окончено, в состоянии повиноваться *самому себе* и исполнять то, что рассудок и совесть требуют от него». Все это рассуждение очень напоминает нам одного благоразумного родителя, который, желая развить в сыне телесную ловкость, клал его спиною поперек на узкую доску, поднятую аршина на полтора от земли, и заставлял таким образом балансировать. Ребенок болтал руками и ногами, стараясь найти себе точку опоры, не находил ее, изнемогал и со страшным криком скатывался с доски. Развился он при таких умных мерах очень уродливо, да еще вдобавок никогда не мог впоследствии даже пройти моста без внутреннего содрогания. Вообще эта система — клин клином выбивать — давно [у нас известна, и давно мы видим ее страшные результаты]. Дитя боится темноты — его запирают в темную комнату; дитя питает отвращение к какому-нибудь кушанью — его целую неделю кормят нарочно этим кушаньем; дитя любит сидеть за книжкой — его посылают гулять; оно хочет бегать — ему велят сидеть на месте — и это делается весьма часто не из сознания необходимости или пользы того, что приказывают, а из чистых и бескорыстных педагогических видов — чтобы приучить ребенка к послушанию... Впрочем, наши практические воспитатели несколько последовательнее г. Зедергольма; они просто говорят: «Нужно привыкать к покорности; если теперь его характер не переломить, то уже после поздно будет». Таким образом, они откровенно при-

знаются, что имеют в виду подарить обществу будущих Молчалиных. Но г. Зедергольм уверяет, что послушанием укрепляется сила воли! Да помилуйте, ведь это все равно, как если бы я, уничтожая всякий порыв рассудка в моем воспитаннике, каждый раз говоря ему: не рассуждайте (как и делается обыкновенно у воспитателей, требующих *безусловного* повиновения), вздумал бы вывести такого рода заключение: «Этим развиваются его умственные способности, потому что тут он должен соображать внутренне и взвешивать справедливость моего мнения и несправедливость своих возражений». Не правда ли, что это столь же логическое предположение, как и г. Зедергольма? И как легко таким образом воспитывать детей!

Напрасно г. Зедергольм указывает на *борьбу*. Здесь, собственно, нет борьбы, а только уступка без боя, которая при частом повторении производит не крепость воли, а нравственное расслабление. Да и если бывает в самом деле борьба, то самая неразумная: с одной стороны, внутренняя сила, природное влечение, которое ребенку представляется правильным, а с другой — внешнее, непонятное давление чужого произвола или того, что ребенок считает произволом... При *безусловном* повиновении победа обыкновенно остается на стороне *внешней* силы, и это обстоятельство неизбежно должно убить внутреннюю энергию и отбить охоту от противодействия внешним влияниям. Притом не нужно упускать из виду еще одного обстоятельства: многие из приказаний, отдаваемых ребенку, бывают такого рода, что он не имеет еще о них определенного мнения и ему лично все равно — исполнить их или не исполнить. Не понимая, зачем и почему, он делает то, что велено, только потому, что это велено. Тут уже борьбы никакой нет, а господствует полная бессознательность, обращающаяся потом в привычку. Воспитанный таким образом человек во всю свою жизнь остается под различными влияниями, которые определяются не разумной необходимостью, не обдуманным выбором, а просто случаем. В чьи руки человек прежде всего попадется, тому будет следовать.

Каково влияние *безусловных* приказаний на *совесть* (на что указывает также г. Зедергольм), можно понять из всего, что было до сих пор сказано. Привыкая делать все без рассуждений, без убеждения в истине и добре, а только по приказу, человек становится безразличным к добру и злу и без зазрения совести совершает поступки, противные нравственному чувству, оправдываясь тем, что *так приказано*.

Это все следствия, необходимо вытекающие из самой методы абсолютного повиновения. Но вспомните еще, сколько с ней сопряжено других неудобств, являющихся при исполнении. Приказания воспитателя могут быть несправедливы, непоследовательны и, таким образом, будут искажать природную логику ребенка. Если наставников и воспитателей несколько, они могут противоречить друг другу в своих приказаниях, и дитя, обязанное всех их равно слушаться, попадет в темный лабиринт, из которого выйдет не иначе, как только совершенно потерявши сознание нравственного

долга (если не успеет дойти само до *своих* правил и, следовательно, до презрения наставников).

Все недостатки воспитателя, нравственные и умственные, легко могут перейти и к воспитаннику, приученному соображать свои действия не с нравственным законом, не с убеждением разума, а только с безусловною волею воспитателя.

Таким образом, отсутствие самостоятельности в суждениях и взглядах, вечное недовольство в глубине души, вялость и нерешительность в действиях, недостаток силы воли, чтобы противиться посторонним влияниям, вообще обезличение, а вследствие этого легкомыслие и подлость, недостаток твердого и ясного сознания своего долга и невозможность внести в жизнь что-либо новое, более совершенное, отличное от прежде установленных порядков,— вот дары, которыми *безусловное* повиновение при воспитании наделяет человека, отпуская его на жизненную борьбу!.. И с такими-то качествами человек должен ратовать за свои убеждения против целого общества, и он, привыкший жить чужим умом, действовать по чужой воле, он должен вдруг поставить *себя* меркою для целого общества, должен сказать: вы ошибаетесь, я прав; вы делаете дурно, а вот как нужно делать хорошо!.. Да где же он возьмет столько силы? Во имя чего будет он бороться? Неужели во имя авторитета своих наставников, которые до сих пор управляли его жизнью и понятиями? Да кто же, наконец, дал ему право на это? Собственно говоря, его отношения и теперь нисколько не изменились: до сих пор были подчиненные отношения в воспитании и обучении, теперь настали точно такие же отношения в службе и общежитии. Какая же голова может переварить такое умозаключение: вот черта — пятнадцать, двадцать лет,— до которой ведут тебя, заставляя беспрекословно и *безусловно слушаться* других; это делается для того, собственно, чтобы, перешедши через эту черту, ты умел *бороться* с другими. Гораздо естественнее заключить, что и в последующей жизни человек должен вести себя именно так, как до сих пор заставляли его.

Все эти соображения имеют в виду, разумеется, совершенный успех системы *безусловного* повиновения. Но есть натуры, с которыми подобная система никак не может удаться. Это натуры гордые, сильные, энергические. Получая нормальное, свободное развитие, они высоко поднимаются над толпою и изумляют мир богатством и громадностью своих духовных сил. Эти люди совершают великие дела, становятся благодетелями человечества. Но, задержанные в своем самобытном развитии, сжатые пошлою рутиною, узкими понятиями какого-нибудь весьма ограниченного наставника, не имея простора для размаха своих крыльев, а принужденные брести тесной тропинкой, которая воспитателю кажется совершенно удобной и приличной, эти люди или впадают в апатичное бездействие, становясь лишними на белом свете, или делаются ярыми, слепыми противниками именно тех начал, по которым их воспитывали. Тогда они становятся несчастны сами и страшны для общества, которое принуждено гнать их от себя. Са-

мый яркий пример подобного оборота дела представляет Вольтер, воспитанный в благочестивых, основанных на строгом, мертвом повиновении, правилах иезуитских школ. Один раз дошедши до убеждения в неправости своего учителя, подобный ученик уже не останавливается... Да и что могло бы остановить его? И хорошее и дурное, и ложное и справедливое у него перемешано в приказаниях безусловных и представляется ему под одной призмой стеснения его личности. Нравственное чувство в нем не развито, ум не приучен к спокойному, медленному обсуждению своих действий; все, что он знает и чему верит, вбито ему в голову насильно, без всякого участия его собственной воли и чувства. Поэтому весь внутренний мир, как развитый им не от себя, а навязанный извне, представляется ему чем-то чуждым, внешним и весь разом без большого труда опрокидывается, особенно если при этом вмешивается еще какое-нибудь влияние, совершенно противоположное влиянию воспитателей. В ожесточении против угнетавших его он развивает в себе дух противоречия и становится противником уже не злоупотреблений только, а самих начал, принятых в обществе. Разумеется, его ждет скорая гибель или жизнь, полная скорбного недовольства самим собою и людьми, пропадающая в бесплодных исканиях, с неумением остановиться на чем-нибудь. И сколько благородных, даровитых натур сгибло таким образом жертвою учительской указки, иногда с жалобным шумом, а чаще просто в безмолвном озлоблении против мира, без шума, без следа.

Но чего вы хотите? — спросят нас. Неужели же можно предоставить ребенку полную волю, ни в чем не останавливая его, во всем уступая его капризам?

Совсем нет. Мы говорим только, что не нужно дрессировать ребенка, как собаку, заставляя его выделывать те или другие штуки по тому или другому знаку воспитателя. Мы хотим, чтобы в воспитании господствовала разумность и чтобы разумность эта ведома была не только учителю, но представлялась ясною и самому ребенку. Мы утверждаем, что все меры воспитателя должны быть предлагаемы в таком виде, чтобы могли быть вполне и ясно оправданы в собственном сознании ребенка. Мы требуем, чтобы воспитатели выказывали более уважения к человеческой природе и старались о развитии, а не о подавлении *внутреннего человека* в своих воспитанниках и чтобы воспитание стремилось сделать человека нравственным не по привычке, а по сознанию и убеждению.

«Но это смешная и нелепая претензия,— скажут глубокомысленные педагоги, презрительно улыбаясь в ответ на наши доводы.— Разве можно от маленького дитяти требовать правильного обсуждения высоких нравственных вопросов, разве можно *убеждать* его, когда он не развит настолько, чтобы понимать убеждения? Безумно было бы, посылая мальчика гулять, читать ему целый курс физиологии, чтобы доказать, почему и как полезна прогулка, точно как было бы нелепо, задавая таблицу умножения, перебирать все математические действия, в которых она не-

обходима, а отсюда уже вывести пользу ее изучения... Главная задача воспитания состоит в том, чтобы добиться во что бы то ни было беспрекословного исполнения воспитанником приказаний высших, и если нельзя достигнуть этого посредством убеждения, то надобно добиться посредством страха».

Во всех этих рассуждениях один недостаток — принятие нынешнего status quo[2] за нормальное положение вещей. Я с вами согласен, что дети неразвиты еще до ясного понимания своих обязанностей; но в том-то и состоит ваша обязанность, чтобы развить в них это понимание. Для этого они и воспитываются. А вы вместо того, чтобы внушать им сознательные убеждения, подавляете и те, которые в них сами собой возникают, и стараетесь только сделать их бессознательными, послушными орудиями вашей воли. Уверившись, что дети не понимают вас, вы преспокойно сложили руки, воображая, что вам и делать нечего больше, как сидеть у моря и ждать погоды: авось, дескать, как-нибудь раскроются способности, когда подрастет ребенок,— тогда и потолковать с ним можно будет, а теперь пусть делает себе, что приказано. В таком случае на что же вы и поставлены, о, глубоко мудрые педагоги? Зачем же тогда и воспитание?.. Ведь ваш прямой долг — добиться, чтобы вас понимали!.. Вы для ребенка, а не он для вас; вы должны приноравливаться к его природе, к его духовному состоянию, как врач приноравливается к больному, как портной к тому, на кого он шьет платье. «Ребенок еще не развит» — да как же он и разовьется, когда вы нисколько об этом не стараетесь, а еще, напротив, задерживаете его самобытное развитие? По вашей логике, значит, нельзя выучиться незнакомому языку сколько-нибудь разумным образом, потому что, начиная учиться, вы его не понимаете,— а надобно вести дело, заставляя ученика просто повторять и заучивать незнакомые звуки без знания их смысла; после, дескать, когда много слов в памяти будет, так и смысл их как-нибудь, мало-помалу узнается!.. Во всех этих возражениях едва ли что-нибудь выказывается так ярко, как желание спрятать свою лень и разные корыстные виды под покровом священнейших основ всякого добра. Но, унижая разумное убеждение, заставляя воспитанника действовать бессознательно, можно несравненно скорее подкопать их, нежели всяческим предоставлением самой широкой свободы развитию ребенка... Все эти близорукие суждения о неразвитости детской природы чрезвычайно напоминают тех господ, которые восстают против Гоголя и его последователей за то, что эти писатели просто пересыпают из пустого в порожнее, что они никого не научают и что людей, на которых они нападают, можно пронять только дубиной, а никак не убеждением... Как будто бы дубина может кого-нибудь и чему-нибудь научить! Как будто бы, побивши человека, вы через то делаете его нравственно лучшим или можете внушить ему какое-нибудь убеждение, кроме разве убеждения, что вы так или иначе сильнее его!.. Для дрессировки, правда, argumentum baculinum[3] очень достаточен: таким образом лошадей выезжают, медведей плясать выучивают и из людей де-

лают ловких специальных фокусников. Но при всей ловкости в своем мастерстве ни лошади, ни медведи, ни многие из людей, воспитанные таким образом, ничуть не делаются от того умнее!..

«А как же,— говорят еще ученые педагоги,— предохранить дитя от вредных влияний, окружающих его? Неужели позволить ему доходить до сознания их вредности собственным опытом? Таким образом ни один ребенок не остался бы цел. Испытавши, например, что такое яд или что значит свалиться в окошко из четвертого этажа, дитя, наверное, не останется очень благодарным тому педагогу, который по особенному уважению человеческой природы принялся бы в критическую минуту за убеждения, а не решился бы просто отнять яд или оттащить ребенка от окошка...» Оставляя в стороне всю шутовскую, нелепую сторону этого возражения, по которому, например, подчиненный не может спасти утопающего начальника (потому, что он от него не может требовать безусловного повиновения, а без этого спасение невозможно), заметим одно. Дети потому-то часто и падают из окон и берут мышьяк вместо сахара, что система безусловного повиновения заставляет их только слушаться и слушаться, не давая им настоящего понятия о вещах, не пробуждая в них никаких разумных убеждений.

Да и хоть бы справедливы были жалобы на неразумность детей! А то и они оказываются чистейшей клеветой, придуманной для своих видов досужим воображением неискусных педагогов. Прежде всего можно заметить, что не воспитание дает нам разумность, так же как, например, не логика выучивает мыслить, не грамматика — говорить, не пиитика — быть поэтом и т. п. Воспитание точно так, как все теоретические науки, имеющие предметом внутренний мир человека, имеет своей задачей только возбуждение и прояснение в сознании того, что уже давно живет в душе, только живет жизнью непосредственной, бессознательно и безотчетно. Придайте разумность обезьяне, с вашей системой *безусловного* повиновения, и тогда целый мир с благоговением преклонится пред этой системой и будет по ней воспитывать детей своих. Но вы этого не можете сделать и потому должны смиренно признать права разумности в самой природе ребенка и не пренебрегать ею, а благоразумно пользоваться теми выгодами, какие она вам предоставляет.

А разумности в детях гораздо больше, нежели предполагают. Они очень умны и проницательны, хотя обыкновенно и не умеют определительно и отчетливо сообразить и высказать свои понятия. Логика ребенка весьма ясно выражается в самое первое время его жизни, и лучшим доказательством тому служит язык. Можно положительно сказать, что трех- или четырехлетнее дитя не слыхало и половины тех слов, которые употребляет; оно само составляет и производит их по образцу слышанных, и производит почти всегда правильно. То же самое нужно заметить о формах: ребенок, не имеющий понятия о грамматике, скажет вам совершенно правильно все падежи, времена, наклонения незнакомого ему сло-

ва ничуть не хуже, как вы сами сделаете это, изучая уже в совершенном возрасте какой-нибудь иностранный язык. Из этого следует, что, по крайней мере, способность к наведению и аналогии, умение классифицировать весьма рано развиваются в ребенке.

То же самое нужно сказать и о понимании связи между причинами и следствиями. Ожегши один палец на свечке, ребенок в другой раз уже не схватит свечу рукой; видя, что зимой бывает снег, а летом — нет, ребенок при таянии снега, весной догадывается, что лето приближается, и пр. и пр. Всякое дитя ласкается к тому, кто его ласкает, и удаляется от того, в ком встречает грубое обращение, и т. п.

Мало этого: дети очень рано умеют составлять понятия. Узнавши, что такое дом, книга, стол и пр., ребенок безошибочно узнает все другие дома, книги, столы, хотя бы вновь увиденные им и не походили на те, которые он видел прежде. Это значит, что у него в голове уже составилось понятие, а для составления понятия, как известно, нужно уметь сделать и суждение и умозаключение...

С чего же пришло в голову многоученым педагогам, что дитя не способно понимать разумное убеждение, а может быть управляемо только страхом, обманом и т. п.? Я никак не могу сообразить, отчего же бы это ложное убеждение скорее принялось в душе ребенка, нежели правильное. Утешить дитя разумно, если оно плачет,— нельзя; а сказать: «Не плачь, а то тебя бука съест» или «Перестань, а не то высеку» — можно. Желал бы я знать, какое отношение между детским плачем и букой или розгой и какая логика предполагается в ребенке при подобных увещаниях?

«Но,— говорят,— ребенок еще не может рассуждать правильно о частных случаях, потому что он не имеет данных: он еще так мало видел и знает». Это в высшей степени справедливо, и обязанность воспитателя в том именно и состоит, чтобы сообщить дитяти сколько возможно скорее возможно наибольшее количество всякого рода данных, фактов, заботясь при этом особенно о полноте и правильности восприятия их ребенком. Поводы к подобному сообщению фактов может представлять самое противоречие ребенка, на которое не отвечать может наставник только по лености или по трусости своей, а никак не по разумному убеждению. Вы заставляете вашего воспитанника сделать что-нибудь; он говорит, что сделать этого нельзя,— а вы ему покажите, *как* это сделать. Он сам что-нибудь хочет совершить, а вы говорите, что это невозможно, и спрашиваете его, как он хотел бы исполнить свое намерение. Он рассказывает свои мечтательные планы; вы последовательно и подробно доказываете неисполнимость его предприятия. И в этом одном сколько представляется вам прекрасных поводов передать ребенку множество верных, живых сведений о законах природы, о явлениях духовной жизни человека, об устройстве общества! И поверьте, что ребенок сумеет понять ваши объяснения и принять их к сведению.

Вообще можно сказать, что в непонятливости детей большей частью виноваты сами взрослые. У нас обыкновенно жизненные

случайности потрясают несколько твердость чистой логики; de jure и de facto[4] неразрешимо переплетаются; и мы, по привычке к уклонениям, часто допускаем такие применения основных принципов или такие общие выводы из частных фактов, которых чистое мышление никак принять не может. Чистая, девственная логика детской головы этого не допускает, и потому все нелогичности, допускаемые нами незаметно для нас самих, из деликатного почтения к status quo[5], упорно не понимаются детьми. Если вы наполнили ум дитяти верными данными, то вам трудно уже будет вбить ему в голову ложное заключение, выведенное из этих данных; если вы заставили его сначала принять ложное основание, то вы долго не добьетесь, чтобы он правильно смотрел на следствия, выводимые вами и логически не соответствующие принятому началу. Твердое настаивание на этих нелогичностях, без подробного и откровенного разъяснения обстоятельств, их вызвавших, непременно ведет к искажению природного здравого смысла в ребенке, и, к сожалению, такое искажение происходит у нас слишком часто.

Столь же много вредит понятливости детей и неестественный порядок, принятый у нас вообще в обучении. Познания могут быть приобретаемы только аналитическим путем; сама наука развивалась таким образом; а между тем даже в самом первоначальном обучении начинают у нас с синтеза! Порядок совершенно извращенный, от которого происходят в занятиях неясность, запутанность, безжизненность. Каждая наука начинается, например, введением, в котором говорится о сущности, важности, пользе, разделении науки и т. п. Спрашиваю вас, как же вы хотите, чтобы мальчик понял все это, прежде чем он изучит самую науку? История разделяется на древнюю, среднюю и новую; каждая часть делится на следующие периоды и пр. На чем держится это деление, к чему оно примкнет в голове мальчика, который об истории понятия не имеет? География есть наука показывающая и т. д.; она состоит из трех частей: математической, физической и политической. Первая говорит о том-то, вторая о том-то и пр... Можно ли ожидать, чтобы, начиная с этого географию, ребенок мог разумно усвоить себе что-нибудь?

А между тем посмотрите, сколько любознательности, сколько жадного стремления к исследованию истины выказывают дети. Инстинкт истины говорит в них чрезвычайно сильно, может быть, даже сильнее, нежели во взрослых людях. Они не интересуются призраками, которые создали себе люди и которым придают чрезвычайную важность. Они не занимаются геральдикой, не пускаются в филологические тонкости, не стремятся к чинам и почестям (разумеется, если им не натолковали об этом чуть не со дня рождения). Зато как охотно они обращаются к природе, с какою радостью изучают все действительное, а не призрачное, как их занимает всякое живое явление. Они не любят отвлеченностей, и в этом их спасение от насильственно вторгающихся в их душу умствований, которых доказать и объяснить часто не может даже

тот, кто хлопочет о вкоренении их в душе воспитанников. Да, счастливы еще дети, что природа не вдруг теряет над ними свои права, не тотчас оставляет их на жертву извращенных, пристрастных, односторонних людских теорий!..

«Но,— скажут,— в детях сильно влечение ко злу; необходимо деятельно противиться злым от природы наклонностям ребенка». Не разбирая подробно этого мнения, позволим себе ответить на него словами г. Пирогова, которому, конечно, вполне можно поверить, когда дело идет о свойствах человеческой природы. Вот его слова: «Добро и зло довольно уравновешены в нас. Поэтому нет никакой причины думать, чтобы наши врожденные склонности, даже и мало развитые воспитанием, влекли нас более к худому, нежели к хорошему. А законы хорошо устроенного общества, вселяя в нас доверенность к правосудию и зоркости правителей, могли бы устранить и последнее влечение ко злу».

Но если даже и справедливо, что в природе нашей есть природное влечение ко злу, то разве вы можете взяться за его уничтожение? Вы ли, беспрестанно противоречащие сами себе, опровергающие своими поступками свои же правила, осуждающие теоретическими принципами свои же поступки, на каждом шагу падающие, жертвующие велениями высшей природы своекорыстным требованиям грубого эгоизма,— вы ли бросаете камень в невинного ребенка и с фарисейской надменностью восстаете против того немногого, что в нем замечаете? Нет, перевоспитайте прежде самих себя и тогда уже принимайтесь за поправление природы человека во вверенных вам детях.

Если в детях нельзя видеть идеала нравственного совершенства, то, по крайней мере, нельзя не согласиться, что они несравненно нравственнее взрослых. Они не лгут (пока их не доведут до этого страхом), они стыдятся всего дурного, они хранят в себе святые чувства любви к людям, свободной от всяких житейских предрассудков. Они сближаются со сверстником, не спрашивая, богат ли он, ровен ли им по происхождению; у них замечена даже особенная наклонность — сближаться с обиженными судьбою, со слугами и т. п. И чувства их всегда выражаются на деле, а не остаются только на языке, как у взрослых; ребенок никогда не съест данного ему яблока без своего брата или сестры, которых он любит; он всегда принесет из гостей гостинцы своей любимой нянюшке; он заплачет, видя слезы матери, из жалости к ней. Вообще, мнение, будто бы в детях преобладающее чувство — животный эгоизм, решительно лишено основания. Если в них не заметно сильного развития любви к отечеству и человечеству, это, конечно, потому, что круг их понятий еще не расширился до того, чтобы вмещать в себе целое человечество. Они этого не знают, а чего не знаешь, того и не любишь.

Нет, не напрасно дети поставлены в пример нам даже тем, пред кем с благоговением преклоняются народы, чье учение столько веков оглашает вселенную. Да, мы должны учиться, смотря на детей, должны сами переродиться, *сделаться как дети,* чтобы до-

стигнуть ведения истинного добра и правды. Если уже мы хотим обратить внимание на воспитание, то надо начать с того, чтобы перестать презирать природу детей и считать их неспособными к восприятию убеждений разума. Напротив, надо пользоваться теми внутренними сокровищами, которые представляет нам натура дитяти. Многие из этих природных богатств нам еще совершенно неизвестны, многое, по слову Евангелия, утаено от премудрых и разумных и открыто младенцам!..

Эта апология прав детской природы против педагогического произвола, останавливающего естественное развитие, имела целью указать на один из важнейших недостатков нашего воспитания. Мы не пускались в подробности, а выставляли на вид только общие положения в надежде, что умные воспитатели если согласятся с нашим мнением, то и сами увидят, что и как нужно им делать и чего не делать. Искусства обращаться с детьми нельзя передать дидактически; можно только указать основания, на которых оно может утверждаться, и цель, к которой должно стремиться. И мы думаем: главное, что должен иметь в виду воспитатель,— это уважение к человеческой природе в дитяти, предоставление ему свободного, нормального развития, старание внушить ему прежде всего и более всего правильные понятия о вещах, живые и твердые убеждения, заставить его действовать сознательно, по уважению к добру и правде, а не из страха и не из корыстных видов похвалы и награды...

Исполнить это трудно, но не невозможно. Начало подобного обращения к естественному смыслу детей было уже положено слишком за полвека назад благородным и бескорыстным филантропом — воспитателем Песталоцци[6]. По поводу его-то школы сделано г-жею Сталь[7] многозначительное замечание, что «непонимание детей происходит всегда более от темноты изложения, нежели от трудности самих наук» («De l'Allemagne»)[8]. Тысячи опытов подтвердили это замечание, с тех пор как оно было высказано, и мы с горестью должны сознаться, что оно и до сих пор не потеряло своей справедливости. И не только умственное, но — что еще более грустно — даже нравственное воспитание детей страдает у нас той же голословностью, внешностью, мертвенностью. Освободиться от этого жалкого состояния, обратить внимание не на мертвую букву, а на живой дух, не на исполнение внешней формы, а на развитие внутреннего человека — вот задача, которой выполнение предстоит современному русскому воспитанию.

# МЫСЛИ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЖЕНСКИХ ШКОЛ

## (По поводу открытого недавно в Петербурге Курса учения для девиц, воспитывающихся в своих семействах, под управлением г-жи Труба)

Мы утверждаем, что наше современное воспитание и обучение девиц, во всех его видах нимало не имеет в виду их будущей жизни в семействе и обществе. Для убеждения в этом довольно бросить самый беглый взгляд на различные роды женского воспитания, наиболее у нас принятые.

Прежде всего обратите внимание на воспитание общественное, которое у нас очень распространено. Девочек, воспитывающихся в казенных заведениях, считается у нас более 8000, тогда как мальчиков, учащихся во всех заведениях разных ведомств (кроме духовных, кантонистов и крестьянских школ), насчитывается до 130 000. В этом последнем счете мы должны видеть полное число учащихся мальчиков в России (опять кроме духовных, кантонистов и крестьян), потому что почти каждый учащийся мальчик у нас непременно побывает в школе, чтобы получить какие-нибудь права. Число же девиц в казенных школах еще не дает понятия о действительном числе учащихся женского пола: они воспитываются и дома и в частных пансионах. Пансионов считается в России до 600, и большая часть их занимается воспитанием девиц. Если положить число воспитанниц, живущих в пансионах, до 5000 и если принять, что у нас количество учащихся девочек равно количеству учащихся мальчиков, то выйдет, что из десяти девочек одна воспитывается у нас вне семейства. Но несомненно, что девочек учится у нас меньше, чем мальчиков, и весьма вероятно, что и в так называемых образованных классах отношение между ними близко к тому, какое существует в школах казенных крестьян, где на 90 000 мальчиков приходится 20 000 девочек. Если так, то выйдет, что *одна из пяти* девочек, получающих у нас образование, воспитывается вне семейного круга, в закрытых учебных заведениях.

Воспитание в этих заведениях может быть превосходное, но никак не может быть семейное. За воспитанницами в заведении смотрят все-таки чужие, наемные глаза, которые никак не могут заменить родительского надзора. Самая образцовая, идеальная начальница заведения не может стать с воспитанницами в такие нежные, сердечно-откровенные, простые отношения, в каких находится мать к детям. Самое лучшее учебное заведение имеет в виду не развитие отдельных личностей, а порядок и благоустройство общее. Девочки в пансионах облекаются в униформу, получают хорошую выправку, приучаются к строгой дисциплине и неизбежно отучаются от семейной жизни. Здесь каждый шаг их

подчинен особенной формальности, необходимой в заведении для порядка, но вовсе не существующей в семейной жизни. Здесь все чужое для девочки, она здесь не у себя, она постоянно как будто на выставке. Следствием этого бывает, с одной стороны, ослабление внутренней энергии, самостоятельности и естественной простоты отношений, а с другой — развитие мелких, себялюбивых чувств на место симпатических расположений, развивающихся в семейном воспитании. Такие-то залоги для будущего семейного счастья получает в воспитании пятая часть наших образованных девиц.

Точно так же и к общественной жизни они приготовляются здесь, кажется, несколько односторонним образом. Им, конечно, сообщается весьма многое, необходимое для того, чтобы блистать в свете, но едва ли слишком много дается для того, чтобы жизнь пережить как следует; шесть, восемь, девять лет живут девочки в стенах заведения, не имея никакого понятия о том, что делается за этими стенами. Они вовсе людей не видят и на безлюдье *обожают* какого-нибудь краснощекого шутника-учителя, ставящего всегда хорошие баллы. О жизни имеют они понятие по своим учебникам да по Юрию Милославскому, которого дают им читать для возбуждения патриотических чувствований [1]. Не мудрено, что про институток рассказывают столько анекдотов вроде ответа, что Бостон есть главный город провинции Массачусетс. В основании этих рассказов лежит истина весьма характеристическая. Девочки в заведении нередко до того отвыкают от своего родного, семейного и общественного быта, что вовсе забывают о том положении, какое ожидает их дома, после выпуска. Они возвращаются домой с такими привычками и претензиями, которые в их кругу решительно неуместны, неисполнимы и составляют несчастие как их самих, так и всех, с ними близких.

Все эти истины давно всем известны, и мы только напоминаем их просвещенным папенькам, которые строят такие милые утопии в убеждении, что, отдавая своих дочерей в пансионы и другие заведения, они приготовляют им счастие в жизни. Размысливши спокойно и беспристрастно, они сами должны убедиться, что выбрасывание детей, особенно девочек, из семьи, отсылка их от себя на несколько лет с глаз долой может быть оправдана разве только крайней необходимостью, нравственной или вещественной. Во многих семействах и существует доселе такая необходимость: против нее мы не говорим. Но и это обстоятельство не уменьшает в наших глазах недостатков воспитания вне семьи, в закрытых заведениях, которому у нас подвергается, вероятно, пятая часть девочек, знакомых с учением.

«А зато для остальных, воспитывающихся дома, как благодетельны должны быть науки! Нравственная сторона тут развивается просто и естественно, умственные способности получают здоровую и вкусную пищу: вот тут-то результатом должно быть истинное счастие!»

Опять утопия, почтенные родители, и утопия очень опасная.

Вы воображаете, что те науки, которым обучаются ваши дочери, составляют для их ума здоровую и вкусную пищу; попытаемся разочаровать вас. Прежде всего заметим, что не для всех одинаково годится одна и та же пища, что, впрочем, почтенным родителям и без нас хорошо известно. Затем прибавим, что не мешает родителям подумать и о той методе, посредством которой умственная пища препровождается в головы их дочерей. Эти два обстоятельства очень важны, и пренебрегать ими было бы неблагоразумно. Посмотрите же, чем питаются умы учащихся девиц уже без различия того, где они воспитываются — дома ли, в пансионах ли, или в казенных учебных заведениях: общий курс учения везде почти одинаков. Возьмите руководства, по которым учатся девицы. Вы найдете историю с хронологическими и генеалогическими подробностями, о мифологических временах; географию, непременно начинающуюся краткими сведениями из космографии; арифметику с определениями, что́ есть арифметика, что́ есть число, единица и т. п.; грамматику с многочисленными таблицами склонений и спряжений и еще многочисленнейшими исключениями и пр. Переварить хоть один такой учебник грамматики или истории и для взрослых мужчин довольно затруднительно, каково же должно быть маленьким девочкам? А вы говорите, что им дается здоровая пища!

Но и с этим куда бы ни шло еще; порядочный учитель может многое изменить, сократить или добавить в учебнике, может оживить и облегчить изучение предмета при помощи хорошей методы преподавания. Только вот беда: именно хорошей-то методы и нет у нас до сих пор. А что нет ее, в этом опять родители виноваты более всех. Собственно говоря, хорошая метода для учителя не труднее другой. Но чтобы она была хороша, нужно прежде всего знать, к чему должно быть направлено учение, какая цель его? Вы говорите, что «имеете в виду дать вашей дочери возможность и умение быть истинно счастливою и для этого обогащаете ее ум познаниями». Но ведь это неправда; ведь это просто фраза, где-то вычитанная и не понятая вами. Что счастие жизни (или, по крайней мере, твердость в несчастье) много зависит от образованности человека, от степени его внутреннего развития, в этом мы согласны. Но разве образованность дается каким-нибудь учебником географии, разве развитие совершается посредством изучения спряжений? Нет, этого вы сами не думаете. Зачем же вы взыскиваете с вашей дочери, если она сегодня не знала названий всех французских департаментов, а вчера не умела перечислить германских герцогств и перемешала их с королевствами? Отчего вы сердитесь, если дочь ваша не помнит года, в который Дидона основала Карфаген, и между тем не сердитесь, а только подсмеиваетесь, если она не вдруг сообразит, сколько лет продолжалась Семилетняя война? Это все не от чего другого, как от того, что вы вовсе не об образованности, не о развитии хлопочете, а о выставке, об экзамене, о призе, чтобы не отстать от других, не ударить себя лицом в грязь. Учителя хорошо понимают, что́ вам нужно, и ведут себя

согласно с вашими желаниями. Они стараются, чтобы девочка знала и помнила сколько можно больше, и на некоторое время им удается подчинить живую детскую натуру ученицы машинальному ходу уроков. Вместо того чтобы применяться к характеру девочки, соображаться с особенностями женской природы и пользоваться ими для лучшего развития ученицы, все духовные способности ее напрягают насильственно и убивают не свойственной им работой.

Известно, что у детей вообще, и у девочек в особенности, чувство господствует над рассудком и воображение постоянно мешается в дело памяти. Поэтому учитель должен прежде всего позаботиться о правильном развитии воображения своих учениц и о здравом направлении их чувства: иначе эти способности постоянно будут мешать правильности отправлений рассудка и памяти. У нас на это не обращается ни малейшего внимания: конкретности в обучении почти не существует, на самой низшей степени преподавания являются отвлеченность и соединенные с нею сухость, мертвенность и формализм...

...Нужно сознаться, что в большинстве так называемых *образованных* девиц учебный курс производит только умственную усталость, притупление естественной восприимчивости и свежести чувств, неприязнь к науке вообще, уже опрофанированной в их глазах, жалкую апатию ко всем просвещенным идеям. Зачем же вы мучите своих дочерей этими науками, спрашиваем еще раз, зачем губите их молодые силы? Им ведь не экзамен держать, не чин получать нужно; отчего же вы не хотите оставить их в покое и преследуете учением, бесполезность которого сами не можете не сознавать?

«Так что же, по-вашему, вовсе учиться не нужно? — готовы возразить просвещенные родители.— Вы восстаете против наук, вы разделяете диколюбивые идеи Руссо? По-вашему, надобно дочерям нашим оставаться детьми природы, чуждыми всем благам новейшей цивилизации? Иначе нельзя понимать ваши слова: вы восстаете против нашего учения; но ведь другого нет,— следовательно, по-вашему, мы вовсе не должны учить своих дочерей».

Другого учения, кроме того, какое везде принято и на какое мы нападаем, действительно, пока еще нет у нас. Но из этого вовсе не следует, что иного учения, кроме нашего, вовсе нет и не может быть, т. е. что если не вызубрить грамматического учебника, то и научиться правильно писать по-русски невозможно. Напротив, есть средства учиться и выучиться без наших пансионов и учебников, и этими средствами, действительно, можно достигнуть правильного развития всех способностей девиц, необходимого для счастья их последующей жизни. Средства эти очень просты, а между тем они совершенно лишены тех неудобств, которые неизбежны при нынешнем обыкновенном учении и против которых мы восстаем, вовсе не имея намерения порицать самые науки. Хотите узнать эти средства, давно уже, впрочем, переставшие быть новостью на свете?

Первое, что нужно для успеха воспитания и учения,— это чтобы девочки не отчуждались от семьи. А между тем дома всех учить всему невозможно: в большей части семейств на это средств не достанет. Как же быть? Очень просто: воспитывайте своих дочерей дома, а учиться пусть они ходят в школу, точно так, как в гимназиях *приходящие* мальчики. От этого произойдут неисчислимые выгоды; вы сами можете постоянно следить за успехами своих дочерей, можете каждый день расспрашивать их об их уроках, прояснять в их сознании то, что ими не совсем хорошо было понято, дополнять то, что ими опущено, показывать им множество практических приложений того, что ими узнано в классе. А девочки между тем не будут отдаляться от жизни, от семейства, будут видеть около себя все те же родные заботы, те же житейские интересы и с малых лет будут знать, к чему им готовиться в жизни. В классе будут они знакомиться с миром науки и природы и вместе с тем будут узнавать общество своих подруг, дома будут они поверять свои наблюдения, откровенно сообщая их родителям и получая от них новые указания и объяснения. Учение, таким образом, пойдет рядом с жизнью и будет не препятствовать, а содействовать развитию здравого смысла и практического такта, в которых так часто нуждается у нас женщина.

При этом мы предполагаем, конечно, что и учить в женской школе будут хорошо и семья будет помогать школе. Но само собой разумеется, если вы находите, что ваше семейство может только вредно действовать на развитие вашей дочери, если она увидит дома только дурные примеры, небрежение, невежество, если вы сознаете, что ничего полезного сообщить и растолковать ей не можете, что вы скорее станете сбивать ее с толку, нежели руководить, если вы сознаете все это, тогда, конечно, вы делаете очень благоразумно, удаляя свою дочь от себя. Только едва ли вы во всем этом сознаетесь, потому что подобное сознание не принесет вам чести.

Что же касается до самого преподавания, то, разумеется, при обыкновенной, ныне принятой организации и методе польза его очень и очень сомнительна. Не стоило бы и хлопотать из-за того, чтобы девочки заучивали все уездные города Российской империи непременно дома, а не в пансионе: тут уж местоположение немного значит. Но есть средства и для изменения всей методы преподавания в женских школах, и средства эти давно уже с успехом употребляются во Франции в учебных заведениях, известных под именем «Атенеев». Название «Атенеев» еще в древности усвоено было учреждениями, где читались публичные курсы наук. В прошлом столетии (1786) во Франции имя Атенея взято было для одного высшего учебного заведения, в котором тоже читались публичные курсы. Затем в последнее время число Атенеев увеличилось, и особенно известны между ними заведения, основанные известным педагогом Леви Альваресом [2] и по его методе. Метода эта в главных своих основаниях очень проста. Начало ее то, что нужно заботиться об умственном и нравственном развитии учениц еще

больше, нежели о сообщении им полезных сведений. Для этого учреждены особые курсы по каждому предмету, и во всем преподавании постоянное внимание обращается на то, чтобы в училищах было как можно менее пассивности и чтобы все способности как можно больше и чаще приходили в движение. Для девочек это обстоятельство еще важнее, чем для мальчиков, потому что вообще их восприимчивость живее, а степень внутреннего противодействия внешним влияниям слабее, чем у мальчиков, следовательно, они легче могут терять самостоятельность суждений и подчиняться чужим взглядам безотчетно и бессознательно. Особенно важно здесь преобладание чувства над рассудком и воображения над чистой памятью. Эти особенности женской природы вызывают некоторые особенные заботы и со стороны учителя. Что бы он ни преподавал, он прежде всего должен стараться заохотить учениц к своему предмету, показать его в таком виде, чтобы в них возбудилось к нему сочувствие или, по крайней мере, любопытство. Как бы ни хорошо убедилась ученица в пользе предмета, она все-таки не будет им заниматься с любовью и охотой, пока не почувствует сердечного влечения к занятиям. А известно, что когда занимаются с охотой, то дело идет несравненно легче и успешнее, чем при занятиях по необходимости, из-под палки. Далее, возбудивши интерес к предмету, учитель старается показать его с разных сторон, в различной обстановке, в разнообразных соединениях, с целью возбудить самобытную деятельность учениц. Они всматриваются в предмет, сличают разные признаки, составляют понятия, суждения, классифицируют предметы, придумывают новые комбинации и из них выводят следствия, словом, деятельность рассудка пробуждается и находит для себя достаточный и соответственный материал. Запомнить то, что добыто собственной рассудочной деятельностью, уже не трудно, потому что память находит здесь помощь во всех остальных душевных способностях. А для того, чтобы действовать на развитие воображения, в преподавании всех предметов господствует конкретность, каждое положение науки представляется в ряде примеров, каждое понятие объясняется группой отдельных представлений, каждое заключение высказывается не иначе, как после предварительного разбора суждений, из которых оно выведено. На известной степени развития от учениц требуется уже, чтобы они сами выводили положения и заключения, и на этом поверяется логический процесс их мышления. В течение всего курса имеется в виду приучить учениц думать самостоятельно, внушить им любовь к знанию, сообщить о предметах ясные и полные понятия, дать материал для деятельности всем способностям и полный простор для их развития. Сообразно с этою целью нет в Атенеях никаких школьных приманок и страхов; ни кокарды, ни красные и черные доски, ни похвальные листы, ни списки по достоинству, ни баллы не существуют. Ведь цель знания, особенно для девочек, не возможность служебных выгод и отличий, а само знание[3]. Потому пусть за невнимательность и леность будет служить наказанием незнание, а на-

градою за любовь к занятиям — знание более твердое и отчетливое.

Такой чистый и возвышенный взгляд на обучение девочки требует, разумеется, и со стороны родителей, и со стороны преподавателей отречения от некоторых предрассудков. Например, нужно будет расстаться с красноречивыми введениями, которые сразу обдают учениц туманом синтеза и бывают ими поняты только уже тогда, как пройдут всю науку. Надо будет пожертвовать теми милыми мелочами, которые ныне служат лучшим доказательством прилежания учениц, т. е. заучиванием наизусть целой толпы географических названий, грамматических исключений, исторических чисел и т. п. Надо будет привыкнуть к мысли, что девочки будут учить не так много слов, как прежде, но зато узнают настоящее дело, с толком и с пользой для своего внутреннего развития. Надо тут расстаться и с успокоительным разделением, что пройдено «от сих до сих»; надо потерять и сладостную возможность присутствовать при формальных блистательных экзаменах в заключение учебного курса. Здесь учитель после 15—20 уроков на вопрос: что пройдено? — имеет полное право ответить: «Ничего не пройдено». Он, действительно, если хочет быть верен цели заведения, не может задавать своим ученицам, например, об употреблении буквы «ять», об озерах в Америке, о Пунических войнах. Он непременно должен ввести в науку самые элементарные понятия, начать с того, что уже знакомо детям, представить живые изображения предметов, которые должны быть потом рассмотрены научно... А как это сделаешь? Каким образом изображение буквы «ять» представишь? Разумеется, об этом не может быть и речи в живом, одушевленном преподавании. Преподавание русского языка надо будет начинать с чтения литературных произведений, которые могут иметь интерес для учениц, и с подробного разбора их содержания. В этот разбор должны входить подробности исторические, литературные, предметы из наук естественных и нравственных и между прочим замечания о способе выражения той или другой мысли. Мало-помалу можно заставлять учениц самих делать подобные разборы, рассказывать содержание письменно и тут обращать внимание на разницу их способа выражения от речи взятого писателя. При этом можно делать замечания о слоге, о духе языка, об особенных выражениях, принятых для известных предметов, о синтаксисе, о значении форм изменения слов, например видов глагольных, падежей и т. п. А на второй степени обучения явятся точно таким же образом замечания о разных родах и видах словесности, об условиях, необходимых для достоинства различных сочинений, и пр. Таким образом мало-помалу в голове учениц накопится масса сведений из грамматики и теории словесности, сведений, почерпнутых при глазах их из живого источника и тут же приложенных к делу; а между тем они совсем могут и не знать, что это за пугало такое — грамматика... Так точно может происходить преподавание и других наук. Учитель географии может, например, отправиться с детьми на прогулку и по дороге объяснять им необходимые географические термины, наглядно показы-

вая их значение; или может описать несколько отдельных стран, с живым изображением местности и всех географических особенностей края. Учитель истории имеет столько возможности заинтересовать своим предметом, что о нем и говорить нечего: будь только у него собственное знание да добрая воля. Совокупное же действие всех учителей в этом духе не может не иметь весьма благодетельных последствий для умственного развития учениц.

Нам скажут, что мы представляем идеальных учителей и идеальную школу. Правда, что совершенное исполнение таких обязанностей требует от учителя большого искусства; правда, что недостатки в исполнении неизбежны. Но все-таки здесь легче приблизиться к идеалу, нежели в нынешнем обыкновенном обучении, которое поставило себе идеалом — что же? — то, чтоб ученицы запомнили на всю жизнь все написанное в учебниках. Никто и никогда этого не достигал — и слава богу!

Школ, основанных на таких началах, у нас еще нет, но стоит захотеть, чтоб они были. Сначала, конечно, будут кое-какие недостатки: учителя, позабывшись, по старой привычке будут иногда пускаться в схоластику, ученицы, видя, что нет тут ни баллов, ни кокард, мало будут заботиться о выслушанных уроках. Но мало-помалу и те и другие поймут свое настоящее положение и примутся за дело охотно и дружно. Приятней же ведь учиться и знать, чему учишься, нежели зубрить урок, ничего не понимая.

Эти мысли о женском воспитании были возбуждены в нас программой недавно открытого здесь, в С.-Петербурге, учебного заведения г-жи Труба, названного Атенеем и основанного, как видно из программы, именно на тех сейчас изложенных нами началах, какие господствуют в системе обучения Атенеев во Франции. Мысль основать такое заведение у нас очень замечательна, и от нее можно ожидать хороших последствий. Попытка эта особенно кстати у нас теперь, когда вопросы о воспитании сильно возбуждены в нашем обществе и когда несостоятельность старой системы с каждым днем становится все очевиднее. Нельзя не пожелать, чтобы предприятие г-жи Труба имело успех. Мы поспешили изложить свои мысли об этом предмете с той целью, чтобы, с одной стороны, просвещенные родители знали, чего ожидать от заведений, подобных Атенею г-жи Труба (мы надеемся, что попытка г-жи Труба не будет единственной); а с другой стороны, чтобы и преподавателям подобных заведений яснее видно было, чего от них ожидают для их учениц и какие в этом случае лежат на них обязанности.

# РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, СОЧИНЕННАЯ Г. ЖЕРЕБЦОВЫМ

## (Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie, par Nicolas de Gerebtzoff. Paris, 1858. Два тома)

...Патриотизм в своем чистом смысле, как одно из видовых проявлений любви человека к человечеству, вполне естествен и законен. Как чувство темное, бессознательное, он является вместе с первым развитием понятий в ребенке, тотчас, как только он начинает отличать самого себя от внешних предметов. Об этом детском патриотизме не стоит, конечно, говорить как о чем-то важном и прекрасном, но нельзя и не признать его значения в детском и отроческом периоде жизни человека. В первые годы жизни человек еще не умеет мыслить о предметах отвлеченных; тем менее могут быть ему доступны общие начала и вечные законы мировой жизни. В нем есть эгоизм, побуждающий его искать лучшего, и есть, как у всех животных из пород стадящихся, темный инстинкт, подсказывающий, что лучшее-то отыскивается не в одиночестве, не в себе самом, а в обществе других. Дальнейший опыт жизни с каждым днем все более подтверждает и проясняет эту темную догадку ребенка, и он начинает уже понимать связь собственного благосостояния с благосостоянием других. Сначала он предается стремлению овладевать чужим благосостоянием для самого себя и в этом находит удовольствие, которое будет продолжаться больше или меньше, смотря по тому, в какой мере окружающая обстановка будет благоприятствовать развитию в нем инстинктов хищной породы. Но при нормальном развитии ребенка эгоизм его не долго обращается на притеснение чужой личности и собственности в пользу своей особы. Скоро он почувствует, что, питая себя лишениями других, он опять становится одиноким, чуждым всему, как будто единственным существом особой породы, имеющим одно специальное назначение — поедать все окружающее. Сознание такого положения тяжело, потому что противно природным инстинктам человека, да и вообще животного. Оттого-то, по замечанию педагогов, эгоизм детей очень недолго остается в грубом виде, при котором нужно только удовлетворение личных, исключительно животных потребностей. Как скоро пробуждается мысль и начинает работать рассудок, и самый эгоизм принимает другое направление: для удовлетворения его делаются потребны симпатические отношения с другими. Потребность эта еще более развивается беспредельными услугами и помощью всякого рода, необходимо оказываемыми ребенку от старших. На них-то и обращается прежде всего то чувство любви, которое естественно находится в натуре каждого человека и которое в дальнейшем своем развитии должно об-

нять собой все человечество. Небольшой переход нужен отсюда, чтобы перенести ту же любовь и на те предметы, те привычки, понятия и т. п., которые принадлежат любимым людям. Отсюда и происходит та прелесть, которую сохраняют над многими до конца жизни

Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки [1].

Порицать за это чувство нельзя и взрослого человека, если только он остается в пределах чувства и не принимается резонировать. Обнаруживать посягательство на мою субъективную жизнь никто не имеет права. Кто может упрекнуть меня за то, что во мне пробуждаются светлые воспоминания детства при виде стола, покрытого ярославской наивной скатертью, на котором стоит шипящий самовар, или при звуках сентиментальной песни «Выйду ль я на реченьку» с аккомпанементом гитары? Я могу быть смешон для вас, если эти предметы производят на меня более сильное впечатление, нежели какое бы следовало по вашему мнению; но даже и насмешка с вашей стороны будет негуманна в том случае, когда я скромно предаюсь своему субъективному настроению, никого не тревожа. Другое дело, если я начну навязываться другим со своими чувствами, начну требовать, чтобы все окружающие разделяли их. Тогда уже всякий имеет полное право осуждать меня и смеяться над моими фантазиями, потому что они получают объективное значение, подлежащее общему суду. Когда я предъявляю претензию, чтобы и другие чувствовали то, что я, тогда я признаю уже, следовательно, что предмет, возбудивший во мне те или другие чувства, действительно способен их возбуждать сам по себе, а не по случайным отношениям, исключительно для меня только имеющим значение. А признавая это, я уже выражаю мнение, с которым другие могут не согласиться и за которое могут признать меня идиотом. Если я захочу, например, чтобы другие непременно восхищались нелепой песней, приятной мне по воспоминаниям детства, то я обнаружу этим, что не признаю ее нелепости, а вижу в ней действительные достоинства. За это, разумеется, и признают меня человеком, не имеющим эстетического вкуса,— чего не могут сказать обо мне только на том основании, что мне лично бывает приятно слышать эту песню. У каждого человека, на какой бы степени развития ни стоял он, всегда остаются кое-какие привычки, пристрастия, воспоминания, от которых сердце его не может совершенно освободиться, хотя рассудком своим он и понимает их нелепость. Этот маленький разлад внутри человека неизбежен по слабости человеческой натуры, и на него не следует смотреть слишком строго, пока он не выражается во внешней деятельности человека. Но когда он обнаруживается с претензией на то, чтоб детские грезы и другими были принимаемы за истину, тогда его нужно изобличать и преследовать. И при этом изобличении мы уже имеем

полнейшее право сказать, не обинуясь, что господин, выказавший подобные претензии, тупоумен, а самые претензии его вредны, так как в них заключается попытка привить и другим свое тупоумие.

Обращаясь теперь к тому, что обыкновенно разумеется у нас под именем патриотизма, мы можем приложить и к нему многое из того, что сказали вообще о впечатлениях детства. В первом своем проявлении патриотизм даже и не имеет другой формы, кроме пристрастия к полям, холмам родным, златым играм первых лет и пр. Но довольно скоро он формируется более определенным образом, заключая в себе все понятия исторические и гражданственные, какие только успевает приобрести ребенок. Патриотизм этот отличается до известной поры полной и безграничной преданностью *всему своему* — будет ли это хорошее или дурное, все равно. Причина такого безразличия заключается в том, что дитя еще и не понимает хорошенько разницы между дурным и хорошим, потому что мало имеет или не имеет вовсе предметов для сравнения. Не имея понятия о других городах, как может ребенок изъявлять недовольство устройством своего города? Живя непосредственной жизнью, руководствуясь во всем единственно желанием расширить, сколько возможно, пределы собственного эгоизма, связавши его с эгоизмом других, ребенок восхищается всем, что он может, в каком бы то ни было смысле, назвать *своим*. При дальнейшем развитии, когда взгляд его расширяется с приобретением новых понятий, начинается работа различения хороших и дурных сторон в предмете, прежде казавшемся вполне совершенным. Таким образом, переходя постепенно от одного к другому, человек отрешается от безусловного пристрастия и приобретает верный взгляд на свое родное семейство, на свое село, свой уезд, потом на свою губернию, на столицу и т. д. В результате выходит, наконец, отрешение от предрассудков местности и увлечение только тем, что уже составляет общие народные или государственные черты. Но человек, нормальным образом развивающийся, не может остановиться и на этой степени выражения патриотизма. Он сознает, что его чувства к родине, при всей своей силе и живости, не имеют еще той разумной ясности, которая дается только изучением дела в связи со всеми однородными явлениями. Таким образом, от идеи своего народа и государства человек, не останавливающийся в своем развитии, возвышается посредством изучения чужих народностей до идеи народа и государства вообще и, наконец, постигает отвлеченную идею человечества, так что в каждом человеке, представляющемся ему, видит прежде всего человека, а не немца, поляка, жида, русского и пр. На этой степени развития в человеке необходимо должно исчезнуть то, что было детского, мечтательного в его патриотизме, что возбуждало только ребяческие фантазии, несообразные с действительностью и здравым смыслом. Все исключительные предилекции, все утопические мечтания о высшем предназначении одной нации к тому-то, другой — к тому-то, все национальные перекоры о взаимных преимуществах исчезают в мысли человека, правильно и вполне развившегося. Для него уже не су-

ществуют вопросы вроде: кичливый лях или верный росс?[2] и пр. Германское или славянское племя будет выше в истории последующих веков? и т. п. Подобные выходки он уже считает фразерством и забавляется ими, вроде того как забавляемся мы, например, перекорами Москвы с Петербургом, возобновляемыми время от времени в нашей юной литературе. Но из этого теоретического равнодушия и безразличия к землячеству вовсе не нужно заключать, чтобы высшее развитие человека делало его неспособным к патриотизму. Напротив, оно только и может сделать человека настоящим, действительным патриотом — и вот каким образом.

Получив понятие об общем, т. е. о постоянных законах, по которым идет история народов, расширив свое миросозерцание до понимания общих нужд и потребностей человечества, образованный человек чувствует непременное желание перенести свои теоретические взгляды и убеждения в сферу практической деятельности. Но круг деятельности человека, равно как и его силы и самые желания, не может простираться на весь мир одинаково, и потому он должен избрать себе какой-нибудь частный, ограниченный круг и в нем прилагать свои общие убеждения. Этот круг всего скорее, всего естественнее будет отечество. Мы больше сроднились с ним, больше его знаем и вследствие того более ему сочувствуем. И сочувствие это вовсе не является в ущерб любви и уважению к другим народностям; нет, оно есть простое следствие ближайшего знакомства с одним, чем с другим. Мы читаем преспокойно в газетах, что в такой-то сшибке убито столько-то; но то же известие производит на нас сильнейшее впечатление, если нам знакомы некоторые из убитых; и оно же может повергнуть нас в глубокую горесть, ежели в числе убитых находится наш лучший друг. Мы горюем о нем, вовсе, однако же, не думая, что другие были хуже его и недостойны нашей горести. Если бы мы сошлись с ними, то, может быть, плакали бы о них еще больше; но судьба не свела нас с ними, а всех чужих покойников не оплачешь. То же самое и с патриотизмом: мы более сочувствуем своему отечеству, потому что более знаем его нужды, лучше можем судить о его положении, сильнее связаны с ним воспоминаниями общих интересов и стремлений и, наконец, чувствуем себя более способными быть полезными для него, нежели для другой страны. Таким образом, в человеке порядочном патриотизм есть не то иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от чего другого, как от желания делать добро сколько возможно больше и сколько возможно лучше. И потому-то никто не может упрекать замечательных деятелей, если они переносят свою деятельность из одной страны в другую, находя, что они могут быть там полезнее, нежели на своей родине. Джон Лоу осуществил свои финансовые теории во Франции, Лафайет участвовал в американской войне, Байрон сражался за греков: кто ж упрекнет их за это в недостатке патриотизма? Очень естественно, что один искал себе среды, где бы было удобнее применить свои планы, другие поспешали туда, где было более опасности. Патриотизм живой, деятельный

именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества, если только может быть ему полезен. Ограничение своей деятельности в пределах своей страны является у него вследствие сознания, что здесь именно его настоящее место, на котором он может быть наиболее полезен. Оттого-то настоящий патриот терпеть не может хвастливых и восторженных восклицаний о своем народе, оттого-то он смотрит презрительно на тех, которые стараются определить грани разъединения между племенами. Настоящий патриотизм как частное проявление любви к человечеству не уживается с неприязнью к отдельным народностям; а как проявление живое и деятельное он не терпит ни малейшего реторизма, всегда как-то напоминающего труп, над которым произносят надгробную речь. Понимая патриотизм таким образом, мы поймем, отчего он развивается с особенной силой в тех странах, где каждой личности представляется большая возможность приносить сознательно пользу обществу и участвовать в его предприятиях. Мы часто жалуемся, что у нас слабо развит патриотизм; это оттого, что деятельность массы отдельных лиц у нас почти совершенно разъединена с общим течением дел и, следовательно, круг интересов каждого необходимо мельчает...

...Совершенно другие результаты представляет псевдопатриотизм, иногда с удивительным бесстыдством прикрывающийся именем истинной любви к отечеству. Он совершенно противоположен настоящему патриотизму. Тот есть ограничение общей любви к человечеству; этот, напротив, есть расширение до возможной степени неразумной любви к себе и к своему и потому часто граничит с человеконенавидением. Тот является вследствие разумного определения своих отношений к миру и вследствие сознательного выбора частной деятельности; этот же является в недорослях, не добившихся до разумных определений, не умеющих понять своего места в мире и старающихся хоть как-нибудь и куда-нибудь пристроиться, чтобы носить, по возможности, почетное звание и тунеядствовать. Проявления подобного патриотизма замечаются уже и в детском возрасте, если дети получают ложное развитие. Так, патриотизм, соединенный с человеконенавидением, обыкновенно выражается в них какою-то бестолковой воинственностью, желанием резать и бить неприятелей во славу своего отечества, между тем как воинственный мальчишка и не понимает еще, что такое отечество и кто его неприятели. Та же самая исключительность, соединенная с сознанием собственного бессилия, видна в патриотических и корпорационных спорах мальчишек, когда они поступят в школу. Если в школе есть мальчишки разных национальностей, то непременно они начнут хвалиться друг перед другом и выказывать неприязненные расположения, которые пропадают только по мере большего развития мальчиков. Тут же имеет место другое явление, весьма близко сюда подходящее: мальчики перекоряются друг с другом, хвастаясь, что один был в таком-то пансионе, другой учился у такого-то, третий брал уроки у таких-то

учителей и т. п. Все эти споры имеют один источник: мальчику хочется чем-нибудь похвалиться насчет своего учения; но сам он слишком слаб и ничтожен, чтобы иметь возможность опереться на собственные знания и рассуждения; вот он и пристраивает себя к авторитету учителя или школы и старается превозносить их пред всеми другими, с тем, чтобы лучами их славы озарить себя самого. Замечательно, что чем умнее и деятельнее мальчик, тем скорее пропадет у него охота хвастаться своими прежними учителями. Через несколько времени общего пребывания в одной школе такая охота только и остается уже у самых пустых и безнадежных лентяев. Подобное этому явление представляли старинные слуги, тип которых столько раз был уже изображаем в наших романах и повестях. Не находя в себе никакого собственного, личного значения, не видя возможности опереться в чем-нибудь на самих себя, потерявши благородный эгоизм самобытной личности, но будучи одержимы мелочным и грубым самолюбием, они постоянно старались придавать себе важности непомерным превозношением своих господ. И замечательно, что их дифирамбы своим барам, составленные чисто с холопской точки зрения, обыкновенно имели характер, не слишком хорошо рекомендующий превозносимых господ в глазах человека порядочного. Но старый слуга не подозревал этого: он рассказывал с необычайной наивностью похождения своего барина, с убеждением в их безукоризненном величии и с мыслью, что вот, дескать, смотрите на нас — каким господам мы принадлежали!..

Люди, входящие в подобную роль — неопытного, заносчивого школьника или престарелого, недальнего слуги, обнаруживают, конечно, весьма низкую степень развития, нравственного и умственного. Подобно этому и псевдопатриоты, фразисто расписывающие свою любовь к милому, славному, великому отечеству, доказывают только, что им, кроме фраз, нечем заняться. Их развитие не так высоко, чтобы понять значение своей родины в среде других народов; их чувства не так сильны, чтобы выразиться в практической деятельности; их личность не столько самобытна, чтобы в собственных силах искать прав на какое-нибудь значение. И вот эти нравственные недоросли, эти рабски-ленивые и рабски-подлые натуры делаются паразитами какого-нибудь громкого имени, чтобы его величием наполнить собственную пустоту. Нередко это громкое имя бывает отечество, родина, народность, и тут уж не бывает конца цветистым фразам и реторическим изображениям, лишенным всякого внутреннего смысла. На деле, разумеется, не бывает у этих господ и следов патриотизма, так неутомимо возвещаемого ими на словах. Они готовы эксплуатировать, сколько возможно, своего соотечественника, не меньше, если еще не больше, чем иностранца; готовы также легко обмануть его, погубить ради своих личных видов, готовы сделать всякую гадость, вредную обществу, вредную, пожалуй, целой стране, но выгодную для них лично... Если им достанется возможность показать свою власть хоть на маленьком клочке земли в своем отечестве, они на этом клочке будут

распоряжаться, как в завоеванной земле... А о славе и величии отечества все-таки будут кричать... И оттого они — псевдопатриоты!.. ...Следя далее за г. Жеребцовым, мы находим, что он предъявляет следующие положения. Для полного развития человека и целого народа необходимы, говорит он, хорошее знание предметов, умение хорошо мыслить о них и любовь к общему благу. Таким образом, цивилизация состоит, по выражению г. Жеребцова, в том, чтобы каждый *хорошо знал, хорошо мыслил и хорошо хотел.* По нашему мнению, совершенство мышления зависит непременно от обилия и качества данных, находящихся в голове человека, и разделять эти две вещи довольно трудно, особенно когда понимать под знанием не поверхностное, внешнее сведение о факте, а внутреннее, серьезное проникновение им, как и понимает сам г. Жеребцов. Но для него ничего не значит поставить мышление и знание в совершеннейшей отдельности друг от друга — не только в отдельном человеке, но даже и в целом народе. По его мнению, есть народы, которые много знают, но рассуждают плохо, и есть другие народы, которые знают мало, но зато рассуждают отлично. В образец последних г. Жеребцов, к немалому удивлению нашему, приводит Англию! Он уверяет, что у англичан рассудочные способности очень развиты и действуют весьма правильно, *несмотря на недостаток знаний*! «Это уж зависит от врожденного расположения народа к рассуждению (raisonnement)»,— замечает он. Это объяснение показалось нам чрезвычайно похожим на слова свахи в «Женитьбе» Гоголя: «что ж делать, это уж так ему бог дал, что ни скажет слово, то соврет. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть: такая уж на то воля божья!» Так и англичане несчастные: уж и сами не рады, а не могут, чтобы не рассуждать; такая уж на то воля божья!

Мнение автора о недостатке знаний в Англии относится, впрочем, к низшему классу народа. В аристократии он признает достаточные познания. Но по собственным понятиям г. Жеребцова, народу вовсе и не нужно знать больше того, что он знает и что нужно для исполнения им разных его работ. Так должен полагать г. Жеребцов, судя по тому, что он говорит о высшей степени знания, которую называют *усвоением* (assimilation), и о том, когда знание это бывает истинно полезным. Усвоенным знанием называет он то, которое не остается просто в памяти, а переходит в убеждение, в жизнь и ведет к дальнейшим выводам и открытиям. О пользе знания говорит он вот что: «Чтобы распространение знаний было полезно и благотворно, нужно следующее существенное условие: знания должны быть распределены в народе так, чтобы каждый мог всю массу своих знаний прилагать на деле, в сфере своих практических занятий,— и наоборот, чтобы всякий хорошо знал то, что может приложить с пользой для себя и для общества на практике». Мы, разумеется, не можем вполне согласиться с таким требованием, потому что из него может вытекать, например, вопрос: зачем мужику грамота, которую он не может ввести в круг своих практических занятий? — или вопрос: зачем дворянину

учиться географии, когда извозчики есть?.. И т. п. Вообще в разных определениях и мнениях г. Жеребцова видна крайняя незрелость мысли и шаткость его убеждений, происходящая, может быть, от непривычки к рассуждениям о предметах отвлеченных, а может быть, и от той же причины, по которой у г. Жеребцова англичане рассуждают так отлично... В настоящем случае мы находим, что он уж слишком увлекся мыслью о практической приложимости знаний, опасаясь, вероятно, того, чтобы при большем развитии просвещения каждый не стал рассуждать больше, чем сколько ему дозволяет его знание и состояние. А между тем тот же г. Жеребцов в других местах выражает пренебрежение к практическим улучшениям и хлопочет почти исключительно о высоком развитии умственных и нравственных сил. С этой-то точки зрения он и хотел упрекнуть Англию, заимствовавши свой упрек у Гизо [3], который говорит, что сторона чисто интеллектуальная, развитие человека, гораздо слабее в Англии, чем социальная сторона, развитие гражданина. Г-н Жеребцов не сообразил, что, избрав другую точку зрения, надобно уж и проводить ее иначе, и принимался повторять об Англии мысли Гизо. Но у Гизо ясно отделено интеллектуальное и социальное развитие; а г. Жеребцов скомкал это в одно — распространение знаний, да еще сказал, что приложимость (т. е. развитие социальное) принадлежит высшей степени знания (т. е. интеллектуального); а потом принялся упрекать Англию в недостатке знаний. В путанице, образовавшейся от смешения чужих идей с народным воззрением, г. Жеребцов и не заметил, что если в чем нельзя упрекать Англию, так это именно в недостатке знаний, приложимых в практической деятельности.

...Во взгляде этом прежде всего поражает нас искусственная точка зрения. Берутся свои отвлеченные принципы, и под них подводится живое народное развитие. Совершенно произвольно ставятся общие начала, делается искусственная классификация, насильственно разделяется то, чего нельзя разделять, соединяется то, что не имеет между собою ни малейшей связи. Вовсе не думают взглянуть прямо и просто на современное положение народа и на его историческое развитие, с тем, чтобы представить картину того, что им сделано для усвоения общечеловеческих идей и знаний, для применения их к своему быту, или что им самим создано полезного для человечества. Нет, прежде всего ставят над народом собственные условные идейки и затем смотрят только на то, в какой степени удовлетворяет он этим идейкам. И какой мертвечиной схоластики веет от самых идеек этих! Как будто можно не шутя отделять в народном развитии знание от мышления и мышление от стремления к общему благу! Как будто есть возможность серьезно искать общего блага, когда не умеешь порядочно рассуждать, и будто можно хорошо рассуждать, не имея нужных сведений, не зная того, о чем хочешь рассуждать!.. Ведь это можно в насмешку повторять слова щедринской талантливой натуры, что «русский человек без науки все науки прошел» [4], в насмешку можно сказать, что г. Кокорев [5], не имея никаких познаний, внезапно написал ге-

ниальное сочинение о предмете, который от других обыкновенно требует продолжительных занятий и серьезного изучения. Не в шутку этого говорить нельзя и об отдельном человеке, не только что о целой нации. В развитии народов и всего человечества сами принципы, признаваемые главнейшими двигателями истории, зависят, несомненно, от того, в каком положении находятся в ту или другую эпоху человеческие познания о мире. Суждение о предмете, мнение необходимо связывается с каждым знанием. Невозможно представить себе предмета, который бы я знал и о котором бы у меня не было никакого суждения в голове. Суждение мое может быть неверно или нетвердо, робко; но и это опять будет зависеть от недостаточного знания всех сторон предмета. Если же я знаю предмет так основательно и ясно, что в нем уже не остается для меня ничего незнакомого или непонятного, то заключение мое о нем непременно будет отличаться той же решительностью и ясностью. Да ведь сам процесс усвоения знаний заключает в себе и рассудочную деятельность, т. е. составление суждений и умозаключений. Известно даже из начальных оснований логики, что только посредством силлогизма можно составить понятие о предмете; а силлогизм опять основывается на посылках, которых верность зависит от большей или меньшей правильности данных; для правильности же данных нужно знать предмет, к которому они относятся, и т. д. И это столь неразрывное в своем единстве, органически целое явление хотят нам представить как две вещи, совершенно отдельные, из которых одна легко может обойтись без другой! Хотят уверить нас, что может быть народ, набивающий себя познаниями без умения мыслить, и может быть другой народ, предающийся мысли без знаний. Да ведь что же составляет материал мысли, как не познание внешних предметов? Возможна ли же мысль без предмета; не будет ли она тогда чем-то непостижимым, лишенным всякой формы и содержания? Ведь защищать возможность такой беспредметной и бесформенной мысли решительно значит утверждать, что можно сделать что-нибудь из ничего!..

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЛОЧИ ПРОШЛОГО ГОДА

...Одновременно с вопросом о железных дорогах поднялся в литературе вопрос о воспитании. Вопрос этот так общ, что и в прежнее время нельзя было не говорить о нем, и действительно, даже в самое глухое время нашей литературы нередко появлялись у нас книжки и статейки: «О задачах педагогики как науки», «О воспитании детей в духе христианского благочестия», «Об обязанности детей почитать родителей» [1] и т. п. Но с 1856 г. рассуждения о воспитании отличались несколько особенным характером. В них проводились следующие главные мысли: «Общее образование важнее

специального; нужно главным образом внушать детям честные стремления и здравые понятия о жизни, а техника всякого рода, формальности и дисциплина — суть дело второстепенное; в раннем возрасте жизни важно семейное воспитание, и потому жизнь в закрытых заведениях вредно действует на развитие детей; воспитатели и начальники учебных заведений должны знать свое дело и заботиться не об одной чистоте зданий и соблюдении формы воспитанниками». Все эти высокие, хотя далеко не новые, истины беспрестанно пересыпались, разумеется, не менее основательными рассуждениями о том, что просвещение лучше невежества, что умение танцевать и маршировать не составляет еще истинной образованности и т. п. Все это было прекрасно; но кто же поднял этот важный вопрос, кто обратил на него общее внимание? Все помнят, что дело началось с «Морского сборника», официального журнала, не случайно, а намеренно выдвинувшего на первый план статьи о воспитании, печатно просившего присылать к нему такие статьи отовсюду. Статья г. Бема о воспитании помещена была в № 1 «Морского сборника» за 1856 г., и долго после того журнальные статьи по этому предмету писались: «По поводу статьи г. Бема», до тех пор, пока не явилась в «Морском» же «сборнике» статья г. Пирогова; тогда стали писать: «По поводу «Вопросов жизни» — и начинать словами: «В настоящее время, когда вопрос о воспитании поднят «Морским сборником» и когда Пирогов высказал столь ясный взгляд на значение образования» и пр. Значит, и тут нельзя сказать, чтоб инициатива дана была литературой собственно. Но заслуга ее представится нам еще менее значительной, когда мы проследим ее параллельно с административными распоряжениями по учебным ведомствам. Известно, что вопрос об общем и специальном образовании разрешен был правительственным образом в пользу общего образования еще в половине 1855 г. Экстерны в военно-учебных заведениях, преобразование Артиллерийской и Инженерной академий, предположение об уничтожении низших классов в некоторых корпусах сделаны были раньше, нежели хоть один голос поднялся в литературе против специального образования. Печатать об этом статьи стали уже тогда, когда вопрос был значительно выяснен не только в общественном сознании, но даже и в административных распоряжениях. Так было и во всем, относящемся к воспитанию и образованию.

В ноябре 1855 г. разрешен был прием неограниченного числа студентов в университет[2], вследствие этого в 1856 г. увеличилось количество университетских студентов, и когда обнародован был отчет Министерства просвещения за этот год, то в литературе появилось несколько заметок о пользе возможно большего расширения университетского образования...

В декабре 1855 г. учреждены были особые попечители[3] в тех округах, где прежде эта должность соединена была с генерал-губернаторской. В феврале 1856 г. повелено назначать в гражданских закрытых учебных заведениях воспитателей не из военных. В марте отменено преподавание военных наук в гимназиях и уни-

верситетах. Все эти меры вызывали сочувствие литературных деятелей, и они, обыкновенно выждавши несколько месяцев, считали долгом высказать свое мнение о пользе того, что сделано. Таким образом, в продолжение 1857 г. (отчасти и в 1856 г., но очень мало) было высказано много дельных мыслей о том, что начальник училища не есть только администратор, что воспитатель должен смотреть не за одной только выправкой воспитанников и пр.

То же самое было и во всех других частностях. В половине 1856 г. стали говорить о необходимости общения нашего с Европой. Сначала это говорилось довольно неопределенно, в общих чертах, мимоходом, по поводу споров с «Русской беседой» о народности, потом прямее высказали, что нам теперь нужно заимствовать многое от просвещенного Запада; наконец, как-то в конце года, кажется, по поводу статьи г. Григорьева о Грановском, решительно было высказано, что молодым ученым нашим полезно ездить учиться за границу. Но это говорилось уже в конце года, между тем как посылка молодых людей за границу была разрешена правительством еще в марте.

В прошлом году по части просвещения были в ходу у нас особенно два вопроса: об изменениях учебной части в университетах и гимназиях и о женских школах. Что же, сама ли литература додумалась наконец до этих вопросов? Вовсе нет. Первая статья г. Бунге об университетах, после которой литература приняла в вопросе несколько живое участие, напечатана в «Русском вестнике» в апреле прошлого года; а правительственное определение о необходимости преобразований в университетах и гимназиях составилось еще в 1856 г.! Преимущественно с этой целью учрежден в мае 1855 г. Ученый комитет при Главном правлении училищ, и в отчете министра просвещения за 1856 г. указываются уже многие недостатки учебной части и меры к их исправлению. С женскими училищами то же самое. В конце 1857 г. в первый раз заговорили о женских институтах и вообще об образовании девиц среднего сословия; во все течение прошлого года продолжались статьи об этом предмете, преимущественно по поводу вновь открываемых женских училищ. Нельзя не сказать, что и тут литература наша опоздала. Еще в отчете министра просвещения за 1856 г. мы читали, что так как «лица среднего состояния, особенно в губернских и уездных городах лишены возможности дать дочерям своим даже скромное образование», то министерство и составило «предположение об открытии школ для девиц в губернских и уездных городах и в больших селениях». Вслед за этим предположением приступлено было тогда же и к «соображениям об устройстве таковых школ на первый раз в губернских городах, по мере способов, какие могут к тому представиться». В прошлом году предположения перешли уже в действительность: основано было много женских открытых школ, не только правительством, но даже и частными лицами. А литература только что начала говорить об их пользе и надобности!

...Зато вопрос о грамотности сделал в течение прошлого года

истинно замечательные успехи. *Почти* решено, что грамота не ведет народ к погибели. С благородной прямотой и смелостью выразился один из защитников грамотности, что *«вреда от грамотности нельзя ждать большого!»* (Земледельческая газета, № 98, с. 786) [4]. Вопрос остановился уже на том, какие знания нужны крестьянам и каких не требуется. Разумеется, высказаны были мнения, что равенство образования всех сословий в государстве есть утопия; что для высших знаний (как, например, знание законов, истории и т. п.) есть «некоторое количество людей, занимающих в организации государства известное место и значение» (Земледельческая газета, № 15, 44, 45) [5]. Против этого мнения говорили некоторые довольно неопределенными фразами, но вообще с ним соглашались. Затем для крестьян определялось учение: читать, писать и закон божий; преимущественно же указывалось на *нравственное воспитание*, состоящее в исполнении своих обязанностей в отношении к властям. Впрочем, особенных подробностей не было высказано: все еще упивались повторением новой, с таким трудом, с бою взятой истины, что от образования крестьян нельзя ожидать большого вреда... И то хорошо!

Вопрос о телесном наказании тоже был на очереди, но решался как-то странно. Нужно, впрочем, заметить предварительно, что, если кто подумает, будто дело шло в литературе об отменении розог,— тот жестоко ошибается. Нет, до этого литература еще не договорилась. Дело шло ни больше ни меньше, как о том, кому сечь — помещику или сельскому управлению. Ранее всех, кажется, поднял этот любопытный вопрос некто г. Петрово-Соловово, предложивший его в «Одесском вестнике» в такой форме: «Каким количеством ударов розгами владелец может наказывать срочнообязанных крестьян *по своему желанию и усмотрению*?» [6]. На вопрос, конечно, явились ответы. В «Журнале землевладельцев» г. Рощаковский высказал гуманную мысль, что не следует отстаивать 40 ударов, а можно спуститься до 20 [7]. Князь Черкасский в «Сельском благоустройстве» поступил еще гуманнее: он спустил еще десять процентов и согласился уменьшить число ударов, предоставленных в ведение дворянства, до 18 [8]. Но тут-то (не знаем уж почему — потому, должно быть, что в последовательных уступках увидели слабость противников) и восстали благородные рыцари, совершенно разбившие князя Черкасского. Кончилось тем, что он отказался и от 18 ударов в пользу дворянства и уступил их сельскому управлению. Но тут, разумеется, рыцари ободрились еще более и начали пускать грязью в бегущего с поля битвы князя Черкасского и в друзей его. Но беглецы скрылись, а рыцари оказались перепачканными в грязи. Затем все стихло...

Не столь счастливо, как народ, отделались дети — о них наши передовые люди всё еще *сомневались* в прошлом году: сечь или не сечь по своему желанию и усмотрению [9]. Впрочем, и то хорошо, что сомневались: сомнение есть путь к истине.

Таким образом, на поприще грамоты и розог успехи наши в прошлом году несомненны. Много уже сделано; говоря словами

одной современной песенки,

мы обсуждали очень тонко
(Хоть не решили в этот год).
Пороть ли розгами ребенка,
Учить ли грамоте народ.

Вообще о народном просвещении у нас сильно говорили в прошедшем году. Особенно занимали всех вопросы о женском образовании и об отношении гимназий к университетам. Согласились единодушно, что девочек учить *тоже нужно*; с большой радостью приветствовали открытие женских школ. Что касается до направления и характера женского образования — на этом поприще подвизался преимущественно г. Аппельрот, желавший вообще проводить воспитание «от центра домашнего быта к периферии всемирной жизни» [10]. Впрочем, литература на этот предмет как-то мало обратила внимания. Но зато учреждению женских школ она ужасно радовалась!.. В простоте души она не стыдилась хвалиться тем, что у нас *наконец будут* женские школы! Из этого видно, что она считает женские школы в некотором роде роскошью, без которой можно и обойтись [11], потому что нельзя же считать великим подвигом удовлетворение необходимейших своих потребностей, нельзя серьезно восторгаться и хвалиться тем, что я ночью ложусь спать, поутру просыпаюсь и за обедом ем.

Об университетах и гимназиях тоже хорошо говорили. Один профессор сказал, что в университете студенты ничему не выучиваются, потому что в гимназиях плохо бывают подготовлены к слушанию ученых лекций профессоров (Атеней, № 38) [12]. А гимназии оттого приготовляют плохо, утверждал тот же профессор, уже вместе с другим (Журнал для воспитания, № 2) [13], что университету не предоставлено контроля над ними. Но профессорам с разных сторон дали сильный отпор. Они глумились над гимназистами, поступающими в университет, и рассказывали уморительные анекдоты, случавшиеся с молодыми людьми на приемных экзаменах; а им отвечали еще более уморительными анекдотами о профессорских лекциях. Профессор говорил: «Что делать с тупоумным учеником, который на экзамене отвечает слово в слово по скверному учебнику?» А ему отвечали: «Что же делать ученику, ежели профессора и вообще знающие люди презирают составление учебников и предоставляют это дело какому-нибудь г. Зуеву?» Профессор говорил: «Если ученик не знает географии, то, читая, например, историю, не могу же я замечать ему, что Лион находится во Франции, а Тибр течет в Италии...» А ему отвечали: «Отчего же бы и нет? Это было бы и лучше и короче, чем читать, например, целый трактат о разных породах голубей и об их воспитании, как делал один профессор по поводу слова, встретившегося в каком-то памятнике...» И анекдоты о профессорах были отличные! Словом, литература показала себя!

По этой же части еще был один важный вопрос, которого, однако, так и не решила литература. Дело было в том: нужно ли учителям (особенно уездным) внутренне возвыситься до того, чтобы заслужить сначала уважение общества, а потом, за добродетель,—

хорошее жалованье; или же нужно учителям прибавить жалованье для того, чтобы они могли получше держать себя в обществе. В «Журнале для воспитания» почти целый год об этом препирания производились[14]; «Атеней», в лице г. Некрасова, объявил себя за внутреннее возвеличение учителей[15], г. Гаярин в «Русском вестнике» объявил себя за прибавку жалованья[16]. Но окончательного решения по столь многотрудному вопросу до сих пор еще не произнесено... И кажется, не литература произнесет его: прибавка жалованья учителям уже решена, говорят, в Министерстве просвещения.

...Итак, мы повторим здесь еще раз, что, указывая на мелочность литературы, мы не думали *обвинять ее*. Но вот в чем мы ее обвиняем: она хвалится многими из своих мелочей вместо того, чтобы стыдиться их. Говоря о правосудии, когда неправедно судят невинного брата, она не сознает ничтожности своей речи для пользы дела, не говорит, что прибегает к этому средству только за неимением других, а напротив — гордится своим красноречием, рассчитывает на эффект, думает переделать им натуру взяточника и иногда забывается даже до того, что благородную речь свою считает не средством, а целью, за которой дальше и нет ничего. А невинно осужденный терпит между тем заключение, наказание, подвергается страданиям всякого рода. И литература не хочет видеть или не хочет сознаться, что ее деятельность слаба, что того, чем она может располагать, мало, слишком мало для спасения невинного человека от осуждения корыстного судьи. Вот что возмутительно для людей, которые ищут дела, а не хотят остановиться на праздном слове! Вот что и вызвало нашу статью. Мы хотели напомнить литературе, что при настоящем положении общества она ничего не может сделать, и с этой целью мы перебрали факты, из которых оказывалось, что в литературе нет инициативы. Далее мы хотели сказать, что литература унижает себя, если с самодовольством останавливается на интересах настоящей минуты, не смотря вдаль, не задавая себе высших вопросов. Для этого мы припомнили, какой ничтожностью и мелкотой отличались многие из патетических рассуждений нашей литературы о вопросах, уже затронутых в административной деятельности и в законодательстве. Литература всегда может оправдать себя от упрека в мелочности, сказав, что она делает что может и что не от нее, а от общества зависит делать больше или меньше. Но нет для нее никакого оправдания, ежели она самодовольно забудется в своем положении, примирится со своей мелочностью и будет толковать о своем серьезном значении, о великости своего влияния, о прогрессе общества, которому она служит. Такое самодовольное забытье покажет нам, что литература действительно не имеет высших стремлений, что она смиренно довольствуется всем, что ни сделает с нею общество, ради временной надобности или даже просто ради потехи. При такой узости взглядов и стремлений литература действительно может показаться противной для всякого свежего человека, ищущего деятельности ... И с нею может тогда помирить только вопль отчаяния,

в котором будет и энергический укор, и мрачное сожаление, и громкий призыв к деятельности более широкой. Призыв этот будет относиться не к одной литературе, а и к целому обществу. Его смысл будет в том, что гнусно тратить время в бесплодных разговорах, когда по нашему же сознанию возбуждено столько живых вопросов. Не надо нам слова гнилого и праздного, погружающего в самодовольную дремоту и наполняющего сердце приятными мечтами, а нужно слово свежее и гордое, заставляющее сердце кипеть отвагою гражданина, увлекающее к деятельности широкой и самобытной...

# СОЧИНЕНІЯ В. БЕЛИНСКОГО

В литературе нашей не может быть новости отраднее той, которая теперь только что явилась к нам из Москвы. Наконец сочинения Белинского издаются! Первый том уже напечатан и получен в Петербурге [1], следующие, говорят, не замедлят. Наконец-то! Наконец-то!..

Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением. До сих пор его влияние ясно чувствуется на все, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительной частью своего развития обязан, непосредственно или посредственно, Белинскому... В литературных кружках всех оттенков едва ли найдется пять-шесть грязных и пошлых личностей, которые осмелятся без уважения произнести его имя [2]. Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно,— это лучшие люди России!..

Для них, наверно, ни одна из наших новостей не могла быть столь радостною, как издание сочинений Белинского. Давно мы ждали его и наконец дождались! Сколько счастливых, чистых минут снова напомнят нам его статьи — тех минут, когда мы полны были юношеских беззаветных порывов, когда энергические слова Белинского открывали нам совершенно новый мир знания, размышления и деятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость всего окружающего, мы мечтали об иных людях, об иной деятельности, и искренно надеялись встретить когда-нибудь таких людей, и восторженно обещали посвятить себя самих такой деятельности... Жизнь обманула нас, как обманула и его; но для нас до сих пор дороги те дни святого восторга, тот вдохновенный трепет, те чистые, бескорыстные увлечения и мечты, которым, может быть, никогда не суждено осуществиться, но с которыми расстаться до сих пор трудно и больно...

Россия еще мало знает Белинского. Он редко подписывал под статьями свою фамилию, и теперь, при издании его сочинений,

оказалось, что даже литераторы не могли наверное указать *всех* статей, им писанных. Многие из читателей узнали его имя более по статьям, писанным о нем уже после его смерти. Но теперь, когда сочинения его собраны и издаются, всем читателям представляется возможность ближе узнать этого человека, с его взглядами и стремлениями, с его влиянием на всю нашу литературу последних двадцати пяти лет. Узнавши его, все читатели убедятся, что многое, чем они восхищались у других, принадлежит ему, вышло от него,— многие из истин, на которые теперь опираются наши рассуждения, утверждены им в ожесточенной борьбе с невежеством, ложью и злонамеренностью своих противников, при сонной апатии равнодушного общества... Да, в Белинском наши лучшие идеалы, в Белинском же история нашего общественного развития, в нем же и тяжкий, горький, неизгладимый упрек нашему обществу [3].

«Современник» перешел в руки нынешней редакции при участии Белинского, и до своей смерти он не оставлял «Современник» [4]. «Современник» первый заговорил о Белинском после долгого молчания, которое обусловливалось тогдашними обстоятельствами литературы. Идеи гениального критика и самое имя его были всегда святы для нас, и мы считаем себя счастливыми, когда можем говорить о нем. Поэтому, поспешивши сообщить читателям нашу радость об издании его сочинений, мы не отказываемся от права говорить о нем подробнее по поводу этого издания, хотя многое уже высказано было о Белинском в статьях «О гоголевском периоде литературы» в «Современнике» 1856 г.

В первом, вышедшем теперь, томе сочинений Белинского помещены критические и библиографические статьи, печатанные им в «Молве» и «Телескопе» 1834 и 1835 гг. Издание, принадлежавшее гг. Солдатенкову и Щепкину, очень опрятно, и цена назначена дешевая. Том в 530 страниц, в обыкновенном формате щепкинских изданий, стоит всего один рубль; та же цена и за все следующие тома. Нет сомнения, что все издание разойдется быстро, хотя бы его было напечатано двадцать тысяч экземпляров!

# РОБЕРТ ОВЭН И ЕГО ПОПЫТКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РЕФОРМ

...Училище, устроенное Овэном [1] в Нью-Лэнэрке, было торжеством его системы. Обыкновенно дети фабричных не получали в это время никакого воспитания. С самых ранних лет они начинали ходить на фабрику и там по мере сил помогали взрослым и по мере возраста приучались к их грубости и разврату. Получить возможность взять детей для учения от фабричной работы — это уже было шагом вперед. Овэн добился этой возможности, убедивши

работников, что ранее десяти лет не следует посылать детей на фабрику, и ограничивши срок детской работы десятью часами в день — maximum. В училище же своем Овэн вздумал приложить те же начала, посредством которых он так удачно преобразовал Нью-Лэнэрк, и совершенный успех оправдал его систему. Отправляясь от той мысли, что человек весь есть создание обстоятельств и что, следовательно, на него не может падать ответственность за то, умен он или глуп, скромен или дерзок и т. п., Овэн считал решительной нелепостью всякие условные награды и наказания не только для взрослых, но даже и для детей. Поэтому в училище его никаких наград и никаких наказаний не было положено. К учению дети возбуждались интересом самого знания, которое им никогда не старались навязывать против их воли. Что касается до внешнего порядка и так называемого *поведения* учеников, то Овэн никогда не считал нарушением порядка и дурным поведением маленькие детские шалости, не истребимые притом никакими строгостями. Больших же преступлений не могло быть в училище Овэна уже и потому, что тут почти исключительно находились дети моложе десятилетнего возраста. Да ежели и встречались проступки действительно нехорошие, то они находили свое осуждение и наказание в самих же детях. Посещавшие Нью-Лэнэрк с удивлением рассказывают о том порядке, благородстве и единодушии, какие господствовали между детьми, находившимися в училище Овэна. Ежели сильный хотел обидеть слабого, остальные дети вступались за обижаемого; если кто замечен был в плутовстве, с ним не хотели иметь дела; кто солгал, тому перестали верить... В играх, в занятиях, во всех отношениях детей между собою господствовала совершенная открытость, справедливость и взаимное уважение и расположение. При этом вовсе не исключалось соревнование учеников между собою; но так как наград и наказаний не было, то оно возбуждалось не завистью и корыстью, а искренним желанием действительного совершенствования. Проистекая из таких начал, соревнование учеников Овэна было тихо и добродушно; оно никогда не могло дойти до такого неистовства, до какого доходило, например, в некоторых ланкастерских школах, искусственно возбуждавших его до такой степени, что соревнующиеся ученики стали наконец пырять ножами друг друга. У Овэна дети и не ссорились за учение и учились хорошо. Заметим здесь, что училище его по своим размерам не уступало многим из ланкастерских школ и что способ обучения Ланкастера и Белля[2] был отчасти усвоен Овэном. Залы училища его могли вмещать до 400 воспитанников. Все дети распределены были по различным классам; самые маленькие учились читать и писать; в старших классах преподавались высшие правила счисления, механики и физики. Старшие обыкновенно не только сами учились, но и руководили младшими. На десятилетнем возрасте учение обыкновенно оканчивалось, потому что с десяти лет дети начинали уже ходить в мастерские на работу. Но и до этого времени они успевали приобретать довольно много сведений благодаря тому, что все учение

было совершенно наглядно и чуждо всяких схоластических замашек и ненужных формальностей. Принято было за правило — непременно показывать ученикам сам предмет, о котором говорилось, или, по крайней мере, рисунок его. Таким образом, естественная история изучалась обыкновенно во время прогулок в поле; изучение географии начиналось с рассматривания карты и продолжалось в виде путешествия по ней от данного пункта и т. д. Избегать всякой сухости и мертвой формальности и поддерживать в детях живой интерес ко всему, что им преподавалось, было главной заботой Овэна. Благодаря такой системе мальчики в короткое время своего пребывания в школе приобретали у него довольно основательные познания в геометрии, механике и естественной истории. Девочек учили меньше и вместо специальных знаний, прилагаемых в фабричном мастерстве, их обучали разным рукоделиям, преимущественно шитью.

Здесь не мешает заметить одно замечательное обстоятельство, которое показывает, с каким тактом умел Овэн вести дело и пользоваться своим положением. Мы упоминали выше о множестве различных сектантов, бывших в Нью-Лэнэрке. Принимаясь учить детей, Овэн должен был в религиозном обучении или выбрать какую-нибудь одну из сект, или приноровляться к каждой из них. И то и другое было нехорошо: первое могло восстановить против Овэна приверженцев других сект, второе значило играть комедию, проповедуя то, чего вовсе не одобряешь. Овэн блестящим образом выпутался из этого затруднения, сохранивши доброе согласие в колонии и не пожертвовав ни йотой из своих личных убеждений. Он совершенно отказался от религиозного обучения, сказавши, что не хочет стеснять никого и предоставляет родителям полную свободу наставлять своих детей, как им внушают их благочестивые верования. «В семейной жизни и воспитании,— прибавлял Овэн,— правила веры гораздо лучше усваиваются, нежели в школе, и потому детям не будет никакого ущерба от того, что религиозное обучение не войдет в число учебных предметов школы...»

# ЧТО ТАКОЕ ОБЛОМОВЩИНА?

...В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По внешнему своему положению он барин: «у него есть Захар и еще триста Захаров», по выражению автора. Преимущество своего положения Илья Ильич объясняет Захару таким образом:

Разве я мечусь, разве работаю? мало мало что ли? худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава богу! Стану ли я беспокоиться? из чего мне?.. И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался.

И Обломов говорит совершенную правду. История его воспитания вся служит подтверждением его слов. С малых лет он привыкает быть байбаком благодаря тому, что у него и подать и сделать есть кому; тут уж даже и против воли нередко он бездельничает и сибаритствует. Ну, скажите, пожалуйста, чего же бы вы хотели от человека, выросшего вот в каких условиях:

Захарка, как, бывало, нянька, натягивает ему чулки, надевает башмаки, и Илюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему, лежа, то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку. Потом Захарка чешет ему голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтобы не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру — умыться и т. п.

Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть — уж трое-четверо слуг кидаются исполнить его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем — ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому, а тут вдруг отец и мать да три тетки в пять голосов и закричат:

— Зачем? куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька, Ванька, Захарка? Чего вы смотрите, разини? Вот я вас!..

И не удается никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и выучился сам покрикивать: «Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое! Не хочу того, не хочу этого! Сбегай, принеси!»

Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с лестницы или по двору, вдруг вслед ему раздается десять отчаянных голосов: «Ах, ах! Поддержите, остановите! Упадет, расшибется! Стой, стой!..» Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку — опять крики: «Ай, куда? как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...» И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая.

Такое воспитание вовсе не составляет чего-нибудь исключительного, странного в нашем образованном обществе. Не везде, конечно, Захарка натягивает чулки барчонку и т. п. Но не нужно забывать, что подобная льгота дается Захарке по особому снисхождению или вследствие высших педагогических соображений и вовсе не находится в гармонии с общим ходом домашних дел. Барчонок, пожалуй, и сам оденется; но он знает, что это для него вроде милого развлечения, прихоти, а в сущности он вовсе не обязан этого делать сам. Да и вообще ему самому нет надобности что-нибудь делать. Из чего ему биться? Некому, что ли, подать и сделать для него все, что ему нужно?.. Поэтому он себя над работой убивать не станет, что бы ему ни толковали о необходимости

и святости труда: он с малых лет видит в своем доме, что все домашние работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполнение. И вот у него уже готово первое понятие — что сидеть сложа руки почетнее, нежели суетиться с работой... В этом направлении идет и все дальнейшее развитие.

Понятно, какое действие производится таким положением ребенка на все его нравственное и умственное образование. Внутренние силы «никнут и увядают» по необходимости. Если мальчик и пытает их иногда, то разве в капризах и в заносчивых требованиях исполнения другими его приказаний. А известно, как неудовлетворенные капризы развивают бесхарактерность и как заносчивость несовместна с умением серьезно поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять бестолковые требования, мальчик скоро теряет меру возможности и удобоисполнимости своих желаний, лишается всякого умения соображать средства с целями и потому становится в тупик при первом препятствии, для отстранения которого нужно употребить собственное усилие. Когда он вырастает, он делается Обломовым, с большей или меньшей долей его апатичности и бесхарактерности, под более или менее искусной маской, но всегда с одним неизменным качеством — отвращением от серьезной и самобытной деятельности.

Много помогает тут и умственное развитие Обломовых, тоже, разумеется, направляемое их внешним положением. Как в первый раз они взглянут на жизнь навыворот — так уж потом до конца дней своих и не могут достигнуть разумного понимания своих отношений к миру и к людям. Им потом и растолкуют многое, они и поймут кое-что: но с детства укоренившееся воззрение все-таки удержится где-нибудь в уголку и беспрестанно выглядывает оттуда, мешая все новым понятиям и не допуская их уложиться на дно души... И делается в голове какой-то хаос: иной раз человеку и решимость придет сделать что-нибудь, да не знает он, что ему начать, куда обратиться... И не мудрено: нормальный человек всегда хочет только того, что может сделать; зато он немедленно и делает все, что захочет... А Обломов ... он не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько определить, что он может сделать и чего нет,— следовательно, не может и серьезно, *деятельно* захотеть чего-нибудь... Его желания являются только в форме: «а хорошо бы, если бы вот это сделалось»; но как это может сделаться — он не знает. Оттого он любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на *авось*...

Все эти черты превосходно подмечены и с необыкновенной силой и истиной сосредоточены в лице Ильи Ильича Обломова. Не нужно представлять себе, чтобы Илья Ильич принадлежал к какой-нибудь особенной породе, в которой бы неподвижность составляла существенную, коренную черту. Несправедливо было бы думать, что он от природы лишен способности произвольного

движения. Вовсе нет: от природы он — человек, как и все. В ребячестве ему хотелось побегать и поиграть в снежки с ребятишками, достать самому то или другое, и в овраг сбегать, и в ближайший березняк пробраться через канал, плетни и ямы. Пользуясь часом общего в Обломовке послеобеденного сна, он разминался бывало: «взбегал на галерею (куда не позволялось ходить, потому что она каждую минуту готова была развалиться), обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе». А то «забирался в канал, рылся, отыскивал какие-то корешки, очищал от коры и ел всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька». Все это могло служить задатком характера кроткого, спокойного, но не бессмысленно-ленивого. Притом и кротость, переходящая в робость и подставление спины другим, есть в человеке явление вовсе не природное, а чисто благоприобретенное, точно так же как и нахальство и заносчивость. И между обоими этими качествами расстояние вовсе не так велико, как обыкновенно думают. Никто не умеет так отлично вздергивать носа, как лакеи, никто так грубо не ведет себя с подчиненными, как те, которые подличают перед начальниками. Илья Ильич при всей своей кротости не боится поддать ногой в рожу обувающему его Захару, и если он в своей жизни не делает этого с другими, так единственно потому, что надеется встретить противодействие, которое нужно будет преодолеть. Поневоле он ограничивает круг своей деятельности тремястами своих Захаров. А будь у него этих Захаров во сто, в тысячу раз больше — он бы не встречал себе противодействий и приучился бы довольно смело поддавать в зубы каждому, с кем случится иметь дело. И такое поведение вовсе не было бы у него признаком какого-нибудь зверства натуры; и ему самому и всем окружающим оно казалось бы очень естественным, необходимым... никому бы и в голову не пришло, что можно и должно вести себя как-нибудь иначе. Но — к несчастью или к счастью — Илья Ильич родился помещиком средней руки, получал доход не более десяти тысяч рублей на ассигнации и вследствие того мог распоряжаться судьбами мира только в своих мечтаниях. Зато в мечтах своих он и любил предаваться воинственным и героическим стремлениям. «Он любил иногда вообразить себя каким-нибудь непобедимым полководцем, пред которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит; выдумает войну и причину ее: у него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия». А то он вообразит, что он великий мыслитель или художник, что за ним гоняется толпа и все поклоняются ему... Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жал-

кое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг в друга и одно другим обусловливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляет едва ли не самую любопытную сторону его личности и всей его истории... Но как мог дойти до рабства человек с таким независимым положением, как Илья Ильич? Кажется, кому бы и наслаждаться свободой, как не ему? Не служит, не связан с обществом, имеет обеспеченное состояние... Он сам хвалится тем, что не чувствует надобности кланяться, просить, унижаться, что он не подобен «другим», которые работают без устали, бегают, суетятся — а не поработают, так и не поедят... Он внушает к себе благоговейную любовь доброй вдове Пшеницыной именно тем, что он *барин,* что он сияет и блещет, что он и ходит и говорит так вольно и независимо, что он «не пишет беспрестанно бумаг, не трясется от страха, что опоздает в должность, не глядит на всякого так, как будто просит оседлать его и поехать, а глядит на всех и на все так смело и свободно, как будто требует покорности себе». И однако же вся жизнь этого барина убита тем, что он постоянно остается рабом чужой воли и никогда не возвышается до того, чтобы проявить какую-нибудь самобытность. Он раб каждой женщины, каждого встречного, раб каждого мошенника, который захочет взять над ним волю. Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который из них более подчиняется власти другого. По крайней мере, чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится... Оно так и следует: Захар все-таки умеет сделать хоть что-нибудь, а Обломов ровно ничего не может и не умеет. Нечего уже и говорить о Тарантьеве и Иване Матвеиче, которые делают с Обломовым что хотят, несмотря на то что сами и по умственному развитию и по нравственным качествам гораздо ниже его... Отчего же это? Да все оттого, что Обломов, как барин, не хочет и не умеет работать и не понимает настоящих отношений своих ко всему окружающему...

...Предыдущие соображения привели нас к тому заключению, что Обломов не есть существо, от природы совершенно лишенное способности произвольного движения. Его лень и апатия есть создание воспитания и окружающих обстоятельств. Главное здесь не Обломов, а обломовщина. Он бы, может быть, стал даже и работать, если бы нашел дело по себе; но для этого, конечно, ему надо было развиться несколько под другими условиями, нежели под какими он развился. В настоящем же своем положении он не мог нигде найти себе дела по душе, потому что вообще не понимал смысла жизни, и не мог дойти до разумного воззрения на свои отношения к другим. Здесь-то он и подает нам повод к сравнению с прежними типами лучших наших писателей. Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе

приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле, раскройте, например, «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват?», «Рудина», или «Лишнего человека», или «Гамлета Щигровского уезда» — в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова...

# ТЕМНОЕ ЦАРСТВО

## Сочинения А. Островского. Два тома. СПб., 1859

### II

Где больше строгости,
там и греха больше.
Надо судить по человечеству.

Островский [1]

Перед нами грустно-покорные лица наших младших братий, обреченных судьбой на зависимое, страдательное существование. Чувствительный Митя, добродушный Андрей Брусков, бедная невеста Марья Андреевна, опозоренная Авдотья Максимовна, несчастная Даша и Надя стоят перед нами, безмолвно покорные судьбе, безропотно унылые... Это мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия, лишь изредка оживляемый глухим, бессильным ропотом, робко замирающим при самом зарождении. Нет ни света, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью веет темная и тесная тюрьма. Ни один звук с вольного воздуха, ни один луч светлого дня не проникает в нее. В ней вспыхивает по временам только искра того священного пламени, которое пылает в каждой груди человеческой, пока не будет залито наплывом житейской грязи. Чуть тлеется эта искра в сырости и смраде темницы, но иногда на минуту вспыхивает она и обливает светом правды и добра мрачные фигуры томящихся узников. При помощи этого минутного освещения мы видим, что тут страдают наши братья, что в этих одичавших, бессловесных, грязных существах можно разобрать черты лица человеческого,— и наше сердце стесняется болью и ужасом. Они молчат, эти несчастные узники,— они сидят в летаргическом оцепенении и даже не потрясают своими цепями; они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положение; но тем не менее они чувствуют тяжесть, лежащую на них, они не потеряли способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно переносят ее, так это потому, что каждый крик, каждый вздох среди этого смрадного омута захватывает им

горло, отдается колючей болью в груди, каждое движение тела, обремененного цепями, грозит им увеличением тяжести и мучительного неудобства их положения. И неоткуда ждать им отрады, негде искать облегчения: над ними буйно и безотчетно владычествует бессмысленное *самодурство*[2] в лице разных Большовых, Торцовых, Брусковых, Уланбековых и пр., не признающее никаких разумных прав и требований. Только его дикие, безобразные крики нарушают эту мрачную тишину и производят пугливую суматоху на этом печальном кладбище человеческой мысли и воли.

Но не мертвецы же все эти жалкие люди, не в темных же могилах родились и живут они. Вольный божий свет расстилался когда-то и перед ними, хоть на короткое время, в давнюю пору раннего, беззаботного детства. Воспоминание об этой золотой поре не оставляет их и в смрадной тюрьме, и в горькой кабале самодурства. Грубые, необузданные крики какого-нибудь самодура, широкие размахи руки его напоминают им простор вольной жизни, гордые порывы свободной мысли и горячего сердца — порывы, заглушенные в несчастных страдальцах, но погибшие не совсем без следа. И вот черный осадок недовольства, бессильной злобы, тупого ожесточения начинает шевелиться на дне мрачного омута, хочет всплыть на поверхность взволнованной бездны и своим мутным наплывом делает ее еще безобразнее и ужаснее. Нет простора и свободы для живой мысли, для задушевного слова, для благородного дела; тяжкий самодурный запрет наложен на громкую, открытую, широкую деятельность. Но пока жив человек, в нем нельзя уничтожить стремления жить, т. е. проявлять себя каким бы то ни было образом во внешних действиях. Чем более стремление это стесняется, тем его проявления бывают уродливее; но совсем *не быть* они не могут, пока человек не совсем замер. И такова сила самодурства в этом темном царстве Торцовых, Брусковых и Уланбековых, что много людей действительно замирают в нем, теряют и смысл, и волю, и даже силу сердечного чувства — все, что составляет разумную жизнь,— и в идиотском бессилии прозябают, только совершая отправления животной жизни. Но есть и живучие натуры: те глубоко внутри себя собирают яд своего недовольства, чтобы при случае выпустить его, а между тем неслышно ползут, подобно змее, съеживаются, извиваются и перевертываются ужом и жабой... Они безмолвны, неслышны, незаметны; они знают, что всякое быстрое и размашистое движение отзовется нестерпимой болью на их закованном теле; они понимают, что, рванувшись из своих желез, они не выбегут из тюрьмы, а только вырвут куски мяса из своего тела. И вот они принимаются за работу, глухую и тихую: изгибаясь, вертясь и сжимаясь, они пробуют всевозможные манеры — нельзя ли втихомолку высвободить руки, чтобы потом распилить свои цепи... Начинается воровское, урывчатое движение с оглядкой, чтобы кто-нибудь не подметил его; начинается обман и подлость, притворство и зложелательство, ожесточение на все окружающее и забота только о себе, о достижении личного спокойствия. Тут нет злобно обдуманных планов, нет со-

знательной решимости на систематическую подземную борьбу, нет даже особенной хитрости; тут просто невольное, вынужденное внешними обстоятельствами, вовсе не обдуманное и ни с чем хорошенько не соображенное проявление чувства самосохранения. Как у нас невольно и без нашего сознания появляются слезы от дыма, от умиления и хрена, как глаза наши невольно щурятся при внезапном и слишком сильном свете, как тело наше невольно сжимается от холода — так точно эти люди невольно и бессознательно принимаются за плутовскую, лицемерную и грубо эгоистическую деятельность при невозможности дела открытого, правдивого и радушного... Нечего винить этих людей, хотя и не мешает остерегаться их: они сами не ведают, что творят. Под страхом нагоняя и потасовки, рабски воспитанные, с беспрестанным опасением остаться без куска хлеба, рабски живущие, они все силы свои напрягают на приобретение одной из главных рабских добродетелей — бессовестной хитрости. И чего же им совеститься, какую правду, какие права уважать им? Ведь самодурство властвует над ними, давит и убивает их совершенно бесправно, бессмысленно, бессовестно! В людях, воспитанных под таким владычеством, не может развиться сознание нравственного долга и истинных начал честности и права. Вот почему безобразнейшее мошенничество кажется им похвальным подвигом, самый гнусный обман — ловкой штукой. Они могут вас надувать, обкрадывать, подводить под нож и при всем этом оставаться искренне радушными и любезными с вами, сохранять невозмутимое добросердечие и множество истинно добродетельных качеств. В их натуре вовсе нет злости, нет и вероломства; но им нужно как-нибудь выплыть, выбиться из гнилого болота, в которое погружены они сильными самодурами; они знают, что выбраться на свежий воздух, которым так свободно дышат эти самодуры, можно с помощью обмана и денег; и вот они принимаются хитрить, льстить, надувать, начинают и по мелочи и большими кушами, но всегда тайком и рывком, закладывать в свой карман чужое добро. Что за дело, что оно чужое? Ведь у них самих отняли все, что они имели, *свою волю* и *свою мысль;* как же им рассуждать о том, что честно и что бесчестно? как не захотеть надуть другого для своей личной выгоды?

Таким образом, наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе, доходящее до совершенного идиотства и плачевнейшего обезличения, переплетаются в «темном царстве», изображаемом Островским, с рабской хитростью, гнуснейшим обманом, бессовестнейшим вероломством. Тут никто не может ни на кого положиться: каждую минуту вы можете ждать, что приятель ваш похвалится тем, как он ловко обсчитал или обворовал вас; компаньон в выгодной спекуляции легко может забрать в руки все деньги и документы и засадить своего товарища в яму за долги; тесть надует зятя приданым; жених обочтет и обидит сваху; невеста-дочь проведет отца и мать; жена обманет мужа. Ничего святого, ничего чистого, ничего правого в этом темном мире: господствующее над ним самодурство, дикое, безумное, неправое, прогнало из него всякое со-

знание чести и права... И не может быть их там, где повержено в прах и нагло растоптано самодурами человеческое достоинство, свобода личности, вера в любовь и счастье и святыня честного труда...

## III

...Максим Федотыч Русаков — этот лучший представитель всех прелестей старого быта, умнейший старик, *русская душа,* которой славянофильские и кошихинствующие критики[3] кололи глаза нашей послепетровской эпохе и всей новейшей образованности,— Русаков, на наш взгляд, служит живым протестом против этого темного быта, ничем не осмысленного и безнравственного в самом корне своем. В Большове мы видели дрянную натуру, подвергнувшуюся влиянию этого быта; в Русакове нам представляется: а вот какими выходят при нем даже честные и мягкие натуры!.. И действительно — природная доброта и даже деликатность пробиваются в Русакове сквозь грубые формы. Он обходится со всеми ласково, о жене и дочери говорит с умилением; когда Дуня, узнав о его решительном отказе Вихореву, падает в обморок (сцена эта нам кажется, впрочем, утрированной), он пугается и даже тотчас соглашается изменить для нее свое решение. Мало этого: у него голова сложена довольно хорошо, и из нее не выбит здравый смысл. Он не говорит просто: «Так должно быть *потому*, что *я* так хочу»,— а старается отыскать резоны для своих решений. Но этим и ограничивается то, что мог он сохранить из добрых качеств своей натуры; далее начинаются приобретения самодурства. Видно, что Русаков, по мягкости своей природы, с самого начала кротко покорился существующему порядку, признав его законность; значит, не было нужды доказывать ему эту законность пинками и колотушками. Оттого в нем и в старости нет той враждебности и крутости, какую замечаем в других самодурах, выводимых Островским; оттого он не отвергает даже резонов в разговоре с низшими и младшими. Но быт «темного царства», в котором он вырос, ничего не дал ему в отношении резонности: ее нет в этом быте, и потому Русаков впадает в ту же несмысленность, в тот же мрак, в каком блуждают и другие собратья его, хуже одаренные природой.

Любопытно послушать мораль, до которой успел он возвыситься. Покорность, терпение, уважение к опыту и преданию, ограничение себя своим кругом — вот его основные положения. Дошел он до них грубо эмпирически, сопоставляя факты, но ничем их не осмысливая, потому что мысль его связана в то же время самым упорным, фаталистическим понятием о судьбе, распоряжающейся человеческими делами. Он появляется на сцену с сентенцией о том, что «нужно к старшим за советом ходить — старик худа не посоветует». Далее в ответ на сватовство Бородкина он говорит: «Я, значит, должон это дело сделать с разумом, потому — мне придется за дочь богу отвечать». На этом основании

он судьбой дочери распоряжается вот каким образом: «Статочное ли дело, чтобы поверить девке, кто ей понравится? Нет, это не порядок: пусть *мне* человек понравится. Я не за того отдам, кого она полюбит, а за того, кого *я* полюблю. Да, кого я полюблю, за того и отдам». В этом уж крепко сказывается и самодурство; но оно смягчается в Русакове следующим рассуждением: «Как девке поверить? что она видела? кого она знает?» Рассуждение справедливое в отношении к дочери Русакова; но ни Русакову и никому из его собратьев не приходит в голову спросить: «Отчего ж она ничего не видела и никого не знает? Какая же необходимость была воспитывать ее в таком блаженном неведении, что всякий ее может обмануть?..» Если б они задали себе этот вопрос, то из ответа и оказалось бы, что всему злу корень опять-таки не что иное, как их собственное самодурство. Русаков совершенно доволен своим положением и в бары лезть не желает, а образование он считает исключительной принадлежностью бар; вследствие того он и дочь свою так держит, что она остается, по его выражению, *дурой*. В ответ на сватанье Вихорева он говорит: «Ищите себе барышень воспитанных, а уж наших-то дур оставьте нам, мы своим-то найдем женихов каких-нибудь дешевеньких». В этих словах еще слышится ирония; но Русаков и серьезно продолжает в том же роде: «Ну, какая она барыня, посудите, отец: жила здесь в четырех стенах, свету не видала... Не за что вам и любить ее: она девушка простая, невоспитанная и совсем вам не пара. У вас есть родные, знакомые, все будут смеяться над ней, как над дурой, да и вам-то она опротивеет хуже горькой полыни... так отдам ли я дочь на такую каторгу!»

В этих рассуждениях всего печальнее то, что они совершенно справедливы. В самом деле — не очень-то веселая жизнь ожидала бы Авдотью Максимовну, если бы она вышла *за благородного*, хотя бы он и не был таким шалыганом, как Вихорев. Она в самом деле воспитана так, что в ней вовсе нет лица человеческого. Самая лучшая похвала ей из уст самого отца — какая же? — та, что «в глазах у нее только любовь да кротость: *она будет любить всякого мужа*, надо найти ей такого, чтобы ее-то любил». Это значит — доброта безразличная, безответная, именно такая, какая в мягких натурах вырабатывается под гнетом семейного деспотизма и какая всего более нравится самодурам. Для людей, привыкших опирать свои действия на здравом смысле и соображать их с требованиями справедливости и общего блага, такая доброта противна или, по крайней мере, жалка. Не мудрено рассудить, что если человек со всеми соглашается, то у него, значит, нет своих убеждений; если он всех любит и всем друг, то, значит, все для него безразличны; если девушка всякого мужа любить будет — то ясно, что сердце у ней составляет даже не кусок мяса, а просто какое-то расплывающееся тесто, в которое можно воткнуть что угодно...

Для человека, не зараженного самодурством, вся прелесть любви заключается в том, что воля другого существа гармонически сливается с его волей, без малейшего принуждения. Оттого-то

очарование любви и бывает так неполно и недостаточно, когда взаимность достигается какими-нибудь вымогательствами, обманом, покупается за деньги или вообще приобретается какими-нибудь внешними и посторонними средствами. Чувство любви может быть истинно хорошо только при внутренней гармонии любящих, и тогда оно составляет начало и залог того общественного благоденствия, которое обещается нам в будущем развитии человечества водворением братства и личной равноправности между людьми. Но самодурство и этого чувства не может оставить свободным от своего гнета: в его свободном и естественном развитии оно чувствует какую-то опасность для себя и потому старается убить прежде всего то, что служит его основанием,— личность. Для этого самодуры сочиняют свою мораль, свою систему житейской мудрости, и по их толкованиям выходит, что чем более личность стерта, неразличима, неприметна, тем она ближе к идеалу совершенного человека. «У него такой отличный характер, что он вынесет безропотно всякое оскорбление, будет любить самого недостойного человека» — вот похвала, выше которой самодур ничего не знает. А на наш взгляд, подобный человек есть дрянь, кисель, тряпка; он может быть хорошим *человеком,* но только в лакейском смысле этого слова. На другое же ни на что он не годен, и от него можно ожидать ровно столько же пакостей, сколько и хороших поступков: все будет зависеть от того, в какие руки он попадется. Ничего этого не признает Русаков в качестве самодура и твердит свое: «Все зло на свете от необузданности; мы бывало страх имели и старших уважали, так и лучше было... бить некому нынешних молодых людей, а то-то надо бы: палка-то по них плачет». И о чем бы он ни говорил — уважение к старшим на первом плане. Даже на Вихорева он сердится всего более за то, что тот «со старшими говорить не умеет». И на дочь свою, когда та делает попытку убедить отца, он, при всей своей мягкости, прикрикивает: «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» А затем он дает ей строгий приказ: «Вот тебе, Авдотья, мое последнее слово: или поди ты у меня за Бородкина, или я тебя и знать не хочу». И, чтобы приказ был действительнее, он подкрепляет его попреками: «Я тебя растил, я тебя берег пуще глазу... Что греха на душу принял, гордость меня одолела с тобой... Наказал бог по грехам». Говоря беспристрастно, такое обращение нельзя назвать очень гуманным; но в нашем «темном царстве» и оно еще довольно мягко, и Русаков по справедливости может быть назван лучшим из самодуров.

Зато и выработалась же добрая натура Авдотьи Максимовны под влиянием этого кроткого самодурства! Трудно представить более жалкую девушку. В сущности, она даже скорее комична, нежели жалка, так, как комична Софья Павловна со своей любовью к Молчалину, или Софья Сергеевна (в «Новейшем оракуле» г. Потехина [4]) с нежной страстью к Зильбербаху. Но над Авдотьей Максимовной нельзя смеяться: обстановка ее слишком мрачна. Когда мы одиноко идем в полночь по темному склепу, между могилами и вдруг за одной из гробниц пред нами внезапно является

какая-нибудь нелепая рожа и делает нам гримасу,— то, как бы гримаса ни была смешна, трудно засмеяться в эту минуту: невольно испугаешься. Так и комизм нашего «темного царства»: дело само по себе просто забавно, но в виду самодуров и жертв, во мраке ими задавленных, пропадает охота смеяться... Авдотья Максимовна в течение всей пьесы находится в сильнейшей ажитации, бессмысленной и пустой, если хотите, но тем не менее возбуждающей в нас не смех, а сострадание: бедная девушка в самом деле не виновата, что ее лишили всякой нравственной опоры внутри себя и воспитали только к тому, чтобы век ходить ей на привязи. Сердце у нее доброе, в характере много доверчивости, как у всех несчастных и угнетенных, не успевших еще ожесточиться; потребность в любви пробуждена, но она не находит для себя ни простора, ни разумной опоры, ни достойного предмета. В Авдотье Максимовне не развито настоящее понятие о том, что хорошо и что дурно, не развито уважение к побуждениям собственного сердца, а в то же время и понятие о нравственном долге развито лишь до той степени, чтобы признать его как внешнюю принудительную силу. В этом положении несчастная девушка и мечется, не зная, куда ей приклонить наконец свою голову. Отца она любит, но в то же время и боится, и даже как-то не совсем доверяет ему. Бородкин ей нравился; но ей сказали, что он мужик необразованный, и она теряется, не знает, что думать, и доходит до того, что Бородкин становится ей противен. Подвертывается Вихорев, который ничего не имеет, кроме наглости и вывесочной физиономии,— она прельщается Вихоревым. Но и тут она только понапрасну мучит саму себя: ни на одну минуту не стоит она на твердой почве, а все как будто тонет — то всплывет немножко, то опять погрузится... так и ждешь, что вот-вот сейчас потонет совсем... При первом ее появлении на сцену, в конце первого акта, Вихорев сообщает ей, что отец просватал ее за Бородкина: она наивно говорит: «Не беспокойтесь, я за Бородкина не пойду».— «А если отец прикажет?» — спрашивает Вихорев. «Нет,— говорит,— он насильно не заставит».— «А как заставит — что тогда?» — «Тогда,— идиотски отвечает она,— я уж, право, и не знаю, что мне делать с этим делом... такая-то напасть на меня!» Вихорев, для которого все средства хороши, предлагает ей уехать с ним тихонько; она приходит в ужас и восклицает: «Ах, нет, нет, что вы это? Ни за какие сокровища!» Отчего же такой ужас? Да просто оттого, видите, что «отец проклянет меня: каково мне будет тогда жить на белом свете?» Вследствие того она простодушно советует Вихореву переговорить с ее отцом; Вихорев предполагает неудачу, а она успокаивает его таким рассуждением: «Что же делать! знать, моя такая судьба несчастная... Вчера тетенька на картах гадала, что-то все дурно выходило, я уж не мало плакала». Вихорев стращает ее, что уедет на Кавказ и будет стараться, чтоб его там застрелили; она и к нему пристает: «Нет, не ездите. Что это вы — какие страсти говорите». Словом, девушка со всех сторон под страхом: там отцовское проклятие грозит, тут на картах дурно выходит, а здесь ми-

лого Вихорева того и гляди черкесы подстрелят. И хоть бы какое-нибудь внутреннее противодействие всем этим ужасам явилось в бедной девушке! Она простодушно и одинаково верит и отцовскому проклятию, и картам, и тому, что Вихорев поедет под пули,— и всего этого одинаково боится... Правду она говорит про себя в начале второго акта: «Как тень какая хожу, ног под собою не слышу... только чувствует мое сердце, что ничего из этого хорошего не выйдет. Уж я знаю, что много мне, бедной, тут слез пролить». Да и как же не пролить при таких порядках!..

## IV

...Самодурство и образование — вещи сами по себе противоположные, и потому столкновение между ними, очевидно, должно кончиться подчинением одного другому: или самодур проникнется началами образованности и тогда перестанет быть самодуром, или он образование сделает слугой своей прихоти, причем, разумеется, останется прежним невеждой. Последнее произошло с Гордеем Карпычем, как бывает почти со всеми самодурами. Он никак не предполагает, что первый шаг к образованности делается подчинением своего произвола требованиям рассудка и уважением тех же требований в других. Ему, напротив, кажется, что всякая образованность, всякая логика существует только затем, чтобы служить к совершеннейшему исполнению его прихотей. Оттого он и понимает только грубо материальную, чисто внешнюю сторону образования. «Что они,— говорит,— пьют-то по необразованию своему! Наливки там, вишневки разные — а не понимают того, что на это есть шампанское!», «А за столом-то какое невежество: молодец в поддевке прислуживает либо девка!». «Я,— говорит,— в здешнем городе только и вижу невежество да необразование; для того и хочу в Москву переехать и буду там *моду всякую подражать»*. Находя, что в этом-то подражании и состоит образованность, он пристает к жене, чтоб та на старости лет надела чепчик вместо головки, задавала модные вечера с музыкантами, отстала от всех своих старых привычек. Но он не видит никакой надобности изменить свои отношения к домашним, дать здравому смыслу хоть какое-нибудь участие в своем семейном быте. Требовательность Гордея Карпыча стала больше, а простора для деятельности всех окружающих он не дает по-прежнему. Жена жалуется, что с ним «нельзя сговорить, при его крутом-то характере», особенно после того, как *перенял* эту образованность. «То все-таки рассудок имел,— говорит про него Пелагея Егоровна,— а тут уж совсем у него помутилось...» Даже о судьбе дочери жена не смеет ничего сказать ему: «Смотрит зверем, ни словечка не скажет — точно я и не мать... Да, право... ничего я ему сказать не смею; разве с кем поговоришь с посторонним про свое горе, поплачешь, душу отведешь, только и всего...» Отношения Гордея Карпыча ко всем домашним тоже грубы и притеснительны в высшей степе-

ни. От дочери он только и требует, чтобы из его воли не смела выходить. На просьбу ее не выдавать ее за Коршунова он отвечает: «Ты, дура, сама не понимаешь своего счастья... Одно дело — ты будешь жить на виду, а не в этакой глуши; *а другое дело — я так приказываю»*. И дочь отвечает: «Я приказу твоего не смею ослушаться». Приказчика Митю Гордей Карпыч ругает бесцеремонно и совершенно напрасно. Узнавши, что он посылает матери деньги, Торцов замечает: «Себя-то бы образил прежде: матери-то не бог знает что нужно, не в роскоши воспитана; сама, чай, хлевы затворяла...» В глазах Гордея Карпыча это большое преступление: матери деньги посылает человек, а себе сюртука нового не сошьет!.. А между тем Торцов и не думает прибавить жалованья усердному приказчику, на что даже сам кроткий Митя жалуется: «Жалованье маленькое от Гордея Карпыча, все обида да брань, да все бедностью попрекает, точно я виноват... а жалованья не прибавляет». Вообще грубость и необузданность беспрестанно и очень сильно проявляются в Гордее Карпыче. Входя в комнату приказчиков, которые поют песню, он кричит: «Что распелись! Горланят, точно мужичье!..» — и начинает ругаться... Во втором акте, когда Пелагея Егоровна устроила вечеринку и позвала ряженых, вдруг вбегает Арина, говорит: «сам приехал», и все присутствующие встают в перепуге. Гордей Карпыч входит, и действительно — здоровается с женой и гостями следующим приветствием: «Это что за сволочь! Вон!.. Жена, принимай гостя!..» Гость этот — Африкан Савич, и он-то уж сдерживает несколько порывы гнева Гордея Карпыча... Ясно, что даже та внешность образования, которая выражается в манерах и приличиях, не далась Гордею Карпычу. Он мог надеть новый костюм, завести новую *небель*, пристраститься к *шемпанскому*, но в своей личности, в характере, даже во внешней манере обращения с людьми он не хотел ничего изменить, и во всех своих привычках он остался верен своей самодурной натуре, и в нем мы видим довольно любопытный образчик того, каким манером на всякого самодура действует образование. Казалось бы, человек попал на хорошую дорогу: сознал недостатки того образа жизни, какой вел доселе, исполнился негодованием против невежества, понял превосходство образованности вообще... Утешительное явление! Положим, что все это в нем еще смутно, слабо, неверно; но все-таки начало сделано, застой потревожен, деятельность получила новое направление... Быть может, он пойдет и дальше по этому пути, и нрав его смягчится, вся жизнь примет новый характер... Нет, не дожидайтесь... Во всяком другом образование возбуждает симпатические стремления, смягчает характер, развивает уважение к началам справедливости и т. д. Но в самодуре само просвещение, сама логика, сама добродетель принимает свой, дикий и безобразный, вид. Отправляясь от той точки, что его произвол должен быть законом для всех и для всего, самодур рад воспользоваться тем, что́ просвещение приготовило для удобств человека, рад требовать от других, чтоб его воля выполнялась лучше, сообразно с успехами разных знаний, с введением

новых изобретений и пр. Но только на этом он и остановится. Не ждите, чтоб он сам на себя наложил какие-нибудь ограничения вследствие сознания новых требований образованности; не думайте даже, чтоб он мог проникнуться серьезным уважением к законам разума и к выводам науки — это вовсе несообразно с натурой самодурства. Нет, он постоянно будет смотреть свысока на людей мысли и знания, как на чернорабочих, обязанных приготовлять материал для удобств его произвола, он постоянно будет отыскивать в новых успехах образованности предлоги для предъявлений новых прав своих, никогда не дойдет до сознания обязанностей, налагаемых на него теми же успехами образованности. Иначе и не может он поступать, не переставая быть самодуром, так как первое требование образованности в том именно и состоит, чтобы отказаться от самодурства. А отказаться от самодурства для какого-нибудь Гордея Карпыча Торцова — значит обратиться в полное ничтожество...

# ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА

## Учебное пособие для 1-го общего класса в военно-учебных заведениях. Составил В. Новаковский. СПб., 1858, в 8-ю д. л. 11 + 268 с.

# ОПЫТ ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

## Составленный домашним учителем С. Алейским. Вып. I. СПб., 1859, в 8-ю д. л. 82 с.

...Нам всегда казалось, что обучение русскому языку в низших классах должно главным образом содействовать развитию способностей учащихся и расширению круга их сведений. Читая с детьми произведения лучших отечественных писателей, заставляя детей пересказывать содержание прочитанного, объясняя им подробности, содержащиеся в рассказе, учитель имеет в виду познакомить их с предметами, дотоле им неизвестными, приучить их к связности суждений и к стройности изложения. При этом мимоходом, как дело самой последней возможности, могут быть сообщаемы и различные грамматические определения. Да и то надо делать только с целью — укрепить в памяти учеников самую сущность дела посредством сообщения его названия. Детям необходимо растолковать, как составляется суждение и какие условия необходимы для его составления; объяснив это, можно кстати заметить, что суждение называется грамматически предложением, что части

его — подлежащее и сказуемое и пр. Но толковать о предложении именно затем, чтобы дети хорошо усвоили себе этот грамматический термин, приводить примеры, читать стихи для того только, чтобы из них вырвать слова, которые могут быть названы предметами, т. е. подлежащими, а потом другие, означающие *действия* или *состояния* и потому могущие быть сказуемыми,— вести все начальное обучение языку к подобным результатам, это значит ни на шаг не отступать от старой схоластики. Прежде забивали голову дитяти формами склонения и спряжений и вместо живой речи и здравого смысла давали ему кучу грамматических формул и исключений да мертвых схоластических терминов; а теперь преподаватели, подобные г. Новаковскому, изо всех сил хлопочут, чтобы вбить в голову ребенка названия частей предложения и условные, часто ни на чем не основанные, правила грамматического анализа. Та же формальность, та же схоластика! Выходит, что вся разница нового учения от старого ограничивается лишь переменой заучиваемых слов. Какой-то составитель латинской грамматики ставил же себе в заслугу, что вместо обыкновенного образца первого склонения — *mensa* [1] он поставил в своем руководстве *sylva* [2], в этом роде и заслуга учебников русского языка, подобных курсу г. Новаковского. Составители этих курсов никак не хотят понять, что главное достоинство новой системы обучения языку состоит именно в изгнании схоластических формальностей и в заботе о развитии рассудка детей посредством упражнений в языке. Этого развития не достигнешь повторением на десяти страницах, что птица — предмет, и перо — предмет, и бумага — предмет, и дом, и лошадь, и царь, и книга, и ножик и пр.— все *предметы*, а летать, ходить, кричать, носить, делать и пр. означает *действие*. Напирая на изъяснение подобных *названий* (здесь дело идет чисто о названии, потому что сущность дела в этом случае понятна сразу детям даже шести- и семилетнего возраста), учитель только путает детей и приводит к отупению их здравый смысл. Вещи, в сущности чрезвычайно простые и доступные самому обыкновенному детскому пониманию, здесь только омрачаются разными тонкостями, подразделениями и терминами, изобретенными на мучение даже самого понятливого ребенка. Не угодно ли, например, полюбоваться, с каких понятий должен начинать изучение родного языка кадет 1-го общего класса, куда поступают мальчики около 10 лет. Вот оглавление *первых двух* параграфов курса г. Новаковского.

§ 1. Предмет: употребление, образование и значение этого слова. Предметы находятся в нашем уме как представления или понятия. Понятия о предметах выражаются словами, которые в языке составляют разряд имен существительных.

§ 2. Деление предметов, по способу их познания, на умственные и чувственные (мир вещественный). Подразделение первых, по их существу, на духовные (мир духовный) и отвлеченные (мир отвлеченный), а вторых, по отношению к произвольному движению, на одушевленные и неодушевленные. Понятие о каждом из них. Происхождение отвлеченных предметов и отличие их от духовных.

Спрашивается: какое впечатление произведет на детей изучение всех подразделений, образований, происхождений и отличий, изложенных в этих двух параграфах? И много ли подвинется знание детьми русского языка, если они все это выучат?

# КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?

...В новой повести г. Тургенева мы встречаем другие положения, другие типы, нежели к каким привыкли в его произведениях прежнего периода. Общественная потребность дела, живого дела, начало презрения к мертвым принципам и пассивным добродетелям выразились во всем строе новой повести. Без сомнения, каждый, кто будет читать нашу статью, уже прочитал теперь «Накануне». Поэтому мы вместо рассказа содержания повести представим только коротенький очерк главных ее характеров.

Героиней романа является девушка с серьезным складом ума, с энергической волей, с гуманными стремлениями сердца. Развитие ее совершилось очень своеобразно, благодаря особенным обстоятельствам семейным.

Отец и мать ее были люди очень ограниченные, но незлые; мать даже положительно отличалась добротой и мягкостью сердца. С самого детства Елена была избавлена от семейного деспотизма, который губит в зародыше так много прекрасных натур. Она росла одна, без подруг, совершенно свободно; никакой формализм не стеснял ее. Николай Артемьич Стахов, отец ее, человек туповатый, но корчивший из себя философа скептического тона и державшийся подальше от семейной жизни, сначала только восхищался своей маленькой Еленой, в которой рано обнаружились необыкновенные способности. Елена, пока была мала, тоже со своей стороны обожала отца. Но отношения Стахова к жене были не совсем удовлетворительны: он женился на Анне Васильевне для ее приданого, не питал к ней никакого чувства, обходился с нею почти с пренебрежением и удалялся от нее в общество Августины Христиановны, которая его обирала и дурачила. Анна Васильевна, больная и чувствительная женщина вроде Марьи Дмитриевны из «Дворянского гнезда», кротко переносила свое положение, но не могла на него не жаловаться всем в доме, и, между прочим, даже дочери. Таким образом, Елена скоро сделалась поверенной горестей своей матери и становилась невольно судьей между ней и отцом. При впечатлительности ее натуры это имело большое влияние на развитие ее внутренних сил. Чем менее она могла действовать практически в этом случае, тем более представлялось работы ее уму и воображению. Принужденная с ранних лет всматриваться во взаимные отношения близких ей людей, участвуя и сердцем и головой в разъяснении смысла этих отношений и произнесении суда над

ними, Елена рано приучила себя к самостоятельному размышлению, к сознательному взгляду на все окружающее. Семейные отношения Стаховых очеркнуты у г. Тургенева очень бегло, но в этом очерке есть глубоко верные указания, весьма много объясняющие первоначальное развитие характера Елены. По натуре своей она была ребенком впечатлительным и умным; положение ее между матерью и отцом рано вызвало ее на серьезные размышления, рано подняло ее до самостоятельной, до властительной роли. Она становилась в уровень со старшими, делала их подсудимыми пред собою. И в то же время размышления ее не были холодны, с ними сливалась вся душа ее, потому что дело шло о людях слишком близких, слишком дорогих для нее, об отношениях, с которыми связаны были самые святые чувства, самые живые интересы девочки. Оттого-то ее размышления прямо отражались на ее сердечном расположении: от обожания отца она перешла к страстной привязанности к матери, в которой она стала видеть существо притесненное, страдающее. Но в этой любви к матери не было ничего враждебного к отцу, который не был ни злодеем, ни положительным дураком, ни домашним тираном. Он был только весьма обыкновенной посредственностью, и Елена охладела к нему, инстинктивно, а потом, может, и сознательно решив, что любить его не за что. Да скоро ту же посредственность увидала она и в матери, и в сердце ее вместо страстной любви и уважения осталось лишь чувство сожаления и снисхождения: г. Тургенев очень удачно очертил ее отношение к матери, сказавши, что она «обходилась с матерью, как с больной бабушкой». Мать признала себя ниже дочери; отец же, как только дочь стала перерастать его умственно, что было очень нетрудно, охладел к ней, решил, что она странная, и отступился от нее.

А в ней между тем все росло и расширялось сострадательное, гуманное чувство. Боль о чужом страдании была возбуждена в ее ребяческом сердце убитым видом матери, конечно, еще прежде, нежели она стала понимать хорошенько, в чем дело. Эта боль давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждом новом шаге ее развития, придавала особенный, задумчиво-серьезный склад ее мыслям, мало-помалу вызвала и определила в ней деятельные стремления и все их направила к страстному, неодолимому исканию добра и счастья для всех. Еще смутны были эти искания, слабы силы Елены, когда она нашла новую пищу для своих размышлений и мечтаний, новый предмет своего участия и любви — в странном знакомстве с нищей девочкой Катей. На десятом году подружилась она с этой девочкой, тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривенники (игрушек Катя не брала); сидела с ней по целым часам, с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб; слушала ее рассказы, выучилась ее любимой песенке, с тайным уважением и страхом слушала, как Катя обещалась убежать от своей злой тетки, чтобы жить *на всей божьей воле,* и сама мечтала о том, как она наденет сумку и убежит с Катей. Катя скоро умерла, но знакомство

с ней не могло не оставить резких следов в характере Елены. К ее чистым, человечным, сострадательным расположениям оно прибавило еще новую сторону: оно внушило ей то презрение или, по крайней мере, то строгое равнодушие к ненужным излишествам богатой жизни, которое всегда проникает в душу не совсем испорченного человека в виду беспомощной нищеты. Скоро вся душа Елены загорелась жаждой деятельного добра, и жажда эта стала на первый раз удовлетворяться обычными делами милосердия, какие возможны были для Елены. «Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала с них всех своих знакомых». Даже «все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими». Отец ее называл все это пошлым нежничанием; но Елена не была сентиментальна, потому что сентиментальность именно характеризуется избытком чувств и слов при совершенном недостатке деятельной любви, а чувство Елены постоянно стремилось проявиться на деле. Пустых ласк и нежностей она не терпела и вообще не придавала значения словам без дела и уважала только практически полезную деятельность. Даже стихов она не любила, даже в художестве толку не знала.

Но деятельные стремления души зреют и крепнут только при деятельности просторной и вольной. Надо испробовать несколько раз свои силы, испытать неудачи и стокновения, узнать, чего стоят разные усилия и как преодолеваются разные препятствия для того, чтобы приобрести отвагу и решимость, необходимые для деятельной борьбы, чтобы узнать меру своих сил и уметь найти для них соответственную работу. Елена при всей свободе своего развития не могла найти достаточно средств для того, чтобы деятельно упражнять свои силы и удовлетворять свои стремления. Ей никто не мешал делать, что она хочет; но делать было нечего. Ее не стесняли педантизмом систематического учения, и потому она успела образоваться, не принявши в себя множество предрассудков, неразлучных с системами, курсами и вообще с рутинной образования. Она много и с участием читала; но одно чтение не могло удовлетворять ее: оно имело только то влияние, что рассудочная сторона развилась в Елене сильнее других и умственная требовательность стала пересиливать даже живые стремления сердца. Подавание милостыни, уход за щенками и котятами, защита мухи от паука тоже не могли удовлетворять ее: когда она стала побольше и поумнее, она не могла не увидеть всю скудость этой деятельности; да притом эти занятия требовали от нее весьма мало усилий и не могли наполнять ее существования. Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше; но чего — она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело. От этого и находилась она постоянно в какой-то ажитации, все ждала и искала чего-то; от этого и наружность ее приняла такой особенный характер. «Во всем ее существе, в выражении лица, *внимательном и немного пугливом, в яс-*

*ном, но изменчивом* взоре, в улыбке как будто *напряженной,* в голосе, *тихом и неровном,* было что-то нервическое, электрическое, что-то *порывистое и торопливое...»* Ясно, что она еще находится в неопределенных сомнениях относительно самой себя, она еще не определила своей роли. Она поняла, чего ей не нужно, и смотрит гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; но что ей нужно, и главное — что делать, чтобы достигнуть того, что нужно,— этого она не знает, и потому все существо ее напряжено, неровно, порывисто. Она все ждет, все живет накануне чего-то... Она готова к самой живой, энергической деятельности, но приступить к делу сама по себе, одна она не смеет.

В этой-то несмелости, в этой практической пассивности при богатстве внутренних сил и при томительной жажде деятельности мы и видим живую связь героини г. Тургенева со всем нашим образованным обществом. По тому, как задуман характер Елены, она представляет явление исключительное, и если бы на самом деле она являлась везде выразительницей своих воззрений и стремлений, она бы оказалась чуждою русскому обществу и не имела бы для нас такого смысла, как теперь. Она была бы лицом сочиненным, растением, неудачно пересаженным на нашу почву откуда-нибудь из другой земли. Но верное чутье действительности не позволило г. Тургеневу придать своей героине полного соответствия практической деятельности с теоретическими ее понятиями и внутренними порывами души. На это еще не дает писателю материалов наша общественная жизнь. Во всем нашем обществе заметно теперь только еще пробудившееся желание приняться за настоящее дело, сознание пошлости разных красивых игрушек, возвышенных рассуждений и неподвижных форм, которыми мы так долго себя тешили и дурачили. Но мы еще все-таки не вышли из той сферы, в которой так спокойно было нам спать, да и не знаем хорошенько, где выход; а если кто и узнает, то еще боится открыть его. Это трудное, томительное положение общества необходимо кладет свою печать и на художественное произведение, вышедшее из среды его. В обществе могут быть отдельные сильные натуры, отдельные лица могут достигать высокого развития нравственного; вот и в литературных произведениях являются такие личности. Но все это так и остается только в очерке натуры лица, а в жизнь не переносится: предполагается возможным, но в действительности не совершается. В Ольге «Обломова» мы видели женщину идеальную, далеко ушедшую в своем развитии от всего остального общества; но где ее практическая деятельность? Она способна, кажется, создать новую жизнь, а живет между тем в той же пошлости, в какой и все ее подруги, потому что от этой пошлости некуда уйти ей. Штольц ей нравится как энергическая, деятельная натура; а между тем и он при всем искусстве автора «Обломова» в обрисовке характеров является перед нами со своими способностями и не дает видеть, как он их применяет; он лишен почвы под ногами и плавает перед нами как будто в каком-то тумане. Теперь в Елене г. Тургенева мы видим новую попытку создания энергического, дея-

тельного характера и не можем сказать, чтобы обрисовка самого характера не удалась автору. Если и редко кому случалось встречать таких женщин, как Елена, зато, конечно, многим приходилось замечать в самых обыкновенных женщинах зародыши тех или других существенных черт ее характера, возможность развития многих из ее стремлений. Как идеальное лицо, составленное из лучших элементов, развивающихся в обществе, Елена понятна и близка нам. Самые стремления ее определяются для нас очень ясно: Елена как будто служит ответом на вопросы и сомнения Ольги, которая, поживши со Штольцем, томится и тоскует и сама не может дать себе ответа — о чем. В образе Елены объясняется причина этой тоски, необходимо поражающей всякого порядочного русского человека, как бы ни хороши были его собственные обстоятельства. Елена жаждет деятельного добра, она ищет возможности устроить счастье вокруг себя, потому что она не понимает возможности не только счастья, но даже и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастья, бедность и унижение ее ближних.

Но какую же деятельность, сообразную с такими внутренними требованиями, мог дать г. Тургенев своей героине? На это даже и отвлеченным образом трудно ответить; а художественно создать эту деятельность, вероятно, еще и невозможно для русского писателя настоящего времени. Неоткуда взять деятельности, и поневоле автор заставил свою героиню дешевым образом проявлять свои высокие стремления в подаче милостыни да большего напряжения и борьбы, она и не умеет и боится приняться. Она видит во всем окружающем, что одно давит другое, и потому именно вследствие своего гуманного, сердечного развития старается держаться в стороне от всего, чтобы как-нибудь тоже не начать давить других. В доме ни в чем не заметно ее влияние; отец и мать ей как чужие; они боятся ее авторитета, но никогда она не обратится к ним с советом, указанием или требованием. Для нее живет в доме компаньонка Зоя, молодая добродушная немка; Елена от нее сторонится, почти не говорит с ней, и отношения их очень холодны. Тут же проживает Шубин, молодой художник, о котором мы сейчас будем говорить; Елена уничтожает его своими приговорами, но и не думает постараться приобрести над ним какое-нибудь влияние, которое было бы ему очень полезно. Во всей повести нет ни одного случая, где бы жажда деятельного добра заставила Елену вмешаться в дела окружающей среды и проявить чем-нибудь свое влияние. Мы не думаем, чтоб это зависело от случайной ошибки автора; нет, в нашем обществе еще очень недавно, да и не между женщинами, а из среды мужчин, возвышался и блистал особенный тип людей, гордившихся своим устранением от окружающей их среды. «Тут невозможно сохранить себя чистым,— говорили они,— и притом вся эта среда так мелка и пошла, что лучше удалиться от нее в сторону». И они, точно, удалялись, не сделав ни одной энергической попытки для исправления этой пошлой среды, и удаление их считалось единственным честным выходом из их положения и прославлялось, как подвиг. Естест-

венно, что, имея в виду такие примеры и понятия, автор не мог лучше осветить домашнюю жизнь Елены, как поставив ее совершенно в стороне от этой жизни. Впрочем, как мы сказали, бессилию Елены придан в повести особенный мотив, вытекающий из ее женственного, гуманного чувства: она боится всяких столкновений не по недостатку мужества, а из опасности нанести кому-нибудь оскорбление и вред. Никогда не испытав полной, деятельной жизни, она воображает еще, что ее идеалы могут быть достигнуты без борьбы, без ущерба кому бы то ни было. После одного случая (когда Инсаров героически бросил в воду пьяного немца) она писала в своем дневнике: «Да, с ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот яд в глазах? Или, может статься, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом, и остаться кротким и мягким?» Эта простая мысль пришла ей в голову только теперь, да и то еще в виде вопроса, которого она так и не разрешает.

В этой-то неопределенности, в этом бездействии при беспрерывном томительном ожидании в чем-то доживает Елена до двадцатого года своей жизни. По временам ей очень тяжело: она сознает, что силы ее пропадают даром, что жизнь ее пуста; она говорит про себя: «Хотя бы в служанки куда-нибудь пошла, право; мне было бы легче». Это тяжкое расположение увеличивается в ней тем, что она ни в ком не находит отзыва на свои чувства, ни в ком не видит опоры для себя...

...В Инсарове, строго говоря, нет ничего чрезвычайного. Берсенев, и Шубин, и сама Елена, и, наконец, даже автор повести характеризуют его все более отрицательными качествами. Он никогда не лжет, не изменяет своему слову, не берет взаймы денег, не любит разговаривать о своих подвигах, не откладывает исполнения принятого решения, его слово не расходится с делом и т. п. Словом, в нем нет никаких черт, за которые должен горько упрекать себя человек, имеющий претензию считать себя порядочным. Но, кроме того, он — болгар, питающий в душе страстное желание освободить свою родину, и этой мысли он предается весь, открыто и уверенно, в ней заключается конечная цель его жизни. Он не думает ставить свое личное благо в противоположность с этой целью; подобная мысль, столь естественная в русском ученом дворянине Берсеневе, не может даже в голову прийти простому болгару. Напротив, он потому-то и хлопочет о свободе родины, что в этом видит свое личное спокойствие, счастье всей своей жизни; он бы оставил в покое порабощенную родину, если б только мог найти удовлетворение себе в чем-нибудь другом. Но он никак не может понять себя отдельно от родины. «Как же это можно быть довольным и счастливым, когда свои земляки страдают? — думает он.— Как же может человек успокоиться, пока его родина порабощена и угнетена? И какое занятие может быть для него приятно, если оно не ведет к облегчению участи бедных земляков?» Таким образом, он делает свое задушевное дело совершенно спокойно, без натяжек, без фанфаронад, так же просто, как ест и пьет. Покамест ему приходится

еще мало работать для прямого выполнения своей идеи; но что же делать? Ему приходится теперь и есть плохо и мало и даже иной раз голодать случается; но все-таки пища, хоть и скудная, составляет необходимое условие его существования. Так и освобождение родины: он учится в Московском университете, чтобы образоваться вполне и сблизиться с русскими, и в течение повести довольствуется покамест тем, что переводит болгарские песни на русский язык, составляет болгарскую грамматику для русских и русскую для болгар, переписывается со своими земляками и собирается ехать на родину подготовлять восстание при первой вспышке Восточной войны (действие повести в 1853 г.). Конечно, это скудная пища для деятельного патриота Инсарова; но он свое пребывание в Москве не считает еще настоящей жизнью, свою слабую деятельность не считает удовлетворительной даже для своего личного чувства. Он также живет накануне великого дня свободы, в который существо его озарится сознанием счастья, жизнь наполнится и будет уже настоящей жизнью. Этого дня ждет он, как праздника, и вот почему не приходит ему в голову сомневаться в себе и холодно рассчитывать и взвешивать, сколько именно может он сделать и с каким великим мужем успеет поравняться. Будет ли он Тимофеем Николаичем или Иваном Иванычем — до этого ему решительно нет дела; придется ли быть нумером первым или вторым — он об этом и не думает. Он будет делать то, к чему влечет его натура; если натура у него такая, что других лучше не найдется, он станет первым нумером, пойдет во главе; если найдутся люди крепче и смелее его, он пойдет за ними и в обоих случаях останется неизменным и верным себе. Где стать и до чего дойти — это определяют обстоятельства; но он хочет идти, он не может нейти, не потому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долг, а потому, что он умер бы, если бы ему нельзя было двинуться с места. В этом огромная разница между ним и Берсеневым. Берсенев тоже способен к жертвам и подвигам, но он похож при этом на великодушную девушку, которая для спасения отца решается на ненавистный брак. С затаенной болью и тяжкой покорностью судьбе ждет она дня свадьбы и рада была бы, если б что-нибудь ей помешало. Инсаров, напротив, дня своих подвигов, наступления своей самоотверженной деятельности ждет страстно и нетерпеливо, как влюбленный юноша ждет дня свадьбы с любимой девушкой. Одна только боязнь и тревожит его: как бы что-нибудь не расстроило, не отсрочило желанной минуты. Любовь к свободе родины у Инсарова не в рассудке, не в сердце, не в воображении: она у него во всем организме, и что бы ни вошло в него, все претворяется силой этого чувства, подчиняется ему, сливается с ним. Оттого при всей обыкновенности своих способностей, при всем отсутствии блеска в своей натуре он стоит неизмеримо выше, действует на Елену несравненно сильнее и обаятельнее, нежели блестящий Шубин и умный Берсенев, хотя оба они тоже люди благородные и любящие. Елена делает о Берсеневе очень меткое замечание в своем дневнике (на который вообще автор не пожалел своего глубокомыслия и остроумия): «Анд-

рей Петрович, может быть, ученее его (Инсарова), может быть, даже умнее... Но я не знаю — он перед ним такой маленький...»

Нам остается свести отдельные черты, разбросанные в этой статье (за неполноту которой просим извинения у читателей), и сделать общее заключение.

Инсаров, как человек, сознательно и всецело проникнутый великой идеей освобождения родины и готовый принять в ней деятельную роль, не мог развиться и проявить себя в современном русском обществе. Даже Елена, так полно умевшая полюбить его и так слиться с его идеями, и она не может оставаться среди русского общества, хотя там все ее близкие и родные. Итак, великим идеям, великим сочувствиям нет еще места среди нас?.. Все героическое, деятельное должно бежать от нас, если не хочет умереть от бездействия или погибнуть напрасно? Не так ли? Не таков ли смысл повести, разобранной нами?

Мы думаем, что нет. Правда, для широкой деятельности нет у нас открытого поприща; правда, наша жизнь проходит в мелочах, в плутнях, интрижках, сплетнях и подличанье; правда, наши гражданские деятели лишены сердца и часто крепколобы, наши умники палец об палец не ударят, чтобы доставить торжество своим убеждениям, наши либералы и реформаторы отправляются в своих проектах от юридических тонкостей, а не от стона и вопля несчастных братьев. Все это так. Но мы все-таки думаем, что *теперь* в нашем обществе есть уже место великим идеям и сочувствиям и что недалеко время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле.

Дело в том, что как бы ни плоха наша жизнь, но в ней уже оказалась возможность таких явлений, как Елена. И мало того, что такие характеры стали возможны в жизни, они уже охвачены художническим сознанием, внесены в литературу, возведены в тип. Елена — лицо идеальное, но черты ее нам знакомы, мы ее понимаем, сочувствуем ей. Что это значит? То, что основа ее характера — любовь к страждущим и притесненным, желание деятельного добра, томительное искание того, кто бы показал, как делать добро,— все это, наконец, чувствуется в лучшей части нашего общества. И чувство это так сильно и так близко к осуществлению, что оно уже не обольщается, как прежде, ни блестящим, но бесплодным умом и талантом, ни добросовестной, но отвлеченной ученостью, ни служебными добродетелями, ни даже добрым, великодушным, но пассивно развитым сердцем. Для удовлетворения нашего чувства, нашей жажды нужно более: нужен человек, как Инсаров,— но русский Инсаров.

На что ж он нам? Мы сами говорили выше, что нам не нужно героев-освободителей, что мы народ владетельный, а не порабощенный...

Да, извне мы ограждены, да если б и случилась внешняя борьба, то мы можем быть спокойны. У нас для военных подвигов всегда было довольно героев, и в восторгах, какие доныне испытывают барышни от офицерской формы и усиков, можно видеть неоспо-

римые доказательства того, что общество наше умеет ценить этих героев. Но разве мало у нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними и разве не требуется геройство для этой борьбы? А где у нас люди, способные к делу? Где люди цельные, с детства охваченные одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно или доставить торжество этой идее, или умереть? Нет таких людей, потому что наша общественная среда до сих пор не благоприятствовала их развитию. И вот от нее-то, от этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас новые люди, которых появления так нетерпеливо и страстно ждет все лучшее, все свежее в нашем обществе.

Трудно еще явиться такому герою; условия для его развития и особенно для первого проявления его деятельности крайне неблагоприятны, а задача гораздо сложнее и труднее, чем у Инсарова. Враг внешний, притеснитель привилегированный гораздо легче может быть застигнут и побежден, нежели враг внутренний, рассеянный повсюду в тысяче разных видов, неуловимый, неуязвимый, а между тем тревожащий нас всюду, отравляющий всю жизнь вашу и не дающий вам ни отдохнуть, ни осмотреться в борьбе. С этим внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно избавиться, только переменивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, вырос и усилился, обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может.

Возможно ли это? Когда это возможно? Из двух вопросов можно отвечать категорически только на первый. Да, это возможно, и вот почему. Мы говорили выше о том, как наша общественная среда подавляет развитие личностей, подобных Инсарову. Но теперь мы можем сделать дополнение к своим словам: среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможет явлению такого человека. Вечная пошлость, мелочность и апатия не могут же быть законным уделом человека, и люди, составляющие общественную среду нашу и закованные в ее условия, давно уже поняли всю тяжесть и нелепость этих условий. Одни скучают, другие рвутся всеми силами куда-нибудь, только бы избавиться от этого гнета. Разные исходы придумывались, разные средства употреблялись, чтобы чем-нибудь оживить мертвость и гнилость нашей жизни; но все это было слабо и недействительно. Наконец теперь появляются уже такие понятия и требования, какие мы видим в Елене; требования эти принимаются обществом с сочувствием; мало того — они стремятся к деятельному осуществлению. Это значит, что уж старая общественная рутина отживает свой век; еще несколько колебаний, еще несколько сильных слов и благоприятных фактов, и явятся деятели!

Выше мы заметили, что решимость и энергию сильной натуры убивает у нас еще в самом начале то идиллическое восхищение всем на свете, то расположение к ленивому самодовольству и сонному покою, которое встречает каждый из нас еще ребенком во всем окружающем и к которому его тоже стараются приучить все-

возможными советами и наставлениями. Но в последнее время и это условие сильно изменилось. Везде и во всем заметно самосознание, везде понята несостоятельность старого порядка вещей, везде ждут реформ и исправлений, и никто уже не убаюкивает своих детей песней о том, какое непостижимое совершенство представляет современный порядок дел в России. Напротив, теперь каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего, а не привязываясь насильно к трупу отжившего прошедшего. Когда придет их черед приняться за дело, они уже внесут в него ту энергию, последовательность и гармонию сердца и мысли, о которых мы едва могли приобрести теоретическое понятие.

Тогда и в литературе явится полный, резко и живо очерченный образ русского Инсарова. И недолго нам ждать его: за это ручается то лихорадочное, мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же наконец этот день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..

# ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ

...Дело в том, что характер Катерины, как он исполнен в «Грозе», составляет шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но и во всей нашей литературе. Он соответствует новой фазе нашей народной жизни, он давно требовал своего осуществления в литературе, около него вертелись наши лучшие писатели; но они умели только понять его надобность и не могли уразуметь и прочувствовать его сущности; это сумел сделать Островский. Ни одна из критик на «Грозу» не хотела или не умела представить надлежащей оценки этого характера; поэтому мы решаемся еще продлить нашу статью, чтобы с некоторой обстоятельностью изложить, как мы понимаем характер Катерины и почему создание его считаем так важным для нашей литературы.

Русская жизнь дошла наконец до того, что добродетельные и почтенные, но слабые и безличные существа не удовлетворяют общественного сознания и признаются никуда не годными. Почувствовалась неотлагательная потребность в людях, хотя бы и менее прекрасных, но более деятельных и энергичных. Иначе и невозможно: как скоро сознание правды и права, здравый смысл проснулись в людях, они непременно требуют не только отвлеченного с ними согласия (которым так блистали всегда добродетельные герои прежнего времени), но и внесения их в жизнь, в деятельность. Но чтобы внести их в жизнь, надо побороть много препятствий,

подставляемых Дикими, Кабановыми и т. п.; для преодоления препятствий нужны характеры предприимчивые, решительные, настойчивые. Нужно, чтобы в них воплотилось, с ними слилось то общее требование правды и права, которое наконец прорывается в людях сквозь все преграды, поставленные Дикими-самодурами...

...Таким образом, возникновение женского энергического характера вполне соответствует тому положению, до какого доведено самодурство в драме Островского. Оно дошло до крайности, до отрицания всякого здравого смысла; оно более, чем когда-нибудь, враждебно естественным требованиям человечества и ожесточеннее прежнего силится остановить их развитие, потому что в торжестве их видит приближение своей неминуемой гибели. Через это оно еще более вызывает ропот и протест даже в существах самых слабых. А вместе с тем самодурство, как мы видели, потеряло свою самоуверенность, лишилось и твердости в действиях, утратило и значительную долю той силы, которая заключалась для него в наведении страха на всех. Поэтому протест против него не заглушается уже в самом начале, а может превратиться в упорную борьбу. Те, которым еще сносно жить, не хотят теперь рисковать на подобную борьбу, в надежде, что и так недолго прожить самодурству. Муж Катерины, молодой Кабанов, хоть и много терпит от старой Кабанихи, но все же он свободнее: он может и к Савелу Прокофьевичу выпить сбегать, он и в Москву съездит от матери и там развернется на воле, а коли плохо ему уж очень придется от старухи, так есть на ком вылить свое сердце — он на жену вскинется... Так и живет себе и воспитывает свой характер, ни на что не годный, все в тайной надежде, что вырвется как-нибудь на волю. Жене его нет никакой надежды, никакой отрады, передышаться ей нельзя; если может, то пусть живет без дыхания, забудет, что есть вольный воздух на свете, пусть отречется от своей природы и сольется с капризным деспотизмом старой Кабанихи. Но вольный воздух и свет, вопреки всем предосторожностям погибающего самодурства, врываются в келью Катерины, она чувствует возможность удовлетворить естественной жажде своей души и не может долее оставаться неподвижной: она рвется к новой жизни, хотя бы пришлось умереть в этом порыве. Что ей смерть? Все равно — она не считает жизнью и то прозябание, которое выпало ей на долю в семье Кабановых.

Такова основа всех действий характера, изображенного в «Грозе». Основа эта надежнее всех возможных теорий и пафосов, потому что она лежит в самой сущности данного положения, влечет человека к делу неотразимо, не зависит от той или другой способности или впечатления в частности, а опирается на всю сложность требований организма, на выработку всей натуры человека. Теперь любопытно, как развивается и проявляется подобный характер в частных случаях. Мы можем проследить его развитие по личности Катерины.

Прежде всего нас поражает необыкновенная своеобразность этого характера. Ничего нет в нем внешнего, чужого, а все выхо-

дит как-то изнутри его; всякое впечатление перерабатывается в нем и затем срастается с ним органически. Это мы видим, например, в простодушном рассказе Катерины о своем детском возрасте и о жизни в доме у матери. Оказывается, что воспитание и молодая жизнь ничего не дали ей: в доме ее матери было то же, что и у Кабановых,— ходили в церковь, шили золотом по бархату, слушали рассказы странниц, обедали, гуляли по саду, опять беседовали с богомолками и сами молились... Выслушав рассказ Катерины, Варвара, сестра ее мужа, с удивлением замечает: «Да ведь и у нас то же самое». Но разница определяется Катериной очень быстро в пяти словах: «Да здесь все как будто из-под неволи!» И дальнейший разговор показывает, что во всей этой внешности, которая так обыденна у нас повсюду, Катерина умела находить свой особенный смысл, применять ее к своим потребностям и стремлениям, пока не налегла на нее тяжелая рука Кабанихи. Катерина вовсе не принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным, любящим разрушать во что бы то ни стало. Напротив, это характер по преимуществу созидающий, любящий, идеальный. Вот почему она старается все осмыслить и облагородить в своем воображении. Это настроение, при котором, по выражению поэта,

Весь мир мечтою благородной
Пред ним очищен и омыт,— [1]

это настроение до последней крайности не покидает Катерину. Всякий внешний диссонанс она старается согласить с гармонией своей души, всякий недостаток покрывает из полноты своих внутренних сил. Грубые, суеверные рассказы и бессмысленные бредни странниц превращаются у нее в золотые, поэтические сны воображения, не устрашающие, а ясные, добрые. Бедны ее образы, потому что материалы, представляемые ей действительностью, так однообразны; но и с этими скудными средствами ее воображение работает неутомимо и уносит ее в новый мир, тихий и светлый. Не обряды занимают ее в церкви: она совсем и не слышит, что там поют и читают; у нее в душе иная музыка, иные видения, для нее служба кончается неприметно, как будто в одну секунду. Ее занимают деревья, странно нарисованные на образах, и она воображает себе целую страну садов, где все такие деревья и все это цветет, благоухает, все полно райского пения. А то увидит она в солнечный день, как «из купола светлый такой столб вниз идет и в этом столбе ходит дым, точно облака»,— и вот она уже видит, «будто ангелы в этом столбе летают и поют». Иногда представится ей — отчего бы и ей не летать? И когда на горе стоит, то так ее и тянет лететь: вот так бы разбежалась, подняла руки, да и полетела. Она странная, сумасбродная с точки зрения окружающих; но это потому, что она никак не может принять в себя их воззрения и наклонности. Она берет от них материалы, потому что иначе взять их неоткуда; но не берет выводов, а ищет их сама и часто приходит вовсе не к тому, на чем успокаиваются они. Подобное

отношение к внешним впечатлениям мы замечаем и в другой среде, в людях, по своему воспитанию привыкших к отвлеченным рассуждениям и умеющих анализировать свои чувства. Вся разница в том, что у Катерины как личности непосредственной, живой все делается по влечению натуры, без отчетливого сознания, а у людей, развитых теоретически и сильных умом, главную роль играет логика и анализ. Сильные умы именно и отличаются той внутренней силой, которая дает им возможность не поддаваться готовым воззрениям и системам, а самим создавать свои взгляды и выводы на основании живых впечатлений. Они ничего не отвергают сначала, но ни на чем не останавливаются, а только все принимают к сведению и перерабатывают по-своему. Аналогические результаты представляет нам и Катерина, хотя она и не резонирует и даже не понимает сама своих ощущений, а водится прямо натурой. В сухой, однообразной жизни своей юности, в грубых и суеверных понятиях окружающей среды она постоянно умела брать то, что соглашалось с ее естественными стремлениями к красоте, гармонии, довольству, счастью. В разговорах странниц, в земных поклонах и причитаниях она видела не мертвую форму, а что-то другое, к чему постоянно стремилось ее сердце. На основании их она строила себе иной мир, без страстей, без нужды, без горя, мир, весь посвященный добру и наслаждению. Но в чем настоящее добро и истинное наслаждение для человека, она не могла определить себе; вот отчего эти внезапные порывы каких-то безотчетных, неясных стремлений, о которых она вспоминает: «Иной раз бывало рано утром в сад уйду, еще только солнышко восходит,— упаду на колени, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чем молюсь и о чем плачу; так меня и найдут. И об чем я молилась тогда, чего просила — не знаю; ничего мне не надобно, всего у меня было довольно». Бедная девочка, не получившая широкого теоретического образования, не знающая всего, что на свете делается, не понимающая хорошенько даже своих собственных потребностей, не может, разумеется, дать себе отчета в том, что ей нужно. Покамест она живет у матери, на полной свободе, без всякой житейской заботы, пока еще не обозначились в ней потребности и страсти взрослого человека, она не умеет даже отличить своих собственных мечтаний, своего внутреннего мира от внешних впечатлений. Забываясь среди богомолок в своих радужных думах и гуляя в своем светлом царстве, она все думает, что ее довольство происходит именно от этих богомолок, от лампадок, зажженных по всем углам в доме, от причитаний, раздающихся вокруг нее; своими чувствами она одушевляет мертвую обстановку, в которой живет, и сливает с ней внутренний мир души своей. Это период детства, для многих тянущийся долго, очень долго, но все-таки имеющий свой конец. Если конец приходит очень поздно, если человек начинает понимать, чего ему нужно, тогда уже, когда бóльшая часть жизни изжита,— в таком случае ему ничего почти не остается, кроме сожаления о том, что так долго принимал он собственные мечты за действительность. Он находится тогда в не-

чальном положении человека, который, наделив в своей фантазии всеми возможными совершенствами свою красавицу и связав с нею жизнь свою, вдруг замечает, что все совершенства существовали только в его воображении, а в ней самой нет и следа их. Но характеры сильные редко поддаются такому решительному заблуждению: в них очень сильно требование ясности и реальности, и оттого они не останавливаются на неопределенностях и стараются выбраться из них во что бы то ни стало. Заметив в себе недовольство, они стараются прогнать его; но, видя, что оно не проходит, кончают тем, что дают полную свободу высказаться новым требованиям, возникающим в душе, и затем уже не успокоятся, пока не достигнут их удовлетворения. А тут и сама жизнь приходит на помощь — для одних благоприятно, расширением круга впечатлений, а для других трудно и горько — стеснениями и заботами, разрушающими гармоническую стройность юных фантазий. Последний путь выпал на долю Катерине, как выпадает он на долю большей части людей в «темном царстве» Диких и Кабановых.

В сумрачной обстановке новой семьи начала чувствовать Катерина недостаточность внешности, которой думала довольствоваться прежде. Под тяжелой рукой бездушной Кабанихи нет простора ее светлым видениям, как нет свободы ее чувствам. В порыве нежности к мужу она хочет обнять его — старуха кричит: «Что на шею виснешь, бесстыдница? В ноги кланяйся!» Ей хочется остаться одной и погрустить тихонько, как бывало, а свекровь говорит: «Отчего не воешь?» Она ищет света, воздуха, хочет помечтать и порезвиться, полить свои цветы, посмотреть на солнце, на Волгу, послать свой привет всему живому — а ее держат в неволе, в ней постоянно подозревают нечистые, развратные замыслы. Она ищет прибежища по-прежнему в религиозной практике, в посещении церкви, в душеспасительных разговорах, но и здесь не находит уже прежних впечатлений. Убитая дневной работой и вечной неволей, она уже не может с прежней ясностью мечтать об ангелах, поющих в пыльном столбе, освещенном солнцем, не может вообразить себе райских садов с их невозмущающим видом и радостью. Все мрачно, страшно вокруг нее, все веет холодом и какой-то неотразимой угрозой: и лики святых так строги, и церковные чтения так грозны, и рассказы странниц так чудовищны... Они все те же в сущности, они нимало не изменились, но изменилась она сама; в ней уже нет охоты строить воздушные видения, да уж и не удовлетворяет ее то неопределенное воображение блаженства, которым она наслаждалась прежде. Она возмужала, в ней проснулись другие желания, более реальные; не зная иного поприща, кроме семьи, иного мира, кроме того, какой сложился для нее в обществе ее городка, она, разумеется, и начинает сознавать из всех человеческих стремлений то, которое все неизбежнее и всего ближе к ней,— стремление любви и преданности. В прежнее время ее сердце было слишком полно мечтами, она не обращала внимания на молодых людей, которые на нее загля-

дывались, а только смеялась. Выходя замуж за Тихона Кабанова, она и его не любила; она еще и не понимала этого чувства; сказали ей, что всякой девушке надо замуж выходить, показали Тихона как будущего мужа, она и пошла за него, оставаясь совершенно индифферентной к этому шагу. И здесь тоже проявляется особенность характера: по обычным нашим понятиям, ей бы следовало противиться, если у нее решительный характер; но она и не думает о сопротивлении, потому что не имеет достаточно оснований для этого. Ей нет особенной охоты выходить замуж, но нет и отвращения от замужества; нет в ней любви к Тихону, но нет любви и ни к кому другому. Ей все равно покамест, вот почему она и позволяет делать с собою что угодно. В этом нельзя видеть ни бессилия, ни апатии, а можно находить только недостаток опытности, да еще слишком большую готовность делать все для других, мало заботясь о себе. У нее мало знания и много доверчивости, вот отчего до времени она не выказывает противодействия окружающим и решается лучше терпеть, нежели делать назло им. Но когда она поймет, что ей нужно, и захочет чего-нибудь достигнуть, то добьется своего во что бы то ни стало: тут-то и проявится вполне сила ее характера, не растраченная в мелочных выходках. Сначала, по врожденной доброте и благородству души своей, она будет делать всевозможные усилия, чтобы не нарушить мира и прав других, чтобы получить желаемое с возможно большим соблюдением всех требований, какие на нее налагаются людьми, чем-нибудь связанными с ней; и если они сумеют воспользоваться этим первоначальным настроением и решатся дать ей полное удовлетворение — хорошо тогда и ей и им. Но если нет — она ни перед чем не остановится; закон, родство, обычай, людской суд, правила благоразумия — все исчезает для нее перед силой внутреннего влечения; она не щадит себя и не думает о других. Такой именно выход представился Катерине, и другого нельзя было ожидать среди той обстановки, в которой она находится...

...Он почувствовал, что не отвлеченные верования, а жизненные факты управляют человеком, что не образ мыслей, не принципы, а натура нужна для образования и проявления крепкого характера, и он умел создать такое лицо, которое служит представителем великой народной идеи, не нося великих идей ни на языке, ни в голове, самоотверженно идет до конца в неровной борьбе и гибнет, вовсе не обрекая себя на высокое самоотвержение. Ее поступки находятся в гармонии с ее натурой, они для нее естественны, необходимы, она не может от них отказаться, хотя бы это имело самые гибельные последствия. Претендованные в других творениях нашей литературы сильные характеры похожи на фонтанчики, бьющие довольно красиво и бойко, но зависящие в своих проявлениях от постороннего механизма, подведенного к ним; Катерина, напротив, может быть уподоблена большой, многоводной реке: она течет, как требует ее природное свойство; характер ее течения изменяется сообразно с местностью, через которую она проходит, но течение не останавливается; ровное дно,

хорошее — она течет спокойно, камни большие встретились — она через них перескакивает, обрыв — льется каскадом, запружают ее — она бушует и прорывается в другом месте. Не потому бурлит она, чтобы воде вдруг захотелось пошуметь или рассердиться на препятствие, а просто потому, что это ей необходимо для выполнения ее естественных требований — для дальнейшего течения. Так и в том характере, который воспроизведен нам Островским: мы знаем, что она выдержит себя, несмотря ни на какие препятствия; а когда сил не хватает, то погибнет, но не изменит себе. Высокие ораторы правды, претендующие на «отречение от себя для великой идеи», весьма часто оканчивают тем, что отступаются от своего служения, говоря, что борьба со злом еще слишком безнадежна, что она повела бы только к напрасной гибели и пр. Они справедливы, и нельзя их упрекать в малодушии; но, во всяком случае, нельзя не видеть в этом, что «идея», которой они хотят служить, составляет для них что-то внешнее, без чего они могут обойтись, что они умеют очень хорошо отделить от своих личных, прямых потребностей. Ясно, что, как бы ни был велик их азарт в пользу «идеи», он всегда будет гораздо слабее и ниже того простого, инстинктивного, неотразимого влечения, которое управляет поступками личностей вроде Катерины, даже и не думающих ни о каких высоких «идеях».

В положении Катерины мы видим, что, напротив, все «идеи», внушенные ей с детства, все принципы окружающей среды восстают *против* ее естественных стремлений и поступков. Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина, совершается в каждом слове, в каждом движении драмы, и вот где оказывается вся важность вводных лиц, за которых так упрекают Островского. Всмотритесь хорошенько: вы видите, что Катерина воспитана в понятиях, одинаковых с понятиями среды, в которой живет, и не может от них отрешиться, не имея никакого теоретического образования. Рассказы странниц и внушения домашних хоть и перерабатывались ею по-своему, но не могли не оставить безобразного следа в ее душе: и действительно, мы видим в пьесе, что Катерина, потеряв свои радужные мечты и идеальные, выспренние стремления, сохранила от своего воспитания одно сильное чувство — *страх* каких-то темных сил, чего-то неведомого, чего она не могла ни объяснить себе хорошенько, ни отвергнуть. За каждую мысль свою она боится, за самое простое чувство она ждет себе кары; ей кажется, что гроза ее убьет, потому что она грешница; картина геенны огненной на стене церковной представляется ей уже предвестием ее вечной муки... А все окружающее поддерживает и развивает в ней этот страх: Феклуши ходят к Кабанихе толковать о последних временах; Дикой твердит, что гроза в наказание нам посылается, чтоб мы чувствовали; пришедшая барыня, наводящая страх на всех в городе, показывается несколько раз с тем, чтобы зловещим голосом прокричать над Катериной: «Все в огне гореть будете в неугасимом». Все окружающие полны суеверного страха, и все окружающие, согласно с понятиями и

самой Катерины, должны смотреть на ее чувство к Борису как на величайшее преступление. Даже удалой Кудряш, esprit fort этой среды, и тот находит, что девкам можно гулять с парнями сколько хочешь — это ничего, а бабам надо уж взаперти сидеть. Это убеждение так в нем сильно, что, узнав о любви Бориса к Катерине, он, несмотря на свое удальство и некоторого рода бесчинство, говорит, что «это дело бросить надо». Все против Катерины, даже и ее собственные понятия о добре и зле; все должно заставить ее заглушить свои порывы и завянуть в холодном и мрачном формализме семейной безгласности и покорности, без всяких живых стремлений, без воли, без любви или же научиться обманывать людей и совесть. Но не бойтесь за нее, не бойтесь даже тогда, когда она сама говорит против себя: она может на время или покориться, по-видимому, или даже пойти на обман, как речка может скрыться под землей или удалиться от своего русла; но текучая вода не остановится и не пойдет назад, а все-таки дойдет до своего конца, до того места, где может она слиться с другими водами и вместе бежать к водам океана. Обстановка, в которой живет Катерина, требует, чтобы она лгала и обманывала. «Без этого нельзя,— говорит ей Варвара,— ты вспомни, где ты живешь; у нас на этом весь дом держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало». Катерина поддается своему положению, выходит к Борису ночью, прячет от свекрови свои чувства в течение десяти дней... Можно подумать: вот и еще женщина сбилась с пути, выучилась обманывать домашних и будет развратничать втихомолку, притворно лаская мужа и нося отвратительную маску смиренницы! Нельзя было бы строго винить ее и за это: положение ее так тяжело! Но тогда она была бы одним из дюжинных лиц того типа, который так уже изношен в повестях, показывавших, как «среда заедает хороших людей». Катерина не такова: развязка ее любви при всей домашней обстановке видна заранее, еще тогда, как она только подходит к делу. Она не занимается психологическим анализом и потому не может высказывать тонких наблюдений над собою; что она о себе говорит, так уж это, значит, сильно дает ей знать себя. А она при первом предложении Варвары о свидании ее с Борисом вскрикивает: «Нет, нет, не надо! Что ты, сохрани господи: *если я с ним хоть раз увижусь, я убегу из дому, я уж не пойду домой ни за что на свете!»* Это в ней не разумная предосторожность говорит, это — страсть; и уж видно, что как она себя ни сдерживала, а страсть выше ее, выше всех ее предрассудков и страхов, выше всех внушений, слышанных ею с детства. В этой страсти заключается для нее вся жизнь; вся сила ее натуры, все ее живые стремления сливаются здесь. К Борису влечет ее не одно то, что он ей нравится, что он с виду и по речам не похож на остальных, окружающих ее; к нему влечет ее и потребность любви, не нашедшая себе отзыва в муже, и оскорбленное чувство жены и женщины, и смертельная тоска ее однообразной жизни, и желание воли, простора, горячей, беззапретной свободы...

# ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ

Январь 1860 г.

Милостивый государь!

На чужой стороне в далекой Англии вы, по собственным словам вашим, возвысили голос за русский народ, угнетаемый царскою властью; вы показали России, что такое свободное слово[1]... и зато, вы это уже знаете, все, что есть живого и честного в России, с радостью, с восторгом встретило начало вашего предприятия, и все ждали, что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий,— это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия. И что же? Вместо грозных обличений неправды с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II[2], его супруге (столь пекущимся о любезном вам православии с отцом Бажановым). Вы взяли на себя великую роль, и потому каждое ваше слово должно быть глубоко взвешено и рассчитано, каждая строка в вашей газете должна быть делом расчета, а не увлечения: увлечение в деле политики бывает иногда хуже преступления... Помните ли, когда-то вы сказали, что России при ее пробуждении может предстоять опасность, если либералы и народ не поймут друг друга, разойдутся, и что из этого может выйти страшное бедствие — новое торжество царской власти. Может быть, это пробуждение недалеко; царские шпицрутены, щедро раздаваемые верноподданным за разбитие царских кабаков[3], разбудят Россию скорее, чем шепот нашей литературы о народных бедствиях, скорее мерных ударов вашего *«Колокола»*...

Но чем ближе пробуждение, тем сильнее грозит опасность, о которой вы говорили... и об отвращении которой вы не думаете... По всему видно, что о России настоящей вы имеете ложное понятие. Помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства. Но не все же в России обманываются призраками... Дело вот в чем: к концу царствования Николая все люди, искренне и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается. Николай умер, все обрадовались, и энергические мысли заменились сладостными надеждами, и поэтому теперь становится жаль Николая. Да я всегда думал, что он скорее довел бы дело до конца; машина давно бы лопнула. Но Николай сам это понимал и при помощи Мандта предупредил неизбежную и грозную катастрофу[4]. Война шла дурно, удар за ударом, поражение за поражением — глухой ропот

поднимался из-под земли! Вы писали в первой *«Полярной звезде»*, что народ в эту войну шел вместе с царем, и потому царь будет зависеть от народа[5]. Из этих слов видно только, что вы в вашем *прекрасном далеке* забыли, что такое русские газеты, и на слово поверили их возгласам о народном одушевлении за отечество. Правда, иногда случалось, что крепостные охотно шли в ополчение, не только потому, что они надеялись за это получить свободу. Но чтоб русский народ в эту войну заодно шел с царем,— нет. Я жил во время войны в глухой провинции, жил и таскался среди народа[6], и смело скажу вам вот что: когда англо-французы высадились в Крым, то народ ждал от них освобождения, крепостные от помещичьей неволи, раскольники ждали от них свободы вероисповедания. Подумайте об этом расположении умов народа в конце царствования Николая, а вместе с тем о раздражении людей образованных, нагло на каждом шагу оскорбляемых николаевским деспотизмом, и мысль, что незабвенный мог бы не так спокойно кончить жизнь, не покажется вам мечтою. Да, как говорит какой-то поэт, счастье было так близко, так возможно[7]. Тогда люди прогресса из так называемых образованных сословий не разошлись бы с народом; а теперь это возможно, и вот почему: с начала царствования Александра II немного распустили ошейник, туго натянутый Николаем, и мы чуть-чуть не подумали, что мы уже свободны, а после издания рескриптов все очутились в чаду, как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей; все заговорили об умеренности, об мирном прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам, которые охулки не положат на руку свою. Поднялся такой чад от либеральных курений Александру II, что ничего нельзя было разглядеть, но, опустившись к земле (что делают крестьяне во время топки в курных избах), можно еще было не отчаиваться. Вслушиваясь в крестьянские толки, можно было с радостью видеть, что народ не увлекут 12 лет рабства под гнетом переходного состояния и что мысль, наделят ли крестьян землею, у народа была на первом плане. А либералы? Профессора, литераторы пустили тотчас же в ход эстляндские, прусские и всякие положения, которые отнимали у крестьян землю[8]. Догадливы наши либералы! Да и теперь большая часть из них еще не разрешила себе вопроса насчет крестьянской земли. А в правительстве в каком положении в настоящее время крестьянский вопрос? В большой части губернских комитетов положили страшные цены за земли; центральный комитет делает черт знает что: сегодня решает отпускать с землею, завтра без земли, даже, кажется, не совсем брошена мысль о переходном состоянии[9]. Среди этих бесполезных толков желания крестьян растут; при появлении рескриптов можно было еще спокойно взять за землю дорогую цену, крестьяне охотно бы заплатили, лишь бы избавиться от переходного состояния; теперь они спохватились уже, что нечего платить за вещь 50 целковых, которая стоит семь[10]. Вместе с этим растут и заблуждения либералов: они все еще надеются мирного и безобидного для крестьян решения вопроса. Одним сло-

вом, крестьяне и либералы идут в разные стороны. Крестьяне, которых помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс и кто их знает что еще. Что из этого выйдет? Выйдет ли из этого, в случае, если народ без руководителей возьмется за топор, путаница, в которой царь, как в мутной воде, половит рыбки, или выйдет что-нибудь и хорошее, но вместе с Собакевичами и Ноздревыми погибнет и наше всякое либеральное поколение, не сумевши пристать к народному движению и руководить им? Если выйдет первое, то ужасно; если второе, то, разумеется, жалеть нечего. Что жалеть об этих франтах в желтых перчатках, толкующих о *демократии* в Америке [11] и не знающих, что делать дома, об этих франтах, проникнутых презрением к народу, уверенных, что из русского народа ничего не выйдет, хотя, в сущности, не выйдет из них-то ничего... Но об этих господах толковать нечего, есть другого сорта люди, которые желают действительно народу добра, но не видят перед собою пропасти и с пылкими надеждами, увлеченные в общий водоворот умеренности ждут всего от правительства и дождутся, когда их Александр засадит в крепость за пылкие надежды, если они будут жаловаться, что последние не исполнились, или народ подведет (их) под один уровень с своими притеснителями. Что же сделано вами для отвращения этой грядущей беды? Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых номеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии; об августейших путешественниках говорили уже и иначе, чем об августейшей путешественнице. Зато с особенною яростью напали на Орловых, Паниных, Закревских. В них беда, они мешают Александру II! Бедный Александр II! Мне жаль его; видите, его принуждают так окружать себя — бедное дитя, мне жаль его! Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему! [12] И вот вы, вы, автор *«С того берега»* и *«Писем из Италии»*, поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию. Вы не должны ни минуты забывать, что он — самодержавный царь, что от его воли зависит прогнать всех этих господ, как он прогнал Клейнмихеля. Но Клейнмихеля нужно было ему прогнать по известному правилу Макиавелли — в новое царствование жертвовать народной ненависти любимым министром прежнего царствования, и вот Клейнмихель очутился козлом очищения за царствование Николая. Согласитесь, ведь жертва ничтожна? Но как бы то ни было, либералы восторгались и этим фактом, забыв, что Николай также прогнал Аракчеева; что же из этого? Неужели на эту удочку всегда будут поддаваться? Или, может быть, вы серьезно убеждены, что Александр слушается вашего *«Колокола»*? Полноте... Сколько раз вы кричали: «Долой Закревского, долой старого холопа!», а старый холоп все правил Москвой, пока собственная дочь не уходила его [13]. Да разве Москва за свою глупую любовь к царям стоит лучшего губернатора? Будет с нее и такого... Говорят даже, Александр II нарочно его держал губернатором, чтобы не пока-

зать, что он слушает *«Колокола»*. Это может быть. И это нисколько не противоречит слуху, что вы переписываетесь с императрицей *. Что же, она может вас уверять, что муж ее желает России счастия и даже свободы, но что теперь рано. Так обольстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина[14]. Помните ли этот рассказ, когда Николай призвал к себе Пушкина и сказал ему: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал; но, верь мне, я так же люблю Россию, я — не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться». И 30 лет укреплял он русский народ. Может быть, это анекдот и выдумка, но он — в царском духе, т. е. брать обольщением, обманом там, где неловко употребить силу. Но как бы то ни было, сближение с двором погубило Пушкина... Как ни чисты ваши побуждения, но, я уверен, придет время, вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому. Посмотрите, Александр II скоро покажет николаевские зубы. Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого крестьянского вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания безыменную гласность; но чуть дело коснется дела, тут и прихлопнут. Так и теперь господин Галилеянин запретил писать о духовенстве и об откупах[15]. Нет, не обманывайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии, когда она многим пригодилась бы. Надежда в деле политики — золотая цепь, которую легко обратить в кандалы подающей ее. В то время как вы так снисходительны стали к августейшему дому, само православие в лице умнейших своих представителей желало бы отделаться от союза с ним. Да, в духовенстве являются люди, которые прямо говорят, что правительство своею опекою убьет православие, но, к счастью, ни Григорий, ни Филарет не понимают этого! Так пусть они вместе гибнут, но вам какое дело до этих догнивающих трупов? Притом Галилеянин продолжает так ревновать о вере, что раскольники толпами бегут в Австрию и Турцию, даже вешают у себя на стенах портреты Франца-Иосифа вместо Александра II. Вот подарок славянофилам! Что, если Франц-Иосиф вздумает дать австрийским славянам свободную конституцию? Ведь роли между Голштинцами[16] и Габсбургами переменятся. Вот была бы потеха. Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали[17], и оно удивительно верно — другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш *«Колокол»* благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать.

С глубоким к вам уважением.

*Русский человек.*

* Примечание А. И. Герцена: «Неужели речь идет о моем письме к императрице Марии Александровне о воспитании наследника?»

Я просил бы напечатать вас это письмо, и если вы печатаете письма врагов ваших, то отчего же бы не напечатать письмо одного из друзей ваших?

# ОТ ДОЖДЯ ДА В ВОДУ

...Но честь честью, а дело делом. А дело могло бы пойти успешно только тогда, когда бы Пирогов или кто другой направил все свои усилия на решительное и коренное изменение того положения, которое оказалось препятствием для г. Пирогова на пути более широких реформ. И вот в этом-то состоит наше требование от передовых общественных деятелей: в сравнении с ним все остальные требования — весьма почтенные сами по себе — кажутся нам слабы и мелки... Но мы сами ошибались, думая некогда, что такое требование выполнимо хоть до некоторой степени для единичной личности; теперь, на примере же г. Пирогова, мы убедились, что оно решительно невыполнимо даже для самых лучших личностей, если они действуют только сами собой... Нужно, чтоб общество, чтоб сама *среда* обратила внимание на свое положение и почувствовала необходимость изменить его. Среда же — это все мы: и г. Пирогов, и г. Е. Суд., и я, и г. Драгоманов — все принадлежим к этой среде, и все обязаны хлопотать, насколько есть сил и умения, о существенном изменении нашего положения, чтобы развязаны были нам руки на проведение наших задушевных убеждений. Вот смысл и цель как предыдущей, так и настоящей моей статьи по поводу киевских «Правил».

Поймут ли меня г. Драгоманов и компания? Не очень надеюсь, но желал бы, чтоб поняли: в людях молодых и свежих все же больше силы даже для того, чтоб, не стыдясь прежних увлечений, перейти к новым требованиям.

Но зачем же я сам составил такое жалкое изображение этой среды, к которой еще раз обращаюсь? Ведь если прежде сказали, что я написал статью для оскорбления г. Пирогова, так теперь решат, пожалуй, что я писал для оскорбления всех киевских педагогов, всего учебного округа... Пожалуй, что и решат. Но ведь это не мое изобретение — я группировал лишь некоторые черты, сообщенные самими киевлянами... А зачем я группировал их?.. Да, положим, хоть затем, чтоб иметь удовольствие видеть потом ошибочность своих мрачных предположений... Может быть, назло этой статейке, киевляне действительно проникнутся *истинными* началами г. Пирогова, будут смело во имя их идти против всякого крикуна, разумно и гуманно разбирать проступки гимназистов и совсем выведут из употребления розгу. Когда наступит этот безмятежный вечер в киевской педагогике (что мы узнаем из будущих отчетов), тогда я с радостью похвалю утро, принесенное в Киев г. Пироговым.

# МОЕ ПРИЗВАНИЕ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ЗВАНИЮ

Рано овладела мной благородная решимость посвятить себя на служение отечеству моему. Долго странные мечты волновали неопытный ум, но наконец остановился я на звании педагога. Размышляя об этом звании, я почувствовал в себе и способность, и желание, и терпение — все, что нужно для этого трудного дела... Я мог учиться — это решили мои наставники и мои успехи в школе. Но я со временем могу учить — это чувствую я сам в себе. Я способен передавать свои познания, потому что не обделен даром слова, потому что имею сердце, которое нередко само ищет высказаться, а что же больше требуется от педагога, который хочет быть полезным в своем небольшом кружке? У многих не стает терпения на этом трудном поприще, но о себе, по крайней мере в настоящую минуту, я могу сказать, что меня не остановит это препятствие. Неутомимо и твердо, с непременной решимостью, с любовью и с чистым желанием добра своим слушателям хотел бы я проходить свое служение — и совершенно уверен, что ревность моя не сможет остаться совершенно напрасной...

Одно смущает меня: я слаб, молод, неопытен. Как могу я передавать новые истины новому поколению, когда я сам только еще вступаю в жизнь, только еще жажду просвещения? Но для того-то и прихожу я в это святилище науки, чтобы в нем приготовить себя к совершенному прохождению своей должности; чтобы здесь в продолжение нескольких лет приучить себя к мысли быть наставником юношества мне, юноше.

Не знаю, как примет меня избранное мною место воспитания, но я с радостью вступаю в него и в своем будущем желаю только того, чтобы мои будущие слушатели смотрели на меня хоть вполовину так хорошо, как я теперь — на всех моих будущих наставников.

# ПИСЬМО С. Т. СЛАВУТИНСКОМУ

## Первая половина марта 1860 г. Петербург

Почтеннейший Степан Тимофеевич, обозрение я получил[1] только вчера и тотчас же пробежал его и вторую половину отправил в типографию, с утра ждавшую оригинала. Но относительно некоторых мест первой половины, особенно начала, я намерен вступить с Вами в диспут, и тем смелее, что Вы сами изъявляете недоволь-

ство началом и просите поправить. Поправлять тут нечего; по-первые вступительные страницы я, если бы Вы позволили, решительно оставил бы, заменив их вступлением от редакции, более согласным с ее постоянными воззрениями. Помилуйте, мы вот уже третий год из кожи лезем, чтоб не дать заснуть обществу под гул похвал, расточаемых ему Громекой[2] и К°; мы всеми способами смеемся над «нашим великим временем, когда», над «исполинскими шагами», над бумажным ходом современного прогресса, имеющим гораздо меньший кредит, чем наши бумажные деньги. И вдруг Вы начинаете гладить современное общество по головке, оправдывать его переходным временем (да ведь других времен, кроме переходных, и не бывает, если уж на то пошло), видеть в нем какое-то сознательное и твердое следование к какой-то цели!.. Я не узнал Вас в этой характеристике общества. Я привык находить в Вас строгий и печально-недоверчивый взгляд на всякого рода *надежды* и *обещания*. А тут у Вас такой розовый колорит всему придан, таким блаженством неведения все дышит, точно будто бы Вы в самом деле верите, что в пять лет (даже меньше: Вы сравниваете нынешний год с прошедшим) с нами чудо случилось, что мы поднялись, точно сказочный Илья Муромец... Точно будто в самом деле верите Вы, что мужикам лучше жить будет, как только редакционная комиссия[3] кончит свои занятия, и что простота делопроизводства водворится всюду, как только выгонят за штат тысячи несчастных мелких чиновников (Вы знаете, что крупных не выгонят)... Нет, Степан Тимофеевич, умоляю Вас, оставьте эти радужные вещи для слепца Каткова[4], новобрачного Феоктистова[5], добросердечного (в деле ума) Леонтьева[6] и пр. Пусть эти восторги современным движением явятся лучше в диссертации Рачинского[7] о движении высших растений, нежели в обозрении «Современника». У нас другая задача, другая идея. Мы знаем (и Вы тоже), что современная путаница не может быть разрешена иначе, как самобытным воздействием народной жизни. Чтобы возбудить это воздействие хоть в той части общества, какая доступна нашему влиянию, мы должны действовать не усыпляющим а совсем противным образом. Нам следует группировать факты русской жизни, требующие поправок и улучшений, надо вызывать читателей на внимание к тому, что их окружает, надо колоть глаза всякими мерзостями, преследовать, мучить, не давать отдыху — до того, чтобы противно стало читателю все это богатство грязи и чтобы он, задетый наконец за живое, вскочил с азартом и вымолвил: «Да что же, дескать, это, наконец, за каторга! Лучше уж пропадай моя душонка, а жить в этом омуте не хочу больше». Вот чего надобно добиться и вот чем объясняется и тон критик моих, и политические статьи «Современника» и «Свистка»... И при этом-то станем мы лелеять публику уверениями, что все хорошо и прекрасно, когда сами знаете, что все скверно (сами это Вы писали мне в последнем письме), да будем петь Жуковского:

Было девять! В добрый час
Спите: бог не спит за вас...[8]

Нет, этого Вы сами не хотите, а между тем начало Вашего обозрения так и просит себе в эпиграф эти стихи...

Не обидьтесь, пожалуйста, резкостью моих слов и не примите их за что-нибудь *журнальное:* я пишу Вам сгоряча, только что просмотрев еще раз начало обозрения и не говоривши о нем ни с кем ни слова. В письме моем — мое крепкое, хотя и горькое, убеждение, которое дорого мне, как плод всего, чему я учился, что я видел и делал, дорого, как ключ для всей моей дальнейшей жизни. Надеюсь, что Вы уважите это убеждение, которое, впрочем, не очень далеко и от Ваших...

# «КОНСПЕКТЫ» Н. А. ТАТАРИНОВОЙ (1857)

## ПРЕДАНИЯ

В наше время очень любят народные песни и обращают большое внимание не только на те предания, которые *повсюду распространены* [1] между народом, но и на те, которые скрываются *где-нибудь в глуши;* или (так как *песни одолжены своим происхождением преданиям),* лучше сказать, что *при большем и живейшем развитии исторических знаний, обращающихся к самой сущности исторической жизни, равно как при распространении более здравых понятий о поэзии, стали обращать внимание на* то, что доселе считалось достойным презрения. В *противоположность прежнему ныне* доказано, что именно теперь пришла пора собирать источники *истории, находящиеся в устах народа.*

Как ни спорят и что ни толкуют *некоторые,* но у всех народов и во всех странах *всегда останется* различие между природной и искусственной поэзией (между поэзией эпической и драматической, между поэзией образованных и необразованных). Эпическая поэзия, передавая действия и события, подобно звуку, невольно пройдет в народе и сохранится верной, чистой, невинной, как дорогое сокровище, из которого каждый получает свою часть. Напротив, искусственная поэзия говорит только о том, что *может быть дано человеку его внутренним* миром, что он сообщает свету из своих мнений и *опытов* своей жизни, что не везде может быть понято и что он старается делать понятным *для всякого места и времени.* Будучи столь различны между собою, эти два *отдела* поэзии, естественно, принадлежат различным эпохам и не могут существовать в одно время. Ничего нет *нелепее* желания сочинить или переделать эпическое стихотворение. Случается, что поэзия и история в первые времена жизни народов влекутся одним потоком,

и если греки правы, называя Гомера отцом истории, то мы не смеем долее сомневаться в том, что первый памятник германской истории слишком долго скрывался в «Нибелунгах» [2].

Но когда явилось образование и начало распространять свое владычество, поэзия должна была отделиться от истории и искать убежища в народе, которого не *посетило еще* образование, среди которого она *не произошла самобытно,* но только *распространялась,* увеличиваясь в своих размерах и все более стесняемая влиянием образованности, *распространения которого она не в силах была остановить...*

## РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Во всех русских песнях находишь одно неизбежное чувство — грусть. Грустит добрый молодец на «чужой стороне», грустит красная девушка «в золотом терему», грустит молодушка «в чужой семье». Чтобы избежать этой грусти, русский простолюдин или предается вину, или, забыв все свои обязанности, делается разбойником. Тогда раздаются так называемые разгульные песни, но и тут видно, что он поет их не с веселья, а только *для того,* чтобы как-нибудь *заглушить* свою тоску. Иногда эта тоска превращается в страшное ожесточение; тогда он забывает жену и детей, не слушает увещаний родных и смеется над всем, что до сих пор считал святым, как, например, в песне «Голова ль ты моя, головушка...». Причину этого характера русской песни надо искать в притеснениях, которые всегда терпел народ, и вообще в его печальной участи.

Будучи склонен к семейной жизни, русский человек особенно несчастлив, расставаясь с ней, и потому-то он представляет чужую сторону каким-то адом. Дома его одолевает бедность, хотя прямо и не выражаются *в песнях заботы о материальных средствах жизни,* но часто заметно *в них тяжелое чувство, происходящее именно от сознания бедности;* если же он ищет утешения в вине, то жена и дети его окончательно впадают в нищету; а когда он прибегает к воровству и разбою — он погибает на виселице.

Жизнь женщины не лучше жизни мужчин. В девушках она сидит взаперти, а выходя замуж, большей частью поневоле, она боится злобы мужниной родни, и почти всегда опасения ее оправдываются. Потому-то даже свадебные песни походят на похоронные *по своему грустному тону*. Презрение к женщинам очень ясно выражается в семейных песнях. Единственная ласка мужа — это «шелковая плетка», и, забитая мужем, запуганная свекровью, бедная молодушка плачет о своей «русой косе», о девичьей жизни и о любви своей матери, которая все еще заботится о ней, старается угодить зятю, дарит его, льстит ему, и все это для того, чтобы он любил ее дочку. Молодица *может* получить некоторую свободу только в старости, когда она уже не нуждается *в этой свободе,* и

тогда в свою очередь она притесняет свою молодую невестку. При таких обстоятельствах может *вырваться из сердца* только самый жалобный напев, самая печальная песня, и потому нельзя удивляться тоскливому характеру народной русской поэзии.

## РЕЛИГИЯ В НАРОДЕ РУССКОМ ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ПАМЯТНИКАМ

По народной русской поэзии видно, что наши предки следовали только внешним правилам христианства, но что религия *почти* ни в чем не переменила их грубых нравов. По их понятиям, тот был благочестив, кто ходил в церковь, постился, делал земные поклоны, а не тот, кто помогал ближнему и всеми силами старался избежать *злых дел*. Грешно было пропускать обедню, а не грешно дурно обращаться с подчиненными. Исполняя самые мелочные обряды, они поступали с женами, как с рабами, били их и, если в гневе не изувечивали...

В несчастье человек не прибегает к молитве, а впадает в отчаяние, забывает все свои обязанности и предается самой порочной жизни; а когда в старости он решается загладить свои грехи, он достигает этого не раскаянием, не исправлением, но путешествием к святым местам. Все это доказывает, что, будучи слишком необразованны, чтобы понять христианство, наши предки переняли только обряды новой религии, оставаясь, однако, верными своим предрассудкам...

## О ЗНАЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Так называемая изящная литература служит не только одному удовольствию, как это может показаться с первого взгляда: она еще имеет большое влияние на нравственность людей, занимающихся ею. Изображая яркими красками хорошее и дурное, она невольно привлекает нас к добру и отталкивает от зла. Всякий человек, даже и дурной, разумеется, очень хорошо знает, что лучше быть честным и добрым, чем злым и обманщиком, но он иногда делает бесчестные и злые поступки, или не понимая их дурную сторону, или извиняя их под разными предлогами. Если же ему представят подобный же поступок, ясно выказывая все, что в нем есть вредного и низкого, он невольно постыдится совершенного дела и постарается не возобновлять его; таким образом, автор может исправить много недостатков своих читателей. Литература имеет еще другую большую заслугу: она приучает верно и правильно рассуждать. Человек, много читающий, встречает в книгах разные мысли и понятия, он сравнивает их со своими мыслями и понятиями, соглашается с ними или отвергает их; рассуждая таким образом, он приобретает новые идеи, некоторую опытность и верный взгляд на вещи.

# КОММЕНТАРИИ

## В. Г. БЕЛИНСКИЙ

### Михаил Васильевич Ломоносов

Впервые — Молва, 1836, ч. XII, № 7, С. 178—197. Подпись В. Б. Печатаются два отрывка (ИАН. Т. II. С. 186—191, 194—195).

В. Г. Белинский высоко ценил книгу К. Полевого о жизни и деятельности М. В. Ломоносова. Он рекомендовал сочинение К. Полевого для чтения молодому поколению, так как был убежден в том, что в жизни Ломоносова оно увидит образец долга и своего назначения, узнает, что только в честной и бескорыстной деятельности заключается условие человеческого достоинства, что сила воли обеспечивает успех на избранном поприще.

[1] *Бюффон Жорж-Луи-Леклер* (1707—1788) — французский естествоиспытатель.

[2] «Грамматическим журналистом» В. Г. Белинский называл *Н. И. Греча* (1787—1867), автора трудов по грамматике русского языка.

[3] *Полевой Ксенофонт Алексеевич* (1801—1867) — писатель, критик, брат Н. Полевого, автор воспоминаний о нем.

[4] *Вольф Христиан* (1679—1754) — немецкий философ.

[5] Цитата из книги К. А. Полевого «Михаил Васильевич Ломоносов» (М., 1836. Ч. I. С. 189).

[6] *Шувалов Иван Иванович* (1727—1797) — первый куратор Московского университета, государственный деятель.

[7] *Новиков Николай Иванович* (1744—1818) — журналист, издатель, выдающийся просветитель.

[8] *ex-officio* (лат.) — по должности, по обязанности.

### О детских книгах

Впервые — Отечественные записки. 1840. № 3. С. 1—36. Без подписи. Печатается полностью (ИАН. Т. IV. С. 68—109). Это наиболее обстоятельная педагогическая статья, которую В. Г. Белинский собирался переделать в книгу, о чем сообщал А. А. Краевскому в письме от 9—10 апреля 1841 г. (ИАН. Т. XII. С. 45).

Педагогические идеи, содержащиеся в сочинении «О детских книгах», с наибольшей полнотой характеризуют взгляды В. Г. Белинского на формирование личности. Они были самыми прогрессивными в русской педагогике 30—40-х гг. XIX в. И не случайно Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы», цитируя высказывания В. Г. Белинского о воспитании, отмечал, что «...все это проникнуто самыми гуманными и плодотворными для нашей жизни понятиями», что «вся статья о детских книгах имеет самое живое отношение к нашей действительности» (Полн. собр. соч. Т. III. 1947. С. 243, 244).

[1] Дедушка Ириней — псевдоним русского писателя и педагога В. Ф. Одоевского (1804—1869), в повестях которого («Княжна Мими», «Княжна Зизи» и др.) показана пустота, духовное ничтожество светского общества. Написал ряд произведений для детей. Известен и как музыкальный критик.

[2] В. Г. Белинский имел в виду сочинения итальянского поэта *Пьетро Аретино* (1492—1556), в которых изображалось падение нравов в среде высших сословий Италии XVI в.

[3] Charmant (франц.) — прелестно.

[4] Mais qu'est ce que c'est? (франц.) — Но что это такое?

[5] Стихи из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». У Пушкина. «И жизнь могущая дает».

[6] Источник цитируемых стихов не установлен.

[7] Стихи из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

[8] Отрывок из «Гимназических речей» Гегеля, напечатанных в переводе и с предисловием М. А. Бакунина в «Московском наблюдателе» (1838. Март. Кн. I—II).

[9] *Мелас Михаэль-Фридрих-Бенедикт* (1729—1806) — австрийский фельдмаршал, проигравший Наполеону сражение под Маренго.

[10] В. Г. Белинский отказался полностью от концепции «врожденных идей» в 1846 г. в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (ИАН. Т. X. С. 7—50).

[11] Имеется в виду статья В. П. Боткина «Оле-Буль. Брейтинг. Sing-Akademie», опубликованная в «Московском наблюдателе» (1836. Март. Кн. II).

[12] *Гебель Иоганн-Петер* (1760—1826) — немецкий поэт.

[13] *Кирша Данилов* — предполагаемый собиратель русских былин, сказок и песен XVIII в.

[14] В. Г. Белинский развивает идею народности, высказанную в «Литературных мечтаниях», говорит о создании национальной системы воспитания.

[15] Защищая идею формирования интеллектуальной и эмоциональной сфер личности в их единстве, В. Г. Белинский был неточен, заявляя, что главная задача школы состоит прежде всего в «развитии рассудка».

[16] В. Г. Белинский цитирует анонимную рецензию «Чижик. Повесть для детей», опубликованную в «Отечественных записках» (1839. Т. V. Отд. «Совр. библиогр. хроника». С. 179).

[17] Катехизис — краткое изложение в форме вопросов и ответов.

[18] Стихи из стихотворения В. А. Жуковского «Теон и Эсхин».

[19] Источник цитаты не установлен.

[20] Отношение критика к творчеству Гофмана в 40-е гг. изменилось. Он считал чтение фантастических сочинений немецкого писателя вредным для детей, так как они отрывали их от реальной жизни.

[21] Строка из поэмы «Илиада».

[22] Журнал «Детское чтение для сердца и разума» в 1785—1786 гг. издавался Н. И. Новиковым и имел педагогическую направленность. С 1787 по 1789 г. он редактировался А. А. Петровым и Н. М. Карамзиным.

[23] «Переписка отца с сыном о деревенской жизни» опубликована в «Детском чтении» за 1785 г. (Ч. II. С. 113—125, 129—142, 145—170). Автором этого сочинения является Н. И. Новиков.

[24] Выражение употреблено в смысле «лучшие рассказы».

## Басни Ивана Крылова

Впервые — Отечественные записки. 1840. № 5. Отд. VI. С. 2—7. Без подписи. Публикуется с сокращениями (ИАН. Т. IV. С. 149—151).

В. Г. Белинский высказывался о творчестве И. А. Крылова в статьях «Литературные мечтания», «Ничто ни о чем», «Басни Ивана Крылова», «Иван Андреевич Крылов». В статье «Басни Ивана Крылова» критик дал определение народности, вскрыл истоки национального характера басен Крылова, указал на их воспитывающую роль.

[1] Перифраз из басни И. А. Крылова «Лисица и Сурок». У Крылова: «Рыльце у тебя в пуху».

[2] В. Г. Белинский имеет в виду следующие басни И. А. Крылова: «Откупщик и Сапожник», «Кот и Повар», «Огородник и Философ», «Три мужика».

[3] Стихи из басни И. А. Крылова «Осел и Соловей».

[4] Слова из романа Н. А. Полевого «Клятва при гробе господнем» (М., 1832. С. 9).

## Стихотворения М. Лермонтова

Впервые — Отечественные записки. 1841. № 2. Отд. V. С. 35—80. Без подписи. Печатается отрывок (ИАН. Т. IV. С. 484—489), в котором высказана идея о гражданском назначении человека.

В. Г. Белинский высоко оценил гражданскую обличительную лирику Лермонтова, его способность откликаться на животрепещущие вопросы своего времени. В этой связи высказана критиком идея о подготовке человека-гражданина как активного общественного деятеля.

[1] Строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь себе». Первая у Лермонтова читается так: «В нем признака небес напрасно не ищи».

[2] Строка из стихотворения А. С. Пушкина «Алексееву».

[3] Под выражением «китаизм» имелись в виду застоїные явления в русской жизни. В данном случае содержится намек на сторонников идеологии официальной народности.

[4] В. Г. Белинский имел в виду сочинение Джемса Мориера «Похождение Мирзы Хаджи-Баба Исфагани в Персии и Турции, или Персидский Жиль Блаз», переведенное О. И. Сенковским и изданное в 1831 г.

## Сочинения Александра Пушкина

Статьи о Пушкине печатались в нескольких номерах «Отечественных записок» за 1843—1846 гг. В настоящий однотомник включено несколько отрывков (ИАН. Т. VII. С. 145—146, 158—164, 173—174, 180—181, 194—196, 220—221, 321—322, 390—393).

В статьях содержатся мысли по вопросам воспитания. Белинский высказал ряд мыслей о воспитательном идеале. Каждый человек, по его словам,— это сын времени и воспитанник истории.

Раскрывая содержание понятия «гражданин своего отечества», критик отметил, что сын своей страны горячо принимает к сердцу интересы своего отечества и способствует по мере сил своих его процветанию в экономической и духовной жизни. Вопрос о сущности развития личности, о значении творчества в становлении личности также не остался без внимания великого критика. В. Г. Белинский одним из первых в русской педагогике, в противовес официальной концепции о воспитании женщины как будущей жены и матери семейства, выдвинул идею о воспитании женщины как человека и гражданина. Его выступления в защиту прав женщины имели в то время большое общественное значение.

Один из отрывков посвящен проблемам юношеской психологии, в частности чувству юношеской любви. Весьма актуальной является мысль о природе как факторе эстетического воспитания.

[1] Отрывок из стихотворения «Мечты» Шиллера в переводе В. А. Жуковского.

[2] Хариты — в древнегреческой мифологии три богини красоты и веселья.

[3] Стихи из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон». У Лермонтова последняя строка: «И своенравия мечты?»

[4] Фарисейство — лицемерие, ханжество, показное благочестие.

[5] В данном случае: в святом, обожествленном уважении.

## Руководство к познанию новой истории для средних учебных заведений

Впервые — Отечественные записки. 1844. № 9. Отд. V. С. 1—19. Без подписи. Печатается полностью (ИАН. Т. VIII. С. 270—293).

Статья свидетельствует о внимании В. Г. Белинского к классовой борьбе, к демократическим и революционным движениям прошлого, к роли народных масс в истории.

В. Г. Белинский наметил принципы построения системы исторического образования. Образовательно-воспитательные цели и задачи обучения истории, связь исторического образования с современностью, соотношение истории как науки и как учебного предмета, требования к методике преподавания истории, принципы отбора фактического материала и круга идей для учебника, взаимосвязь материальности и народа в историческом процессе — эти и другие вопросы, поставленные В. Г. Белинским, имеют принципиальное значение в развитии теории и методики исторического образования.

Смарагдов Семен Николаевич (1805—1871) — автор учебников истории для школ: «Руководство к познанию древней истории для средних учебных

заведений» (1840), «Руководство к познанию средней истории для средних учебных заведений» (1841), «Руководство к познанию новой истории для средних учебных заведений» (1844).

[1] Свои взгляды на историю как «современную науку» В. Г. Белинский высказал в рецензиях на «Руководство к всеобщей истории» Фридриха Лоренца (Отечественные записки. 1842. Т. XXI. № 4. Отд. V. С. 35—45) и на книгу Н. А. Маркевича «История Малороссии» (Отечественные записки. 1843. Т. XXVIII. № 5. Отд. V. С. 1—18).

[2] Упоминая о парадоксах «более бесстыдных, чем смелых», критик намекает на О. И. Сенковского, статьи которого отличались нигилистическим остроумием и оригинальничанием. Об этом В. Г. Белинский писал и ранее в статье «Речь о критике» (ИАН. Т. VI. С. 331).

[3] Полунамеками В. Г. Белинский высказывает мысль о неизбежном наступлении нового общественного устройства, о «прямом и широком», т. е. социалистическом, пути развития общества.

[4] В. Г. Белинский имел в виду книгу французского богослова и историка Боссюэт Жан-Беннинь «Рассуждение о всеобщей истории», опубликованную в 1681 г. и переведенную на русский язык в 1761—1762 гг. Впервые в исторической литературе была высказана идея о закономерности (в теологическом ее понимании) процесса развития человеческого общества.

[5] Перечислены создатели теории социального прогресса: *Вико Джамбаттиста* (1668—1744) — итальянский историк, философ; *Кант Иммануил* (1724—1804) — немецкий философ-просветитель; *Шлёцер Август Людвиг* (1735—1809) — немецкий историк, изучавший также древний период истории России; *Гердер Иоганн Готфрид* (1744—1803) — немецкий философ и поэт.

[6] Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — выдающийся немецкий философ, идеолог немецкой буржуазии.

[7] *Юм Давид* (1711—1776) — английский философ и историк; *Робертсон Вильям* (1721—1793) — английский историк; *Гиббон Эдуард* (1737—1794) — английский историк; *Гизо Франсуа Пьер Гильом* (1787—1874) — французский политический деятель и историк; *Тьер Луи Адольф* (1797—1877) — французский историк и политический деятель; *Мишле Жюль* (1798—1874) — французский историк, автор «Истории французской революции» (1847—1853); *Барант Амабль Гильом Проспер* (1785—1866) — французский историк и публицист; *Тьерри Огюстен* (1795—1856) — французский историк.

[8] *Мюллер Иоганн* (1752—1809) — немецкий историк и публицист; *Раумер Фридрих Людвиг Георг* (1781—1873) — немецкий историк; *Ранке Леопольд* (1795—1886) — немецкий историк, автор книги «Римские папы, их церковь и государство в XVI и XVII столетиях». Переведена на русский язык в 1842 г.; *Лео Генрих* (1799—1878) — немецкий историк.

*Роттек Карл Венеслав* (1775—1840) — немецкий историк, автор девятитомного труда «Всеобщая история» (1813—1818); *Шлоссер Фридрих-Кристоф* (1776—1861) — немецкий историк, автор «Истории XVIII в.» (1823).

[9] «Преплохой историей» В. Г. Белинский называл сочинение Вальтера Скотта «История Наполеона Бонапарта» (1827), переведенное С. С. Шаплет на русский язык в 1831—1832 гг.

[10] Говоря о невеждах, провозгласивших романы Вальтера Скотта «незаконным плодом соединения истории с вымыслом», В. Г. Белинский имел в виду О. И. Сенковского. Об этом намекал критик в статье «Руководство к всеобщей истории» (ИАН. Т. VI. С. 90).

[11] Мысль о том, что французская революция явилась следствием тринадцативековой борьбы между французами франкского и галльского происхождения, была высказана Франсуа Гизо в сочинении «О правительстве во Франции после Реставрации и о современном министерстве» (1820).

[12] Снедающая ревность по боге — выражение заимствовано из Библии.

[13] Мысль о «пустых идеалистах» и «пошлых утилитаристах» как о следствии ошибочного воспитания В. Г. Белинский высказывал в ряде сочинений. В рецензии «Сто русских литераторов» под «пустым идеализмом» понимается беспечное, легкомысленное отношение к жизни, пренебрежение реаль-

ной действительностью, «пошлое фразерство», страсть «рисоваться и ходить на ходулях» (ИАН. Т. III. С. 101).

О «пошлом утилитаризме» Белинский высказал свою мысль и в статье «Русские журналы».

[14] О несоответствии между отдельными частями в учебных книгах по истории, о неоправданном уменьшении раздела по новой истории и увлечении древней историей В. Г. Белинский писал в рецензии на сочинение Н. А. Маркевича «История Малороссии» (ИАН. Т. VII. С. 55).

[15] Мысль о том, что история — это повествование не о войнах, договорах и правителях, а о развитии многогранной жизни народа, была высказана Белинским впервые в 1842 г. в статье «Руководство к всеобщей истории» Фридриха Лоренца». Это идея подробнее развита в рецензии на книгу Н. А. Маркевича «История Малороссии» (ИАН. Т. VII. С. 44—65).

[16] Ян Гус, Петр Вальдо, Мартин Лютер привлекали внимание критика как разрушители старого, как борцы с отжившим. В письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. В. Г. Белинский заявил: «Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого. Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Каин») и т. п.» (ИАН. Т. XII. С. 70).

[17] «Litterae Obscurorum Virorum» — неточное название произведения. «Epistolae obscurorum virorum» (1515—1517). В. Г. Белинский допустил здесь описку, употребив Litterae вместо Epistolae. *Гуттен* (1488—1523) был одним из авторов этого памятника немецкого гуманизма. Говоря о значении «Писем темных людей», В. Г. Белинский ссылается на мнение немецкого философа и поэта *И. Г. Гердера* (1744—1803).

[18] *Цельтес Конрад* (1459—1508) — немецкий гуманист; *Буший (Буш) Герман* (1468—1534) — немецкий поэт и гуманист; *Регий Урбан (Иоганн)* (1468—1534) — немецкий богослов; *Эстикампиан* (1460—1520)— немецкий гуманист и поэт.

*Гегиус Александр* (1433—1499) — немецкий педагог.

*Эразм (Роттердамский) Дезидерий* (1466—1536) — голландский философ, писатель, богослов, гуманист эпохи Возрождения; *Дринагенберг* — немецкий гуманист.

*Меланхтон Филипп* (наст. фамилия — *Швардцерд*) (1498—1560) — немецкий протестантский богослов, гуманист и деятель Реформации. *Агрикола Иоганн* (1492—1566) — немецкий богослов, сторонник Реформации.

*Рейхлин Иоанн* (1455—1522) — немецкий гуманист, юрист, филолог. Автор сочинений «Глазное зеркало» (1511), «Письма знаменитых людей» (1514).

[19] *Валленштейн Альбрехт Венецеслав Евсевий* (1583—1634) — герцог фридландский, главнокомандующий в Тридцатилетней войне. *Густав-Адольф* (1594—1632) — шведский король.

*Ришелье Арман Жан Дюплесси* (1585—1642) — французский герцог, кардинал, министр.

[20] Sic transit gloria mundi!.. (лат.) — Так проходит земная слава!

[21] Речь идет о поражении герцога Вильгельма Фердинанда Брауншвейгского в битве при Вальми 20 сентября 1792 г. Революционная Франция одержала победу над войсками австро-прусской коалиции.

[22] Et voilá comme on écrit I'hi *storie*!.. (франц.) —...вот как пишется история!..

## Взгляд на русскую литературу 1846 года

Впервые — Современник. 1847. № 1. Отд. III. С. 1—56. Без подписи. Печатается отрывок (ИАН. Т. X. С. 26—33).

Полемизируя со славянофилами (В. Н. Майковым) и западниками (К. Д. Кавелиным) по проблеме народности, В. Г. Белинский высказал свое понимание народности, раскрыл с материалистических позиций сущность мышления, обратил внимание на единство физического и психического.

[1] bourgeoisie (франц.) — буржуазия.

[2] *Силлогист* — специалист в области логики. В ироническом значении: схоласт.

## Письмо к Н. В. Гоголю

Впервые А. И. Герцен в «Полярной звезде» (1855, С. 65—75). Автограф неизвестен. Печатается без сокращений (ИАН. Т. X. С. 212—221).

Письмо Белинского к Гоголю представляет замечательный памятник русской литературы, яркий документ революционно-демократической мысли первой половины XIX в. В. И. Ленин в статье «Из прошлого рабочей печати в России» писал: «Его знаменитое «Письмо к Гоголю», подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору» (Полн. собр. соч. Т. 25. С. 94).

Показательно, что с письмом Белинского к Гоголю был знаком семинарист Добролюбов (*Добролюбов Н. А.* Собр. соч. Т. 8. М.; Л., 1964. С. 535).

Письмо Белинского к Гоголю сыграло большую роль в развитии революционного сознания молодого поколения 60-х гг. XIX в. Об этом свидетельствует М. А. Антонович. Он вспоминал, что за хранение и чтение зальцбруннского письма В. Г. Белинского к Гоголю слушателей Петербургской духовной академии «предавали строгому суду и подвергали более строгим наказаниям» (Русская мысль. 1898. Кн. XII. Отд. IX. С. 6).

В «Письме к Н. В. Гоголю» содержится идея воспитания социально активной личности, борющейся против самодержавия и крепостничества, социального и духовного порабощения, атеистического воспитания.

[1] Имеются в виду слова Гоголя из его письма к Белинскому от 8—20 июня 1847 г.: «Я прочел с прискорбием статью вашу обо мне во втором № «Современника» (речь идет о статье В. Г. Белинского «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. СПб., 1847», опубликованной в «Современнике» за 1847 г., т. 1, № 2, с. 103—124.). Не потому, чтобы мне прискорбно было то унижение, в которое Вы хотели меня поставить в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося... Вы взглянули на мою книгу глазами рассерженного человека» (Полн. собр. соч. Т. XIII. М.; Л., 1952. С. 326—327). Рецензия на «зловредную» книгу Гоголя была написана В. Г. Белинским с учетом цензурных ограничений, однако, несмотря на это, она была сильно смягчена и искажена правкой редактора и цензора. В письме к В. П. Боткину от 28 февраля 1847 г. В. Г. Белинский писал: «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи. Ты говоришь, что статья «написана без довольной обдуманности и несколько сплеча», тогда как за дело надо было взяться с тонкостию.

...Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошею, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству» (ИАН. Т. XII. С. 339—340).

[2] Книга Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» вызвала резкое осуждение со стороны А. И. Герцена, Т. Н. Грановского, В. П. Боткина, П. В. Анненкова, Н. Ф. Павлова и др.

[3] Хвалебные отзывы на книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» напечатали Ф. В. Булгарин в «Северной пчеле» (1847. 11 янв.) и О. И. Сенковский в «Библиотеке для чтения» (1847. № 2. Отд. VI. С. 42—50).

[4] В. Г. Белинский намекает на критическое отношение И. С. и С. Т. Аксаковых к книге Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». В письме к младшему сыну Ивану Сергеевичу С. Т. Аксаков писал: «Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его» (Русский архив. 1890. № 8. С. 163).

[5] В. Г. Белинский пользуется выражением самого Н. В. Гоголя из XI главы «Мертвых душ»: «Русь! Русь! вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека».

[6] Речь идет о губительном влиянии на душевное состояние Гоголя мистиков, среди которых вращался писатель, живя в Риме.

[7] Под «белыми неграми» В. Г. Белинский подразумевал крепостных крестьян.

[8] Критик высмеивает «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», принятое в 1845 г., по которому наказание кнутом было заменено, по указанию Николая I, наказанием плетью.

[9] В. Г. Белинский упрекает Н. В. Гоголя в том, что легендарный образ Христа он использовал в угоду церкви и помещикам, советуя укреплять свою власть над крестьянами именем Христа и Священного писания.

[10] Выражение Гоголя из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (гл. «Русский помещик»). Белинский порицает писателя за неуважительное отношение к народу.

[11] Критик имеет в виду рассуждения писателя, содержащиеся в главе «Суд и расправа». Гоголь считал тогда, что всякого человека следует судить двойным судом — человеческим и божеским, судить виноватого и правого. При этом он ссылался на «мудрость» капитанши Василисы Егоровны из повести Пушкина «Капитанская дочка». Она, как известно, советовала разобраться в ссоре капрала Прохорова с бабой Устиньей, выяснить, кто прав, кто виноват, да обоих и наказать.

[12] Калухан — еретик, отступник от православия, скопец. Могло употребляться в народной речи как искаженное слово «калыган» — конский барышник, плут, мошенник.

[13] В. Г. Белинский имеет в виду рассуждения Н. В. Гоголя о любви народа к царю, содержащиеся в его статье «О лиризме наших поэтов».

[14] Religiosa mania (лат.) — религиозная мания.

[15] В главе «Русский помещик» Гоголь писал о том, что будто бы «учить мужика грамоте... есть действительный вздор».

[16] Речь идет о непоследовательности Гоголя в защите творчества Пушкина и театрального искусства от нападок сотрудников журнала «Маяк» С. А. Бурачка и А. М. Мартынова.

[17] В. Г. Белинский упрекает Н. В. Гоголя в том, что он в письме к С. С. Уварову (апрель 1845 г.), наряду с благодарностью за оказанную ему правительством материальную помощь (при содействии Уварова Николай I назначил Гоголю ежегодное пособие 1000 руб. сроком на три года), заявил, что «...все, доселе мною написанное, не стоит большого внимания: хоть в основание его легла и добрая мысль, но выражено все так незрело, дурно, ничтожно и притом в такой степени не так, как следовало бы, что недаром большинство приписывает моим сочинениям скорее дурной смысл, чем хороший» (Полн. собр. соч. Т. XII. М.; Л., 1952. С. 483—484).

[18] Выражение «...только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д.»— это неточная цитата из проекта официального письма к Николаю I. Проект письма был прислан Н. В. Гоголем П. А. Плетневу в январе 1847 г.

[19] Под «верноподданническими стихотворениями» В. Г. Белинский подразумевал стихи А. С. Пушкина «Стансы» и «Друзьям», создание которых объясняется, прежде всего, стремлением поэта смягчить участь декабристов.

[20] О непопулярности книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» Белинский писал в письме к В. П. Боткину от 15—17 марта 1847 г.: «Книга Гоголя как будто пропала, и я немного горжусь тем, что верно предсказал (не печатно, а на словах) ее судьбу. Русского человека не надуешь такими проделками, а если и надуешь, так на минуту. Если еще не вовсе забыто существование этой книги, так это потому, что от времени до времени напоминают о ней журнальные статьи» (ИАН. Т. XII. С. 351).

[21] В. Г. Белинский намекает о намерении Н. В. Гоголя посетить Иерусалим и поклониться христианским святыням. В 1848 г. это намерение Гоголь осуществил.

[22] Выражение из XXIV главы «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту» книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».

[23] Речь идет о статье П. А. Вяземского «Языков и Гоголь» (СПб. ведомости. 1847. 24 и 25 апр.), в которой В. Г. Белинский обвинялся в проповеди революционных идей.

[24] Точное выражение из статьи Гоголя «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», в которой писатель произвел П. В. Вяземского в «великие поэты».

[25] Шпекин — один из персонажей комедии «Ревизор», почтмейстер, распечатывавший чужие письма.

[26] Исследователи считают, что письмо Гоголя переслал Белинскому Н. А. Некрасов или Н. Н. Тютчев (ИАН. Т. X. С. 455).

[27] Речь идет о письме Н. В. Гоголя из Франкфурта от 8—20 июня 1847 г., посланном В. Г. Белинскому в связи с его рецензией на «Выбранные места из переписки с друзьями», опубликованной в «Современнике» (1847. № 2. Отд. III. С. 103—124. Подпись: В. Б.).

### Взгляд на русскую литературу 1847 года

Впервые — Современник. 1848. № 1. Отд. III. С. 1—39. Подпись: В. Белинский. Перепечатан отрывок (ИАН. Т. X. С. 319—325).

В связи с анализом повести Искандера (А. И. Герцена) «Кто виноват?» В. Г. Белинский рассматривает вопрос о гуманизме и нравственном воспитании. Критик затрагивает вопросы юношеской психологии, взаимоотношений родителей и детей, обращает внимание на необходимость воспитания чувства гуманности.

[1] Искандер — псевдоним Александра Ивановича Герцена.

[2] В. Г. Белинский имеет в виду Жан-Жака Руссо.

## А. И. ГЕРЦЕН

### Былое и думы

Работа Герцена над главным его произведением продолжалась около 16 лет. Первое упоминание о ней содержится в письме Герцена к М. К. Рейхель от 5 ноября 1852 г., последняя известная нам дата — 10 марта 1868 г.— поставлена на рукописи, дополняющей главу «Лондонская вольница пятидесятых годов».

Большинство глав «Былого и дум», опубликованных при жизни автора, появилось в альманахе «Полярная звезда», который издавался Герценом и Огаревым в Лондоне, а затем в Женеве, в течение 1855—1868 гг.

В 1860 г. Герцен приступил к подготовке отдельного издания «Былого и дум». Первые два тома этого издания вышли в Лондоне в 1864 г., последний — в Женеве в конце 1866 г. Прижизненная публикация текстов герценовских мемуаров прекратилась с выходом в свет восьмой книжки «Полярной звезды» (1868).

Влечение Герцена к созданию произведений автобиографического характера сказалось уже в отдельных набросках и отрывках начала 30-х гг. В вятской ссылке автобиографический замысел все более становится в центр творческих интересов Герцена. 27 апреля 1836 г. он писал Н. А. Захарьиной: «Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни души моей».

Рано осознав свое политическое, революционное призвание и характер своего литературного дарования, Герцен искал пути их сочетания. Он пытался на основе собственной жизни создать автобиографические произведения, способные рассказом о человеке, посвятившем свою жизнь большим идейным целям и прежде всего борьбе с самодержавием, приобрести революционно-пропагандистское влияние.

В предисловии 1860 г. к «Былому и думам» Герцен писал: «Былое и думы» не были писаны подряд; между иными главами лежат целые годы. Оттого на всем остался оттенок своего времени и разных настроений — мне бы не хотелось стереть его». В предисловии 1866 г. к части пятой произведения Герцен подчеркнул значение, которым обладает «тогдашняя истина», отразившаяся в каждой главе. В «Былом и думах» проходит путь Герцена от его отроческих лет и революционно-романтических упований 20-х гг. до периода его идейной зрелости, когда на фоне острого кризиса политической и общественной жизни России и Западной Европы 60-х гг. он выступает как мыслитель, закалившийся в борьбе за социализм, предсказывающий гибель старому миру и приветствующий новые, революционные силы в России и в Европе.

Сам же Герцен характеризовал «Былое и думы» как «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Каждая страница этого произведения действительно отражает историю, события, социальные сдвиги, борьбу идей, игравших большую роль в жизни человечества, и отражает их сквозь призму мыслей и чувств передового русского человека — революционера, мыслителя, учителя.

[1] *Терновский П. М.* (1798—1874)— профессор богословия в Московском университете.

[2] *Сенатор* — Яковлев Лев Алексеевич — дипломат, сенатор, дядя Герцена.

[3] В 1823 г. в августе в Москве на Ходынском поле были маневры, на которых присутствовал император.

[4] 14 июля 1826 г.— дата казни пяти руководителей декабристов. Сообщение об этом было опубликовано в «Московских ведомостях».

[5] 30 сентября 1754 г. указом Елизаветы Петровны смертная казнь заменялась другим наказанием (каторжные работы, клеймение и пр.). Екатерина II подтвердила этот указ (1775 г.), в практике не всегда придерживалась его, исключая из действия указа преступления общегосударственного значения (казнь Пугачева, а также офицера Мировича), Николай I сослался на практику своей бабушки, готовя расправу над декабристами.

[6] *Васильевское* — имение отца Герцена под Рузой на высоком речном берегу, с которого открываются красивые подмосковные дали (ныне санаторий).

[7] Цитата (неточная) из письма Н. П. Огарева к А. И. Герцену 7 июня 1833 г.: «Когда будешь писать о Воробьевых горах, напиши, как в этом месте развилась история нашей жизни, т. е. моей и твоей». Литературное наследство. Т. 61. М., 1953, С. 714.

[8] Имеется в виду Огарев Платон Богданович (ум. 1838) — отец Николая Платоновича (Ники) Огарева.

[9] *Мёрос* — древнегреческий герой, борец с тиранами, воспет Ф. Шиллером в балладе «Порука», из которой и приведена цитата.

[10] Герцен имеет в виду события, описанные Ф. Шиллером в драме «Вильгельм Телль» (IV действие, III картина).

[11] Клятва Герцена и Огарева произошла на фундаменте храма Витберга в 1827 г. Огарев описал начало дружбы двух юношей в «Моей исповеди», опубликованной в «Литературном наследстве» (т. 61): «Раз встретясь, наши жизни не могли не идти вместе, пусть же моя исповедь будет для твоего «Былого и дум» дополнением» (с. 687).

[12] Цитата из первой части поэмы Н. П. Огарева «Юмор».

[13] Хромой генерал — Бахметьев Алексей Николаевич (1779—1841) — друг семьи Яковлевых.

[14] Имеется в виду книга: Франкер. Курс чистой математики/ Пер. с франц. М., 1819.

[15] Не совсем точно приводятся слова княгини Тугоуховской из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

[16] *Каченовский Михаил Трофимович* (1775—1842) — историк, критик, профессор Московского университета, издатель журнала «Вестник Европы», известен своими критическими выступлениями против Карамзина. *Павлов Михаил Григорьевич* (1793—1890) — профессор Московского университета. Герцен слушал его курс физики.

[17] *Мягков Гавриил Иванович* — преподаватель военных наук в университете. *Чумаков Федор Иванович* (1782—1837) — профессор Московского университета.

[18] Гумбольдт был принят в Московском обществе естествоиспытателей в октябре 1829 г. и был награжден орденом св. Анны I степени в ноябре 1829 г. По положению, награжденные должны были делать денежный взнос в орденский капитул. *Сен-Суси* — название дворца в Потсдаме.

[19] Имеется в виду революция в Бельгии и Франции (1830). Король Луи-Филипп Орлеанский, получивший трон Бурбонов после революции, любил называть себя «королем-гражданином».

[20] Имеется в виду восстание в Царстве Польском 1830 г., переросшее в двухлетнюю борьбу.

[21] *Пассек Вадим Васильевич* (1808—1843) — университетский друг Герцена и Огарева, член их кружка. Позже — историк, этнограф, родился и вырос в патриотической семье.

[22] В название главы XXIV, посвященной в основном проблемам семьи, Герцен вынес дату рождения своего сына Александра (1839—1906), позднее ставшего профессором-физиологом. Ему адресованы письма, приводимые ниже.

[23] Эпиграф взят из стихов Н. П. Огарева «Искандеру» («Я ехал по полю пустому...»).

[24] *Грановский Тимофей Николаевич* (1813—1855) — историк, профессор Московского университета; начал читать университетский курс с осени 1839 г.

[25] *Станкевич Николай Владимирович* (1813—1840) — просветитель, руководитель кружка, друг Герцена и Белинского.

[26] Имеется в виду митинг итальянских патриотов в Колизее в связи с отправкой республиканских добровольцев против австрийских войск в марте 1848 г. После поражения республиканцев Чичероваккио был расстрелян в августе 1849 г.

### Опыт бесед с молодыми людьми

Печатается по изд.: Собр. соч.: В 30-ти т. Т. XIII. С. 50—63. Впервые опубликовано в «Полярной звезде» (1858, п. IV). Время написания — октябрь 1857 г. (письмо к Мейзенбург от 14 октября 1857 г.: «Я написал небольшое сочинение для молодых людей... о сотворении мира»). Статья является одним из образцов педагогического наследия Герцена, шедевром его научно-популярной прозы, тематически она связана с его философскими работами («Письма об изучении природы» и др.) и посвящена пропаганде основ научно-материалистического мировоззрения, научной терминологии. Герцен выступал против поверхностного усвоения молодежью научных понятий. Бездумное словоупотребление Герцен считал вздором и строго осудил его.

### Разговоры с людьми

Печатается по тексту XIV тома (с. 206—214). Написана летом 1858 г. В письме П. В. Анненкову сообщается (1 июля), что статья для детей завершена и может быть полезна всем, начинающим заниматься естественными науками. Тематически статья связана с предшествующей ей работой. Возможно, Герцен замышлял цикл научно-популярных работ, но остановился на первой беседе.

### Предисловие

Впервые — Ж. Санд. Похождения Грибуля. Лондон. 1860. С. 5—11, за подписью: Искандер. Автограф неизвестен. (Собр. соч. Т. XIV. С. 356—358).

А. И. Герцен дал оценку повести Ж. Санд, высказав свои соображения о назначении и состоянии детской литературы. Они очень близки высказываниям В. Г. Белинского о детских книгах.

### «Прощайте!»

Впервые— Полн. собр. соч. Т. 6. С. 12.Печатается по: Собр. соч. Т. VI. С. 12—18.

[1] Буржуазную французскую монархию Наполеона III А. И. Герцен называет мещанским самодержавием. Алжирские войска («Иностранный легион»), на которых держалась власть императора, по Герцену, есть «алжирские казаки».

## Провинциальные университеты

Впервые — Колокол, л. 91, от 1 февраля 1861 г., с. 761—763, за подписью: Й-р, без заглавия. Автограф неизвестен. (Печатается по: Собр. соч.: В 30-ти т. Т. XV. С. 18—24. Далее: Собр. соч.).

[1] «Прошло сто лет... Порфироносная вдова» — Герцен цитирует поэму «Медный всадник» по изданию «Сочинений Александра Пушкина» (Т. IX, 1841, с. 5), где строка «Померкла старая Москва» по цензурным условиям была заменена стихом: «Главой склонилася Москва».

[2] Муханов Н. А. (1802—1871) — член главного управления цензуры с 1860 г., товарищ министра народного просвещения в 1858—1861 гг., в 1859 г. член комитета по делам книгопечатания, числился в придворном штате.

*Ковалевский Евграф Петрович* (1790—1867) — попечитель Московского учебного округа в 1856—1858 гг., министр народного просвещения (1858—1861).

## Исполин просыпается!

Впервые — Колокол, л. 110 от 1 ноября 1861 г., с. 917—918, за подписью: Искандер. Автограф неизвестен. (Собр. соч. Т. XV. С. 173—176).

Статья написана в связи со студенческими волнениями, проходившими в ряде русских университетов осенью 1861 г. Волнения были вызваны «новыми правилами», введенными с целью «обуздать» студентов. Их сущность сводилась к запрещению всяких форм студенческой корпоративной жизни и к введению обязательной платы за учение. Последняя мера фактически закрывала доступ в университеты для юношей из бедных разночинных семей. В. И. Ленин в статье «Гонители земств и аннибалы либерализма» называет волнения в университетах в числе важнейших событий эпохи падения крепостного права (Полн. собр. соч. Т. 5. С. 29—30).

[1] Во второй половине 50-х гг. в период общественного подъема предреформенной поры студенты сумели добиться ряда прав, молчаливо признанных университетским начальством.

Осенью, когда в университетах начались занятия, в Петербурге, Москве и Казани произошли волнения студентов, которые отказывались признавать новые правила. Волнения эти сопровождались уличными демонстрациями, столкновениями с полицией; для усмирения студентов вызывали войска.

## Н. Г. Чернышевский

Впервые — Колокол, л. 186 от 15 июня 1864 г., с. 1525. К этой теме «Колокол» возвращался также 15 августа в обращении: «Чернышевскому, Михайлову и всем друзьям нашим...» (Собр. соч. Т. XVIII. С. 221—222).

Статья явилась главным откликом Герцена на процесс Чернышевского. Это один из наиболее ярких обвинительных документов против русского либерализма, появившихся в «Колоколе».

[1] Выступление Герцена в защиту Чернышевского явилось открытым признанием принадлежности его к революционно-демократическому лагерю. В письме к М. Мейзенбург (31 марта 1864 г.) он писал: «Мы и люди погибшие, как Михайлов, как Чернышевский и Серно-Соловьевич, мы — единственные, на которых нет пятен крови». Не случайно в этой статье он выразил свое отношение к «жалким людям», «людям-слизнякам», имея в виду К. Д. Кавелина и подобных.

[2] Отголосок полемики с Катковым, утверждавшим, что революционное движение в России является результатом происков ксендзов и польских панов — «занесено из-за Днепра».

[3] Упомянуты революционеры, осужденные по делу «Великорусса»: *В. А. Обручев* — отставной офицер, сотрудник «Современника»; *М. Л. Михайлов* — поэт, сотрудник «Современника»; полковник *А. А. Красовский* — осужденный за сочинение прокламации с призывом к солдатам не поднимать оружие против народа; юнкер *Трувелье (Трувелер) В. В.*— осужден за революционную агитацию среди военнослужащих; крестьянин-торговец *Мар-*

*тьянов* — сослан за обращение к царю с требованием созыва Земского собора.

[4] Цветы Чернышевскому бросила М. П. Михаэлис — активная участница общественного движения 60-х гг.

[5] Гражданская казнь состоялась около 9 часов утра 19 мая 1864 г.

[6] В примечании к статье о Чернышевском Герцен высказал пожелание, чтобы русские художники увековечили мученический подвиг Чернышевского и заклеймили позором его палачей. Этих «привязывающих мысль человеческую к столбу преступников».

## Письма

### А. И. Герцен — сыну (12 июня 1851 г.)

Впервые — Полное собрание сочинений и писем /Под ред. М. К. Лемке. Т. VI. С. 191—192. Далее: Полн. собр. Печатается по: Собр. соч. Т. XXIV. С. 177—178.

Семья жила в Ницце, а Герцен в Париже. Герцен, уезжая, оставил Саше программу занятий, «рапорты» о выполнении которых он требовал от сына.

[1] «...на той скамье, на которой сидели Беранже и Шатобриан...»— Герцен приводит отрывки из речи В. Гюго, произнесенной им 11 июня 1851 г. на процессе его сына Шарля Гюго, который был привлечен к суду за выступление против смертной казни. В своей речи Гюго назвал имена Беранже и Ламенне (а не Шатобриана). Судебные процессы Беранже, дважды (в 1821 и 1828 гг.) заключавшегося в тюрьму за антимонархическую и антицерковную направленность своих песен, превращались неизменно в его торжество над судьями. Ламенне был в 1840 г. приговорен к тюремному заключению за памфлеты, в которых резко критиковал режим июльской монархии.

### А. И. Герцен — А. А. Герцену (20 июня 1851 г.)

Впервые — Полн. собр. Т. VI. С. 413—414. Печатается по: Собр. соч. Т. XXIV. С. 186.

### А. И. Герцен — Н. А. Герцен (Декабрь 1852 г.)

Впервые — Полн. собр. Т. VII. С. 163 (с ошибочной редакторской датой: «Декабрь 1852»).

### А. И. Герцен — сыну моему Александру (1 января 1855 г.)

Впервые — Полн. собр. Т. 6. С. 7. Печатается по: Собр. соч. Т. VI. С. 7—8.

[1] Впервые книга «С того берега» появилась в немецком переводе, сделанном А. И. Герценом при участии Ф. Каппа и Г. Гервеча, в 1850 г. анонимно. На русском языке книга была издана впервые в 1855 г. в Лондоне, под псевдонимом «Искандер». Именно это издание и посвящалось автором старшему сыну.

### А. И. Герцен — сыну (29 сентября 1858 г.)

Впервые — Полн. собр. Т. IX. С. 347—349. Печатается по: Собр. соч. Т. XXVI. С. 211—212.

В письме отец излагает сыну научную программу самообразования.

[1] Сын А. И. Герцена, живя в Швейцарии, изучал естественные науки. Из этого письма следует, что Герцен по-прежнему направлял и руководил образованием сына, составляя для него подробную программу занятий, которая включала изучение философии, истории, литературы, а также чтение материалов вольной русской типографии и научных трудов о современном революционном движении в мире и в России. Цель этой «подробной програм-

мы» была заключена в том, чтобы сохранить и укрепить в сыне любовь к родине, простому народу, его духовной культуре, избежать одностороннего развития и формирования личности старшего сына.

**А. И. Герцен — сыну** (22 июня 1859 г.)

Впервые — Полн. собр. Т. X. С. 44—45. Печатается по: Собр. соч. Т. XXVI. С. 276—277.

В этом письме А. И. Герцен пишет сыну о необходимости готовиться к предстоящей общественной деятельности, продолжает разговор о его самообразовании.

**А. И. Герцен — сыну** (7 февраля 1860 г.)

Впервые — Полн. собр. Т. X. С. 209—210. Печатается по: Собр. соч. Т. XXVII. Кн. 1-я. С. 16—17.

[1] ...в чистую семью — А. А. Герцен жил в это время в семье профессора Фогта в Берне.

**А. И. Герцен — сыну** (10 марта 1860 г.)

Впервые — Полн. собр. Т. X. С. 231—333. Печатается по: Собр. соч. Т. XXVII. Кн. 1-я. С. 24—25.

В этом письме А. И. Герцен пишет о своем отношении к намерению старшего сына жениться на Эмме Урих — внучке В. Фогта, известного ученого.

Старший сын Герцена, принимая посильное участие в общественно-политической деятельности своего отца, позже посвятил свою жизнь науке.

[1] Здесь идет речь о старшем брате А. А. Серно-Соловьевича — Николае Александровиче. Оба брата были друзьями Герцена и Огарева, активными участниками общественного движения 60-х гг.

**А. И. Герцен — сыну** (21 декабря 1861 г.)

Впервые — Полн. собр. Т. 27. Кн. 1. С. 203—204. Печатается по: Собр. соч.

**А. И. Герцен — сыну** (14 июня 1862 г.)

Впервые — (неполно): Полн. собр. Т. XV. С. 208—209. Печатается по: Собр. соч. Т. XXVII. Кн. 1-я. С. 234.

**А. И. Герцен — Н. А. Герцен** (5—10 декабря 1862 г.)

Впервые — Полн. собр. Т. XV. С. 562—564. Печатается по: Собр. соч. Т. XXVII. Кн. 1-я. С. 267—269.

Старшие дочери вместе с М. Мейзенбург уехали из Англии 12 декабря 1862 г. в Италию, где Наталья Александровна должна была заниматься музыкой и живописью. Герцен наметил для нее серьезную программу занятий — обозначил обязанности по отношению к сестре Ольге, которая не знала матери, была разлучена с отцом, оторвана от родины. Особо отец обращает внимание на воспитание Ольги на передовых идеалах в революционно-демократическом духе.

**Московским друзьям** (5 сентября 1853 г. Лондон)

Впервые — Герцен А. И.: Новые материалы к печати приготовил Н. М. Мендельсон. Тр. Публ. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1927. С. 80—81. Отрывок из этого письма: Собр. соч. Т. XXV, С. 111.

В письме говорится о встрече с М. С. Щепкиным, который пытался убедить Герцена отказаться от политической деятельности и вернуться в Россию. Об этом свидании со Щепкиным и своих расхождениях с кружком московских друзей Герцен позднее рассказал в некрологе «Михаил Семенович Щепкин» (Собр. соч. Т. XXVII. С. 269—273).

# Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

## Образование человечества зависит от образования молодого поколения

Впервые — сб. «Звенья» (М., 1851, № 8). Печатается с сокращениями по: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 16-ти т. М.: ГИХЛ, 1932—1953. Т. XVI. С. 382—383. Далее: ПСС.

В статье Чернышевский развивает идею о непрерывности интеллектуального развития человека, которую выдвинул А. И. Герцен в цикле статей «Дилетантизм в науке».

## Сочинения Т. Н. Грановского
Том первый. М., 1856

Впервые — Современник. 1856. № 6. Печатается фрагмент (ПСС. Т. III, С. 351—352).

В предлагаемом отрывке Чернышевский обращает внимание на неудовлетворительную постановку воспитания, говорит о роли учителя в воспитании социальной активности и самостоятельности.

[1] В 1840 г. императорской археографической комиссией была издана книга Григория Карповича Котошихина о России в царствование Алексея Михайловича. *Котошихин* (ок. 1630—1667), подьячий посольского приказа, в 1664 г. был послан на Днепр в армию кн. Черкасского и кн. Прозорского для ведения канцелярских дел. Сменивший князей воевода кн. А. Ю. Долгорукий потребовал от Котошихина, чтобы он написал донос на его предшественников. Не желая выполнить это требование и опасаясь мести Долгорукого, Котошихин бежал сначала в Польшу, затем в Швецию, где и написал свое сочинение. Хорошо знакомый со всеми сторонами жизни Московского государства, Котошихин подробно описывает его устаревшую организацию, предрассудки, невежество и безнравственность московского общества.

[2] Измененная цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Ночь». Переставив запятую на одно слово вперед, Чернышевский придал фразе иной, просветительский смысл.

## Заметки о журналах
Июль 1856 г.

Впервые — Современник, 1856, № 8. Печатается отрывок (ПСС. Т. III, С. 684—689).

В «Заметках» идет речь о статье известного хирурга, профессора, педагога Николая Ивановича Пирогова (1810—1881) «Вопросы жизни». Н. Г. Чернышевский прокомментировал основное положение статьи Пирогова: образование сословное — ложно, специальное — преждевременно, если учащийся не получил широкого общего образования. Воспитание нравственных качеств и убеждений человека — такова, по мысли Чернышевского, основная задача школы.

[1] ad libitum (лат.) — по желанию.

## Детство и отрочество
Сочинение графа Л. Н. Толстого. СПб., 1856

Впервые — Современник. 1856. № 12. Печатается в сокращении (ПСС. Т. III. С. 421—429).

[1] Неточная цитата из рассказа И. С. Тургенева «Фауст».

[2] Имеется в виду упрек, высказанный С. С. Дудышкиным (Отечественные записки. 1856. № 11. С. 17).

[3] *Индиана* — героиня одноименного романа Ж. Санд.

## Очерки гоголевского периода русской литературы

Впервые — Современник. 1856. № 10. Печатается в фрагментах (ПСС. Т. III. С. 228—231, 299—303).

Поводом для настоящих «Очерков» послужил выход в свет сочинений Н. В. Гоголя в 1855 г. В «Очерках» Чернышевский пропагандировал активное участие литературы в общественном и историческом движении. Идея гражданского воспитания, по его мнению, не должна отделяться от насущных общественно-политических целей и задач. Выдвигая идеал «нового человека», Чернышевский призывал молодое поколение активно бороться за социальное равноправие, за счастье своего народа.

[1] *Амброзия* (амвросия) — в греческой мифологии ароматная пища богов, нектар, «напиток богов», дававший им вечную юность и красоту.

[2] *Нерон Клавдий Цезарь* (37—68) — римский император; *Калигула Гай Цезарь* (12—41) — римский император; *Тиберий Клавдий Нерон* (42—37) — римский император с 14 г. Рыцарь *Тоггенбург* — герой одноименной баллады Ф. Шиллера.

[3] *Калибан* — персонаж романтической драмы «Буря» Шекспира.

[4] «Эпикурейцем» слыл в обществе выдающийся врач-терапевт С. П. Боткин (1832—1889), все перечисленные ниже качества эпикурейца очень близки известным его пристрастиям.

[5] *Анакреон* (Анакреонт) (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик; в его творчестве преобладают мотивы размеренного, сознательно культивируемого наслаждения чувственными радостями жизни. Подражание Анакреону породило «анакреонтическую» поэзию поздней античности, Возрождения и Просвещения. В России анакреонтические стихи писали М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин. *Гораций* (65—8 до н. э.) — римский поэт, автор «Науки поэзии» — основы классицизма.

[6] *Остракизм* — в VI—V вв. до н. э. в Древних Афинах и других городах изгнание отдельных граждан по решению народного собрания (обычно на 10 лет). В переносном смысле — изгнание, гонение.

[7] *Беранже Пьер Жан* (1780—1857) — французский поэт. Завоевал известность сатирой на наполеоновский режим. Песни Беранже, проникнутые революционным духом, плебейским юмором, оптимизмом, имели всенародную популярность. Разделял идеи утопического социализма; *Жорж Санд* (1804—1876) — французская писательница; *Гейне Генрих* (1797—1856) — немецкий поэт и публицист; *Диккенс Чарльз* (1812—1870) — английский писатель; *Теккерей Уильям Мейкпис* (1811—1863) — английский писатель.

[8] *Дюма Александр-отец* (1802—1870) — французский писатель.

## Суеверие и правила логики

Впервые — Современник. 1859. № 10; печатается в фрагментах (ПСС. Т. V. С. 694—696, 702—709). Статья является у Чернышевского одной из самых резких по степени критики крепостного права и всех его порождений.

[1] Речь идет о Матвее Львовиче Кожевникове, саратовском губернаторе.

[2] Имеется в виду Николай Александрович Мордвинов, управляющий саратовской удельной конторой.

[3] Имеется в виду Константин Карлович Грот (1818—1897), самарский губернатор в 1853—1861 гг.

[4] Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889), с марта 1858 по март 1860 г. служил рязанским вице-губернатором.

## Июльская монархия

Впервые — Современник. 1860. № 1, 2, 5. Печатается в фрагментах (ПСС. Т. VII. С. 97—98).

Работа Чернышевского представляла собой перевод и собственные комментарии отдельных глав сочинения «История 10 лет», посвященного описанию периода между июльской революцией 1830 г. и февральской революцией

1848 г. во Франции, французского историка, публициста и политического деятеля Луи Блана (1811—1882). Этот исторический период получил наименование июльской монархии. Чернышевский давал читателю возможность оценить бесперспективность российского монархического правления в сравнении с историей падения монархии во Франции.

В публикуемом отрывке Чернышевский говорит о взаимосвязи и взаимозависимости образования, политической власти и материального благосостояния в социально несправедливом государстве.

### Основания политической экономии

Полный перевод книги Милля с замечаниями Чернышевского опубликован в «Современнике» (1860, № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11) в виде приложения. Печатается в фрагментах (ПСС. Т. IX. С. 75—81, 195—199). Публикуемый отрывок посвящен трудовому воспитанию.

В примечаниях к собственному переводу книги «Оснований политической экономии» Дж. Стюарта Милля Чернышевский дает глубокую критику буржуазного строя и связанную с ней критику буржуазной политической экономии. В «Послесловии к второму изданию» I тома «Капитала» Маркс отмечал, что «банкротство буржуазной политической экономии... мастерски показал уже в своих «Очерках из политической экономии (по Миллю)» великий русский ученый и критик Н. Чернышевский» (Собр. соч. Т. 23. С. 17—18).

[1] *Смит Адам* (1723—1790) — шотландский экономист и философ. Превратил политэкономию в сравнительно стройную систему знаний.

[2] *Кельты* — племена, обитавшие в I в. до н. э. на территории современной Франции и Бельгии.

[3] *Хлодвиг* (466—511) — король, основатель Франкского государства.

### Очерки из политической экономии (по Миллю)

Впервые — Современник. 1861. № 8, 9, 10, 12. Печатается в фрагментах (ПСС. Т. IX. С. 547—549, 802).

Так назвал Чернышевский свои примечания к книгам II, III, IV и V «Оснований политической экономии» Дж. Стюарта Милля. От примечаний к переводу книги «Очерки» отличаются тем, что в них перевод книги Милля приводится лишь отрывками, а сами примечания представляют собой самостоятельные очерки, в которых Чернышевский делает глубокий критический анализ буржуазной политической экономии в более развернутом виде, нежели в примечаниях в книге. «Очерки» представляют собой цельное, стройное изложение «Экономической теории трудящихся».

[1] *Меркантильная теория* — буржуазная экономическая теория, лежащая в основе экономической политики государств эпохи первоначального накопления капитала. Для привлечения в страну возможно большего количества золота и серебра, не участвующего в денежном обмене, на внешний рынок вывозилось максимально возможное количество товаров.

[2] *Протекционизм* — экономическая политика государства, способствующая развитию национальной промышленности или сельского хозяйства путем ограждения их от иностранной конкуренции.

[3] *Рау Карл Генрих* (1792—1870) — немецкий экономист; *Рошер Вильгельм* (1817—1894) — немецкий экономист, основатель исторической школы в политэкономии; *Бастиа Фредерик* (1801—1850) — французский экономист, проповедник теории гармонии классовых интересов в буржуазном обществе; *Шевалье Жан-Батист-Антуан* (1793—1879) — французский химик и фармацевт, выступивший со статьей о фальсификации товаров.

[4] *Улемы* — высшее сословие богословов в мусульманских странах; *муфтий* — высшее лицо в мусульманском духовенстве.

### Барским крестьянам от их доброжелателей поклон

Отсутствие рукописи, написанной рукой Чернышевского, дало основание для сомнения в его авторстве. Однако этот единственный аргумент против авторства Чернышевского (если не считать вполне понятного отрицания

им своего авторства на следствии) опровергается свидетельством соучастников по революционной работе Чернышевского Н. В. Шелгунова и А. Слепцова. Н. В. Шелгунов в своих воспоминаниях (см. журнал «Голос минувшего». 1918. № IV—V. С. 65—68) сообщает, что, узнав от В. Костомарова (оказавшегося предателем и главным «свидетелем» по делу Чернышевского) о наличии тайной типографии в Москве, члены кружка «Современник» решили использовать это обстоятельство и напечатать там серию прокламаций *.

Непосредственное участие в решении вопроса об авторстве Чернышевского приняла его внучка, директор мемориального музея в Саратове Нина Михайловна Чернышевская. В январе 1972 г., когда эта проблема еще полностью не была решена, в связи с выходом шестого выпуска сборника «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», она, посылая сборник в Москву, написала Н. Н. Новиковой: «В порядке дискуссии в нем помещены разноголосые мнения об авторстве прокламации «Барским крестьянам...», я продолжаю держаться своей первоначальной точки зрения, т. е. что рукопись могла быть написана под диктовку Чернышевского... На авторство Чернышевского меня наталкивает еще такая мысль: сравните все прокламации 60-х гг., все они написаны скучно, почти суконным, почти не доходящим до сердца народа языком. «Барским крестьянам...» выделяется среди них как произведение, близкое к художественному. Оно написано художником слова, оно проникнуто эмоциями... Вот мой старческий голос из далекого родного города Чернышевского» (оригинал письма хранится у адресата).

[1] По «Положению» 19 февраля 1861 г. крестьяне в течение двух лет после личного освобождения обязаны были нести повинности и работать на помещиков так, как они работали до «освобождения». Это мотивировано в царском манифесте необходимостью сделать «надлежащие приготовления к открытию нового порядка», а пока крестьянам предписывалось строгое повиновение помещикам. Эта оценка Чернышевским «Положения 19 февраля» повторяется и в другом месте (см.: ПСС. 1949. Т. IX. С. 997, 1—2 строки сверху: «...читал в эти дни барщину по «Положению»).

[2] По «Положению», для проведения реформы и наблюдения за ходом ее был установлен институт мировых посредников, назначаемых правительством из местных дворян. На мировых посредников возлагалось составление так называемых уставных грамот, которыми определялся размер крестьянских наделов и повинностей по истечении двух лет и рассмотрение крестьянских жалоб. Куцый характер реформы проявился и в том, что наряду с отменой личной зависимости сохранялась, по «Положению», административная власть помещиков.

[3] Состояние временнообязанных крестьян, по «Положению», сохранялось за ними на все время от составления уставных грамот до перехода земли (усадебной и полевого надела) в собственность крестьян, после полной уплаты выкупных платежей. Так как помещики не обязаны были предоставлять крестьянам землю в полную собственность, то временнообязанное состояние зависело фактически от произвола помещика и могло длиться вечно. Это состояние было юридически отменено лишь в 1883 г., когда было объявлено о переходе полевых наделов, предоставленных помещиками в пользование крестьянам, согласно «Положению», в полную собственность за выкуп. Это стоило крестьянам кроме основных выкупных платежей в размере около 900 млн. рублей еще около 2 млрд. рублей процентов, которые они должны были уплачивать государству, взявшему на себя выплату помещикам.

[4] Высокая оценка Н. Г. Чернышевского, раскрывшего грабительский характер «Положения 19 февраля», содержится, в статьях В. И. Ленина «Пятидесятилетие падения крепостного права», «Крестьянская реформа и пролетарски-крестьянская революция» (Полн. собр. соч. Т. 20. С. 139—142, 171—180).

[5] Царскому самодержавию автор противопоставляет парламентарный строй, делая упор на подлинное народоправие, которое установит победивший

* См. об этом подробнее в кн.: *Чернышевский Н. Г.* Письма без адреса. М., 1983. С. 533—535.

русский народ. Простым, понятным крестьянам языком дается характеристика республики, гражданского равноправия, выбора депутатов и т. п. При этом автор умело использует опыт крестьянского общинного самоуправления, мирские сходы, выборы старост и пр.

[6] Имеются в виду офицеры — члены революционной организации, возникшей вскоре после Крымской войны среди слушателей и преподавателей военных академий и училищ в Петербурге по инициативе Зигмунда Сераковского, Николая Николаевича Обручева и других соратников Н. Г. Чернышевского. Из среды этих офицеров вышло немало приверженцев «Великорусса», а позже членов «Земли и воли» (60-х гг.). В 1863 г. многие из них приняли участие в восстании. В начале 1861 г. в связи с крестьянскими восстаниями и подъемом польского освободительного движения организация приняла специальные меры, направив, в частности, своих представителей в Вильнюс, Киев, Варшаву. Заявление автора о том, что «у нас всюду свои люди есть...», соответствует этой организационной перестройке. Характерно для Чернышевского обращение «офицерам добрым». Только самых близких людей, которым он доверял, которых любил, он называл хорошими (например, Добролюбова, Сераковского, Некрасова и др.). Уже после возвращения из ссылки, готовя к печати «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», собранные им еще до ареста, Николай Гаврилович сделал очень важное замечание, имеющее прямое отношение к данному вопросу. Фразу Н. А. Добролюбова о его знакомстве у Чернышевского с рядом офицеров он сопроводил следующим пояснением: «Это было два кружка: один состоял из лучших офицеров (слушателей Военной академии), другой из лучших профессоров ее. Николай Александрович был близким другом некоторых из замечательнейших людей обоих кружков» (Материалы для биографии Н. А. Добролюбова. 1890. С. 495. См. также: Сигизмунд Сераковский. М., 1959).

[7] Весь этот абзац, содержащий указания о подготовке к восстанию, В. Костомаров перечеркнул, очевидно, не намереваясь его набирать. В некоторых публикациях он не воспроизводился, поскольку исследователи не разобрались в характере правки и пометок на наборном экземпляре воззвания.

## Великорусс

Первый номер «Великорусса» распространялся в июне 1861 г., второй — в начале сентября, третий — в конце октября того же года. В сентябре, одновременно со вторым номером «Великорусса», широкое распространение получила прокламация «К молодому поколению» (авторы М. Л. Михайлов, Н. В. Шелгунов, издание осуществлено в герценовской Вольной типографии и завезено авторами в Россию), которая рассматривалась современниками как важнейшее событие эпохи. В. И. Ленин, характеризуя 60-е гг. как период общенационального кризиса, как волну общественного возбуждения и революционного подъема, говорит о наличии в стране конституционного движения, в котором участвовало не только дворянство, но и разночинная интеллигенция, органом которой и был «Великорусс». В. И. Ленин приводит ряд свидетельств современников и подчеркивает, что «приверженцы «Великорусса», в отличие от либералов (типа Кавелина и пр.), не болтали о свободе, а боролись за нее, и называет их вождями («коноводами») демократического движения (Полн. собр. соч. Т. 5. С. 25—36).

Текст «Великорусса» приведен в брошюре «Летучие листки», изданной в 1862 г. в Гейдельберге группой русских студентов-революционеров, ранее, как мы отмечали, публиковался в «Колоколе»,. Документ воспроизводится по оригинальному экземпляру воззвания, хранящемуся в архиве (ЦГАОР, ф. 1741-и, ед. хр. 8127, л. 22—31).

## Научились ли?

Эта статья — последнее печатное выступление Чернышевского перед арестом.

Впервые — Современник. 1862. № 4. Печатается полностью (ПСС, Т. X. С. 168—180).

Статья посвящена студенческому движению, защите участников демонстраций в Петербурге и Москве, которые произвели громадное воздействие на общественность и многими воспринимались как переломный момент в борьбе за политические свободы, за конституцию, завоеванием которой следует отметить тысячелетие Руси.

Н. Г. Чернышевский был тесно связан с руководителями студенческого движения, считал университетскую молодежь «самой прогрессивной частью населения», «самой передовой частью молодежи», возлагал на нее большие надежды, горячо, страстно вступался за нее. Одновременно он высмеял беспринципных, трусливых псевдолиберальных публицистов.

Автором статьи «Учиться или не учиться?» в «С.-Петербургских ведомостях» (1862, № 92), подписанной: «Б», был некий Аркадий Васильевич Эвальд (1834—1898), учитель городского училища в Петербурге. В статье «Учиться или не учиться?» он резко нападал на русское студенчество. По его мнению, студенчество в 1861 г. само отказалось учиться и содействовало закрытию Петербургского университета. Статья Эвальда вызвала и другое возражение: П. Л. Лавров поместил в тех же «С.-Петербургских ведомостях» (№ 104) статью «Учиться, но как?». Кроме того, в газете «Русский мир» (№ 20) был помещен протест против статьи Эвальда за подписью «Старый студент».

[1] Речь идет о цензурных преобразованиях, которые намеревался ввести либеральный министр народного просвещения А. В. Головин.

[2] Воскресные школы возникли в качестве бесплатных школ для взрослых в 1859 г. в Киеве по инициативе проф. П. В. Павлова (1823—1895) и Н. И. Пирогова (1810—1881). Они были чрезвычайно популярны и в Петербурге и явились легальной формой антиправительственной пропаганды. Закрыты по распоряжению правительства 10 июня 1862 г.

[3] Очевидно, Чернышевский имел здесь в виду циркуляр министра народного просвещения Ковалевского от 30 декабря 1860 г., вводивший правила строгого наблюдения за воскресными школами.

[4] Произвольную.

[5] Комиссия для пересмотра университетского устава была утверждена в декабре 1861 г. под председательством попечителя Дерптского учебного округа Е. Ф. Брадке (1786—1862).

[6] Здесь Чернышевский в осторожных выражениях говорит об истории с профессором Павловым — *Павлов Платон Васильевич* (1823—1895), профессор русской истории Киевского университета (1847—1859 гг.), первый организатор воскресных школ в России. С 1859 г. читал лекции в Петербургском университете, работал в воскресных школах, 2 марта 1862 г. на публичном вечере он произнес речь о тысячелетии России, в которой высказался за конституцию, за созыв земского собора. Речь произвела на слушателей громадное впечатление. Павлов был арестован и 6 марта выслан в Ветлугу. Тогда среди молодежи возникло решение, чтобы профессора, читавшие лекции после закрытия университета в городской думе, отказались от их продолжения в знак протеста против расправы с Павловым.

[7] «Коноводом» студенчества в реакционном лагере называли Н. Г. Чернышевского.

[8] «Партия действия» — революционная подпольная организация, созданная в Италии в 1853 г. под руководством *Джузеппе Мадзини* (1805—1872), вела борьбу за независимость и единство страны.

## Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

### Критическое обозрение педагогической литературы XIX в.

Впервые — Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. Под ред. Е. В. Аничкова. Т. II. СПб., 1912. С. 39—43. Печатается отрывок (*Добролюбов Н. А.* Полн. собр. соч.: В 6-ти т. М., 1934—1941. Т. III. С. 567—569).

Рукопись представляет собой часть реферата, который обрывается в самом начале. Датируется приблизительно 1856 г. Приступая к обзору педа-

гогической литературы «от Песталоцци до нашего времени», Н. А. Добролюбов пишет о важности сочинений общего характера, определяющих основы воспитания, и намечает рассмотреть труды педагогов в связи с учением философов — Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Гербарта.

### О значении авторитета в воспитании

Впервые — Современник. 1857. № 5. Отд. II. С. 43—64, под названием «Несколько слов о воспитании по поводу «Вопросов жизни» г. Пирогова». Печатается полностью (Собр. соч. Т. I. С. 493—514).

Поводом к написанию статьи явилась публикация статьи Пирогова в журнале «Морской сборник» (1856, № 9). Статья Пирогова «Вопросы жизни» была с энтузиазмом встречена передовой общественностью. Ее высоко оценил Чернышевский.

В статье Добролюбов высказался по вопросам, многие из которых постоянно привлекали его внимание и в дальнейшем: обеспечение свободы и полноты развития личности ребенка, подготовка его к жизни и деятельности в обществе, воспитание гражданина и патриота.

[1] Имеются в виду начавшие выходить с 1857 г. «Журнал для воспитания» (ред. А. А. Чумиков) и «Русский педагогический вестник» (ред. Н. А. Вышнеградский).

[2] status quo (лат.) — здесь: состояние.

[3] argumentum baculinum (лат.) — палочный аргумент.

[4] de jure и de facto — юридически и фактически.

[5] status quo (лат.) — здесь: современное состояние.

[6] *Песталоцци Иоганн Генрих* (1746—1827) — швейцарский педагог-демократ, уделявший большое внимание образованию детей из народа, соединению обучения с производительным трудом, теории начального обучения.

[7] *Сталь Анна Луиза Жермена де* (1766—1817) — французская писательница.

[8] Вольный перевод цитаты из книги де Сталь «О Германии» («De L'Allemagne») см.: *De Staël*. Oeuvres completes. T. X. Paris. 1820. C. 173—174.

### Мысли об учреждении открытых женских школ

Впервые — Русский вестник. 1858, апрель. Кн. 1. Печатается в сокращении (Собр. соч. Т. 2. С. 360—373).

В статье Н. А. Добролюбов откликнулся на появление одной из первых русских открытых женских школ. До конца 50-х гг. в России имелись только закрытые учебные заведения для женщин — пансионы. Первое открытое женское училище было создано в Костроме в 1857 г., первая женская (Мариинская) гимназия — в Петербурге в 1858 г. Революционные демократы требовали предоставления женщинам равных прав с мужчинами и возможности получать полноценное образование, поскольку женщина была ограничена в гражданских правах, большинство областей общественной деятельности и профессий было для нее практически недоступно, и образование ее состояло почти исключительно в обучении французскому языку, музыке, пению и танцам.

Революционный демократ рассматривает проблемы не только женского, но вообще образования в России, выступая против принятых методов преподавания. Отрицая рутину официальных учебных курсов, Добролюбов требовал идти в обучении от жизни, конкретных явлений и лишь постепенно, опираясь на накопленные знания, приступать к синтезу, учить делать общие выводы.

[1] Имеется в виду исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1812 году» (1829) русского писателя И. Н. Загоскина (1789—1852).

[2] *Леви-Альварес Давид Эжен* (1794—1870) — французский профессор, педагог.

[3] Добролюбов всегда выступал не только против наказаний, подавляющих личность ребенка, но и против развращающей системы наград. Поощре-

ния в женских пансионах были заимствованы из учебных заведений для мальчиков, где преследовали цель воспитания будущих службистов, уважающих иерархию форменных различий и добивающихся значков-наград.

### Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым

Впервые — Современник. 1858. № 10. Отд. II; 11, отд. II. Печатается в извлечениях (Собр. соч. Т. 3. С. 255—335).

В критической статье на книгу публициста Н. А. Жеребцова Н. А. Добролюбов изложил этическую концепцию революционной демократии, развил идеи о роли труда в человеческом обществе и непримиримости конфликта между тунеядцами и трудовым народом, о подлинном и мнимом патриотизме.

[1] Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов».

[2] Слова из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России»:

Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях иль верный росс?

[3] *Гизо Франсуа Пьер Гийом* (1787—1874) — французский государственный деятель, историк. Внес большой вклад в развитие исторической науки, разрабатывая идею о борьбе классов как двигателе истории, но решал эту проблему в буржуазно-ограниченном духе, не раскрывая эксплуататорского характера частнособственнических отношений, происхождения частной собственности.

[4] Слова Горехвастова — персонажа из «Губернских очерков» Салтыкова-Щедрина.

[5] *Кокорев Василий Александрович* (1817—1889) — миллионер-откупщик, выступавший в печати с либеральными статьями.

### Литературные мелочи прошлого года

Впервые — Современник. 1859. № 1 и 4. Отд. III. Печатается в извлечениях (Собр. соч. Т. 4. С. 48—112).

Статья, как писал сам Н. А. Добролюбов в дневнике 5 июня 1859 г., содержала «призыв к революции» и была направлена против всяких надежд на «мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности». Критик сделал обзор выступлений в печати по вопросам выкупа за землю при проведении крестьянской реформы, экономических реформ, воспитания и образования и др. Отметив отсутствие серьезного значения этих публикаций, авторы которых не поднимали актуальные вопросы русской жизни и не способствовали их разрешению, Добролюбов показал подлинную цену «гласности», а также и самого «прогресса», касавшегося мелочных частных улучшений или предоставления минимальных, самых элементарных прав и возможностей.

[1] Установлены авторы только двух из перечисленных произведений: «Задачи педагогики как науки и способы их решения» (Журнал Министерства народного просвещения. 1851. № 12. Отд. II) — Н. А. Вышнеградский и «О воспитании детей в духе христианского благочестия» (СПб., 1844, и ряд переизданий) — Евсевий (Е. П. Орлинский).

[2] Николаем I число студентов в университетах было резко ограничено: оно не должно было превышать 300 человек.

[3] В ведении попечителя учебного округа с 1835 г. находились все учебные и культурные заведения, он инспектировал их, составлял отчеты об их состоянии, назначал должностных лиц и т. д.

[4] Слова из статьи Н. Ф. «О распространении грамотности в народе» (Земледельческая газета. 1858. № 99, а не 98. 12 дек.).

[5] Слова из статьи П. Головинского «Замечания на статью г. Смирнова «О том, какие знания необходимы для крестьян» (Земледельческая газета. 1858. № 44, 45. 3 и 6 июня).

[6] В статье Петрово-Соловово «Об отношениях между помещиками и крестьянами во время переходного состояния» (Одесский вестник. 1858. № 47,

48. 29 и 30 апр.) говорилось, что телесные наказания должны остаться и после отмены крепостного права.

[7] Статья К. Рощаковского «Мысли о приложении основных начал к действительному улучшению быта помещичьих крестьян Новороссийского края» была напечатана в «Журнале землевладельцев» (1858, № 10).

[8] В статье В. А. Черкасского «Некоторые общие черты будущего сельского благоустройства» (Сельское благоустройство. 1858. № 9) доказывалась невозможность отмены телесных наказаний крестьян после освобождения их от крепостной зависимости, что вызвало ряд полемических откликов.

[9] Имеется в виду статья Н. И. Пирогова «Нужно ли сечь детей и сечь в присутствии других детей?».

[10] Слова из статьи Г. Я. Аппельрота «Образование женщин среднего и высшего состояния» (Отечественные записки. 1858. № 2).

[11] В «Современнике» отсутствует конец фразы после слова «обойтись».

[12] Речь идет о профессоре Московского университета историке С. В. Ешевском (1829—1865) и написанной им критической статье о «Курсе всеобщей истории» В. Шульгина (Атеней. 1858. № 38).

[13] Имеется в виду опубликованная в «Журнале для воспитания» (1858, № 2) за подписью: «N» статья «Современные вопросы».

[14] В. И. Водовозов в статье «Ответы на статью г-на «N» (Журнал для воспитания. 1858. № 5. Отд. II) высказался за увеличение жалованья учителям. Мнение В. И. Водовозова встретило возражение со стороны редакции «Журнала для воспитания».

[15] Имеется в виду статья Н. П. Некрасова «О преподавании словесности в средних учебных заведениях» (Атеней. 1858. № 43).

[16] Статья И. Ф. Гаярина «Об экзаменах на звание студента» была опубликована в «Русском вестнике» (1858. Дек. Кн. 2).

### Сочинения В. Белинского

Впервые — Современник. 1859. № 4. Отд. III. С. 215—216, без подписи. Вошло в издание 1862 г. (т. 2, с. 514—515).

В рецензии Добролюбов стремился подчеркнуть революционно-демократическую сущность наследия Белинского.

[1] Первый том сочинений Белинского поступил в продажу 3 апреля 1859 г.

[2] «Современник» под ред. Н. А. Некрасова и И. И. Панаева при деятельном участии В. Г. Белинского начал издаваться с января 1847 г.

[3] Добролюбову не удалось осуществить свое намерение: издание было завершено уже после его смерти (последний, двенадцатый, том вышел в 1862 г.).

[4] Сочинения Белинского издавались двенадцатитысячным тиражом. Предсказание Добролюбова об успехе издания полностью оправдалось. Первый том, писал И. И. Панаев, «разошелся с неслыханною быстротою» (Современник, 1859. № 8). Второй том, сообщала «Библиотека для чтения», «раскупается нарасхват, как и первый» (1858, № 8). По выходе третьего — пятого томов на успех издания указал сам Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?».

### Роберт Овэн и его попытки общественных реформ

Впервые — Современник. 1859. № 1. Отд. III. Печатается отрывок из статьи (Собр. соч. Т. 4. С. 7—47).

В статье, написанной с целью пропаганды идей социализма, с большой симпатией обрисована личность Оуэна, рассказано о его жизни и деятельности. В то же время Н. А. Добролюбов не разделяет надежд знаменитого социалиста-утописта на мирное, без революционного переворота, утверждение гармоничного общества. Не случайно он заостряет внимание в статье на фактах ожесточенного сопротивления старого мира гуманным начинаниям Оуэна. Высокая оценка Оуэна дана В. И. Лениным в статье «О кооперации» (Полн. собр. соч. Т. 45. С. 375).

Данный отрывок из статьи рассказывает о воспитании детей в устроен-

ном Оуэном училище, которое «было торжеством его системы». В этом училище не применяются ни наказания, ни награды: чтобы приохотить детей к учению, у них возбуждают интерес к знанию. Детей воспитывают в духе взаимопомощи, взаимоуважения, равноправия независимо от религиозных и национальных различий; религия изъята из числа учебных предметов. В училище Оуэна Добролюбов, несомненно, видел многие черты идеальной школы.

[1] *Оуэн Роберт* (1771—1858) — английский социалист-утопист. После попытки улучшить жизнь рабочих в Нью-Ланарке создавал колонии в США и Англии, стремясь воплотить в жизнь свои социалистические идеалы. Несмотря на неудачу попыток осуществления социализма без свержения эксплуататоров, критика Оуэном капитализма и пропаганда им социализма имели большое значение для просвещения рабочего класса и развития социалистической мысли во всем мире. Очень важную роль в организации нового общества Оуэн отводил воспитанию активности, самостоятельности, рационального мышления, готовности к труду у молодого поколения.

[2] Система взаимного обучения, созданная английским педагогом *Джоном Ланкастером* (1778—1838) и независимо от него *Эндрью Беллом* (1753—1832), должна была разрешить проблему элементарного образования с помощью небольшого числа учителей.

В России декабрист М. Ф. Орлов творчески применил ланкастерскую систему, открыв в 1818 г. школу в Киеве. Эти идеи были близки и другим декабристам.

## Что такое обломовщина?

Впервые — Современник. 1859. № 5. Отд. III. Печатается в извлечениях (Собр. соч. Т. 4. С. 307—343).

Написанная в начале революционной ситуации 1859—1861 гг., статья прозвучала как революционная прокламация. В. И. Ленин сказал о статье Н. А. Добролюбова: «Из разбора «Обломова» он сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе...» (В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1967. С. 655). Н. А. Добролюбов дал уничтожающую характеристику барского воспитания, которое парализует волю, порождает бесхарактерность, пустую мечтательность. Получив образование, Обломов познакомился с идеями добра и правды, но лишь на словах и в отрыве от действительности. В этом отношении Онегин, Печорин, Рудин и другие «лишние люди», по мнению Добролюбова, фактически не отличаются от Обломова, так как не участвуют в настоящей деятельности на благо страны и народа. В романе «Обломов», указывает Добролюбов, «лишний человек», представлявший некоторую привлекательность во времена Онегина и Печорина, развенчан окончательно, показаны его полное бесплодие и бездеятельность.

## Темное царство

Впервые — Современник. 1859. № 7. Отд. III. Печатаются отрывки из статьи (Собр. соч. Т. 5. С. 7—139).

В статье раскрыто пагубное воздействие условий жизни в самодержавно-крепостнической России на человеческую личность.

В статье уделено большое внимание роли художественной литературы в обществе как средства воспитания и просвещения. Она должна быть народной, служить самым передовым идеям, широко охватывать важнейшие явления действительности и реалистически, высокохудожественно изображать их.

[1] Цитата из пьесы А. Н. Островского «Воспитанница».

[2] Вторую часть статьи Добролюбова, отрывки из которой здесь печатаются, открывает глубоко символическая картина царской России — «темного царства», тюрьмы для народа. Такой же широкий смысл имеет и понятие «самодурство»: не случайно в черновиках статьи на его месте стоит слово «деспотизм», зачеркнутое по цензурным соображениям.

[3] *Кошихинствующие критики* — от фамилии Кошихин, правильнее — Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630—1667). Подробнее об этом см.

комментарий 1 к статье Н. Г. Чернышевского «Сочинения Т. Н. Грановского», с. 387.

[4] «Новейший оракул» — пьеса драматурга и романиста *Потехина Алексея Антиповича* (1829—1908), Зильбербах — персонаж этой пьесы, выдающий себя за прорицателя, а Софья Сергеевна — влюбленная в него молодая дворянка. Пьесы А. А. Потехина в 50—60-е гг. пользовались успехом.

**Этимологический курс русского языка**/ Сост. В. Новаковский.
**Опыт грамматики русского языка**/ Сост. С. Алейский

Впервые — Журнал для воспитания. 1859. № 9. Отд. VI. Печатается отрывок из рецензии (Собр. соч. Т. 5. С. 238—245).

Н. А. Добролюбов высказывается против формализма в преподавании, против усложненного изложения в учебниках материала и растянутых, чрезмерно детализированных разъяснений. Он отстаивает научность как обязательное качество учебной литературы, требует, чтобы она обеспечивала развитие способностей и мышления детей, расширяла их знания о действительности.

[1] Mensa (лат.) — стол.

[2] Sylva (лат.) — лес.

**Когда же придет настоящий день?**

Впервые — Современник. 1860. № 3. Отд. III. Печатается в отрывках (Собр. соч. Т. 6. С. 96—140).

Статья чрезвычайно характерна по своему содержанию для периода революционной ситуации 1859—1861 гг., когда, как указывал В. И. Ленин, «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной». Н. А. Добролюбов в комментируемой статье, по выражению Н. Г. Чернышевского, «торопил время» — старался приблизить революцию, которая одна только могла улучшить положение народа и удовлетворить назревшие потребности развития страны. Страстно ожидая наступления «настоящего» дня в истории России, призывая к восстанию против «внутренних турок», Добролюбов ставил вопрос о том, каким должен быть герой времени и каковы пути формирования этого нового типа русской жизни. В момент назревания революционного кризиса, по убеждению Добролюбова, необходимы «люди дела, а не отвлеченных... рассуждений», и образ Елены Стаховой, созданный Тургеневым, показывает, что потребность в действии уже осознана лучшей частью русского общества.

Н. А. Добролюбов подчеркнул, что все образование и воспитание в Российской империи было поставлено так, чтобы воспрепятствовать появлению борцов за прогрессивные идеалы: оно приучало к пассивному и некритическому отношению к жизни, навязывало фарисейскую «мораль прописей», изжить которую можно было лишь ценой долгих усилий. Добрые чувства и правильные мысли нужно прививать, считает Добролюбов, с самого детства, чтобы человек сразу вставал на истинный путь.

Большое значение имеет трактовка Добролюбовым образа Инсарова. Инсаров — подлинный деятель, «гражданский герой», которого отличают «ясность и определенность стремлений, спокойствие и твердость души». Это идеал человека-борца, каким он представлялся Добролюбову, гармоничный и целостный характер. Так же как и «новым людям» Чернышевского, Инсарову чужды настроения жертвенности: делая общее дело, он не подавляет собственное «я» во имя долга, а претворяет в жизнь самые заветные, высшие свои устремления. Именно это и придает образу Инсарова особую красоту и возвышенность. Образ Инсарова, его трактовка Добролюбовым вызвала горячие споры среди революционной молодежи (см.: Литературное наследство. Т.76. С. 149).

## Луч света в темном царстве

Впервые — Современник. 1860. № 10. Отд. III. Печатается отрывок из статьи (Собр. соч. Т. 6. С. 289—363).

Анализируя драму А. Н. Островского «Гроза», Н. А. Добролюбов пропагандировал в условиях революционной ситуации идеал личности, способной претворить в жизнь «требования права, законности, уважения к человеку». Он осуждал «образованных Тихонов», которые удовлетворяются шумом «словесных оргий», и подчеркивал, что рассудочное понимание идей еще не превращает человека в защитника этих идей на практике.

Для Добролюбова большое значение имело уяснение того, как возникают столь нужные для русской жизни типы решительных борцов. Он считал, что развитие этих типов происходит вопреки окружающим условиям, препятствующим их росту и формированию. В системе педагогических взглядов Добролюбова поэтому особое место занимают самобытность и самостоятельность личности, способность ее отстаивать свою индивидуальность: эти черты должны были помочь преодолеть отрицательные условия российской действительности, искажающие и губящие все лучшее, передовое.

[1] Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Журналист, читатель и писатель».

## Письмо из провинции

Впервые — Колокол. 1860. 1 марта. Подпись: «Русский человек».

«Письмо из провинции» — бесценный памятник русской бесцензурной речи. Документ имеет первостепенное значение для понимания сложного комплекса проблем, связанных со взаимоотношениями двух центров революционной демократии, а именно: лондонского, заграничного, во главе с Герценом и Огаревым, и внутрирусского, петербургского, возглавляемого Чернышевским и Добролюбовым. И тот и другой боролись за сплочение демократических сил страны, за ликвидацию самодержавия и крепостничества, но существенно расходились между собой по важнейшим вопросам революционной тактики.

[1] Письмо написано в редакцию герценовского «Колокола».

[2] Об этих «гимнах» В. И. Ленин писал, что их нельзя «читать без отвращения» (Полн. собр. соч. Т. 21. С. 259).

[3] Система представления царским правительством монополии на продажу вина (откупная система), позволившая откупщикам-монополистам фальсифицировать вино и продать его по сильно повышенным ценам, вызвала во многих местах отказ крестьян от употребления вина (в Ковенской губернии в 1856 г., в Приволжском крае в 1859 г., в Орловской, Московской и Ярославской и других губерниях в 1859 г.). Отказ вызвал репрессии со стороны царских властей. Но репрессии привели лишь к углублению движения: крестьяне разбивали питейные дома, оказывали вооруженное сопротивление царским войскам, вызванным на усмирение «питейных бунтов». В двенадцати губерниях в 1859 г. было разбито двести двадцать питейных домов. Об этом Добролюбов писал в статье «Народное дело».

[4] *Мандт Мартьян Вильгельм* (1800—1857) —врач, лейб-медик Николая I. О самоубийстве (отравлении) Николая I Добролюбов писал еще в 1855 г. в № 6 «Слухов»: «Народ собрался перед дворцом... с бранью требовал Мандта...».Обстоятельства скоропостижной смерти царя до сих пор до конца не выяснены. Ряд современников определенно говорят о самоотравлении императора после получения известия о неудаче попытки деблокировать осажденный Севастополь. Добролюбов разделял подобные суждения.

[5] В № 1 «Полярной звезды» напечатано объявление, что народ вынужден «поправить своею кровью царскую вину» (т. е. вину Николая I), а с вступлением на престол Александра II в 1855 г. «война становится народной. Народ снова имеет нечто общее с царем — оттого-то царь и будет зависеть от него».

[6] Это место является одним из аргументов, приводимых сторонниками взгляда о непринадлежности «Письма из провинции» Чернышевскому: Чернышевский во время Крымской войны жил в Петербурге и среди народа «не

таскался»; Н. А. Добролюбов, как известно, жил и в Нижнем, а его дневниковые записи говорят о повышеном внимании к народным толкам времен войны (т. 9, с. 108).

[7] Быть может, автор и в этом месте пытается навести царскую охранку на ложный след. Во всяком случае, кто бы ни был автор «Письма из провинции», нельзя предположить, что ему неизвестен автор строфы из «Евгения Онегина».

[8] По эстляндским, прусским и другим положениям о крестьянском устройстве крестьяне освобождались лично, не получая от помещиков землю. Об этих положениях, расхваливая их, много писала русская либеральная печать: они весьма устраивали охотников до дешевой и «свободной» рабочей силы. Об этих положениях, но, разумеется, с другой оценкой, писал и Чернышевский, писал и Добролюбов.

[9] *Переходное состояние* — состояние «срочнообязанных», которое проектировалось царским рескриптом и редакционными комиссиями. По этому проекту крестьяне в течение двенадцати лет оставались прикрепленными к земле до полного ее выкупа и должны были работать на помещика, как работали до «освобождения». Проект был осуществлен (с незначительными изменениями) в «Положении 19 февраля»; по этому «Положению» крестьяне стали называться «временнообязанными».

[10] Такую же мысль проводит Чернышевский в статьях по крестьянскому вопросу («О необходимости держаться возможно умеренных цифр при определении величины выкупа усадеб»; «Труден ли выкуп земли?»; «Материалы для решения крестьянского вопроса»).

Но, с другой стороны, большое внимание этим проблемам уделил и Добролюбов, например, в статье «Литературные мелочи прошлого года». Поскольку аграрно-крестьянский вопрос — центральный во всей публицистике тех лет, само по себе внимание к нему не решает вопроса об авторе.

[11] Имеется в виду книга Токвилля «Демократия в Америке», которая вызвала большой интерес в различных кругах русского общества, оживленные споры как между демократами и либералами, так и среди последних (например, между Чичериным и Катковым). Рецензии были в «Современнике» и «Русском слове». Чернышевский использовал эту книгу в период борьбы за программу «Великорусса» (см.: *Чернышевский Н. Г.* Письма без адреса. М.: Современник, 1979).

[12] Фамилии Орлова, Панина, Закревского Герцен называет в статье «1860» (Колокол. 1860. 1 янв.). Не отказавшись от славословия царю за рескрипт 1857 г., Герцен опасается, что царское окружение помешает ему провести в жизнь обещанные реформы. «Нельзя прогнать Клейнмихеля и оставить Панина, Муравьева (который зевает), Орлова, Мухановского, Горчакова и пр. С этими ядрами даже знаменитый скороход... не ушел бы далеко». Статья Герцена заканчивается призывом к царю «проснуться»: «Вас обманывают,— пишет Герцен,— вы сами обманываетесь, это — святки, все ряженые. Велите снять маски и посмотрите хорошенько, кто друзья России и кто любит только свою чистую выгоду. Вам это потому вдвое важнее, что еще друзья России могут быть и вашими».

[13] Московский генерал-губернатор Закревский был в апреле 1859 г. отставлен царем за скандальную историю с его дочерью: будучи замужем за графом Нессельроде, она вторично вышла замуж за князя Друцкого-Соколинского, для чего понадобилось совершить подлог о якобы состоявшемся разводе с первым мужем. Закревский известен как крайний реакционер, гонитель прогрессивной мысли и революционного движения.

[14] Речь идет, по-видимому, о статье польского писателя Адама Мицкевича в парижском сен-симонистском «Глоб» от 25 мая 1837 г.— «Александр Пушкин», за подписью: «Один из друзей Пушкина»; статья в русском переводе напечатана в сборнике «Памяти А. С. Пушкина» (СПб.: изд. журн. «Жизнь», 1889, с. 166, сл.). В статье Мицкевича имеются сведения о том, что Николай I пытался «обольстить» поэта, имея заднюю мысль направить его творчество на защиту самодержавия.

[15] Автор иронизирует над обращением Герцена в статье «Через три года» к царю: «Ты победил, галилеянин!» Запрет цензуры писать о духовенстве и

откупах последовал после статей Добролюбова в № 6 «Свистка» — «Мысли светского человека о книге «Описание сельского духовенства» (книга священника И. С. Беллюстина, изданная за границей) и «Народное дело» (о крестьянских волнениях в связи с откупами).

[16] *Голштинцы* — намек на немецкое происхождение Романовых. Герцен неоднократно именовал Романовых «Гольштин-готтоприпской династией». Подчеркивая чуждость самодержавия народу, он называл царскую бюрократию «немецко-татарским правительством».

[17] Сторонники мнения о принадлежности «Письма из провинции» Чернышевскому высказывают предположение, что автор (Чернышевский) напоминает Герцену о личной беседе в Лондоне, во время которой Чернышевский пытался убедить Герцена отказаться от либеральных иллюзий. Из текста, однако, скорее следует вывод, что автору письма было известно содержание беседы Чернышевского и Герцена.

### Мое призвание к педагогическому званию

Впервые опубликовано в журнале «Русская школа» (1911, № 11, с. 8—9). Датируется 18 августа 1853 г. на основе дневниковой записи Н. А. Добролюбова от 6 сентября 1853 г. В настоящем издании печатается полностью (Собр. соч. Т. 1).

### Письмо С. Т. Славутинскому

Впервые опубликовано в кн.: Материалы для биографии Н. А. Добролюбова. Т. 1. С. 323—325. В настоящем издании печатается полностью.

[1] *Славутинский Степан Тимофеевич* (1821—1884) — демократически настроенный писатель. Лучшие его произведения были опубликованы в «Современнике».

[2] *Громека Степан Степанович* (1823—1877) — либеральный публицист; был автором обозрений русской жизни в журнале «Отечественные записки».

[3] Имеется в виду редакционная комиссия для разработки законопроекта об отмене крепостного права (учреждена Александром II в 1859 г.).

[4] *Катков Михаил Никифорович* (1818—1887) — публицист, вначале либерал, но в годы первого демократического подъема в России его либерализм особенно ярко с 1863 г. сменился реакционностью. В 70—80-е гг. имя Каткова стало символом крайней реакции.

[5] *Феоктистов Евгений Михайлович* (1829—1898) — литератор, журналист, цензор, впоследствии глава цензурного ведомства. О женитьбе Е. М. Феоктистова Н. А. Добролюбову стало известно из письма А. Н. Плещеева.

[6] *Леонтьев Павел Михайлович* (1822—1874) — публицист.

[7] *Рачинский Сергей Александрович* (1833—1902) — профессор ботаники Московского университета, написал в 1859 г. диссертацию «О движении высших растений».

[8] Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Деревенский сторож в полночь». У Жуковского:

Полночь било; в добрый час!
Спите, бог не спит за нас!

### «Конспекты» Н. А. Татариновой

Впервые — Литературное наследство. Т. 67. М., 1959. С. 239—257. В настоящем издании печатается отрывок.

В 1857 г. Добролюбов, испытывая денежные затруднения, согласился давать платные уроки русской словесности 15-летней дочери либерального деятеля А. Н. Татаринова. В своем дневнике он с удовлетворением отмечал, что ему было разрешено в ходе преподавания «не стесняться ни православием, ни монархизмом» (запись от 11 января 1857 г.).

[1] Слова, вписанные в конспекты Добролюбовым, даются курсивом.

[2] «*Песнь о Нибелунгах*» — героический эпос (ок. 1200 г.), отразивший древнегерманские мифы и сказания, события эпохи Великого переселения народов в V в. и жизнь феодальной Германии XII в.

## СОДЕРЖАНИЕ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 3

**В. Г. БЕЛИНСКИЙ** 8

Михаил Васильевич Ломоносов 15
О детских книгах 20
Басни Ивана Крылова 49
Стихотворения М. Лермонтова 52
Сочинения Александра Пушкина 55
Руководство к познанию новой истории для средних учебных заведений 65
Взгляд на русскую литературу 1846 года 81
Письмо к Н. В. Гоголю 87
Взгляд на русскую литературу 1847 года 94

**А. И. ГЕРЦЕН** 102

Былое и думы 108
Публичные чтения г-на профессора Рулье 153
Опыт бесед с молодыми людьми 155
Разговоры с детьми 164
Предисловие 169
«Прощайте!» 171
Провинциальные университеты 176
Исполин просыпается! 178
Н. Г. Чернышевский 179
Письма 180

**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ** 190

Образование человечества зависит от образования молодого поколения 198
Сочинения Т. Н. Грановского 199
Заметки о журналах. Июль 1856 г. 200
Эстетические отношения искусства к действительности 205
Детство и отрочество 208
Военные рассказы —
Очерки гоголевского периода русской литературы 215
Суеверие и правила логики 222
Июльская монархия 231
Основания политической экономии 232
Очерки из политической экономии (по Миллю) 240
Барским крестьянам от их доброжелателей поклон 245
Великорусс 253
Научились ли? 260
Письма 272

**Н. А. ДОБРОЛЮБОВ** 280

Критическое обозрение педагогической литературы XIX в. 286
О значении авторитета в воспитании —
Мысли об учреждении открытых женских школ 305
Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым 313
Литературные мелочи прошлого года 321
Сочинения В. Белинского 327
Роберт Овэн и его попытки общественных реформ 328
Что такое обломовщина? 330
Темное царство 335
Этимологический курс русского языка. Сост. В. Новаковский 344
Опыт грамматики русского языка. Сост. С. Алейский —
Когда же придет настоящий день? 346
Луч света в темном царстве 355
Письмо из провинции 363
От дождя да в воду 367
Мое призвание к педагогическому званию 368
Письмо С. Т. Славутинскому —
«Конспекты» Н. А. Татариновой (1857) 370

КОММЕНТАРИИ 373

# В. Г. БЕЛИНСКИЙ
# А. И. ГЕРЦЕН
# Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
# Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

## ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Составитель
*Анатолий Филиппович Смирнов*

Зав. редакцией *Ю. В. Василькова*. Редактор *Е. А. Ляпидевская*. Художник *Б. А. Валит*. Художественный редактор *Е. В. Гаврилин*. Технический редактор *Т. Г. Иванова*. Корректор *Л. В. Яковлева*.

ИБ № 1176

Сдано в набор 10.09.86. Подписано в печать 21.01.87. Формат 60×90 1/16. Бумага кн.-журн. Печать высокая. Гарнитура об.-новая. Усл. печ. л. 25,0. Уч.-изд. л. 28,83. Усл. кр.-отт. 25,56. Тираж 100 000 экз. Зак. № 3021. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Педагогика» Академии педагогических наук СССР и Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 107847, Москва, Лефортовский пер., 8.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

В.Г.БЕЛИНСКИЙ А.И.ГЕРЦЕН Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н.А.ДОБРОЛЮБОВ